

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1993

4

1993

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(816)

Апрель, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Ответное слово на присуждение литературной награды американского национального клуба искусств	3
—————	
ОЛЬГА ГРЕЧКО — Горностаи и ласки, стихи	7
ВЛАДИМИР ШАРОВ — До и во время, роман. Окончание	11
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ — Россия для приезжего — орех, поэмы	78
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
«МЕНЯ УБЬЕТ ТОЛЬКО ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ ПО БАШКЕ». Материалы к творческой биографии Андрея Платонова. 1927—1932 годы. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и очерк творчества Н. В. Корниенко	89
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
<i>Предварительные итоги XX века</i>	
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА — Под скрип уключин	122
ПУБЛИЦИСТИКА	
<i>Россия, которую мы обретаем...</i>	
С. АЛЕКСЕЕВ — Наш шанс	137
АНАТОЛИЙ ИВАЩЕНКО — Зеленые побеги на засохшем древе	145
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕН — Дом своими руками	156
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
«ПРОКЛЯТИЯ КРЕСТЬЯН ПАДУТ НА ВАШУ ГОЛОВУ...». Секретные обзоры крестьянских писем в газету «Правда» в 1928—1930 годах. Вступительная статья, публикация и комментарии Т. М. Вахи- товой и В. А. Прокофьева	166
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ — Геббельс. Портрет на фоне дневника. Перевод фрагментов дневника Й. Геббельса — Л. Сумм. Окончание	184

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

- | | стр. |
|---|------|
| Я. С. ДРУСКИН — Предопределение и свобода. Философские эссе. Дневник. Составление, публикация и примечания Л. С. Друскиной. Вступительная статья В. Н. Сажина. Послесловие А. Г. Машевского | 205 |

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- | | |
|---|-----|
| АНДРЕЙ НЕМЗЕР — Несбывшееся. Альтернативы истории в зеркале словесности | 226 |
|---|-----|

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ*Литература и искусство*

- | | |
|--|-----|
| И. Роднянская. Марс из бездны.
Сергей Костырко. Прощание откладывается. | 239 |
|--|-----|

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- | | |
|---|------------|
| Е. Н. НИКИТИН — Был ли фальсификатором В. И. Анучин?
Л. Э. ЯРУСТОВСКАЯ — Письмо в редакцию | 247
249 |
|---|------------|

КОРОТКО О КНИГАХ:

- | | |
|--|-----|
| В. В а х р у ш е в. — I. Х. Пирсон. Вальтер Скотт. II. Эти загадочные англичанки... III. Откровение Артура Конан-Дойля: потусторонний мир существует! Артур Конан-Дойл. Известный и неизвестный. Перстень Тота. Сборник рассказов. ♦ | |
| В. П о т а п о в. — Дж. Леннон, П. Маккартни, Дж. Харрисон, Р. Старр. Стихи и песни (Песни «Битлз») | 250 |
| ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ | 255 |
| SUMMARY | 256 |

**ЖУРНАЛ «НОВЫЙ МИР»
БЛАГОДАРИТ РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ДЕЛОВОЙ МИР»
ЗА МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ В ТРУДНЫЕ
ВРЕМЕНА И ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ**

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ПОЗДРАВЛЯЕТ
АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЯРОШИНСКУЮ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
1992 ГОДА
«ЗА ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНУЮ ЧЕЛОВЕКА»**

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

ОТВЕТНОЕ СЛОВО
на присуждение литературной награды
АМЕРИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
ИСКУССТВ*

Нью-Йорк, 19 января 1993

В искусстве давно живёт истина, что «стиль — это человек». То есть если мы имеем дело с музыкантом, артистом, писателем достаточного художественного уровня, то все его произведения определяются неповторимым, уникальным сочетанием его личности, его творческих способностей и его жизненного опыта — индивидуального, а ещё и национального. И поскольку такое сочетание неповторимо, то искусство — но я здесь буду больше подразумевать литературу — имеет бесконечное разнообразие и в веках, и у разных народов. Божий замысел таков, что нет предела появлению всё новых удивительных творцов — однако никто из них, нисколько и ни в чём не отменяет созданного его выдающимися предшественниками, хотя бы от тех прошло уже пятьсот лет или две тысячи. И никогда нам не закрыты пути ко всё новой свежести, — однако это не отнимает у нашей благодарной памяти всего прежнего.

Никакое новое творчество — сознательно ли, бессознательно — не возникает без органического примыкания к созданному прежде него. Но и: здоровый консерватизм, как в самом творчестве, так и в восприятии его, должен быть гибок, сохранять равную чуткость и к старому и к новому, и к уважаемой достойной традиции и к той свободе поиска, без которой не рождается будущее. Однако художник не может и забыть, что *свобода* творчества — опасная категория. Чем меньше ограничений он сам наложит на своё творчество, тем меньше будут и возможности его художественной удачи. Утеря ответственной организующей силы — роняет и даже разрушает и структуру, и смысл, и конечную ценность произведения.

Каждая эпоха и в каждом виде искусства много обязана крупным художникам, в трудном поиске плодотворно открывающим новые смыслы и ритмы. Но в нашем XX веке необходимое равновесное отношение к традиции и к поиску нового было не раз резко нарушено ложно понятым «авангардизмом» — звонким, нетерпеливым «авангардизмом» во что бы то ни стало! Такой авангардизм начинал ещё до Первой мировой войны с разрушения общепринятого искусства, его форм, языка, признаков, свойств — в порыве построить некое «сверхискусство», которое якобы будет непосредственно творить и саму Новую Жизнь. В литературе звучало и такое, что отныне её «надо начать с чистого листа бумаги». (Иные почти на этом и остановились.) Разрушение — и оказалось апофеозом этого штурмующего авангардизма: разрушить всю предыдущую многовековую культурную традицию, резким скачком сломить и нарушить естественное развитие искусства. И этого надеялись достичь бессодержательной погоней за новиз-

© Aleksandr Solzhenitsyn

* По-русски печатается впервые. В английском переводе напечатано в еженедельнике «The New York Times Book Review», 7 febr., 1993.

Национальный клуб искусств был основан в 1898 году в Нью-Йорке. До сих пор литературные награды Клуба получили 25 писателей. Последним награждённым стал Александр Солженицын. Среди его предшественников — Уистен Оден, Теннесси Уильямс, Джон Алдайк, Карлос Фуэнтес, Айрис Мердок, Артур Миллер.

ной форм как главной целью, притом снижая требования к своему мастерству даже до неряшливости, до примитивности, а то и с затемнением смысла — до зауми.

Этот агрессивный порыв можно было бы счесть всего лишь за амбицию честолюбий, если бы в России — прошу прощения собравшихся, что я буду больше говорить о России, но в наше время нельзя обминуть тяжёлый и глубокий русский опыт, — если бы в России он не предварил, не предсказал собою и своими ухватками — вскоре наступившую разрушительнейшую *физическую* революцию XX века. Сотрясательная революция, прежде чем взорваться на улицах Петрограда, взорвалась в литературно-художественных журналах петроградской богемы. Это — там мы услышали сперва и уничтожающие проклятия всему прошлому российскому и европейскому бытию, и отметание всяких нравственных законов и религий, призывы к сметению, низвержению, растоптанию всей предыдущей традиционной культуры, при самовосхвалении отчаянных новаторов, так и не успевших, однако, создать что-либо достойное. Среди тех призывов звучало буквально: уничтожить Расинов, Мурильо и Рафаэлей так, «чтобы щёлкали пули по стенам музеев», классиков русской литературы начисто «выбросить за борт корабля современности», а вся культурная история теперь начнётся заново. Всё «вперёд! вперёд!» — себя они называли уже «футуристами» — как бы перешагнувшими и через современность, и вот дарили нам несомненное искусство Будущего.

Но грянула уличная революция — и те «футуристы», которые недавно в своём манифесте «Пощёчина общественному вкусу» призывали развивать «непреодолимую ненависть к существовавшему до сих пор языку», — эти «футуристы» теперь сменили своё название на «Левый Фронт» — уже прямо политически примыкая к революции с её самого левого края. Так прояснилось, что прежние рывки «авангардизма» были не просто литературной пеной, но имеют реальное продолжение в жизни, направлены были сотрясти не только всю культуру, но и саму жизнь. И пришедшие к беспредельной власти коммунисты, чьим гимном и было «разрушить до основания» весь существующий мир, а взамен, на беспредельном же насилии, строить Невесомый Прекрасный Мир, — коммунисты не только распахнули этой орде «авангардистов» широкие возможности публичности и популярности, но даже некоторым — как верным своим союзникам — административную власть в культуре.

Правда, и бушевание этого лже-«авангарда» и его власть в культуре не длились долго: за тем наступил всеобщий обморок культуры. Мы в СССР понуро побрели через 70-летний ледниковый период, под корой которого лишь тайно пульсировали несколько великих поэтов и писателей, до поздней поры почти неведомые своей стране, а тем более миру. С окостенением советского тоталитарного режима — и его дутая лже-культура окостенела в омерзительно парадных формах так называемого «социалистического реализма». О его сути и значимости нашли охотники писать немало критических исследований — а я бы не писал ни одного, ибо он — вообще вне рамок искусства, ибо не существовало самого *объекта* — стиля «социалистический реализм», — а доступная любому бытовому взгляду простая угодливость: стиль «чего изволите?» или «пиши так, как приказывает Партия». О чём же тут научно толковать?

Но вот — мы пережили эти 70 смертных лет в чугунной скорлупе коммунизма — и на четверть живые выползаем из неё. Наступила несомненно новая эпоха — и для России, да и для всего мира. Россия — догала разорена и отравлена, народ в невиданном моральном унижении и едва не гибнет физически и даже биологически. При таком состоянии народной жизни, внезапном зримом обнажении и изъязвлении накопившихся прежде ран — для литературы естественна пауза, глубокие голоса национальной литературы нуждаются во времени, прежде чем снова зазвучать.

Однако. Нашлись писатели, кто увидел главную ценность открывшейся бесцензурной художественной деятельности, её теперь никем не ограниченной свободы — в нестеснённом «самовыражении» и только: просто *выразить* своё восприятие окружающего, часто с бесчувственностью к сегодняшним болезням и язвам и со зримой душевной пустотой, выразить, может быть, и не весьма значительную личность автора, выразить безответственно перед нравственностью народной и особенно юношества — порой и с густым употреблением низкой брани, какая столетиями считалась немислимой в печати, а теперь стала чуть ли не пропуском в литературу.

Смятение умов после их 70-летнего тотального угнетения ещё бы не понять: художественное зрение молодых поколений обнаружило себя в ошеломлении, унижении, обиде, беспамятстве. Не найдя в себе прежде сил полноценно противостоять и опровергать советскую догматику, многие молодые писатели поддались теперь легче доступному пути пессимистического релятивизма: великой ложью была коммунистическая догматика, да, — но, дескать, и никаких истин вообще не существует, и не стоит труда их искать; и не стоит труда пробиваться к какому-то высшему смыслу.

И — отталкивающим движением большой досады — признаётся никуда не годной классическая русская литература, которая не гнушалась действительности и искала истину. В оплевании прошлого — мнитесь движение вперёд. И вот сегодня в России снова стало модно — высмеивать, свергать и выбрасывать за борт великую русскую литературу, всю настоящую на любви к человеку, на сочувствии к страдающим. А для облегчения операции этого вышвыра — объявить мертвенный лакейский «соцреализм» органическим продолжением полнокровной русской литературы.

Так на разных исторических порогах это опасное антикультурное явление — отброса и презрения ко всей предшествующей традиции, враждебность общепризнанному как ведущий принцип, повторяется снова и снова. Тогда это ворвалось к нам под трубами и пёстрыми флагами «футуризма», сегодня применяется термин «постмодернизм». (Какой бы смысл ни вкладывали в этот термин, но сам состав слова несообразен: как бы претендует выразить, что человек может ощущать и мыслить *после* той современности, в которой ему отведено жить.)

Для постмодерниста мир — не содержит реальных ценностей. Даже есть выражение «мир как текст» — как вторичное, как текст произведения, создаваемого автором, и наибольший интерес — это сам автор в соотношении со своим произведением, его рефлексия. Культура должна замкнуться сама на себя (оттого эти произведения переполнены реминисценциями, и до беззуксия), и только она и есть стоящая реальность. Оттого повышенное значение приобретает игра — но не моцартианская игра радостно-переполненной Вселенной — а натужная игра на пустотах, и у художника нет ответственности ни перед кем в этих играх. Отказ от каких-либо идеалов рассматривается как доблесть. И в этом добровольном самозаморочивании «постмодернизм» представляет себе увенчанием всей предыдущей культуры, её замыкающим звеном. (Надежда опрометчивая, ибо вот уже мы слышим о рождении «концептуализма» — термин пока ещё не нашёл убедительного объяснения в приложении к *художественным* произведениям, но поищут и его, — а есть уже и *поставангардизм*, а не удивимся, если появится и *постпостмодернизм* или *постфутуризм*.) Можно бы посочувствовать этим поискам, но так, как мы сочувствуем страданиям больного. Уже своей теоретической установкой такие поиски обрекают себя на вторичность, на третичность, на безжизненность перспектив.

Но перенесём внимание на более сложный поток процесса. Хотя горший и обескураживающий жребий достался в XX веке подкоммунистической части мира, — однако, шире того, нравственно больно и всё наше столетие, и эта нравственная болезнь не могла и повсюду не отразиться болезнью искусства. По другим причинам, но сходная «постмодернистская» растерянность перед миром возникла и на Западе.

Увы, при небывалом росте цивилизованных благ и во всё более благополучном течении физической жизни — также и на Западе происходило выветривание и затемнение высоких нравственных ориентиров. Затмилась духовная ось мировой жизни — и глазам иных потерянных художников мир предстал во мнимой бессмысленности, несуразным нагромождением обломков.

Да, сегодня мировая культура конечно в кризисе, и глубококом. Новейшие направления в искусстве думают обскакать этот кризис на деревянной лошадке «игровых приёмов»: мол, изобрести ловкие, новые, находчивые приёмы — и кризиса как не бывало. Напрасные расчёты: на пренебрежении высшими смыслами, на релятивизме понятий и самой культуры — ничего достойного не создать. Здесь просвечивает, но не светом, а багровостью, нечто большее, чем явление только внутри искусства.

Мы можем пристально уследить, что в этих повсеместных и как будто невинных опытах по отказу от «застарелой» традиции заложена в глубине враждебность ко всякой духовности. Что за этим неутомимым культом вечной

новизны — пусть не доброе, пусть не чистое, но лишь бы новое, новое, новое! — скрывается упорный, давно идущий подрыв, высмеивание и опрокид всех нравственных заповедей. Бога — нет, истины — нет, мироздание хаотично, в мире всё относительно, «мир как текст», который берётся сочинить любой постмодернист, — как всё это шумно, но и беспомощно само в себе.

Уже несколько десятилетий в мировой литературе, музыке, живописи, скульптуре проявляется упорная тенденция не в рост, а под уклон, не к высшим достижениям человеческого духа и мастерства, а к разложению их в дёрганой и лукавой «новизне». Для украшения общественных мест выставляются скульптуры, эстетизирующие прямое уродство, — и мы уже не удивляемся тому. А если бы инопланетяне стали ловить из эфира нашу сегодняшнюю музыку — как бы они могли догадаться, что прежде у землян были и Бах, и Бетховен, и Шуберт — но отставлены за устарелостью?

Если мы, создатели искусства, покорно отдадимся этому склону вниз, если мы перестанем дорожить великой культурной традицией предшествующих веков и духовными основами, из которых она выросла, — мы поспособствуем опаснейшему падению человеческого духа на Земле, перерождению человечества в некое низкое состояние, ближе к животному миру.

Однако — не верится, что мы до этого допустим. И даже в тяжело больной России — мы с надеждой ждём, через какой-то срок обморока и молчания, — оживающего дыхания русской литературы, а затем и прихода свежих сил, наших младших братьев.



ОЛЬГА ГРЕЧКО

*

ГОРНОСТАИ И ЛАСКИ

Причитание

Русь очнулась в белокаменных развалинах святых.
Я очнулась, молодая, среди сверстников седых.
Молодая-золотая, а все кругом из серебра.
За столом, мол, тесно, так что будь добра...
Ах, вовсе и не тесно — бездна, а не стол!
Но какое, неизвестно, меньшее из зол:
то ли скатерть-самобранку на травке расстелить?
то ли птичек в поднебесье попросторней расселить?
Я летального исхода не боюсь, — и ты не трусь.
Да внизу-то, в белокаменных развалинах, Русь.
Над скорлупкой беленькой радостно кружить.
Да каково ей, матушке, деток пережить!
Соловей мой, жаворонок, с изюмом пироги.
А уж лебединую свою прибереги.
Не распробовавшим хлеб не един,
далеко до матушкиных седин...

Дом и сад

1

Сидим на свежих сосновых досках.
Закрываю глаза, расставляю мебель:
стол и шкаф для посуды, а спать — на печке.
Жалко спать — всю ночь над крыльцом
сосны скрипят.

Всю жизнь...

2

Я люблю, когда молча в саду
поливают левкой и астры.
Я люблю перехватывать взгляд
и что нужно тебе подавать:
грабли, ножницы, лейку, скамейку,
а в обед — полотенце с плеча.
Я люблю твой привязывать слух
не к себе, а к вьюнку.

Граммофоны
старомодно, лилово звучат.

Дай мне волю — так я бы трубила!
 Не давай же мне воли трубить!
 Ни растенья нельзя торопить,
 ни любовь,
 ни Господнего Ангела...

Крысы на огороде

1

О голоде, холоде, о российском помиранце —
 не о цветочках, а за цветочками поземка фаты...
 Бедные дети в расчесанном и пятнистом румянце —
 от стуженки, турецкого чая, московской водопроводной воды.
 Бедные дети, — а мне почему-то не жалко их, а сладко:
 держатся за руки, и переглядка им как шоколадка.
 Только дети и видят, как первый снег, до конца не растаяв,
 из крыс на твоём огороде сотворил горностаев.
 Тебе есть в чем разгуливать по королевству морковки и репки:
 в горностаевой мантии, в короне поверх клетчатой кепки.
 А то голый король надоел всем, на каждом шагу попадался,
 направо-налево кланяясь, рогатой короной бодался.
 И сам, их величество, не чуял, как портные над ним подшутили.
 Уж лучше бы честно, из ружей, охотники изрешетили.
 Бедные дети — не бедные, а которые между грядок
 на горностаев охотятся, охраняя крысиный свой миропорядок.

Бедные дети, — а с какой мне их стати оплакивать и жалеть:
 так уютно простудой, при бабушке, хоть всю неделю болеть,
 пока в классе отличник безошибочно, а главное, бескорыстно
 на чудесного горностаев пальчиком: — Нет, это крыса!..

2

Неужели уйдет из-под ног и родная земля? —
 огород твой, шесть соток всего, расхудое корыто.
 Да, ты прав: горностаи и ласки! — ведь крысы бегут с корабля.
 Горностаи и ласки! — а ласкам и сердце открыто.
 В шалаше, головой на восток, жалко утро проспять.
 И так сладко мурашки бегут, так легко прозябать,
 когда солнце вот-вот, а вьюнок, граммофон, «Рио-Рита»...
 И волна за волной подо мной, и опять, и опять...
 Нипочем нам морская болезнь, да и берег турецкий,
 чай турецкий с нуклидами, фильмы с участием Марецкой.
 Горностаевым, ласковым, нам уж ничто не грозит:
 друг у друга в гостях, а в стране и подавно транзит!
 Зазвонит колокольчик, затрубит бледнолицый вьюнок.
 Но на то и земля, чтоб однажды уйти из-под ног.
 Но на то и корабль, чтоб однажды швырнуло его на скалу.
 С корабля бы на бал, короля подцепить на балу...
 В горностаевых и ласках, ты даже от ласк похудел...
 Сверх шести своих соток чего б ты еще захотел?
 ...Но любовь не вещь, родительский дом не пустяк.
 Огород ли, корыто — а российский как вкопанный стяг!
 На шести твоих сотках, пустившихся по морю, по миру в пляс,
 как на поле стоим Куликовым — и Сергей за нас.

Серое дерево севера

В. Шагинову.

Серое-серое
дерево-дерево
севера-севера...

.....
Баньки вдоль реки,
на воде круги,
колеса дождя.
В зарослях ирги
бревенчат и дощат
серый-серый
север-север...

.....
Баньки вдоль реки.
Равнина заострена
крестом.

Мне теперь с руки
твоя, брат, старина.
Моя еще свежа,
ах, так она свежа,
что капает с ножа.
Проспали сторожа!

.....
Огороды, бревна серые,
баньки да прясла.

То люблю тебя, как «Верую!»,
то — в любви погрязла.
А на севере седом
Вали Шагинова дом.
Тянет, темную, к рутине —
от кубов, шаров, миров.
Я живу в его картине,
отгоняю комаров.
Со двора — и к печке жмусь.
Отогреюсь да примусь.
А то яблоньку сажали,
холодами испужали,
все цветочки на полу.
Как — без платья на балу?!

.....
Баньки, баньки вдоль реки,
серенькие баньки.
Мы с тобой не дураки,
просто ваньки-встаньки.
В бок толкают нас, толкут
пестиком в аптеке.
Но куда хотят текут
северные реки...
.....

Приручение

В ответе за всех, кого приручил...
Экзюпери.

Это ты добываешь вручную
мою душу — лесную, речную,
всю — в стрекозах на мокрых плечах,
всю — в просветах, пробелах, промашках,
всю — в разгаданных кем-то ромашках,
всю — в громадных своих мелочах.
У нее вот такие глазичи,
и не много ей надобно пищи,
чтоб со скорбью срастись мировой.

А ты кормишь ее пирогами:
моешь руки, разводишь руками,
удивляешься, видишь впервой.
Приручил, прикарманил, присвоил,
сам того же, наверное, стоил, —
но тебе я не больше чем друг.
Это ты добываешь вручную
мою душу — лесную, речную, —
а я чашки роняю из рук.

* * *

В светающем окне, в полете занавесок,
в обрезях золотых старинных словарей...
Ты в воздухе самом, каким дышу, и весок
сей довод в пользу дня — взойди и обогрей!
Ты солнышко мое, ты ясное такое.
Увижу и пойму, в чем путалась впотьмах.
Ты птица надо мной, ты вечного покоя
упругое крыло, вибрирующий взмах.
Живая желтизна в сквозистых перелесках.
В какую глубь земли умерших ни зарой,
мы встретимся с тобой в золотоглазых фресках,
откуда вдруг пахнет известкою сырой.

Подарок

Легкий день, ни о ком не подумаю плохо.
 Распушился вдоль леса иван-чай, одуванчик, осот.
 А в сердитой на вид и рогатой головке чертополоха
 промышляет пчела

...тяжела, донести бы добычу до сот!
 Знают птицы и пчелы толк и сладость в несении тягот.
 Научиться бы тоже сушить то крыло, то весло —
 и в подарок принять эту на день всего лишь, иль на год,
 иль навеки любовь —
 если б нам с тобой вдруг повезло...

Свет

Любимый, спасибо, что я научилась светиться во тьме,
 что я улыбаюсь, смеюсь, хохочу через силу.
 «Люблю тебя», — пишем, а все наши беды в уме.
 Наружу не выпущу, нет!

...одеялом пожар погасила.
 И буду внутри так тиха, так легка и светла,
 что скажешь: не женщина это, а берег, ветла,
 седой одуванчик, гонимая ветром пушинка,
 течение реки — и прохлада, лампада, кувшинка.
 Я буду всем этим, я стану, я очень стараюсь.
 Я ликом стираюсь — за горизонт стираюсь.
 И в сумерках тесных, свергая за фетишем фетиш,
 ты светом на свет поневоле ответишь, ответишь!

Кувшин

Как ты не слышишь: ветер — из стихов, —
 не осязаешь в пальцах глины.
 Грей, мни, лепи — до первых петухов!
 Успей налить — ну хоть до половины.
 Немало женщин в форме кувшина,
 но то он пуст, то в нем перебродило.
 А есть — жена, в ком не искажена
 та Божья суть, что форму породила.
 Тебе с посудой глиняной везло,
 а на шкафу так даже тесновато.
 Но — за чужое взялся ремесло.
 Прости меня, что я не виновата!
 Свои в любви познанья углубил,
 добыл огонь, потратив час на тренье.
 Но — не любил, пока меня лепил.
 А Бог любил — и удалось творенье.

* * *

Под горячей кремлевской стеной,
 в одуванчиках и чистотеле,
 ощущаю бескрылой спиной,
 как две белые птицы взлетели.
 Так и быть, та, что выше, — твоя!
 А своей, круг за кругом снижая,

говорю: — Ты ему не чужая,
 дай проведать чужие края...—
 Даже если гнезда не сошьем —
 прикасаясь то грудкой, то спинкой,
 мы еще полетаем вдвоем
 над Большой и над Малой Ордынкой...

ВЛАДИМИР ШАРОВ

*

ДО И ВО ВРЕМЯ

Роман

Скучая в деревне, шестнадцатилетняя Екатерина Францевна Сталь зиму 1878 года прожила в Тамбове в купленной за несколько лет до того на ее имя маленькой усадьбе, которая окнами выходила на городской парк. Она любила этот смешной, совсем игрушечный особнячок, и с тех пор, как он стал ее, полюбила и Тамбов. Вокруг ее дома в эту зиму образовался даже свой небольшой кружок, нечто вроде салона — сплошь франкофилы, и она впервые после Парижа снова начала принимать. Все действительно было маленькой копией Парижа, даже дни де Сталь оставила те же: вторник и пятница. Много она выезжала и сама не пропускала почти ни одного бала в губернском дворянском собрании. На таком балу уже в конце зимы она познакомилась с неведомо как попавшим в Тамбов молодым очаровательным грузином. Целый вечер они буквально не отходили друг от друга, танцевали, пили шампанское, снова танцевали — танцевал он изумительно. Она явно им увлеклась, ей было хорошо и совершенно безразлично, что она нарушает все приличия. Когда бал закончился, де Сталь, не заезжая в свой особняк, никого и ни о чем не предупредив, повезла его прямо в Сосновый Яр. Он прожил у нее семь дней, которые они буквально не вылезали из постели, а потом она вдруг как-то сразу почувствовала, что он ей надоел. Она сказала ему — звали грузина Виссарион Игнаташвили, — что ему пора ехать, дольше их отношения продолжаться не могут: она и так непоправимо скомпрометирована. Еще она сказала Игнаташвили, что знает, что он не богат, хоть и князь, и хочет быть ему полезна в благодарность за эту незабываемую неделю. Но князь повел себя очень гордо, взять деньги наотрез отказался и лишь попросил разрешения рассказать ей одну очень странную историю. Она разрешила.

Сюжет был такой: отец Виссариона Игнаташвили Георгий принадлежал к одному из самых знатных и богатых сванских родов. Но в три года он остался сиротой, и к тому времени, как мог сесть на коня и держать в руках оружие, соседи успели захватить почти все его земли, хуже того, переманить к себе его людей. Жить Георгию Игнаташвили было не на что, он бежал из Сванетии в Чечню, набрал там на последние деньги несколько десятков головорезов и, вновь вернувшись в Грузию, скоро сделался известным абреком. Изловить его не могло ни правительство, ни многочисленные местные отряды. К своим сорока годам он сумел по большей части силой, но иногда и деньгами восстановить родовые владения, после чего, щедро наградив, распустил свой отряд. Это была непростительная ошибка. Ровно через месяц, в день, когда он праздновал свадьбу со знаменитой имеретинской красавицей Саломеей, в его замок ворвались соседи; молодые только что ушли в опочивальню, люди же князя, их теперь было совсем мало, сплошь были пьяны и не оказали никакого сопротивления. Георгия Игнаташвили — он еще не успел лечь в постель, лишь разделся, — прикрыв рубахой, вывели на двор и немедленно повесили.

Все это произошло неправдоподобно быстро. Отец был ловок, силен, за двадцать лет, что он провел в набегах, бывало всякое, но из любой переделки ему удавалось выбраться целым и невредимым, он даже ни разу не был серьезно ранен. А здесь он, человек редкой храбрости, повел себя так, будто сам хотел

умереть. А ведь это был его дом, в своем доме и жалкий трус сражается, как лев, он же и руки на них не поднял, принял все как монах.

Спальня находилась в смотровой башне замка, то есть на самом верху, раньше это вообще была открытая широкая площадка, где стояли две пушки, но Саломея, едва брак был решен, приказала обнести площадку стенами и сделать из нее комнату — так ей понравился вид на горы и на долину Ингури, который оттуда открывался. От спальни вниз шла совсем узкая и очень крутая лестница, и отца, когда его вели, мог держать один, редко два человека, но он же здесь знал каждую дверь, каждый закоулок; кроме того, в замке были, как и везде в Грузии, потайные ходы, и один из них начинался прямо на лестнице — ясно, что у него были шансы спастись, хорошие шансы. Если бы он хоть попытался что-нибудь сделать, наверняка и люди бы его очнулись, но он, как потом говорили, шел на казнь, будто баран. Похоже, он был так потрясен своим позором, тем, что бандиты ворвались в его и Саломеи спальню в их первую ночь, нашли Саломею полуголой и он не смог ее защитить, что и вправду не захотел после этого жить. Кроме того, мать позже говорила, что он боялся бежать, потому что бандиты сказали ему, что тогда они надругаются над Саломеей, мол, им нужна лишь его жизнь, если все будет тихо, больше они никого не тронут, но если прольется кровь или он сбежит, пусть пеняет на себя: у Саломеи в эту ночь будет столько мужей, сколько их здесь есть. Они знали, как он любил ее, и отлично этим воспользовались.

Отец вообще, хоть и прожил жизнь в горах, занимался разбоем, на горца был мало похож: любил читать книги, собирал картины, в замке на его хлебах жило трое художников из Тифлиса, в Грузии он считался знатоком и покровителем искусств, и я думаю, дратья голым на глазах полуголой жены с одетыми и вооруженными людьми показалось ему таким жалким и смешным, что он решил, что легче и правильнее, не сопротивляясь, принять смерть. Было и еще одно. С Саломеей он познакомился, когда она была ребенком, дело было в Имеретии, где он жил приживалкой в доме двоюродного деда. Семья Саломеи была очень богата, и хотя они полюбили друг друга, что называется, с первого взгляда (отец и она оба были на редкость красивые), даже поклялись друг другу в верности; о том, что родители Саломеи когда-нибудь согласятся отдать дочь за него — нищего беглеца, и речи быть не могло. Отец Саломеи знал, что он влюблен в дочь, и когда Георгий уезжал, на прощание как бы в шутку сказал, что когда у Георгия будет столько же земли и скота, сколько было у его отца, пускай присылает сватов.

Собственно, из-за Саломеи он и занялся разбоем, иначе, я думаю, он принял бы свою судьбу без ропота. То, что ему с маленьким отрядом, хотя временами против них была едва ли не вся Сванетия, удалось вернуть родовое достояние, он, говорил Виссарион, считал как бы за благословение свыше. Его воспитывала в основном мать, и Георгий был человеком глубоко религиозным, соблюдал посты, мальчиком пел в церковном хоре, вообще любил ходить в церковь — среди горцев это редкость. Удивлялся он сам и тому, что ни разу не был серьезно ранен, своих всегда дрался впереди, и тоже относил это за счет Бога. Как я уже говорил, своих чеченцев он распустил сразу, лишь Сванетия признала его права на родовые земли; разбой он считал за грех, знал, что его руки по локоть в крови, в том числе и людей, совершенно невинных; десять лет он вел настоящую войну, и время разбирать, кто прав, а кто виноват, случалось у него редко. Все же то, что Саломея его дождалась и была дана ему в жены, он считал прощением Господа, и годы, которые ему еще оставались, собиравшись прожить, занимаясь богоугодными делами: хотел, например, выстроить на свои средства в Кутаиси лечебницу для увечных, а в остальном — совсем тихо, в молитве и покаянии. Веря, что именно Бог спасал его во всех переделках, он считал, что, следовательно, жизнь его принадлежит Богу, теперь же, когда Господь отнимал у него Саломею, не дав им и одной ночи, он понял это так, что Саломея получена им неправым путем, Господь ничего ему не простил и простить не готов. Но тогда зачем ему было жить? Вот он и не сопротивлялся.

Хотя Саломею пытались задержать и в спальне, и на лестнице, она выбежала во двор в то мгновение, когда из-под ног Георгия выбивали скамейку. Здесь, во дворе, ее тоже хотели остановить, но вид ее был столь безумен, что в последний момент все отступали и никто так до нее и не дотронулся. Достигнув платана, превращенного в виселицу, она прыгнула вверх и, ухватив мужа за шею, повисла на нем. То ли она хотела напоследок обнять его, запомнить его тело, то ли думала своим весом быстрее затянуть петлю и сократить его мучения. Выглядело это, как

будто повешены они оба. Картина была настолько страшная, что все, кто был тогда во дворе, оцепенели, никому и в голову не пришло подойти и, расцепив ее руки, увести в дом.

Едва Саломея прижалась к мужу, она почувствовала, что плоть его поднялась, плоть Георгия поднялась с такой силой, что Саломея вдруг показалось, что она может больше не держаться за его шею, плоть удержит ее сама. Зубами она слегка подтянула рубаху вверх, она была все в той же своей льняной рубахе, чуть-чуть раздвинула ноги, и этого хватило: тут же она почувствовала, что он вошел в нее. Этому, сказал Виссарион мадам де Сталь, кстати, не следует удивляться — случаи эрекции у повешенных нередки, они даже описаны в медицине: веревка перетягивает сосуды на шее, но сердце еще продолжает гнать кровь, и та, устремившись вниз, наполняет плоть.

Потом Саломея поняла, что не только плоть мужа, но и семя его в ней; в голове ее поплыло, и она, все так же вцепившись руками и ногтями в его шею, потеряла сознание. Оргазм их слился с его предсмертными судорогами и хрипами, и хотя десяток людей стояли чуть ли не вплотную к дереву, никто ничего не заметил. Ее сняли и отнесли в дом, когда он уже давно затих.

Набег кончился, бандиты, и вправду ничего не взяв, ускакали. Саломея как будто совсем пришла в себя, была спокойна и тверда. Она велела отвести себя обратно в спальню, и там под ее наблюдением в ту же ночь были тщательно заложены камнями все три окна и дверь. Она разрешила оставить лишь два отверстия, оба размером в кирпич: одно в окне, чтобы знать время дня и ночи, другое в двери, через которое ей должны были давать пищу.

Спустя два месяца, когда разговоры об этой страшной свадьбе стали сами собой утихать и домочадцы по взаимному уговору начали стараться жить так, будто ничего не случилось, был сделан целый ряд попыток уговорить Саломею прекратить заточение и выйти из кельи. Для этого сюда, в Джари, дважды приезжали родители Саломеи, но особенно настойчивы были тетки Георгия. Дом остался без мужчин, и они страшились, что, как и в его малолетстве, все у них будет отнято, а сами они изгнаны из родных мест. На руку Саломеи объявилось к тому времени немало претендентов из влиятельнейших грузинских родов, и оба семейства были заинтересованы в том, чтобы по возможности скорее выдать ее замуж. Сначала близкие считали, что убедить Саломею в необходимости этого шага будет несложно. Жизнь ее с Георгием так и не была начата, следовательно, ее привязанность к нему вряд ли могла быть особенно сильной; чем дальше все это уходило назад, тем лучше она, молодая красивая женщина, должна была понимать, что ни ей, ни даже Георгию не нужно, чтобы она ставила на своей жизни крест. Собственно, это ее мать и тетки Георгия ей и хотели сказать. Однако ни с кем из них она разговаривать не пожелала, и в конце концов они отступились, решив, что лучше оставить ее в покое. Время, как известно, лечит, может быть, когда-нибудь она сама захочет вернуться в мир. Сейчас же торопить ее не надо.

Полностью в Сванетии эта история забыта, конечно, не была, наоборот, о Саломее скоро распространилась слава как о святой, были даже случаи паломничества; по этой причине никому и в голову не пришло пожить хотя чем-нибудь из того, что осталось после Георгия, и тетки его скоро успокоились. Вообще, как ни странно, в горах о Саломее помнили больше, чем в ее собственном доме; два раза в сутки служанка носила ей самую простую еду: хлеб, сыр, немного зелени, а так — будто ее и не было. К тому, что она замурована, что ее не видно и не слышно, домочадцы настолько привыкли, что, когда в начале декабря, впервые после свадьбы, которая была пятого апреля, в доме вдруг снова раздались ее ужасные крики, тетки решили, что она сошла с ума, и долго колебались, прежде чем все же приказали разобрать дверь. Это оказалась длинная работа, и когда в кладке удалось проделать достаточно широкое отверстие, чтобы войти в комнату, Саломея давно затихла. Думали, что она умерла, — как же все были изумлены, обнаружив рядом с ней только что родившегося, с еще не обрезанной пуповиной младенца.

К подобному повороту и родные Георгия, и родные самой Саломеи были готовы, конечно, мало, хотя разногласий — признавать ребенка за сына Георгия или нет — не было: они и похожи были с Георгием словно две капли воды. Все решили, что она и муж успели быть близки до того, как бандиты ворвались в замок, после чего история эта была, в общем, исчерпана.

Саломея заняла в доме свое законное место, то есть сделалась в нем полной хозяйкой, и стала воспитывать сына. В семь лет она рассказала ему во всех деталях о дне свадьбы — прежде мальчик знал, что в этот день отец его погиб, но подробностей не знал никаких — в замке на сей счет существовал строжайший запрет, рассказала даже то, как он был зачат. Затем она потребовала от него клятвы, что в день совершеннолетия он начнет мстить убийцам отца и не остановится до тех пор, пока последний из них не окажется в могиле. Он обещал. С этих семи его лет она начала делать все, чтобы он вырос настоящим мужчиной.

Лучшие в Грузии абреки учили его верховой езде, стрельбе из пистолета и ружейной стрельбе, от них же он перенял умение владеть саблей, кинжалом; в ярмарочные дни она заставляла его участвовать в кулачных боях и бывала счастлива, если он побеждал и приносил в дом какую-нибудь награду. В замке для него был установлен очень суровый режим: спал он в комнатах, которые не отапливались даже зимой, ел ту же еду, что и простые горцы, носил то же платье, что и они. Она не забывала ни на один день, что растит его для мести, и признавала в этой жизни только то, что могло этой мести помочь. Она хотела, чтобы он был сильным и выносливым, и он каждое лето вместе с пастухами перегонял отары овец на горные пастбища, по многу месяцев охотился; как-то она завела такой порядок, что из еды ему дома давали только хлеб и вино, все остальное — его добыча. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, ей показалось, что и этого мало, и она, чтобы закалить его характер, раньше подобное было принято в знатных грузинских семьях, на два года отправила его в осетинский аул, в дом одного из нукеров Шамиля.

Но того, что Саломея хотела, она не добилась. Наоборот, к семнадцати годам он возненавидел всякую смерть и кровь, даже охота сделалась для него мукой. Возможно, выношенный и рожденный в келье, он просто был трус, хотя, если вы помните, и его отец, несмотря на то, что двадцать лет занимался разбоем, ребенком был другой: любил ходить в церковь, любил молиться, читать жития святых, и судьбу свою он готов был принять со смирением, и только она, Саломея, сбила его тогда с этой дороги. И потом, вернув родовое достояние, он тоже собирался вести жизнь совсем тихую, молиться, помогать калекам, сиротам, бедным. Это она, Саломея, жаждала крови, это она не умела забывать обиды, не умела прощать, но сын пошел не в нее. Если бы Виссарион не был единственным ребенком в семье, он бы с радостью стал монахом; насилие вызывало у него такое отвращение, что он первый в их роду даже выбрал для карьеры не военное поприще, а гражданское. К его совершеннолетию он и мать сделались друг для друга совсем чужими людьми, она его едва ли не ненавидела. Зная, что жить вместе они больше не могут, он уехал из Сванетии в Тифлис, поступил в службу, но она через месяц последовала за ним, поселилась в соседнем доме и каждый вечер приходила к нему требовать, чтобы он сдержал клятву и начал мстить. Раз за разом он под каким-нибудь предлогом уклонялся; продолжалось это три года, когда ему исполнилось двадцать два, она поняла, что надежды ее напрасны: мстить за отца он не будет. Она вернулась обратно в Джари и там в их с Георгием спальне покончила с собой.

Когда Виссариону сообщили об этом, он впал в такое отчаяние, что тоже думал наложить на себя руки, потом решил бежать. У него не было сил видеть мать, да и вообще оставаться в Грузии, но на полпути он одумался и заставил себя поехать на ее похороны. В Джари родные держали его фактически в заточении и отпустили лишь после сороковин. Все это время он почти не выходил из своей комнаты, потому что стоило спуститься в деревню, как его же крестьяне плевали ему вслед, да и в доме никто не скрывал, что считает его виновным в смерти Саломеи. Позже он уехал в Россию, сначала жил в Одессе, в Петербурге, но везде находились люди, которые знали его и его историю, и он снова переезжал. Только в провинции, в небольших губернских, еще лучше уездных городах, где мало чужих, ему никто не мешал.

«В сущности, — закончил Виссарион, — глупо скрывать, что этот человек — я, вы, наверное, и сами это давно поняли. Так я теперь и живу: всегда помня, где и как я был зачат и из-за чего моя мать покончила с собой. Я бы давно последовал за ней, но тогда ни отец, ни она отомщены уже никогда не будут. Теперь о том, почему я решился это вам рассказать. Вы очень похожи на Саломею, так же прекрасны, как она, и в вас есть такая же твердость и сила, что и в ней. Женщин, подобных вам, я раньше не знал, и я хочу обратиться к вам с одной очень

странной просьбой. Странная история и, как венец ее, странная просьба, — повторил он. — Можно?»

«Я слушаю», — сказала де Сталь.

«Просьба следующая, — он опустился перед ней на колени, — я умоляю вас родить мне сына, который смое позор с моего отца и с меня».

Нечто подобное она ожидала и все равно, когда услышала, не удержавшись, захохотала. Он плакал, она смеялась, потом успокоилась, поцеловала его и неожиданно легко согласилась. Она вообще любила рожать детей, это было самое большое и самое доступное чудо из всех, какие она встретила в жизни. Раньше она часто думала, что было бы хорошо, если бы на память о каждом любовнике у нее осталось по ребенку. С Виссарионом они прожили еще полтора месяца; наконец она убедилась, что беременна, к тому времени он совсем ей надоел, и расстались они очень холодно.

Последние месяцы перед родами она, как обычно, провела в Петербурге, здесь же 21 декабря разрешилась от бремени здоровым крепеньким мальчиком, которого через неделю, даже не окрестив, отправила с кормилицей в Грузию, по тому тифлисскому адресу, что был оставлен ей Виссарионом. Больше о ребенке она никогда не думала и никогда его не вспоминала. Потом, когда судьба неожиданно свела их вновь, она об этом очень жалела, винила себя, что его жизнь сложилась так непросто.

Отец мальчика, Виссарион, спустя год выгодно женился, по протекции тестя получил большую должность в Тифлисском генерал-губернаторстве и взята к себе Иосифа — так он его окрестил — не осмелился. Он не скрывал, что он его отец, не скрывал имя матери мальчика, но не поселил его ни в Тифлисе, ни даже в Джари у своих теток, а отвез ребенка в Гори и отдал там на воспитание в семью, издавна связанную с родом Игнаташвили. В Гори уже жили двое бастардов Виссариона от его прошлых связей, и в городе для различения их именовали по фамилиям матерей — так Иосиф Игнаташвили стал Иосифом, сыном Сталь, или просто Иосифом Сталиным. Видите, Алеша, закончил Ифраимов, Сталин, увы, вовсе не миф, как это думает Прочич. Такой человек действительно был, правда, официальная версия его жизни, та версия, что нам известна, о многом умалчивает.

В 1879 году де Сталь исполнилось семнадцать лет, недавно она была угловатым неуклюжим подростком, но, родив ребенка, она вдруг вся как бы смягчилась: и голос, и движения, и кожа — все в ней сделалось женщиной, она была молода, хороша, прелестна, кажется, никогда раньше она не была так хороша собой. Впервые за долгие годы она была счастлива, переполнена жизнью, жизни в ней было столько, что она сама ее рождала, и это то же, как с хлебами, — ее было больше и больше. В ней вдруг появилось ощущение, которого она раньше не знала и теперь поняла, как ей его не хватало: что это надолго, что Господь наконец-то повернулся к ней, о ней вспомнил и все у нее теперь будет так, как она мечтала девочкой.

Она видела, что время, которое грядет в России, — ее, будто под нее создано, то есть она не зря длила и длила свою жизнь. Она уже изверилась, отчаялась, но вдруг и здесь, в России, все ожило, проснулось. Господь словно вернул ее на сто лет назад, в ее французское детство, дал еще попытку. Во всем действительно была бездна жизни, люди очнулись; куда бы она ни смотрела, она ничего не могла узнать: другая литература, другая музыка, другой театр. Играя, она перечисляла все, что могла вспомнить, все, что попадалось ей на улице, прежним не было ничего: даже моды менялись теперь куда быстрее, чем раньше. Все друг с другом спорили, ругались, все шло на повышенных тонах, люди поняли какие-то очень важные вещи, может быть, решающие и для России и для мира, и больше не могли выдержать своей немоты, рвались сказать, выкрикаться, что угодно — только бы быть услышанными.

Бились насмерть адвокаты с прокурорами, журналы и газеты готовы были перегрызть друг другу глотку, появились самые разные группировки, партии, кружки, некоторые по-настоящему подпольные, дисциплинированные, напрямую созданные для террора и революции. Ладно бы только это, но и чиновники не могли сговориться с правительством и между собой, и военные не могли, и церковь с мирянами. Раньше дела делались в России чинно: благопристойность и чинность — вот что ценилось, и еще, конечно, послушание — мать всех добродетелей; тот, кто хотел сделать карьеру, хорошо жениться, должен был быть послушным, знать свое место, знать, что устои есть и устои эти незыблемы, помнить, что даже усомнившийся, не то что их поколебавший, будет отвержен.

Прежде люди здесь были покойны и жили долго, потому что знали, как им жить, наука была проста — живи, как жил твой отец, дед; в сущности, это была совсем не плохая жизнь. На смертном одре каждый сравнивал, какое приданое получил он и какое его отец, в каком чине отец вышел в отставку, а в каком он, и, в общем, они отходили к Богу умиротворенными. Конечно, они тоже грешили, но делали это скрыто, грех был боязлив, таился, и публично на нравственность никто посягать не смел.

И вдруг как-то разом, резко Россия потеряла вкус к такой жизни. Все стало казаться ей пресным, пустым, недостойным, ни в чем не было удали, размаха, и Бога тоже не было, и милости, не было и сострадания, в самом деле — разве стоит жить, чтобы получить несколько тысяч приданого, к концу жизни дослужиться до надворного советника и родить детей, точно таких же, что и ты сам. И зачем им проходить твой путь, зачем по нему идти, когда ты его уже прошел и все до последнего шажка можешь им рассказать, все приемы: и как бумагу составить, и как угодить начальству, и как взятки брать. Они вдруг открыли, сколько вокруг горя и несчастья — увечные, голодные, больные, — и стали смотреть в ту сторону: сначала просто нельзя ли чем-нибудь помочь, как-нибудь облегчить, а потом, очень скоро: разве это справедливо и правильно и как же все это может длиться так долго? Ведь так жить нельзя, нельзя это больше терпеть, что-то надо делать, надо немедленно что-то делать, раз такое возможно, значит, все прогнило, все ни к черту не годится, и вот он, смысл жизни, — все надо менять, именно им все придется менять, они вытянули счастливый жребий. Конечно, им будет тяжело, но они готовы на жертвы, готовы на каторгу, даже на смерть, потому что погибнут они не напрасно, зло уйдет из этого мира, они освободят от него людей. Они сделают так, что все здесь, на земле, а не за гробом будут сыты и счастливы. Конечно, тем, кто будет жить завтра, будет лучше, чем им, но они не узнают главного — счастья жертвовать собой, отдать жизнь за другого, может быть, даже за все человечество. И они завидовали себе, что Господь избрал именно их.

То, чем была Французская революция, все это сумасшествие, растянувшееся почти на тридцать лет, де Сталь знала от первых прелюдий до официального конца — Реставрации. Не только сейчас, но и раньше мало кто помнил то время так, как она; в ней всегда было удивительное любопытство, удивительная жажда жизни, она умела смотреть и умела видеть: в ней не было высокомерия людей, знающих тайные пружины событий; и ничего из того, что было, не прошло мимо нее. Многое, если не все, она знала и изнутри, но никогда не переоценивала эту свою причастность; наоборот, ее очень рано поразило, насколько результаты, казалось бы, самым превосходным образом разработанных планов, где были и резервы, и любая страховка, а противник был слаб или его даже вообще не было, как мало эти результаты соответствовали ожиданиям. В сущности, она давно склонялась к тому, что революция — это все-таки действительно время власти народа, народ во время революции делался вдруг странной и непонятной линзой, в ней, столь же быстротекучей и изменчивой, как вода, были перемешаны совсем не сны, но очень хорошие мечтания о радости, милосердии, любви к ближнему с ненавистью и жаждой крови, какую встретишь лишь у маньяка. Приспособиться к этой линзе было невозможно и узнать то, что через нее прошло, никто тоже не мог.

Де Сталь видела, как у самых умных советников сначала Людовика, затем по очереди следующих за ним правительств опускались руки и они прозревали, что кто-то другой, отнюдь не они, правит событиями. Тогда она и вывела для себя важнейший закон революции — она темна и неведома, никому не дано знать, кто ее избранник, кого, когда, почему она вынесет на поверхность, где его найдет: среди людей, собирающихся по вечерам в бывшей церкви святого Якова или в ее, де Сталь, салоне, а может быть, она остановит свой выбор на маленьком корсиканском лейтенанте. Скорее всего она возьмет их всех, каждому из них, а еще другим будет дано быть победителями и триумфаторами, но, увы, лишь немногим — долго. Народ, творец этих властителей, будет их перебирать, тасовать будто карты, и когда ему надоест это занятие, когда он успокоится и на ком примирится — никому не известно. Поэтому трудное в революции — не захватить власть, а ее удержать. Проживя и переживя революцию в Париже, де Сталь в России тех лет чувствовала себя пифией, оракулом, которому как высшей силе открыто грядущее. Временами она скорбела, страшилась того, что видела, и все равно все это безумно, до вожделения любила; любила каждый день своей

новой жизни, молила и благодарила Бога, что ей опять это дано. Что вернулось то, что было ее молодостью.

Конечно, чтобы не упустить ничего из этого времени, ей надо было поселиться в Петербурге, тут не было сомнений, она это хорошо понимала. Петербург был для России тем же, что Париж для Франции. Прочая Россия вместе с первопрестольной Москвой могла протестовать, сколько ей вздумается, это ничего не меняло. И что будет с Россией, куда она пойдет, чем станет, конечно же, решалось здесь. С Петербургом ее многое связывало, в Зимнем когда-то ее очень торжественно принимал император Александр, и не этот, нынешний, а первый — победитель Наполеона. Она даже удостоилась нескольких личных аудиенций, это были очень долгие свидания, они успели тогда переговорить о куче вещей, успели хорошо узнать друг друга и проникнуться взаимной симпатией. Никто из без малого двух десятков больших и малых монархов, что ей довелось встретить в жизни, не произвел на нее столь благоприятного впечатления, как русский царь, и она не скрыла это от него. Хорошо она была принята и петербургским светом, с некоторыми семьями, несмотря на краткость своего пребывания в России, даже близко сошлась. Так что воспоминания, оставшиеся у нее от Петербурга, были приятны, и она, сидя у себя в гостиной в Сосновом Яре, любила перебирать эпизоды того петербургского лета, это были как бы ее реликвии. Она знала, что никого из ее знакомых давно уже нет в живых, следовательно, ничего не вернешь, но поминала и их, и жизнь, которой тогда жила, с нежностью и грустью.

И трое сыновей, рожденных ею от Федорова, все с той же гувернанткой по-прежнему жили в Петербурге. Датчанка приехала в Россию, чтобы накопить денег, потом вернуться в Копенгаген и выйти замуж, но вот жила уже здесь почти пятнадцать лет, де Сталь платила ей щедро, та была аккуратна и скупа, значит, давно приданое было ею собрано, но она никуда не уезжала, а в последние годы даже перестала об этом говорить. Сталь видела, что и она привязалась к детям, считает их за своих. Как и ей самой, датчанке нравилось, что они так и остались младенцами; они выросли, были красивы, ухожены, нарядно одеты — и все равно сущие младенцы. Наверное, поэтому, стоило де Сталь приехать, войти в дом, сесть рядом с их кроватями, все в ней успокаивалось, она переставала тревожиться, вечно чего-то ждать и хотеть. Душа их была чиста, как у ангелов, и жили они тоже как ангелы или как птицы небесные — не пахали, не сеяли, но были сыты. Господь питал их из своих рук. Сталь часто думала, что совершится чудо, сделайся они обыкновенными мальчиками, она была бы огорчена. Пока она жила в Тамбове, посещение детей было целым предприятием, теперь, поселись она в Петербурге, она могла бы их видеть каждую неделю, так что она не особенно и раздумывала.

Квартиру де Сталь наняла в очень красивом месте — на Васильевском острове, вокруг с трех сторон была вода, а за водой, по левую руку, Петропавловская крепость со своим шпилем, по правую же — давно любимый ею Зимний дворец. Квартира была большая и уютная, она выбирала долго, чтобы отсюда уже никуда не переезжать. И все же она в Петербурге не осталась. Она знала совсем другой город, он был для нее населен совсем другими людьми, и она то и дело путала тот Петербург и этот: одни и те же фамилии, одни и те же имена, те же дворцы. Прошлый город был для нее живее нынешнего, и она, как старуха, раз за разом попадала впросак — императора звала не Александром Николаевичем, а Александром Павловичем, а то еще смешнее: внучек принимала за их бабушек и обижалась, что они не делают ей визитов. Конечно, это было не страшно: она быстро привыкала к новому Петербургу и путалась с каждым днем меньше, но однажды ей нестерпимо стало жалко того, что уходило, и так от него уцелело мало, ее воспоминания разрушались, гибли, и она вдруг удивилась, зачем ей это надо. Физически в Петербурге ей тоже было плохо — она часто простужалась, болела; привыкнув к куда более здоровому климату центральной России, она здесь зябла, никак не могла согреться, ходила по дому в шубе, жгла камин; врач, пользовавший ее, советовал уезжать, говорил, что город не для ее легких, она южанка. Но она колебалась, а когда решила перебраться в Москву, то сделала это не из-за воспоминаний и не из-за климата, не потому, что хотела избавиться от этих пронизывающих ветров с Финского залива; было еще одно обстоятельство, звавшее ее в Москву, но в нем она не желала себе признаться.

В последние месяцы до нее стали доходить слухи, что в Москве в румянцевской библиотеке работает библиотекарем какой-то Федоров, совершенно необыкновенный философ-энциклопедист, кроме того, человек святой жизни,

все свое жалованье до последней копейки отдающий недостаточным студентам, в общем, настоящий божий человек. Конечно, Федоров — очень распространенная русская фамилия и этот человек мог оказаться кем угодно, но почему-то в ней твердо засело, что это ее Федоров, и она вдруг поняла, что ее по-прежнему к нему тянет, что она опять хочет его видеть. Она знала, что если это тот самый Федоров, искать с ним встречи жестоко, скорее всего, он просто ее не признает, как не узнавал раньше, если видел вне гроба; если же все-таки он поймет, что она, де Сталь, — Спящая царевна, для него это будет страшным ударом, это будет значить, что ее, юную и прекрасную, оживил и воскресил не он, кто-то другой; ему же, Федорову, не хватило любви, не хватило веры, чтобы разбить злые чары. Подобный риск был, и из-за него одного она не должна была ехать в Москву, но она знала, что ничего не сможет с собой сделать, знала, что все равно поедет и найдет Федорова в первый же день и успокоится, только если это другой. Лишь много позже, уже в Москве, она наконец поняла, почему ее так тянуло к Федорову: их прошлое — хрустальный гроб, свечи, альков — это было оставлено позади, и она ничего не собиралась воскрешать, но в ней вдруг появилось ощущение, что Федоров и есть источник грядущей революции, истинный ее корень; в отношении Федорова и Петербург и Россия были вторичны, всё вообще было вторично, всё было его учениками, и она, чтобы быть принятой революцией, сначала должна прийти к нему.

«Московская жизнь мадам де Сталь, — продолжил на следующий день Ифраимов, — мне знакома очень и очень фрагментарно. И на то есть причины».

Произнесено это было медленно, четко, так что на сей раз у меня и сомнений не было, что Ифраимов пришел не просто со мной поговорить, а диктует мне текст, причем в том виде, в каком ему желательно, чтобы он вошел в «Синодик». В сущности, и бесцеремонность Ифраимова (раньше я за ним никогда подобного не замечал, а тут я пришел после ужина, а он, сидя на соседней койке, меня уже ждет и безо всякого перехода, даже не поздоровавшись, начинает), и его тон, и что мне навязывают, о ком и как писать, а ведь этих людей я не знал и, конечно же, не мог их любить — это были люди не из моей жизни, а из его, для меня они были чужие, и я по самому свойству «Синодика» не должен был, не имел права их в «Синодик» включать — все это давало мне основание отказать ему. А я послушно писал, писал и в тот день, и в следующий, и дальше. Даже не знаю, почему я это делал, наверное потому, что сил пререкаться с ним у меня просто не было.

Основная из них та, не спеша диктовал Ифраимов, что на протяжении всего своего пребывания в Москве де Сталь была весьма тесно, причем с каждым годом это только крепло, связана с революционным движением. Временами, можно сказать без преувеличения, она рисковала головой и, естественно, стремилась, чтобы как можно меньше людей знали, чем она занимается. Подпольная работа есть подпольная работа, лишний свидетель здесь всегда враг. Правда, она никогда не была на нелегальном положении, для партии она была ценна именно такой, какой была, — богатая московская дворянка, владелица поместий и хлопчатобумажной фабрики (мать ее еще лет тридцать назад вложила в мануфактурное дело большой капитал, и сейчас доходы, которые Сталь получала из этого источника, чуть ли не в десять раз превосходили доходы от земли). Она была вне подозрений, и эта ее с любой стороны безупречная репутация была для революционеров не менее важна, чем те немалые деньги, которые она щедро на революцию давала.

Поселилась она, переехав из Петербурга, на Ордынке, в довольно скромном по размерам, но очень изящном купеческом особняке; он только что был выстроен хорошим французским архитектором по фамилии Дюбуа. Дюбуа в то время строил в Москве много, дом ей понравился сразу, понравилось и что особняк еще не был заселен, хозяйева решили, что он для них мал и собиравшись или строить, или купить другой. Она заплатила за него не раздумывая, хотя цена по московским понятиям была весьма высока, и, даже не успев толком обставить, переехала сюда из гостиницы. Гостиницы она всегда не любила, она была очень брезглива, и ее раздражала сама мысль, сколько людей спали на той же кровати, на которой сейчас спит она, сколько пользовались той же ванной, умывальником... Хорошая гостиница или плохая, они равно казались ей грязными и неприютными, как вокзалы.

Особняк на Ордынке сыграл в истории русской революции совершенно исключительную роль, но его неправильно было бы называть, как впоследствии не раз делалось, штабом революции; в строгом смысле слова штабом, как,

например, Смольный институт, он, конечно же, не был. Будь это так, она бы не сумела прожить в нем, причем сравнительно спокойно, почти сорок лет. Русская тайная полиция была весьма квалифицирована, аресты нелегалов следовали один за другим, временами некоторые партии не могли набрать членов даже для своих ЦК, и все же дом ее никогда по-настоящему засвечен не был. Назначение дома на Ордынке было особое: здесь русские революционеры знакомились и впервые сходились друг с другом, было это обычно во вторник или в пятницу, то есть в те дни, когда она, и это знала вся Москва, принимала. Каждый раз к ней съезжалось очень много людей, публика была пестрая, но те, кому было нужно, друг друга с ее помощью легко находили, и можно смело утверждать, что едва ли не половина антиправительственных партий и групп зародились именно тут, в ее гостиной. То, что она долгие годы не была членом ни одной из них и, значит, для каждой и для всех вместе она была своя и в то же время не своя, выводило ее из-под удара; даже если до полиции и доходило что-то, там не знали, куда ее и ее дом отнести, как их классифицировать, и сведения эти сразу попадали в разряд случайных и неинтересных.

Существовал целый ряд причин, почему ее особняк получил такое значение. Важным обстоятельством были, конечно, деньги, которые, как я уже говорил, она давала очень щедро, но и, надо отметить, очень осторожно, обычно через вторые, а то и через третьи руки. Однако куда существеннее денег было, что спустя два месяца после ее переезда в Москву у нее поселился Федоров. Федоров за те годы, что она его не видела, сделался как бы идеальным революционером, и она понимала, почему всех, кто так или иначе мечтал покончить с существующим миром, притягивало к нему словно магнитом. Она оценивала его теперь спокойно, трезво, он давно уже не был ее любовником, и ей теперь это было легко. По-прежнему он вызывал у нее сочувствие, временами даже нежность, но, в общем, они были окончательно отделены друг от друга — просто товарищи по подпольной работе. Она помнила, как в Сосновом Яре он мощно всасывал из нее все, что она знала о Французской революции, и как блистательно и легко это преломлял, приспосабливал для России, но тогда была еще только потенция, он еще только нащупывал, часто сам не веря себе, многие детали будущего устройства мира уже были ему ясны, но в целом все, конечно, было не оформлено и аморфно, и главное, сомневаясь сам, он не был готов, не знал, как сделать так, чтобы люди его послушались, пошли за ним. Теперь сомнения в нем не было.

Одно качество Федорова ее особенно поражало: он хотел разрушить мир, не оставив от этой жизни камня на камне, и в то же время и он сам, и то, что он хотел, было так вписано в Россию, так было плоть от плоти ее, что шедшие за ним думали, что это вовсе и не революция и что он не сказал им ничего нового, они это и сами знали, и предки их испокон веку это знали, он только дал понять, что пришел срок. То есть им было просто, очень просто за ним идти, от них это не требовало никакого мужества, никакой борьбы, они шли за ним совершенно спокойно, не страдая, не мучаясь, не мечась. Много значило, что он и сам был такой, совсем такой, какого они ждали. Все видели, что он святой, подвижник, его бессребреничество смешно было даже сравнивать со столь популярным у французов бессребреничеством Робеспьера. Русь была Святой землей, землей, которая была избрана Богом, чтобы вывести на дорогу спасения и повести по ней к Господу все другие народы и языки, — это они слышали от него, но то же знали и сами; и они понимали, что как они, русские, избраны среди других народов, так и он избран среди них.

Не было ни одного, кому хотя бы единое его слово могло показаться кощунством, ересью. Вот что он им проповедовал: людьми должна быть преодолена неродственность и небратство, общество должно быть устроено не как сейчас, а как любовно-соборное бытие. Христос завещал нам — Его детям, Его ученикам — превратить, преобразить христианство из молитвы в дело, этим делом должно стать спасение, восхождение всех когда-либо живших на земле людей; грехи тогда будут искуплены и жертвы возвращены, мир вернется в то состояние благодати, что было до грехопадения. Он говорил им, что чтобы христианство стало делом, они должны выйти из храмов и, соединившись, всем человечеством начать всемирную литургию. Земля-кладбище будет трапезою, и все сыны человеческие, став как бы единым сыном, сделаются орудием воли Божьей и обратят свои силы и силы рождающей и умертвляющей природы на воссоздание и преображение усопших, начнется пресуществление праха в живые плоть и кровь.

И все-таки, едва встретившись с ним, де Сталь нутром уже знала, что не ему суждено возглавить грядущую революцию. И он тоже знал, что избран не он. При всей его пророческой силе — а она видела, что любой человек, хоть раз его услышавший, готов не раздумывая бросить мир и идти за ним, — это был немощный, сломанный жизнью старик. А ведь ему тогда не было и сорока лет. Он знал, что Господь не дал ему благодати. В жизни он любил только одну женщину, день за днем, год за годом он приходил к ее гробу, он знал, что Господь еще не взял ее душу к Себе, она лишь усыплена, не мертва, а как мертвая, и все равно ему, учившему об общем спасении и воскрешении человеческого рода, не было дано разрушить чары, не было дано воскресить и ее одну. Возможно, догадывался он и о том, что Господь не захотел, чтобы он остался чистым, что у него есть дети, продлившие его, и, следовательно, время встать на тот путь, что он проповедовал, еще не пришло.

Круг почитавших Федорова учителем был чрезвычайно широк, и круг этот вслед за ним тоже целиком перекочевал на Ордынку. Состоял он из людей выдающихся. Достаточно назвать имена Толстого и Достоевского, были там и другие замечательные лица, например Владимир Соловьев; каждый из них в свою очередь имел свиту учеников, то есть Федоров был учителем учителей, и все они, повторяю, по вторникам и пятницам наполняли ее дом. Де Сталь очень нравились известные слова о том, что насилие есть повивальная бабка истории, и она, правда, это было несколько позже, если находилась в добром расположении духа, любила себя называть повивальной бабкой русской революции. Здесь было мало преувеличения. Помня, что никому не дано предугадать, какая партия придет к власти и когда, она неумоимо, как добрый пахарь, сеяла эти кружки, группы, организации, партии; в общем, всякий, кто не мог примириться и принять существующий мир, находил у нее помощь и поддержку. Кстати, на группу Эвро, которая разрабатывала программу-минимум и программу-максимум по увеличению числа гениев в России, деньги дала тоже она.

Однако, Алеша, не нужно, незачем обвинять мадам де Сталь в том, что именно она посеяла на Руси зло и смуту, именно она породила русскую революцию и, следовательно, ответственна и за нее и за бывшее дальше. Это было бы несправедливо. Отнюдь не она зачинала революцию, де Сталь очень точно назвала себя повивальной бабкой — она лишь облегчила роды. Люди, которых она принимала у себя на Ордынке, настолько остро сознавали несовершенство окружающей жизни, что не могли его вынести, они справились бы и без нее. Конечно, она желала революцию, мечтала о ней; тут была еще одна причина, почему она так страстно ее торопила, о которой я забыл сказать: она жила свою последнюю жизнь и могла продлиться, снова возродиться и воскреснуть только вместе со всем человеческим родом; а она любила жизнь, безумно ее любила и не хотела умирать. Она уже привыкла, что бессмертна, конечно, в ней был эгоизм, но правдой было и то, что ее давно угнетало, что ей одной дан этот дар, что люди, которых она любила, которые были частью ее жизни, умирают и спасти их она не в силах. Федоров воссоединил ее с человеческим родом, вернул в него, и ей теперь было хорошо, что она как все.

Она помогала этим кружкам родиться, но она редко и о единицах знала, как они жили дальше. Некоторые из них умирали сами по себе или стараниями полиции, но большинство выживало, революция была живым деревом. Они плодились и размножались когда делением, когда почкованием, когда еще Бог знает как, они смешивались и дробились, ветер разносил их споры, извините, Алеша, за невольный каламбур, по всей империи, и везде они пускали корни. И жили они по-разному, иногда сила их в корнях и была, эти были самые осторожные, дальновидные; другие, наоборот, стремились к свету, к солнцу; в безвестности, в тени они сразу хирели, вяли, эти шли в ствол, ветки; были и третьи, обычно крошечные и никому не известные группки, которые вдруг в один день расцветали каким-нибудь невиданным взрывом, ярчайшим терактом, но век их был короток, они сходили и гибли так же скоро, как подснежники. Кстати, Алеша, в Сибири тела убитых, что сотнями находят по весне, когда стает снег, тоже зовут «подснежниками».

И всех их, отчаянных и выдержанных, бесшабашных и расчетливых, и тех, кто просто хотел покрасоваться, всех их она любила до дрожи в ногах, до судорог и спазмов. Дело в том, что многие, очень многие из них были ее любовниками, и ни одного из тех, кого она любила и кто любил ее, она не забыла, не вычеркнула из своей памяти. Часто для них это была последняя ночь с женщиной, утром они

должны были идти метать бомбу или стрелять из револьвера в какого-нибудь министра; бывало и наоборот: испуганные и затравленные, в холодном поту, они прибегали к ней в дом сразу после покушения, и она укрывала их иногда на целый день, иногда лишь на несколько часов — больше было опасно, но все равно, уже взяв грех на душу или еще не поставив крест на собственной жизни, когда они приходили к ней, он и она знали, что пути назад нет. Они были обречены, и она, бывшая их крестной, на этом крестном пути теперь, когда они его кончали, как бы благословляла их на смерть своей любовью. И дальше они столько времени, сколько им еще было отпущено, думали не о конце, не о том, что вот они умирают такими молодыми, и даже не о партии и революции, а только о ней, де Сталь, о том, что она была в их жизни и, значит, все правильно.

Первые лет десять де Сталь ограничивалась тем, что давала на революцию деньги да изредка в особо экстренных случаях кров и убежище, то есть в соответствии с формулировкой устава о членстве в РСДРП, данной еще Мартовым, оказывала партии личное содействие. Но довольно быстро она разобралась в мешанине революционных групп и организаций и прочно примкнула к социал-демократии, позднее к ее куда более серьезному и решительному большевистскому крылу; после чего с радостью подчинилась ленинскому уставу и рядовым бойцом вошла в одну из пятерок, на которые партия делилась.

Ей всегда в жизни не хватало риска, приключений, самой жизни, она вообще была ненасытна и в людях и в любви, может быть, потому Бог и дал ей в итоге не одну, а три долгих жизни. Так вот, состоя в своей пятерке, она безотказно скрупулезнейшим образом выполняла любые задания партии, ей не надо было объяснять значение дисциплины для подпольной организации и, как было написано в ее закрытой партийной характеристике уже после семнадцатого года, ответственно и блестяще выполняла опаснейшие поручения, проявив себя инициативным, беззаветно преданным делу пролетариата бойцом. Много раз она была курьером, перевоза из Финляндии и Швеции листовки, газеты, деньги; она играла роль богатой русской помещицы, и, так как в самом деле ею была, это давалось ей легко. Она была молода, красива, остроумна, одевалась очень дорого, с чисто парижским шиком и, конечно, на границе не вызывала ни малейших подозрений. Ленин позднее, после Февраля, шутил, что будь де Сталь тогда с ними, большевикам не нужно было бы никакого немецкого вагона: в своем багаже она могла оптом провезти хоть всех революционеров, таможене и в голову бы не пришло спросить, куда она их везет и по какому праву.

Все-таки в конце концов она примелькалась, и партия, опасаясь, что ее частые пересечения шведской границы рано или поздно вызовут ненужный интерес, решила, что лучше, если на время здесь о ней забудут. Пока же использовать ее на юге, в Одессе и Закавказье. Она и сама давно собиралась посетить Тифлис, там у нее было несколько знакомых по Москве семейств, звавших ее к себе; помнила она и что в Грузии живет ее сын, которого она не видела с рождения, то есть ровно двадцать пять лет. Партия сочла, что это очень удобно, все знакомства могут весьма пригодиться, и она даже написала Игнаташвили, что, возможно, придет, но ответа дожидаться не успела; через два дня первым же поездом ей пришлось выехать в Новороссийск. В Тифлисе только что группа боевиков совершила успешный налет на отделение Российско-Закавказского банка, экспроприировав на нужды революции несколько сот тысяч рублей, и задача де Сталь состояла в том, чтобы вывезти из Грузии руководителя акции, известного среди большевиков под партийной кличкой Коба.

По плану она должна была снять на себя и на своего спутника каюту первого класса на пароходе «Эльбрус» акционерного общества «Кавказ», плавающего по маршруту Батуми — Поти — Сухуми — Новороссийск. Предполагалось, что в ее каюту Коба заберется через иллюминатор по подвесной лестнице прямо из лодки, когда пароход будет стоять на внешнем рейде Поти. А дальше они, не вызывая никаких подозрений, спокойно проследуют до Новороссийска. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств она могла рассчитывать на помощь капитана «Эльбруса», который был из сочувствующих их делу, хотя, как было сказано ей на инструктаже, принять прямое участие в операции он, по всей видимости, откажется; зато на корабле есть матрос, старый член РСДРП, на него она может полностью положиться; матрос должен подойти к ней сам и назвать пароль. У операции был и запасной вариант: если бы в пути выяснилось, что полиция предупреждена и Кобу в Новороссийске ждут, они должны были сойти

в Сухуми и попытаться, наняв местных проводников, предпочтительнее абхазов, перевалить через горы и выйти к Нальчику.

В Батуми все обстояло нормально: она вовремя успела в этот город, взяла каюту, прямо созданную для ее цели, — иллюминатор был лишь тремя метрами выше ватерлинии. Однако, как часто бывает, когда дело начинается чересчур гладко, дальше сразу же пошли неприятности. В Потти штормило, шел проливной дождь, и хотя капитан, рискуя вызвать гнев пассажиров и недовольство компании, задержал отплытие на два часа, лодка с Кобой так и не появилась. Напрасно де Сталь, стоя на палубе, через бинокль высматривала берег между этими двумя стенами воды, лодки нигде не было, да и будь она, разглядеть ее было бы невозможно. Она заметила ее только тогда, когда пароход уже снялся с якоря и поворачивал в сторону открытого моря; ветер на минуту разорвал тучи, дождь прекратился, и она увидела одновременно две лодки: в первой, выбиваясь из сил, греб в сторону корабля молодой грузин, судя по всему, этот самый Коба, а ее настигала другая, с тремя краснококардниками. Грузин явно не успевал добраться до корабля, очевидно, он это тоже понял, потому что последнее, что она рассматривала сквозь опять хлынувший дождь, было — как он прыгнул за борт. Капитан, как и она, видел финал этой погони; очень удрученный, он спустился на палубу, где стояла де Сталь, и сказал, что грузину не выплыть, в холодном мартовском море он не продержится на воде и пяти минут — погибнет от охлаждения. Все же ей удалось умолить его застопорить машины и подождать хотя бы полчаса: вдруг грузин чудом выплывет. Они простояли не полчаса, а вдвое больше, оба давно потеряв всякую надежду и просто не решаясь поставить точку, сказать себе, что этого человека уже нет в живых. Наконец капитан приказал выбрать якорь, и тут, прямо на том месте, где он должен был показаться из воды, они увидели медленно дрейфующее тело. Палуба из-за дождя была пуста — только она, капитан да тот матрос, что должен был помочь ей переправить Кобу в Новороссийск, он и подцепил багром тело, подтащил его к борту и вдвоем с капитаном поднял наверх.

По всем признакам грузин был мертв, они долго, едва не ломая ему грудную клетку, делали массаж сердца, искусственное дыхание; вода, которой он нахлебался, из него вышла, но сколько они ни прикладывали зеркальце к губам, оно не запотело. Еще когда матрос цеплял его тело багром, она вдруг вспомнила, что у этого грузина Кобы есть, кажется, и другой псевдоним — Сталин, так его в Петербурге кто-то даже называл в ее присутствии. Сейчас, когда он лежал перед ней на палубе мертвый, она поняла, что это ее сын. Это был ее сын, которого она ни единого раза не приложила к груди; слезы вместе с дождем текли по ее лицу, она смотрела на него, на своего сына, которого видела всего дважды — родив и теперь, когда он только что умер. Она не знала ничего из его жизни, как он прожил ее, лишь могла, раз была послана его прикрывать, догадываться, что революция соединила их, свела вместе. Революция вернула ей его, но вернула не для жизни, а чтобы она, мать, закрыла ему глаза. Она думала: приходило ли ему хоть раз в голову, что, может быть, он пошел в революцию именно для того, чтобы вернуться к матери, считал ли он, что это был для него единственный путь к ней; она хотела ему сказать, что это не так, что она приехала к нему не только как к товарищу по партии, нет, она давно без него скучала, жалела, что не оставила его себе, не поселила с детьми Федорова, а отдала этому Игнаташвили; ей все это надо было ему сказать, ей было все равно, слышит ли он ее или нет, она должна была сказать ему, что они вместе. Она хотела, чтобы его последнее тепло ушло в нее и чтобы он, прощаясь с земной жизнью, был согрет ее теплом, теплом матери, которое он знал только, когда был в ее утробе. Она спокойно сказала капитану, что в Норвегии бывали случаи, когда женщины отогревали моряков, выброшенных на берег после кораблекрушения, своим телом, и что она тоже хочет попытаться. Она велела отнести Кобу к себе в каюту, старательно расстелила постель, разделала его, разделась сама, затем, положив его рядом, обняла всем своим телом и стала греть.

Она плакала, говорила ему, что Господь снова соединил их, Господь и революция, говорила, что ехала к нему и вот не доехала, так и не попала в Тифлис, а здесь они встретились. Она говорила ему, что всегда его любила и всегда страдала, всегда жизнь ее была не полна из-за того, что его, ее сына, не было рядом, и вот теперь они вместе; она говорила все это и плакала, говорила и плакала, спрашивала, зачем его у нее отняли, и снова плакала, потом наконец заснула. На море был шторм, «Эльбрус» сильно качало, они шли против ветра,

и паровые машины с трудом вытягивали корабль. Она не знала, сколько спала, несколько часов или несколько суток, просыпалась, засыпала, снова просыпалась, говорила:

«Сыночек мой, ты снова ко мне вернулся, жизнь твоя была коротка, ты умер молодым, но ты умер на руках у матери, и ты должен знать, — она говорила по Федорову, — что каждый человек воскреснет, все-все воскреснут, так что смерть твоя не окончательна, не навсегда», — и плакала, и винулась перед ним, и снова его утешала.

В том же полусне-полузабытье она поняла, что он опять в ней, что он послушался и вернулся в нее, вошел в нее, и она, чтобы не выпустить его, чтобы он не подумал больше родиться в этот страшный, жестокий, такой несправедливый мир, инстинктивно сжала ноги. Она чувствовала, как он все растет, топчется, ворочается в ней, чувствовала, какой он большой и живой, какой он весь ее. А он все рос и рос, и все ему было мало места, и она все уступала и уступала ему, все ему поддавалась, пускала его всюду, куда он хотел, вся для него раскрывалась. И лишь сильнее сжимала ноги, чтобы только он не ушел, не ушел в этот мир, не покидал ее. Она уговаривала, просила его не родиться, так и остаться в ней, она все плакала и объясняла ему, как жесток этот мир, зачем он ему нужен, разве в ней ему плохо, разве в ней нет для него места или мало тепла, ласки, нежности? Она гладила его, целовала, ласкала всей своей плотью, всей собой. И он, уже зная, что она его мать, уже войдя, уже вернувшись в нее, тоже плакал и плакал, жаловался ей, говорил:

«Мама, мама, зачем ты тогда меня родила, мама, мамочка, я не хочу из тебя выходить, я хочу остаться в тебе, не отпускай меня, не рождай. Мир зол и жесток, если бы ты знала, как мне было без тебя плохо, зачем ты меня родила?» Он говорил ей: «Мама, любимая, не прогоняй меня, ты моя, моя, ты снова со мной, я снова к тебе вернулся, мама, мама, как долго тебя не было». А потом они оба понимали, что плохое кончилось, он снова и навсегда в ней, снова они одно существо, не будет ни родов, ни расставания, и затихали.

В Сухуми прямо перед отплытием капитан постучал в дверь ее каюты, и когда она вышла, сказал, что, как только что ему стало известно из телеграммы, Новороссийский порт под строжайшим наблюдением, все суда обыскиваются от трюма до клотика, и этому ее грузину лучше в городе не показываться. Она поблагодарила его за помощь и предупреждение, передала для помогавшего им матроса красивый серебряный портсигар, после чего они с Кобой, побросав в баулы и чемоданы ее вещи, сошли на берег. Возможность того, что они смогут доплыть на пароходе лишь до Сухуми, в Петербурге, как я уже говорил, предусматривалась; в этом случае должен был начать действовать второй, запасной вариант эвакуации Сталина из Грузии: по горным тропам через Большой Кавказский хребет и дальше в Нальчик.

В соответствии с этим планом на площади у Сухумского морского вокзала они наняли изящную бело-розовую коляску, как сказал им кучер, единственную в городе на мягких дутых шинах, и, играя молодую пару, проводящую на Кавказской Ривьере медовый месяц, поехали в абхазское село Лыхны. У Сталина там давно были свои люди, и он думал, что без труда найдет в Лыхны двух-трех надежных, хорошо знающих горы проводников.

Однако дело об ограблении тифлисского банка из-за связи с политикой получило очень широкую огласку, дошло до Петербурга, и по приказу оттуда, чтобы не выпустить боевиков из Грузии, одна за другой перекрывались горные дороги; поручено это было местным сванским и абхазским родам, и дабы поощрить их усердие, за каждого изловленного боевика была назначена немалая награда. Обычай мешал лыхновским знакомым Сталина идти против своих, и Сталин даже не стал их просить. С огромным трудом и за большие деньги они сумели договориться лишь с пятнадцатилетним подростком-пастухом, но и тот, сразу обо всем догадавшись, долго колебался, решая, что ему выгоднее — переправить их через горы или выдать. В конце концов, поскольку они предлагали втрое против того, что давал русский царь, он согласился; однако де Сталь позже всегда была уверена, что именно хитрый пастушок, взяв с них задаток, потом специально вывел их на конный разъезд здешних милиционеров. Так или иначе, едва их остановили, он немедленно куда-то исчез, и больше она его никогда не видела. На разъезд они напоролись совершенно неожиданно — они ехали совсем не спешно на медленной скрипучей арбе, правил ею этот мальчик, а они, изображая со Сталиным молодоженов, вошли в роль и самозабвенно целовались.

Сталь этих горских стражей порядка всерьез не принимала, ее деньги и в не меньшей степени ее манеры и обаяние сбивали с толку даже лучших полицейских-профессионалов, возможно, в других обстоятельствах они бы и вправду выпутались, но здесь карты легли так, что шансов у них не было. Человеком, который командовал отрядом, был Виссарион Игнаташвили. Он подъехал к арбе несколько раньше приотставшего отряда, сразу узнал и, обращаясь только к ней, с иронией сказал, что, как писал в письме, он рад ее приезду в Грузию, со вчерашнего вечера он ждет ее на этом месте, чтобы встретиться и проводить в свое имение, которое отсюда всего в десяти верстах. Тон его сразу не понравился де Сталь, поза, в которой он их застал, не оставляла никаких сомнений в характере отношений, которые связывали ее и Сталина. Игнаташвили делал вид, что ему безразлично, что женщина, которая была его любовницей и которую он любил до сих пор, спит с собственным сыном, к тому же зачатым от него, Виссариона Игнаташвили; все это не сулило им ничего доброго. Сталин, лучше ее знавший отца, похоже, был с ней согласен. Во всяком случае, он спрыгнул с арбы и хладнокровно — это его качество было знаменито в партии — пошел прямо на Виссариона и на конный разезд; Игнаташвили, боясь, что Сталин может начать стрелять, только что отъехал под прикрытием своего отряда. Сталин шел так уверенно, что лошади под конными даже стали пятиться, расступаться, давая ему между собой проход. Однако перед Игнаташвили он остановился и, поигрывая тонкой плеточкой — единственное оружие, у него бывшее, — сказал его отряду следующее:

«Возможно, этот человек вам сказал, что я один из боевиков, ограбивших банк в Тифлисе, если нет, то это говорю вам я, Сталин, а теперь — то, что он вам наверняка не рассказывал. Я, Сталин, иначе Иосиф Джугашвили, — его старший сын, так что он как хороший горец сторожил эту дорогу не зачем-нибудь, а чтобы продать правительству голову своего сына. Меня это не удивляет. Его отцом и моим дедом был знаменитый абрек Георгий Игнаташвили, тот самый, кого враги захватили и повесили в день собственной свадьбы. Жена Георгия была настоящей горянкой: зная, что душа мужа не успокоится, пока он не будет отомщен, она сумела зачать от Георгия, когда он уже болтался на веревке. Но сын Георгия Игнаташвили Виссарион Игнаташвили, то есть ваш предводитель, был рожден трусом: боясь покарать врагов, он бежал из Грузии. Когда его мать Саломея Игнаташвили поняла, что Георгий отомщен не будет, она покончила с собой. Тогда этот человек пришел к моей матери, Екатерине Сталь, она сейчас сидит на арбе перед вами, и сказал ей:

«Я робок и труслив, как женщина, вся Грузия смеется надо мной и презирает меня, мне нужен сын; мне нужен сын, храбрый, как мой отец, чтобы смыть позор с нашего рода».

Екатерина Сталь сжалилась над ним и родила ему меня, Иосифа Сталина, но он даже не признал сына. Теперь же, когда я начал мстить, когда я поклялся, что ни один из тех, кто повесил Георгия Игнаташвили, не уйдет от меня живым, он хочет с вашей помощью выдать меня царю. Ничего не скажешь, вы нашли для себя хорошее дело».

Сталин держался с горцами так же просто и естественно, будто стоял перед бакинскими рабочими, он говорил негромко, спокойно, без надрыва, обычного для других партийных ораторов, но на людей слова его действовали безотказно. И здесь, не успев он окончить свою историю, а отряд, окружавший Игнаташвили, уже сам собой рассосался: большинство, повернув коней, усаkali вверх по дороге, а двое — те просто перешли на сторону Сталина. Виссарион Игнаташвили остался совсем один, и тут Сталин, которому надоело смотреть, как он дрожит, боясь за свою шкуру, щелкнул плеткой перед носом его коня, тот шархнулся, встал на дыбы и, сбросив седока, умчался куда-то вниз через овраг и кусты орешника. Эти двое всадников, что присоединились к Сталину, помогли им перевалить через горы и только на окраине Нальчика, убедившись, что он и Сталь в полной безопасности, повернули обратно в Грузию. Впоследствии они вступили в РСДРП и, ни разу не участвуя в оппозициях, до конца своих дней оставались его верными сподвижниками и друзьями.

Федоров был пророк, но он не был мессией, Господь не почтил его благодатью, и ему не было дано спасти и вернуть к жизни род человеческий. Роль его была скромнее: как Иоанн Креститель, он должен был подготовить почву, вспахать и удобрить ее, а затем, благословив того, кто больше него, отойти в сторону. Но Федоров не решался. Может быть, он думал, что выбор еще не сделан

и Господь все-таки изберет его или Господь сам ясно покажет, что здесь, на земле, Федоров ему больше не нужен: он сделал то, для чего был послан, то, что ему дано было сделать, и теперь должен уйти, освободить место другому. Господь давно мог взять Федорова к Себе, но Он медлил, как будто и вправду колебался, и Федоров тоже медлил: надежда, что мессия, спаситель людей, — все же он, продолжала в нем жить, и он, как мог, цеплялся за своих учеников.

Ученики же, получившие то, что они знали, из рук Федорова, пока он был жив и рядом, не были готовы ни на что самостоятельное и лишь соревновались в верности и обожании учителя. Итог был печален: жизнь остановилась и революция началась в России почти на двадцать лет позже, чем должна была. Среди тех, кто ходил к мадам де Сталь, было несколько дальновидных людей, не хуже ее понимавших, что к чему, и в их среде долго дебатировалась идея о необходимости пожертвовать жизнью Федорова ради интересов революции. Говорилось, что если Федоров действительно искренне верит в то, что проповедует, он должен это принять и одобрить, понять, что сейчас именно он, Федоров, — главное препятствие в деле воскресения рода человеческого. Был и человек, готовый взять умерщвление Федорова на себя: это был его самый старый, еще с тамбовских времен, и самый верный ученик, в сущности, первый из пошедших за ним.

Трудно сказать, к счастью ли, но до крови дело все-таки не дошло: в конце 1903 года Сталь удалось уговорить Федорова уйти. По сговору с врачами сделано это было следующим образом: двадцать восьмого декабря Федоров был положен в Мариинскую больницу для бедных с диагнозом «двустороннее воспаление легких», прежде Сталь пять дней никого к нему не допускала, говоря, что Федоров тяжело болен и видеть его нельзя. Все это время и она и врачи ждали, когда в больничном морге окажется тело, которое можно будет выдать за труп Федорова. Наконец оно появилось, и врач Мариинской больницы Сергей Валентинович Алексеев, бывший студент Медико-хирургической академии и активнейший участник народнического кружка Зайончковского (де Сталь была с ним тесно связана с давних пор), сразу определил Федорова в специальную палату для умирающих. В тот же день Федоров был приведен к исповеди и причащен. Через два часа после этого Алексеев и другой врач со странной фамилией Скрипок, тоже народник, констатировали у Федорова смерть, наступившую в результате удушья. Дальше Алексеев и Скрипок, положив тело Федорова на каталку, сами повезли его в больничный морг, стоящий на отшибе, саженья в двухстах от главного больничного корпуса. Здесь, на полпути между больницей и моргом, их ждала карета де Сталь, которой в целях конспирации правил не ее кучер, а вышеозначенный ученик Федорова. Когда каталка поравнялась с каретой, Федоров без чьей-либо помощи перебрался в нее, и они со Сталь тут же уехали. Этой же ночью она отправила его в Сосновый Яр, где для него у мельницы на берегу пруда недавно был выстроен специальный домик. Через два дня на кладбище Скорбященского монастыря при большом, несмотря на сильный мороз, стечении народа — популярность Федорова была весьма велика — состоялись похороны. В гроб вместо него был положен замерзший на улице известный московский юродивый по кличке Сашка. Очень на него похожий и внешне и по жизни.

После похорон Федорова, когда камень послушания был снят с их душ, в среде его учеников началось бурное брожение: каждый считал себя единственным его истинным последователем, а прочих еретиками, отступниками или того хуже — изменниками. Во всех была бездна энергии и жизни, все суетились, спорили, боролись, не было ничего постоянного, и Сталь подчас трудно было понять, кто с кем и кто сегодня за кого. Шли бесконечные заговоры и интриги, — однажды (к этому времени они уже, кажется, совсем потеряли разум) возникла даже целая серия дуэлей — вещь для революционеров, конечно, совершенно дикая. Сталь часто гадала, кто из них станет лидером, потому что они расходились дальше и дальше и было ясно, что возникнет не одна, а несколько школ его учеников, но всякий раз ошибалась. Сначала она думала, что после ухода Федорова возглавят дело или Толстой, или Достоевский, у каждого из них было множество собственных почитателей, в стране авторитет обоих был огромен, они были готовые вожди, и, в сущности, ради того, чтобы они возглавили движение, Сталь так настойчиво и устраняла Федорова. Оба, и Толстой и Достоевский, были вернейшими последователями Федорова, следовательно, и здесь не было никаких сомнений в их праве занять его место. Однако, к удивлению де Сталь, сразу же

после похорон они перестали посещать ее салон, сделано это было без объяснений, почти оскорбительно, и лишь позднее она узнала, что их привлекала сама личность Федорова, идеи же его интересовали очень мало. Она тогда подумала, что для них единственным положением в гроб вместо Федорова Сашки-юродивого, наверное, не стало подменное.

Вслед за уходом Толстого и Достоевского ушли и их поклонники, ряды федоровцев поредели, но это был не кризис, а очищение от людей случайных, непрочных и необязательных. И действительно, вскоре большинство учеников объединил вокруг себя поэт и философ Владимир Соловьев, тоже один из тех, кто первым пошел за Федоровым. Был он Федоровым и особенно любим. Вообще же человек он был странный, одинокий, и де Сталь так никогда и не сумела до конца понять его.

Соловьев учил, что: 1) катастрофа уже надвинулась на мир и совсем близка, время Апокалипсиса пришло, наступил век антихриста; 2) осуществление истины и справедливости во всей их полноте должно начаться немедленно; 3) исходной точкой, началом человеческой истории был первородный грех; Страшный суд и победа над мировым злом будет ее концом; 4) (вслед за Федоровым) мир, сотворенный Господом, не был совершенен. Жизнь не дар, Акт Творения был неким выпадением земного мира из Абсолюта, потому и первородный грех был естественным следствием этого выпадения, однако Акт Творения оправдан тем, что мир движется к совершенству и рано или поздно вернется, сольется вновь с Абсолютом, вернется на «новую землю» и на «новое небо»; 5) (в отличие от Федорова) не может быть личного и общественного спасения человека, возвращения его в рай вне сотрудищества с Богом; 6) каждая частица мироздания жива, самобытна и одушевлена, нет частицы без памяти и, следовательно, возможно восстановление, воскрешение всего когда-либо жившего на земле; 7) осуществление этого близко, мир прошел уже большую часть пути; раньше он был в извращенном хаотическом состоянии, теперь: а) хаос собран в первоначальную совокупность силами всемирного тяготения, б) эта совокупность гармонично расчленена, дабы сделать возможным интимное воссоединение вселенского тела (сделали электромагнитные силы), в) возникла жизнь — органическое единство этой вновь созданной материи и света, г) сотворен человек; 8) мессианское призвание человека — возделывать и благоустроить природу, спасти ее, освободить и, завершая историю, вернуть в Абсолют; 9) грехопадение было попыткой человека сделать это собственными силами, вне сотрудищества с Богом; результат — хаос, разрушение, торжество зла, но все это лишь отсрочило призвание человека, а не упразднило его; 10) цель мировой истории — достижение единства Бога и возглавляемой человеком внебожественной природы; 11) к этому единству невозможно прийти без Богочеловеческого организма вселенской церкви — основы и воплощения добровольной солидарности людей; 12) историческая миссия России — религиозное посредничество между Западом и Востоком, сближение их и конечное воссоединение во всемирное государство. Возглавит это государство русский царь (светская власть) и римский папа (власть духовная); 13) именно государство будет выступать как представитель человеческого начала в становящемся Богочеловеческом единстве, а не личность (личность должна сознавать, что ее истинная свобода есть самоотречение) и даже не община.

После обнародования данной программы откололась еще одна группа, причем предвзвешенно она, жестоко нарушив партийную дисциплину, публично обвинила Соловьева в том, что он еретик, искаживший и предавший учение Федорова. Следует, в общем, признать, что основания для этого у них были. Группа состояла по большей части из молодых разночинцев, присоединившихся к партии в последний год жизни Федорова; все, и де Сталь тоже, знали их плохо, поэтому не мудрено, что след их сразу затерялся, де Сталь нашла их лишь через два года, нашла совершенно случайно. К тому времени они под именем «группы Федорова» вошли в социал-демократическую партию, во главе которой стоял некий Жорж Плеханов.

Этот Плеханов был де Сталь давно известен, относилась она к нему с симпатией, давала деньги, за несколько лет до описываемого именно в ее тамбовском имении прошло совещание народнической группы «Черный передел», где он тогда состоял. Плеханов сначала встретил учеников Федорова очень тепло, в основном это были люди и талантливые и сильные, рабочее движение могло много приобрести в их лице, но скоро и здесь у них возникли разногласия.

Поводом для разрыва стали споры по каким-то не очень существенным вопросам тактики, но это — то, что было на поверхности, на самом деле они вообще мало в чем сходились. Формально из партии они, правда, не вышли, но образовали в ней вместе с Лениным независимую фракцию большевиков. Марксистами ни тогда, ни позже они не были, к Марксу относились, и не скрывали этого, с иронией, его картины социализма и коммунизма, роль в истории рабочего класса, то, что революция начнется не в России, а в одной из передовых стран Запада, и, главное, как Маркс представлял себе смысл и назначение самого человека, — все это казалось им на удивление наивным. Но Ленину, которому они с готовностью подчинились, его увлечение марксизмом было прощено. Ленин импонировал им своей решительностью, тем, что был человеком дела, они не сомневались, что в конце концов он неизбежно придет к Федорову. Пока же время для этого не наступило, и вины Ленина здесь нет, просто народы мира еще не готовы услышать Слово Федорова, откровение было дано людям до срока. Сегодня оно может выжить, сохраниться только как тайное скрытое учение, учение, известное лишь посвященным. Марксизм же должен стать для него спасительной скорлупой.

Влияние этой группы на большевиков было очень многообразным, в частности, именно им объясняется то, что Ленин, вопреки собственной ясно выраженной воле, после смерти не был предан земле, а положен в стеклянный гроб и выставлен для обозрения. Федоров не раз рассказывал своим ученикам, как он несколько лет пытался спасти и воскресить Спящую царевну, — это была его любимая история — начало общего дела воскрешения всех когда-либо живших на земле людей. Неудача, по-видимости, угнетала его мало, он сетовал, что в космосе, где нет земного притяжения, а только небесное, спасти царевну ему бы, без сомнения, удалось. В 1924 году именно федоровцы и настояли на том, чтобы пока сохранить Ленина нетленным, как бы спящим, в стеклянном гробу, а в это время Россия, отложив все дела, будет строить для него ракету. Конструированием ее почти тридцать лет занимались федоровец Циолковский и его ученики. Этой ракетой Ленина отправят в космос, где он восстанет из праха и сможет снова возглавить мировую революцию. Принадлежала им и еще одна, возможно, решающая для судеб революции мысль. Они говорили, что, учитывая конечное всеобщее воскресение, правильно и даже необходимо уничтожить, причем для их же собственного блага, каждого, чье существование препятствует общему делу — воскресению всех, когда-либо живших на Земле.

Однако, судя по разным источникам, Соловьев не был обеспокоен расколом, в течение нескольких недель он создал из оставшихся учеников Федорова подпольную партию (в них была уже большая усталость от свободы, тяга оставить, пожертвовать ею, готовность раствориться в организации), которая показалась де Сталь очень перспективной, и она охотно взялась ее финансировать, а когда траты превысили ее возможности, привлекла для этого нескольких крупных купцов-золотопромышленников из семей Рукавишниковых и Силантьевых.

Снизу партия, как и должно, была подчинена строгой дисциплине: делилась на тройки, рядовые члены которых знали только своего командира и больше никого. Командир тройки входил в тройку следующей ступени, и так до Соловьева. Однако этот обязательный для любых подпольных организаций принцип на самом верху по личному капризу Соловьева соблюден не был. Организатором партии, ее признанным лидером был Соловьев: он разработал и ее философию, и ее программу, однако он был убежден, что партия должна управляться коллегиально, и своей властью разделил полномочия лидера между бывшим личным адъютантом Николая II, а в то время командующим Санкт-Петербургским военным округом генералом Драгомировым, знаменитым русским церковным деятелем и проповедником Иоанном Кронштадтским, который когда-нибудь несомненно будет канонизирован, и собой. Возможно, он так же, как и Федоров, сомневался, что ему ниспослана благодать, что он избран. Или дело в том, что в эти годы в Москве он бывал нечасто, больше ездил по стране, подолгу живя у друзей, чаще всего в имении Трубецкого. Лишь у Трубецкого ему удавалось по-настоящему работать, там он много гулял, спал без брома, ему хорошо думалось и писалось, даже стихи он иногда привозил оттуда. Конечно, Соловьев был прав, считая, что партию нельзя месяцами оставлять одну, без верховного руководства, но почему он, сознавая это, не был готов изменить свой образ жизни, отказаться хотя бы от части поездок, я не понимаю, говорил

Ифраимов. Судьбы стольких людей зависели от его решения, так много было поставлено на карту — его выбор для меня совершенно необъясним.

Надо отдать Соловьеву должное, команду он подобрал очень сильную, практически в ней были представлены, причем виднейшими фигурами, самые влиятельные силы русского общества, те, кто обладал реальной властью, — армия, церковь и интеллигенция. Легко было предвидеть огромную популярность в обществе партии, возглавляемой этими лидерами, но и без популярности, контролируя главные силы в стране, она при необходимости могла быстро взять власть в свои руки. И Иоанн Кронштадтский и Драгомиров — оба были завербованы в партию Соловьевым и оба, как я уже сказал, признавали его первенство, были готовы ему подчиниться, однако Соловьев не только настоял, чтобы управление было разделено на три сферы, но и объявил, что каждый из них будет управлять своей областью вполне самостоятельно, решения же, касающиеся мира в целом, они будут принимать совместно и единогласно.

Из всего этого не могло выйти ничего, кроме глупости: вместо дисциплинированной, жаждущей боя тайной организации получилось нечто вроде Польского сейма; очень рано и Драгомиров и Иоанн Кронштадтский почувствовали себя настоящими царьками, и даже решения, принятые большинством, проводили в собственных епархиях, лишь если они им нравились. Подобным образом никакая подпольная партия, конечно же, существовать не может, скоро это равно поняли все трое, но хоть что-нибудь менять никто из них готов не был, партия быстро шла к развалу, и, по-моему, каждый из них испытал облегчение, когда он наконец произошел.

Непосредственным поводом для раскола стало требование Соловьева о широчайшем привлечении в партию евреев. Соловьев обосновывал это тем, что вопреки распространенному убеждению Завет между Богом и евреями отнюдь не разорван и не заменен Новым Заветом, напротив, он лишь упрочен и обновлен миллионами жертв, которыми евреи заплатили за свою преданность Авраамовой вере. Победа над злом и спасение человеческого рода будут возможны только при соединении, только при совокупных действиях обоих избранных народов Божьих: народа Ветхого Завета — евреев, и народа Нового Завета — русских. Драгомиров в принципе не имел никаких возражений против привлечения евреев и готов был с Соловьевым согласиться, однако Иоанн Кронштадтский против этого предложения категорически возражал. Он считал, что все понимание мира и русской церковью и русским народом строится на том, что он единственный избранный народ Божий; наделив его особой благодатью, Господь его единственного избрал из народов земли, он — народ-мессия. Даже если то, что говорит Соловьев, правда, эта правда должна быть скрыта, русский народ никогда не сможет с ней примириться, а если бы и смог, она бы, без сомнения, разрушила веру русского человека и в Бога и в себя самого. Для революции русские были бы тогда навсегда потеряны.

В сущности, продолжал Ифраимов на следующий день, все это довольно грустная история, грустная, а если взглянуть со стороны, то и довольно однообразная. Длинный-длинный ряд людей, народов, стран, которым казалось, что Господь возложил на них какую-то особую миссию, их вера и готовность к этой миссии, готовность на любые жертвы и на любые страдания, а в самом конце жизни, когда заново уже ничего не начнешь, понимание, что ни они, ни их подвиг оказались никому не нужны, ничего востребовано не будет, жизнь прошла напрасно. Муки и горечь их последних дней, все, что еще не сломано в них Богом, они доламывают сами, уверенные, что больше их греха греха нет, они — самозванцы, не Бог, а они сами избрали себя. Так было и с Россией, и с де Сталь, и с Федоровым, и с Соловьевым, со многими-многими другими, в частности, с тем человеком, о котором речь пойдет ниже. Никто из них призван не был. И все-таки, — говорил Ифраимов, — мне трудно согласиться с тем, что они достойны осуждения, в лучшем случае — жалости. Ведь я знал их и их жизни. Их вера была настолько чиста и бескорыстна, настолько явна их преданность Богу, что Господь, пусть даже они по неведению и стали на ложный путь, не так Его слышали, должен был, обязан был дать им это понять, обязан был это им объяснить и помочь. А России Он, например, пять веков подряд, год за годом, каждой новой победой русского оружия подтверждал, что да, все правильно: русские — действительно избранный народ Божий, Россия действительно Святая земля, земля, на которой опочил Дух Божий. Как же ей было усомниться в том, что она избрана?

В общем, — говорил Ифраимов, — я склонен думать, что Господь и в самом деле их всех избрал, может быть, не твердо и не окончательно, как бы предварительно, но им это было дано, обещано и, следовательно, греха на них нет, они ни в чем не виновны. А потом было то, что не раз случалось и раньше: планы Господа относительно рода человеческого менялись и эти народы и люди больше были Ему не нужны. Де Сталь в сердцах обвиняла Его, что Он специально, как когда-то в пустыне дьявол Христа, искушал пошедших за Ним жертвенностью, подвигом, святостью, властью; вряд ли это верно, скорее, я думаю, Он забывал их. Он чересчур много думал о судьбе всего Адамова рода, и на отдельных людей Его просто не хватало. Это оказалось лишь словами, что один человек, одна человеческая душа для Него важнее целого мира. В Нем накопилось много безразличия и равнодушия, все эти люди и их жизнь, в сущности, занимали Его очень и очень мало. Так что Он делал им зло, как бы даже и не замечая этого.

Спор о евреях каждому из них троих — и Соловьеву, и Иоанну Кронштадтскому, и Драгомирову — ясно показал, что партия в том виде, в каком они ее создали, больше существовать не может. Надо было или все менять, или смириться с тем, что не им дано повести русский народ, а следом за ним другие народы Земли по пути спасения. Они были обязаны воскресить, поднять партию, но в них уже не было сил.

Де Сталь видела, что устали все они, все ученики Федорова: двадцать лет надежды и веры измотали их, и они уже ни на что не были способны. Большинство федоровцев вообще отошли от движения, другие продолжали посещать ее салон по инерции — это членство в партии сделалось частью их жизни, они постарели, ни на что уже не годились и просто играли в юность и жертвенность. Пожалуй, они теперь собирались по привычке, словно давние друзья; конечно, за это время между ними накопилось множество обид и подозрений, но и те были домашними; главным же было, что по-прежнему они чувствовали себя посвященными и не хотели с этим расставаться. Как боевая партия они себя исчерпали, так, в сущности, ничего и не совершив, это было очень обычно для России: готовность перевернуть мир, готовность на любые подвиги, а все кончается прекраснотдушными разговорами. Она уже больше года не давала им денег, хотя от дома, неизвестно почему, никому не отказывала, продолжала принимать.

Тогда в России уже всю шла первая революция, партия Федорова — Соловьева, к удивлению полиции, оказалась в ней ничем и никак не замешана, не совершила даже одной акции, опять ограничившись дискуссиями и декларациями о необходимости не просто принять участие, но возглавить революцию, у них за плечами такой опыт, такие мощные силы, такие блистательные теоретики, без них революция будет блуждать в потемках. Они недоумевали, почему эсеры и социал-демократы не обращаются к их партии за помощью, самим же пойти к ним, к своим по революционному стажу детям, казалось им унижительным. И этот бред говорил революционной партией, когда надо было действовать, действовать и действовать, когда русский престол из-за войны с Японией как бы отдался революции на милость, когда так все прогнило и разложилось. Сталь, если у нее с товарищами по РСДРП заходила речь о федоровцах, любила повторять, что у всего есть возраст и Соловьев скоро поймет, что его партия достигла не зрелости и даже не старости, а маразма. В те годы она уже активно работала на большевиков, и ей для конспирации было даже удобно, что полиция по-прежнему числила ее федоровкой. Это сделалось хорошим прикрытием.

Впоследствии, правда, де Сталь часто жалела, что в революции пятого года федоровцы не приняли никакого участия, кровь, большая кровь могла обновить их, тем более что в некоторых теоретических вопросах они и тогда и позже имели очень большое влияние на другие революционные партии, например на большевиков. Влияние это шло и через саму де Сталь и через других бывших федоровцев, вместе с ней присоединившихся к большевикам. Об этом свидетельствуют среди прочего чудом сохранившиеся фрагменты стенограммы теоретического совещания РСДРП, проходившего 10—13 мая 1910 года в ее имении Сосновый Яр. В нем участвовали Ленин, Плеханов, Зиновьев, Богданов Троцкий, Аксельрод и управляющий именем немец Тюбинг.

«Ленин: Жертва русского народа оказалась не востребована. Тысяча лет ожидания прихода Христа, тысяча лет расширения территории истинной веры, миллионы человеческих жизней были на это положены; крепостное право, голод,

эпидемии, самосожжения раскольников, крестьянские бунты — и все зря. (Д а л ь ш е:) Человек давно хотел вернуться в рай, ни у кого он для этого помощи не просил, сам стал строить Вавилонскую башню, но Господь испугался человека и разрушил ее, когда дело было почти закончено. Господь всегда преследовал свои эгоистические цели, Он жаждет абсолюта, которого в природе, построенной на равновесии, на балансе добра и зла, просто быть не может. Абсолют противен человеческой природе, противен природе вообще, он соткан по подобию ангелов, а не человека, и вот ради этого совершенно абстрактного абсолютного добра человеческий род обречен на невыносимые и вечные страдания. Человек начинает страдать от рождения, еще ничего не сделав плохого, и страдает дальше всю жизнь из-за мифической первой вины — греха Адама, совершенного им по неведению, по детству и неразумности, да и то после долгого искушения змием. Все это страшно несоизмеримо и смешно, в этом нет меры и нет смысла, нет ничего, кроме жестокости. Скорее здесь можно увидеть разочарование в человеческом роде и месть ему за то, что он не оправдал ожиданий, и ревность к талантам человека, который сам может вернуться на небо. Вывод: мы должны отказать от всяких надежд на Бога, на Его справедливость. Возможно, мы жертвы Его нелюбви к нам, возможно, просто игрушка, брошенная на кон очень жестокого спора между Богом и дьяволом; суть его в том, насколько может быть изменена, очищена и приближена к ангельской природа человека, насколько его дух может быть оторван от тела. Из этого следует, что мы должны убедить рядовых членов партии навсегда отказаться от Бога, они должны будут возненавидеть Его. Отнюдь не сбрасывая со счета русскую религиозность, задача эта не представляется такой уж сложной: стоит людям узнать, как Господь их обманул и предал, как Он измывался над ними, — иллюзий на Его счет у них больше не останется.

Зиновьев (реплика с места): У меня есть компромиссное предложение: скажем пролетариату, что Бога нет и никогда не было, человек его просто придумал. Тем самым выведем Бога из-под удара. Он поймет наши намерения и будет нам только благодарен. Прошу занести в протокол, что я вообще не разделяю крайностей т. Ленина, его стремления плодить врагов. Считаю, что Бог на каком-то витке революции сможет снова нам стать полезен.

Тюбинг: После революции, это уже здесь говорилось, будет всеобщая власть Советов, и я представляю себе специально предназначенный для Советов дом, построенный в виде Вавилонской башни, — с каждым витком сужающаяся устремленная вверх спираль, а венчает ее огромная километровая статуя вождя революции, т. Плеханова там, или т. Ленина, или кого-то другого, кто будет избран повести за собой пролетариат. Статуя эта будет выситься как горный пик, и все будут видеть, что человек, которого она изображает, уже достиг неба, достиг рая. И еще я хочу подчеркнуть очень важный момент, без него, мне кажется, Вавилонской башни нам опять не построить. Господь тогда, чтобы не дать людям закончить работу, смешал их языки, они сделались разными народами, стали бояться и ненавидеть друг друга; мы должны не только провозгласить, что наша цель — интернационализм, — интернациональное воспитание трудящихся действительно должно стать главным направлением нашей работы. Во что бы то ни стало нам надо снова соединить человечество в одно целое. Лишь в этом случае можно будет начать и успешно закончить строительство.

Богданов: Георгий Валентинович, меня волнует то, что если Бог обещает человеку вечное спасение, вечную жизнь, мы можем обещать ему только очень короткий промежуток райского существования — его человеческую жизнь. Это большой недостаток, я боюсь, что многих пролетариев это от нас оттолкнет. Люди готовы на любые муки, лишь бы приз был действительно стоящим, а тут хотя и без особых трудов, но и выгода не так чтоб большая.

Плеханов: Вечногo рая нет и не может быть, мы это объясним, и массы пойдут за нами, зря т. Богданов беспокоится.

Ленин: Нет, т. Богданов прав, это серьезная проблема, но, по мнению Федорова, а его здесь поддерживают крупнейшие физиологи страны, никаких препятствий, чтобы сделать человеческую жизнь вечной, нет, и мы эту цель поставим во главу угла. Так рабочим прямо и надо сказать: на земле ли, в космосе, но мы покончим с болезнями и со смертью тоже; тот, кто достоин, будет жить вечно, и не с этой сусальной ангельской анемией, а по-настоящему, по-человечески, с женщинами, с вином, с хорошим обедом, словом, со всеми радостями плоти.

Троцкий: Движущей силой революции и будущего строительства башни должно стать соединение двух мессианств — еврейского и русского; потенциал и того и другого огромен, но раньше большая его часть уходила на борьбу евреев и русских между собой: Господь специально, чтобы их стравить, клялся и тем и другим, что именно они — избранный народ Божий.

Ленин: Сам Бог давно превратился в человека, а от человека хочет, чтобы он стал ангелом, — это абсурд. Вот, например, разговоры о промысле Божьем: изгнание евреев из Палестины и их рассеяние по всему тогдашнему миру было благом — оно способствовало распространению истинной веры. Бог мыслит, как военный или политик: если у меня погибла тысяча, а у противника — две, это хорошо, я прав, то есть Он давно уже принял, что добро смешано со злом, давно понял, что зло — нередко кратчайший и единственный путь к добру. Таков мир, и ни Он, ни мы пока что здесь ничего изменить не в силах».

И Соловьев, и Драгомиров, и Иоанн Кронштадтский по внешности очень спокойно приняли то, что не благословенны; спор о роли евреев и последующий раскол не породили никакой борьбы за власть, кажется, они вообще были рады завязать с подпольной деятельностью. Во всяком случае, прощаясь с партией, они вели себя не как революционеры, а как хорошо воспитанные английские парламентарии. Объявляя о коллективной отставке, улыбались, пожимали друг другу руки; когда кто-то спросил их о причине разногласий, ответили, что в подробности вдаваться нет смысла — это чисто личное дело, посвящать в него других было бы неэтично. В заключение Соловьев как старший от имени всех троих объявил, что они поняли, что не избранны, и поэтому уходят. В том, что учение Федорова верно, они убеждены и сейчас, вина лежит лишь на них, поэтому в партии они остаются, но будут теперь рядовыми ее членами. Это были, конечно, только слова. До конца своих дней они никогда больше у де Сталь не появлялись.

После Соловьева выступил Иоанн Кронштадтский. Он подтвердил, что сказанное Соловьевым — их общий взгляд на происшедшее, и добавил, что они трое считают, что следует изменить принцип руководства партией — снова ввести единоначалие, предложив на пост лидера молодого, но к тому времени уже знаменитого композитора Александра Скрябина. Это его предложение повергло тогда присутствующих, и в первую очередь де Сталь, в совершенное изумление, однако дисциплина была поставлена строго, и оно прошло единогласно, без вопросов и возражений. Таким образом, с 13 декабря 1905 года Скрябин уже официально возглавил федоровцев. Впоследствии де Сталь не раз восхищалась интуицией Соловьева и Иоанна Кронштадтского, сумевших в самом молодом, — он вступил в партию за день до того, как стал ее лидером, — и, пожалуй, в то время вызывавшем лишь иронию члене партии разглядеть готового, причем выдающегося ее вождя.

Ирония объяснялась вот чем. Буквально накануне дня, когда Скрябину было предложено возглавить партию, у нее в доме был музыкальный вечер, среди прочих участвовал в нем и он, недавний член ее кружка. Скрябин сыграл маленький, но весьма занятный фрагмент из, как он сказал, грандиозной вещи, им только что начатой. Первая часть вечера оказалась на редкость удачной, хотя она, зовя Скрябина, очень боялась, что федоровцы не примут ни его, ни его музыки: с некоторых пор, замыкаясь в себе, они стали дружно не любить чужих. Но он явно пришелся им по вкусу. Они даже уговорили его сыграть еще одну раннюю прелюдию, которую многие знали. После этой пьески ему особенно хлопали. Скрябин всегда медленно отходил от музыки, и здесь он довольно долго сидел к публике спиной, потом наконец закрыл крышку рояля, повернулся, встал и, остановив аплодисменты рукой, своим высоким и в то же время красивым голосом спокойно сказал, что он, Скрябин, — мессия и он пришел к ним благовествовать о грядущем. Сказать о том, что скоро, совсем скоро грядет перерождение человечества, которое осуществит он сам чарами искусства, и дальше в том же духе.

Эту его тираду слушали, конечно, не очень внимательно: часть гостей разговаривала, другая направлялась в столовую, где было уже накрыто, и он, оскорбленный, вдруг громко, на всю залу возгласил: «Я творец нового мира. Я — Бог», — на что стоящий рядом язвительный Уздин, потрепав его по плечу, тут же отвечивал: «Ну какой ты Бог — ты просто петушок».

Скрябин смутился, весь как-то сразу поник, было видно, что он чуть не плачет, и ей тогда сделалось его нестерпимо жаль. К тому времени она знала Скрябина довольно давно: старый приятель де Сталь Беляев был страстный его поклонник и покровитель, им изданы первые работы Скрябина, и вот года четыре назад он буквально донял ее приглашениями послушать этого гениального музыканта. В конце концов она пошла на одну из беляевских сред и не пожалела. И музыка Скрябина, и то, как он играл, поразили ее, но, пожалуй, больше всего — он сам.

Скрябин был тогда еще очень молод, но весь его облик, вся его манера держаться были насквозь эротичны: тонкие истомленные черты лица, на подбородке чувственная ямочка, опьяненный взор, такая же истома и сладострастие были в том, как он двигался, как касался инструмента; Бальмонт правильно сказал о нем, что он целует звуки своими пальцами. Пальцы его действительно двигались очень плавно и нежно, как бы не спеша, даже задерживаясь, чтобы насладиться еще. Он ласкал каждую клавишу, но в контрасте с этим в рояле рождались какие-то спазматические, судорожные ритмы, звуки были изломаны, искривлены, так что ты начинал понимать, что все это отнюдь не просто ласка, а очень медленная и очень изощренная пытка, и что вне этих мучений и себя и инструмента музыки для него не существует.

Она тогда, судя по всему, тоже обратила на себя его внимание, потому что следующим вечером они встретились опять. Это было ровно за неделю до масленицы, в тот день и начался их бурный, почти безумный роман. Он был короток и оборвался неожиданно для обоих скоро, причем так же резко, как и начался, — в один день. Скрябин был очень неровен, но удивительно непосредствен; он единственный, кто попался на ее пути за долгие годы, кто умел веселиться, будто ребенок. Когда-то в детстве она тоже была такая, но давно это утратила и забыла, он же все ей вернул. Шла масленица, и они чуть ли не целые дни пропадали на ярмарках, один за другим обходили балаганы, катались на карусели и на санках, смотрели жонглеров, шутов, дрессировщиков (Скрябину особенно нравился номер с дрессированными кошками), фокусников, канатоходцев. Каждый день устраивались карнавальные шествия, он доставал какие-то совершенно немыслимые маски — обычно что-нибудь из нечистой силы, потом она узнала, что их делал его приятель, — но такие страшные, что однажды, когда они вышли из дома уже ряжеными, стоящий на улице городской с испуга схватился за свисток, а потом чуть было не потащил их в кулузку. Скрябин, после того как городской, наконец разобравшись, что это не дьявол в натуре, да еще в паре с ведьмой, а просто ряженые, отпустил их, обругав, хохотал до колик, да и она мало в чем ему уступила.

Но больше всего Скрябин любил танцы. В его исполнении любой танец почти сразу превращался в нечто подобное оргии; войдя в круг, он впадал в экстаз и, забыв обо всем, грубо, почти силой заставлял ее бесконечно отплясывать вместе с собой. Опамятовался он, только если прекращала играть музыка; тогда он вел ее в казенную лавку, брал каждому по большой рюмке водки, и они, выпив и закусив моченым яблоком, шли искать новый круг. Вечером — несмотря на истомленный вид, в нем было много природной силы, — они или ехали на всю ночь гулять в ресторан, или она вела его к себе. Он страстно любил жизнь, аскетизм же, наоборот, раздражал его безмерно, казался ему чем-то вроде мертвечины, любил, чтобы всего был избыток, — и чувств, и ощущений, и ласки, и страдания, и боли, и радости; любил звуки, краски, запахи — это можно перечислять бесконечно, и такой же он делал ее. С ним она не уставала радоваться жизни, не уставала веселиться, чувствовала себя молодой и прекрасной.

Дом, крыша над головой меняли его: сколько она помнила — дома он всегда был женствен и изнежен, особенно она любила наблюдать, с какой тщательностью он по утрам занимался туалетом; он опаздывал в консерваторию, повторял ей, что очень-очень спешит, и все равно мог, сидя перед трельяжем, добрый час наводить глянец на свои усы, волосы. Уход за собой явно доставлял ему наслаждение. Особое пристрастие он имел к французской туалетной воде, он был до сумасшествия чистоплотен, все время боялся заразиться, боялся любой инфекции, любой грязи, и одеколоны, которыми он беспрерывно протирали руки, были его спасением. Как-то она ему проболталась, сколько у нее было романов, и в ответ услышала такую отповедь, что едва не расплакалась и лишь затем разобралась: он отнюдь не ревновал, хотя несомненно любил ее, — ему просто не понравилось, что столько разных мужчин ее касались, и, конечно же, она не

могла не запачкаться. То есть все это взволновало его с точки зрения одной санитарии, и когда она это поняла, то была разъярена, а потом успокоилась и простила: он выговаривал ей совершенно как какая-нибудь ее подруга, так что сердиться на него было бы смешно и глупо.

Она вообще в первые дни их романа часто путалась: временами он и вправду вел себя как женщина, переодетая женщина, и она раскрывалась перед ним, словно перед своей товаркой; это было как в бане — все равны, все свои, нет никакой стыдливости, — и тут он брал ее. Он будто выжидал этого момента. Несмотря на молодость, он был поразительно опытен и изощрен, женщин он знал так, как их может знать только женщина, то есть как знать можно лишь самого себя, и она, отдаваясь ему, чувствовала, что она вся-вся его, вся ему открыта и понятна; все, что она хочет сама и что может ему дать, все это будет оценено и принято, ничего не пропадет даром, не будет напрасно. С другими любовниками она всегда после постели была грустна, часто плакала; то, что они делали с ней, было в лучшем случае условным владением ею, — она им совершенно не нужна была вся, они не хотели всю ее знать, искушенность они подменяли силой и не понимали, чего она еще желает, почему недовольна. Возможно, она, ее природа была для них чересчур тонка и они просто не умели, были не в состоянии познать ее такой, какой она была. Она ругала себя, что не приспособляется к партнеру, не играет на него и потому, если ей плохо, виновата сама, и в то же время понимала, что дело здесь совсем не в этом: она была драгоценной чашей, а они не ведали, что такое искусство, что такое красота, и считали, что из нее можно лишь пить. Было время, она даже думала, что только лесбийская любовь может ей дать то, что она хочет, но это была абстракция: женщин она никогда не любила, ее к ним никогда не тянуло и не влекло; в сущности, она уже смирилась и давно не просила Бога ни о чем подобном, и вот появился Скрябин.

В первый раз, когда они остались вдвоем, он был очень напряжен, словно не знал, будет ли он ею понят и принят, долго не решался подойти, все чего-то медлил, а потом заговорил с какой-то страшной убежденностью, тут же заразившей и ее. Он сказал ей, что она как Ева-праматерь и ее женское пассивное начало ждет, еще только ждет оформления и ему же препятствует. Она поймала себя на том, что он прав, — она в самом деле скованна и холодна. В это время он взял ее за руку, велел расслабиться, и она поняла, почувствовала, как тело ее послушалось его голоса и обмякает, больше не сопротивляется ему.

Все обличья животных, насекомых, трав, говорил он ей, суть наши духовные движения. Они созданы теми ласками, которыми мужчина ласкает женщину, — так повелось еще со времен Адама. Не Бог, а Адам, лаская Еву, породил, назвал именами своих ласк все, что окружает человека в этом мире.

«Вот птицы, — говорил он, едва касаясь то губами, то языком ее соска, — это окрыленные ласки. Вот извивные, змеиные ласки — это ласки, гуляющие на свободе», — говорил он, скользя по ней кончиками пальцев от маленьких ступней все вверх, вверх, а потом по самому краю, так что она от страха за него замирала, он обходил вход, провал, который вел в нее, и снова вверх через живот; между грудями, обвиваясь вокруг то одной, то другой пальцами, словно оправа, и опять распрямляясь через ложбину ключицы по ее шею до мочки уха и волос. Дальше он начинал ее терзать, он терзал ее немислимо медленно и жестоко, всеми звериными ласками какие только ни есть; он мучил ее плоть ласками тигров, клевал, рвал на части лаской тысяч орлов, жалил и кусал лаской гиен, а когда она уже безумела, орала от боли и страсти, он успокаивал ее, утишал холодными, склизкими ласками лягушек, а затем словно дуновение теплого ветра проходило по ее телу, — это ожившие цветы, бабочки, насекомые задевали ее своими легкими крылышками. Ласка ожившими цветами была совсем перед тем, как он и она, растворяясь друг в друге, уже начинали ничего не помнить, и последнее, что она, погружаясь в себя и в него, еще могла слышать, — это его голос, шептавший ей: «Это финальный танец, все уже идет к концу... уже скоро, скоро... сейчас мы разобьемся на миллионы мотыльков и перестанем быть людьми, сами сделаемся ласками, зверями, птицами, змеями».

Он дал ей необыкновенно много. Только с ним де Сталь наконец узнала, что она и сколько в ней всего есть; поняла, насколько совершенным инструментом создал ее Господь. Только с ним тело ее по-настоящему зазвучало, запело, она видела и слышала это, изумлялась и восторгалась собой, видела, что и он это

понимает. Он мог извлечь из нее любые мелодии, любые гармонии; как Ева, она рождала, творила под ним языки этого мира, его музыку.

Но, на беду де Сталь, таким, каким он здесь описан, Скрябин бывал редко. Я уже говорил, что он был очень неровен, часто, причем все чаще, он приходил к ней подавленный, мрачный, сидел, сидел; и сам никуда не хотел идти, и ее не отпускал. У Сталь срывались визиты, дела, она была человеком весьма обязательным, точным, и это ее буквально бесило. Тоска его скоро передавалась и ей, она вообще сразу же перенимала его настроение, с ним она и вправду была, как он выражался, «ждушим оформления» пассивным женским началом. Эта зависимость от него, кстати, тоже очень ее раздражала, она привыкла быть самостоятельной и самостоятельной, привыкла, что именно она — демиург мира, который ее окружал; сколько она себя помнила, все и всегда вертелось вокруг нее, и роль, которую он ей отвел и которую она по его милости с такой естественностью играла, рано или поздно должна была ее утомить.

Он дал ей много, очень много, и она это сознавала, в ней было достаточно и справедливости и ума, чтобы это признать, но теперь, когда он показал, открыл ей, чем она на самом деле была, — то есть все, что Господь в нее вложил, что Он ей дал, Скрябин выявил, достроил, — она снова хотела свободы. Конечно, она, как могла, пыталась вывести его из мрака, но эти усилия были совершенно тщетны; обычно он даже не обращал на них внимания, и лишь однажды, когда она особенно долго изводила его вопросом, что с ним случилось, почему вчера он был так весел и им было вместе так хорошо, а сегодня он жить не хочет, он сказал ей: «Если бы ты знала, как тяжело чувствовать на себе все бремя мировой истории! С какой завистью я смотрю на людей, которые просто ходят по улице...»

И все же если вспомнить, что он ей дал, она боролась за него чересчур мало — она это и сама понимала. Та близость, которая была между ними, оборвалась почти оскорбительно быстро, и что-то здесь было очень неправильное; конечно, она хотела свободы, устала от него, и все равно она не должна была объяснять ему, что если ему плохо, он должен сидеть дома, а не приходиться к ней, и уж тем более она не имела права его прогнать.

После того как они расстались, она довольно часто его вспоминала; пока он был рядом, любовь, постель довлели над всем, прочее было лишь приложением, теперь, когда они разделились, окончательно отошли друг от друга, она вдруг начала его видеть по-иному, даже удивлялась себе, насколько по-иному. С каждым днем в ней сильней утверждалась мысль, что в лице Скрябина судьба, возможно, свела ее с самым гениальным революционером из всех, кто встретился ей в жизни. Шло это постепенно, однажды она вспомнила, как как-то раз, неизвестно почему проснувшись раньше обычного, увидела его молящегося. Он стоял у окна на коленях и громко шептал: «Я все-таки жив, жив, все-таки люблю жизнь, люблю людей, люблю еще больше за то, что и они через Тебя, Бога, страдают. Я иду возвестить им победу, иду сказать, чтобы они на Тебя не надеялись и ничего не ждали от жизни кроме того, что могут сделать, дать себе сами. Господи, благодарю Тебя за все муки, за все ужасы Твоих испытаний, Ты дал мне познать мою бесконечную силу, мое безграничное могущество, мою непобедимость. Ты подарил мне мое торжество...»

В другой раз он рассказывал ей, что в детстве был до крайности религиозен, любил церковные службы; на их улице была церковь Вознесения Господня с очень умным и знающим священником, прекрасным хором, и он чуть ли не каждый день туда ходил. И дома он тоже часто и подолгу молился. Сколько он себя помнит, он всегда хотел быть концертирующим пианистом, знал, что для этого надо очень много работать, хотя, в сущности, это ему было легко; все, связанное с фортепьяно, было для него наслаждением, даже ненавистные для других гаммы. Ему было двадцать лет, уже велись переговоры о контракте и предстоящем гастрольном турне по югу России; и вот буквально за неделю до того, как Скрябин должен был ехать, он утром, сев за рояль, обнаружил, что играть больше не может: занимаясь, он переиграл левую руку, и она отказала. Это было крушением его жизни, и он тогда, не спеша все обдумав, возненавидел Бога и проклял Его. Через несколько месяцев рука восстановилась, но в его отношениях с Господом это уже ничего не изменило.

Вспомнив теперь тот рассказ, де Сталь подумала, что его восстание против Бога, его путь в революцию был на редкость прям и органичен; если участие других она часто не понимала, считала случайным и, естественно, до конца доверять этим людям не могла, то со Скрябиным было наоборот. Ей вдруг стало

ясно, что он надежнее и преданнее делу революции, чем даже она сама. Это было как бы переломным моментом, дальше воспоминания о Скрябине пошли чередой, и она, еще только систематизируя и выстраивая их, уже знала, что в конце концов получит цельное учение, то единственно верное учение, которое искали все они: и она, и Федоров, и Соловьев, и тысячи, тысячи других, а нашел он. Дважды мельком Скрябин говорил ей, что он — Божество, явившееся в мир и обреченное, как и Христос, пройти через невыносимые муки, пожертвовать собой ради спасения человеческого рода. У него есть назначение: он пойдет на подвиг, прекрасный, но тяжкий, отказаться от которого не в его власти. Он мессия рас, которые появляются в пограничных эрах при конце манвантары, чтобы совершить Мистерию и соединить человечество с Божеством, с мировым духом. Его предшественником, предтечей был Христос — нечто вроде малого будничного мессии. Твердо и спокойно он объяснял ей, что конец мира, время исполнения всех пророчеств близко, но начало конца зависит от него, Скрябина, и дата эта еще не назначена. Мистерия будет актом воссоединения с Единым отпавшего от Него и лежащего во множестве и раздроблении мира.

«Раньше, — говорил он, — я думал, что совершу это сам, то есть понадобится только моя жертва, но потом понял, что это не так или, возможно, не так. Дело в том, что моя личность отражена в миллионах других, как солнце в брызгах; чтобы получилась единая соборная личность, надо ее собрать, — в этом и есть назначение искусства, музыки. Все это описано мной в новом Евангелии, которое теперь заменит старое, как Новый Завет некогда заменил Ветхий. Конец Вселенной будет грандиозным соитием, как человек во время полового акта в минуту оргазма теряет сознание и его организм во всех точках переживает блаженство, так и Богочеловек, переживая экстаз, наполнит Вселенную невыносимым счастьем и зажжет пожар. Мистерия будет последним праздником человечества. Ее центром станет грандиозная оргия, нечто вроде всемирного радения. Бесконечный танец, экстатический и предельный танец...»

Скрябин говорил, что «Мистерия» соединит поэзию, музыку, музыка будет главным: ведь она владеет вечностью и может заколдовать, даже остановить ритм — это заклинание времени. Для записи «Мистерии» ему придется создать совершенно новый язык. Придется изобрести средства для записи танцев, запахов, вкусовых ощущений, движений, жестов и взоров тоже. Ведь малейшая неточность — и не будет гармонии. Закончится «Мистерия» воспроизведением гибели Вселенной, мирового пожара, и этот-то образ вызовет действительную мировую катастрофу. Дальше — смерть человечества в Восставшем Боге, но как произойдет смерть, он сейчас сказать не может. Сначала ли будет акт воссоединения братьев во Отце или потом — он не знает. Скрябин не раз ей говорил, что вины на человеческом роде нет и никогда не было, он безгрешен и, что бы ни делал, все равно будет безгрешен. В мире вообще нет ни истины, ни блага, ни греха. Истина нами творится, и какая бы она ни была, она исключает то единственное, что в самом деле существует, в самом деле благо, — свободу. Весь мир, вся Вселенная — в нас, мы, а не Бог — единственные ее творцы, и когда мы остановимся, перестанем ее творить, она тут же погибнет. Физический мир, говорил он ей, только отблески нашего духа.

Однажды она спросила его, как он относится к социализму. Скрябин ответил ей, что когда-то был им очень увлечен, о социализме ему рассказывал Георгий Плеханов, который произвел на него настолько хорошее впечатление, что он даже думал примкнуть к социал-демократам, но потом понял, что система, построенная на равенстве, — это нелепость, абсурд: нет ни контрастов, ни различий, все однотонно, линейно и бесконечно скучно. Творчество, которое все из взлетов и падений, просто не может выжить при социализме; хотя действительно будет время, когда материализм на земле восторжествует, то есть мир на пути к Мистерии обязательно должен будет пройти через эпоху социализма, эпоху, когда материализация достигнет полной меры, но это будет короткий переходный этап, нечто вроде необходимого зла, миновать которое нельзя.

«Век социализма совсем краток, — повторил Скрябин, — он пройдет буквально молниеносно, в какие-нибудь несколько месяцев ужасных конвульсий и потрясений весь земной шар может стать социалистическим, да это и не надо, чтобы весь, — где-нибудь будет царство социалиста, и этого вполне достаточно, дальше дорога к Мистерии свободна».

Время торжества социализма будет очень пресным, духовные интересы тогда совсем угаснут, не останется ничего, кроме страшнейшей прозы машин,

электричества и меркантильных интересов. Социализм будет паузой в войне между Германией и Россией, то есть и кроме них многие будут воевать, но это так, попутчики, война их просто захватит, втянет в свой круг, как танец; Германия в мире — это крайний материализм, полное забвение духа и немыслимое превозношение плоти. Россия же сохранила остаток духовности. В этой войне Россия в конце концов победит, то есть победит духовность. Так что война будет благотворна, в этом нет сомнений.

«Но сейчас, — добавил он, — социализм, как, впрочем, и другие проекты переустройства мира, интересует меня мало, все идет к Мистерии, идет к концу, и только это может иметь значение».

У нее с ним был и еще один короткий разговор о войне. Дело было в «Метрополе», где они в то время обедали почти каждый день. Газеты тогда были полны сообщениями о волнениях в Китае, и он, прочитав в «Московских ведомостях» очень яркую корреспонденцию из Пекина, радостно и возбужденно сказал: «Там зашевелились, это пробуждение, настоящее пробуждение! Китай ведь огромная сила, не столько политическая сила — политически он слаб, — сколько мистическая. Перед Мистерией должно быть всеобщее пробуждение, все раскроется и выйдет наружу, будет новое переселение народов, огромные войны, настоящая всеобщая мировая война. Сначала, я думаю, начнется в Европе, а потом перекинется в Азию, Африку... Войны, смерти не надо бояться; есть времена, когда убийство есть высшая добродетель, убиваемый испытывает тогда величайшее наслаждение, быть может, даже большее, чем его убийца. Война должна дать совершенно необыкновенные по силе и мощи чувства. Одна эта возможность убивать людей — ведь это нечто совсем особое, совсем редкое по яркости ощущение. Полезно иногда стряхнуть с себя путы, которые называются моралью. Мораль гораздо шире того, что мы под ней понимаем, вернее, ее просто нет. Что в одном состоянии — грех, в другом — поступок высшей нравственности. Сейчас как раз и наступает время, когда убивать станет нравственно. Кроме того, следует помнить, что наши войны и социальные потрясения — лишь отражение событий в астрале, так что корить себя, ужасаться творящемуся злу, каяться просто глупо».

Сталь тогда спросила его, не боится ли он, что если поднимется Азия и Африка, от европейской культуры мало что останется, и он совершенно спокойно ответил, что, конечно, такое возможно, даже очень вероятно, но в этом нет ничего плохого: культура свое слово уже сказала. Кроме того, европейцы всегда убивали мистику культурой, на Востоке же все наоборот, так что пришествие варваров оттуда будет освобождением мистики. Истинный мистик вообще должен приветствовать войну: она — путь к преображению, к экстазу. Нельзя забывать, что именно из великих потрясений мирового пожара, мировой бойни и родится Мистерия, — это ее купель.

Их со Скрыбиным роман продолжался немногим больше месяца, он был человек на редкость открытый, не желал и явно не умел ничего скрывать, и у нее сложилось впечатление, что он очень одинок. По-моему, это было связано с тем, что единственные имена, которые он называл в разговоре с ней, были имена его дяди и тетки, воспитывавших Скрыбина чуть ли не с пеленок. Она была уверена, что мир вокруг него совсем пуст, и была до крайности удивлена, выяснив, что это не так.

За неделю до разрыва Скрыбин пригласил ее к себе на квартиру — это был первый раз, когда она была у него, — на музыкальный вечер. Потом она узнала, что подобные домашние концерты он дает вполне регулярно — два раза в месяц, причем уже много лет, для одних и тех же людей. В тот день он играл большой фрагмент из музыки, которая предназначалась им для «Мистерии», — тему колоколов, кажется, записан он никогда не был. Наблюдая, как гости его слушают, она поняла, что присутствует на собрании некоей секты скрыбинян. Все очень напоминало хлыстовские радения: они были опьянены и оглушены его музыкой, он играл в совершенно экстатическом состоянии, и в таком же экстатическом состоянии находились они. Медные, жуткие, какие-то роковые гармонии лились будто набат; человечество было уже приготовлено к страшному и радостному часу последнего воссоединения, и Скрыбин прощался с ним.

Звуки, которые он извлекал из рояля, управляли этими людьми, словно марионетками. Любая его нота преображала их лица — мука, немыслимые страдания, страх мгновенно сменялись блаженством, чисто младенческой радостью и снова делались такими, как если бы перед ними разверзлась картина гибели

целого мира. Вне всяких сомнений, он был для них Богом, они веровали в него, исповедовали его как Мессию, любой из них, стоило ему его позвать, готов был воскликнуть: «Воистину ты — сын Божий», — и пойти за ним. Кончив играть, он откинулся, но руки его по-прежнему висели над клавишами; он что-то шептал, глядя на свои бегающие в воздухе пальцы, может быть, уговаривая их, сил остановить и унять руки у него явно не было.

Сталь вместе с другими заворуженно ждала, сумеет ли он с ними справиться, и тут Скрябин вдруг громко сказал: «Ах, почему нельзя сделать так, чтобы эти колокола звучали с неба! Да, они должны звучать с неба! Это будет призывный звон. На него, за ним человечество пойдет туда, где будет храм, — в Индию. Именно в Индию, потому что там колыбель человечества, оттуда человечество вышло, там оно и завершит свой круг».

Позже, за вечерним чаем, когда гости разошлись и они остались вдвоем, он сказал ей: «Мне пора готовиться. Я не знаю, где достигнет меня посвящение, наверное, мне надо ехать в Индию». И беспомощно добавил: «Ведь пора готовить и тех, кто будет на этой иерархической лестнице стоять у самого центра, кто ближе всех к прозрению». И тут она поняла, зачем он позвал ее. Скрябин продолжал: «Я должен избрать себе апостолов, учеников, вот мне кажется, что они из тех, кто здесь был, из этого круга должны выйти, но я не уверен и хотел с тобой посоветоваться. Ты, по-моему, хорошо знаешь людей». Сталь спросила его тогда, в чем будут состоять приготовления человечества к Мистерии и что ляжет на плечи учеников.

«Понимаешь, — сказал он, — Мистерия есть воспоминание. Всякий человек должен будет вспомнить все, что он пережил с сотворения мира. Это в каждом из нас есть, в каждом из нас хранится, надо только научиться, суметь вызвать это переживание. Я уже пробовал: ты как бы возвращаешься в первичную неразделенность, соединяешься, сливаешься со всем, словно воды во время потопа. А дальше сначала ничего, это и впрямь будто потоп, целый год земля от края до края покрыта водами, нет ни гор, ни лесов, ни жизни, — одна вода, и не скажешь, где она начинается и где кончается. Евреи говорят, что Господь, когда клялся Ною, что впредь никогда не будет напускать воды на землю, Он в память об этом вычеркнул год потопа из дней от сотворения мира, сказав, что жизни тогда, кроме как на Ковчеге, не было, и здесь то же самое: все как бы вернулось назад и в мире снова нет ничего, кроме материи, женского начала, ее инертности и сопротивления. Но из нее-то все и строится, на ней отпечатлевается творческий дух, и нам предстоит пережить это отпечатлевание, то есть как бы вторично пережить акт творения, затем всю историю человеческого рода, то есть все-все; что было за это время, пережить заново. И вот тут в этом совместном переживании должен родиться соборный дух. Я, — продолжил Скрябин, — наметил это уже на нынешний год. Мне кажется, к этому готовы и ты и Алексей Львович, ты, наверное, обратила на него внимание, он сидел справа от тебя, такой высокий, полный, затем доктор — это тот, который был с моноклем, у него еще на пальце большой перстень, правда, славный? Он меня знает дольше всех, я его очень люблю, и потом, он так хочет; четвертый — Иван Семенович, это тот, у которого черные выющиеся волосы, он ко мне привязан как мамка, если я его не возьму, он будет огорчен, а вот насчет Сергея Львовича я сомневаюсь и хотел спросить твоего совета. Ты, наверное, заметила, что у него глаза все время бегают. Он тоже человек очень хороший, давно уже ко мне близок, одно время он был для меня как Иоанн возлюбленный для Христа, но я боюсь, что он участвовать в этом не сможет, для этого надо быть абсолютно психически здоровым человеком, иначе могут быть большие неприятности. А врачи говорят, что он серьезно болен, да он и сам часто жалуется».

Провожая ее, Скрябин сказал: «Я тебя не тороплю, понимаю, что ты все должна обдумать, но чем быстрее ты решишь, тем, конечно, будет лучше».

Разговор этот продолжения не имел, я уже сказал, что через неделю они расстались. По мере того, как у де Сталь крепло убеждение, что Скрябин гениальный, что называется — от Бога, революционер, она чаще и чаще думала о возобновлении их отношений. Перспектива, что он снова делается ее любовником, ее скорее пугала, она знала, что виновата перед ним, и все равно считала, что на этой связи поставлена точка. Виды, которые она имела на Скрябина, были другие. Примкнув к большевикам, с каждым днем втягиваясь в работу под руководством Ленина, она практически забросила федоровцев и только наблюдала со стороны, как эта партия хиреет день ото дня, вот-вот совсем

прекратит свое существование. К тому времени она уже испробовала множество путей помочь им, в частности, говорила несколько раз об их судьбе с Лениным; она предлагала или слить две партии, или чтобы федоровцы вошли в состав большевиков как автономное образование, причем обещала полностью взять на себя финансирование будущего союза. В их последний разговор Ленин, прежде колебавшийся, наотрез ей отказал, и это несмотря на то, что денег у него тогда не было ни гроша. Резон, который он привел, был основателен — она не могла это не признать. Он сказал ей, что навел справки и считает, что федоровцы непоправимо больны, вылечить их не сможет никто, наоборот, всякий, вступивший с ними в союз, рискует заболеть сам.

Все-таки ее не покидала вера, что партия Федорова — Соловьева еще возродится; другие варианты были испробованы, и единственная надежда, которая у нее оставалась, — Скрябин со своей сектой; в общем, она сумела себя убедить, что это та новая кровь, которая вернет партию к жизни. Эти планы были абстракцией больше года, в том же духе дело могло тянуться и дальше, написать ему, позвонить ей было очень трудно, и все, как бывает, решил случай.

Ее старый приятель, барон Грюнау, повел ее на концерт, в первом отделении которого должна была играть скрябиновская Девятая симфония, она ее уже один раз слышала, причем дирижировал сам Скрябин, и тогда осталась в немалом восторге; в антракте, разглядывая в бинокль публику, — Грюнау в этом театре арендовал ложу, — она в партере заметила лицо Скрябина и, не особенно раздумывая, послала ему теллую, но ни к чему не обязывающую записку с благодарностью за доставленное удовольствие и предложением ее навестить. Скрябин откликнулся на следующий день, он явно был рад ее приглашению, даже не думал это скрывать, сказал, что придет в ближайшую пятницу и, если она хочет, готов играть для ее гостей хоть до ужина. В те годы его известность в России была весьма велика; де Сталь сполна оценила любезность и, может быть, поэтому была так поражена, когда у нее в доме федоровцы, слушавшие два часа музыку Скрябина, затем вдруг издевательски высмеяли его. Но еще больше она была поражена, когда на следующий день Владимир Соловьев, Иоанн Кронштадтский и Драгомиров, не обратив на вчерашнюю сцену никакого внимания, единогласно предложили Скрябину возглавить федоровцев, стать их вождем.

Из них троих она впоследствии, и то не часто, общалась лишь с Драгомировым и однажды, было это уже много лет спустя и, как теперь говорят, представляло лишь исторический интерес, спросила его, почему их выбор пал тогда именно на Скрябина. Драгомиров, удивившись ее вопросу, сказал, словно само собой разумеющееся, что они, бывая на концертах, всегда потрясались могучим симфоническим даром Скрябина, его умением до последней ноты, до последней детали расписать партии десятков разных инструментов, так что в итоге их голоса сливались в нечто совершенно единое и цельное, причем все было настолько законченно, отделано, что даже непонятно, как можно разделить и сломать это добровольное согласие. Он, Драгомиров, например, не мог после скрябиновской Седьмой симфонии слушать во втором отделении сольный скрипичный концерт, у него все время было ощущение, что другие инструменты погибли, Уцелела одна скрипка, которая теперь рыдает и молит о спасении. В связи с этим они давно рассматривали кандидатуру Скрябина, считая, что у него есть хорошие данные, чтобы стать руководителем и мозгом партии. А потом они раз оказались на премьерном исполнении Девятой симфонии Скрябина, причем дирижировал он сам, и еще больше, чем симфонией, были потрясены тем воодушевлением, даже восторгом, с каким флейта или там гобой играют свои совсем мизерные партии под его управлением; он был их настоящим вождем, был их Богом, куда бы он ни позвал их, что бы ни приказал делать, они не задумываясь исполнили бы все.

Впрочем, надежды на Скрябина, которые питала и де Сталь, и прежде руководство партии, оправдались лишь отчасти. Внешне жизнь федоровцев с его приходом изменилась мало. По-прежнему вся конкретная подготовка к Мистерии велась Скрябиным внутри секты. Федоровцы же остались на периферии его интересов, достаточно сказать, что ни один из них в узкую группу ближайших учеников Скрябина так и не был введен. И все же разложение партии, без сомнения, остановилось, кончились давно раздражавшие де Сталь жалобы, что борьба напрана и жизнь прожита зря, наоборот, в каждом было ощущение причастности к чему-то, возможно, решающему для судеб мироздания. Никто из них не сомневался в верности пути, избранного Скрябиным. Раньше они были склонны обвинять в неудачах партии кого угодно, только не себя, теперь же

поняли, что причина их второстепенного положения одна: они еще плохо, несравненно хуже, чем старые ученики Скрябина, знают и понимают его музыку. Они пытались догнать время, для них, например, сделалось нормой не пропускать ни одного концерта, где исполнялся Скрябин, и это касалось не только Москвы; в полном составе они сопровождали его и в гастрольных поездках. Так что, несмотря на отсутствие каких бы то ни было внешних результатов (теракты, забастовки, митинги, демонстрации), культ Скрябина среди федоровцев разрастался, они буквально соревновались с его ближайшими учениками в любви и преданности учителю.

Все это де Сталь, однако, могла наблюдать лишь со стороны, предвоенные годы очень изменили ее жизнь; выполняя различные поручения большевиков, она если и бывала в Москве, то редкими и довольно короткими наездами. Отношения со Скрябиным у нее оставались теплыми, по мере надобности они переписывались, однако эти послания по большей части были связаны с интересами их партий и лишены сантиментов. Правда, иногда живые нотки в них проскальзывали. Так, в четырнадцатом году, когда до нее — она была в то время в Стокгольме — из России стали доходить настойчивые слухи, что Скрябин, несмотря на пошатнувшееся здоровье, собирается идти на фронт, она написала ему длинное путаное письмо, умоляя, заклиная не делать этого. Ответил он ей быстро и совершенно восторженным посланием: война началась, писал он, и путь к Мистерии открыт, день, который и он и человечество ждали тысячелетия, наступил. Он не понимает ее грусти, не понимает, как она может не видеть, что это час радости и торжества, час ликования и веселья. Дальше он очень подробно рассказывал ей о своем новом друге Николаеве — де Сталь слышала о нем впервые, — который был мобилизован два месяца назад и теперь пишет, что просто упивается войной, кровью, впервые он живет настоящей, яркой, полной красок жизнью, все в нем открылось и освободилось, все чувства обострены, даже иступленны, и он наконец понял, что есть он — человек. В приписке Скрябин сообщал ей, что и сам бы с радостью пошел на войну, но здесь, в тылу, может сделать куда больше, так что ее тревоги за него безосновательны. «У меня, — заключал он письмо, — припасено немало своих сорокадюймовых снарядов, только совсем иного рода».

Через три месяца на тот же ее стокгольмский адрес пришли с небольшим интервалом еще два его письма (второе — из Швейцарии, которое она прочитала лишь в шестнадцатом году, когда Скрябина год как не было в живых). В первом письме он говорил ей, что скоро уезжает в Швейцарию — последний клочок мира, зажатый между двумя вступившими в решающую схватку блоками, — и дальше: человечество уже готово принять ту благую весть, которую он ему несет, и он решил начать свою проповедь, свой крестный путь именно в Швейцарии, отсюда он будет услышан всеми. Второе письмо, отправленное Скрябиным из Женевы на десятый день пребывания там, было очень странным. В нем он писал де Сталь: «Клянусь тебе, если бы я сейчас убедился, что есть кто-то другой, кто больше меня и может создать такую радость на земле, какую я не в силах дать, я бы тотчас отошел и уступил ему место, но сам, конечно, перестал бы жить».

Алеша, продолжал Ифраимов после полученного и выпитого нами вечернего кефира, вот здесь и начинается то основное, что было сделано Трогау, и били его по преимуществу тоже именно за эту часть исследования, хотя чиновникам из отдела агитации и пропаганды партии работа не понравилась вся. Суть в том, Алеша, что Скрябин всегда был окружен людьми, всегда достаточно с ними откровенен, и жизнь, которую он прожил, сравнительно хорошо документирована и известна его биографам, но эти десять женеvских дней — полная загадка. Что произошло с ним в это время, какой кризис он пережил, что понял — все в темноте. Из послания при первом прочтении можно сделать вывод, что он впервые усомнился в том, что призван, что он Мессия, и последующие события, похоже, это подтверждают, но с чем была связана утрата веры в свое предназначение — совершенно не ясно. Правда, стараниями Трогау внешнюю канву событий — где и как жил Скрябин в Женеве, а надо сказать, жил он странно — в общих чертах удалось восстановить, однако, я думаю, главное — то, что происходило в душе Скрябина, — так никогда и не станет известно. Пожалуй, это к лучшему: есть вещи для человека настолько тяжелые, что они должны уйти в могилу вместе с ним.

Известно, что в четырнадцатом году в Женеве одновременно со Скрябиным проживало очень много политэмигрантов из России, по большей части социал-демократов, но были и другие; в прежние годы разбросанные чуть ли не по всем европейским странам, они с началом войны собрались в нейтральной и мирной Швейцарии. Здесь, пытаясь согласовать общую позицию, русские социалисты вели бесконечные дискуссии, совещания, переговоры с социалистами прочих европейских держав о том, как относиться к войне, что и как делать и, самое важное, что за этой войной воспоследует. За своими подопечными в Швейцарию переехали и сотни агентов полиции. Правительства воюющих стран равно были обеспокоены общей социалистической активностью, слежка велась постоянно, и Ленин с Зиновьевым, кажется, первые, — потом эту идею у них позаимствовали остальные, — когда им надо было обсудить что-нибудь особо секретное, нанимали на лодочной станции шлюпку и, отплыв на сотню метров от берега, чувствовали себя в полной безопасности. Изредка, словно дразня шпиков, они забрасывали в воду удочки, но, судя по фольклору, за четыре года войны не поймали ни одной рыбешки.

Частый наем лодок был, конечно, дорогим делом, но с точки зрения конспирации он полностью оправдался. Во время одного из таких озерных совещаний они увлеклись разговором и не заметили, как течение подогнало лодку совсем близко к берегу; очнувшись их заставил голос хорошо одетого господина, стоящего неведомо зачем по колено в ледяной ноябрьской воде и что-то им кричащего. Зиновьев, который всегда был трусоват, вообразил, что затевается провокация, дабы повод выслать их из страны, но Ленина этот человек по неизвестной причине заинтересовал. Незнакомец говорил до крайности страстно, хотя по большей части бессвязно. Кроме того, он, очевидно, принимая Ленина и Зиновьева за немцев, старался говорить с ними по-немецки, однако язык знал плохо, и понять его было очень и очень трудно. Возможно, Ленин был заинтригован тем, что слова, которые выкрикивал незнакомец — мировая война, бойня, гибель старого мира, революция, социализм, конец света, — были ровно те же, какими минуту назад они обменивались с Зиновьевым, но так неожиданно повернуты, что это не могло его не позабавить. Труднее понять, почему Скрябин, а это был именно он, выбрал столь необычное место и способ, чтобы открыться людям. Я думаю, что на него повлияли параллели между собственной судьбой и судьбой Христа, — их и он сам, и его ученики давно и с большой настойчивостью проводили в Москве, — в частности, то, что родился он в первый день Рождества Христова. Этими параллелями он был подготовлен, а дальше все должно было произойти совершенно спонтанно: он гулял по берегу озера, увидел в лодке Ленина с Зиновьевым и, решив, что это швейцарские рыбаки, стал им проповедовать, как Христос рыбакам галилейским.

Хотя мне представляется, что это лишь половина правды, важнее, по-моему, то, что Скрябину — апостолу и пророку нового мира — изначально было открыто куда больше, чем обыкновенным людям. Всю жизнь, с первого дня своего появления на свет он был ведом высшей силой. Эта сила и побудила его уехать из воюющей России сюда, в тихую нейтральную Швейцарию, где на берегу удивительно красивого Женевского озера он, как Иоанн Креститель — Христа, должен был найти и благословить Ленина.

Убедившись, что Ленин и Зиновьев его слушают, Скрябин, продолжая говорить, все так же по воде направился к лодочной станции, и Зиновьеву, сидевшему на веслах, поскольку пути их совпадали, не осталось ничего другого, как грести вслед за ним. Однако на причале он, этой историей до крайности обеспокоенный, немедленно распрощался; Ленин же, наоборот, вызвался проводить Скрябина до его дома на Рю-де-Плесси. Здесь он получил визитную карточку Скрябина вместе с предложением навестить его завтра после обеда. Ленин принял приглашение, и с этого числа они виделись со Скрябиным каждый день ровно четыре недели, проводя вместе время от обеда до глубокой ночи. Это подтверждено многими источниками, в частности, хранящимися в Музее Революции воспоминаниями хозяйки дома, в котором Скрябин нанимал комнату, — мадам Труа. Она пишет, что в комнате господина Скрябина по его просьбе был поставлен рояль, взятый ею напрокат в фирме Штутцера, и на этом рояле господин Скрябин до середины ночи играл весьма странную музыку для другого господина, который, как она определила по фотографиям, публикуемым в швейцарских газетах, ныне является главой русского коммунистического государства. Возможно, продолжает мадам Труа, она бы и не обратила внимания

на постояльца и его гостей, поскольку ей не свойственно лезть в чужие дела, но соседи господина Скрябина все время жаловались, что его игра не дает им спать; по этой причине она в конце концов, несмотря на то, что господин Скрябин хорошо и аккуратно платил, была вынуждена ему отказать.

В этом свидетельстве квартирной хозяйки лишь на первый взгляд нет ничего странного, однако если мы вспомним, как болезненно Ленин воспринимал всегда любые попытки оторвать его от работы, как он экономил буквально каждую минуту, чтобы отдать их на писание статей и больших теоретических трудов, а с другой стороны, отметим, что, по свидетельству людей, близких Ленину, он не любил и не понимал современной ему музыки — любимым его композитором всю жизнь был Бетховен, кстати, Скрябин не переносил Бетховена, вообще не считал его за композитора, — то вывод напрашивается сам: у Ленина должны были быть веские основания, чтобы так резко изменить образ жизни.

Придя к данному заключению, Трогау предположил, что Скрябин весь этот месяц играл Ленину музыку из своей «Мистерии» и давал подробнейшие комментарии и объяснения — как, где и когда она должна быть поставлена. Судьба скрябинской «Мистерии» очень загадочна: известно, что он писал ее много лет, а с другой стороны, специалистам, занимающимся его творчеством, неизвестна запись ни одного фрагмента из нее. Друзья Скрябина в один голос утверждают, что он играл кусок из «Мистерии» лишь раз, за десять лет до смерти, те самые «Колокола», впрочем, и этот отрывок записан не был. Результаты же основной работы исчезли и вовсе без следа. Что же заставило Скрябина именно Ленина выбрать для первого прослушивания «Мистерии», отказав в этом праве своим ближайшим почитателям? Объяснение, считал Трогау, здесь может быть только одно — Скрябину дано было знать, что он не получит благословения стать мессией; намеренья высших сил изменились, их выбор теперь остановился на Ленине, который и поведет народы земли ко всеобщей гибели, дабы потом они, очищенные огнем и смертью, могли воскреснуть и возродиться вновь. Скрябину было сказано, что откровение, давшее ему возможность заглянуть в самые глубины бытия и написать «Мистерию», не было ложным — все случится точно так, как написано у него, однако на этом его роль окончена, ему надлежит передать «Мистерию» Ленину, который и явится ее постановщиком.

Следующим шагом Трогау было его предположение, что в ленинских рукописях, начиная с конца 1914 года, возможно, в неопубликованных, должны были остаться те или иные следы скрябиновской «Мистерии», однако долго ему не удавалось ничего обнаружить. Лишь в 1927 году, совсем по другому поводу разговаривая с Надеждой Константиновной Крупской, он вдруг услышал от нее, что у Ленина была своя собственная система, причем очень хитроумная, стенографической записи, которая позволяла не только чрезвычайно быстро записывать слышанное, но и одновременно его шифровать. Ключ к шифру Ленин скрывал и от нее, очевидно опасаясь, что при определенных условиях, например если ее будут пытаться, она может не выдержать и расколоться. Возможно, не будь у Трогау почти мистической уверенности в том, что Ленин записал «Мистерию» Скрябина, он бы и вовсе не взялся за решение этой задачи.

Как-то смеясь он говорил нам, — сказал Ифраимов, — что две вещи похоронили последние его сомнения на сей счет: слова Ленина, что революция — это искусство, и слова противников Ленина, говоривших, что он разыграл революцию как по нотам. Расшифровка кода заняла у Трогау четыре года напряженнейшей работы, причем первые же попытки применения полученных результатов показали, что вся знаменитая ленинская работа «Государство и революция» есть не что иное, как тщательнейшая запись одной из главных тем «Мистерии», более того, выборочные расшифровки других ленинских работ дали схожую картину, так что есть основания полагать, что поздние работы Ленина, вплоть до написанной на смертном одре статьи «О кооперации» и «Письма к вождам» — политического завещания Ленина, на самом деле тоже являются частями зашифрованной партитуры «Мистерии».

Работа Трогау, как я уже вам говорил, — продолжал Ифраимов, — была прервана в начале, тем не менее два переведенных им фрагмента: один — вступления, другой — главной темы, не были изъяты при обыске и чудом сохранились. Сегодня я их захватил, и, возможно, они будут вам полезны».

Он отдал их мне, и здесь, в своем «Синодике», я привожу трогауский перевод ленинской стенограммы без всяких изменений.

«Запахи — совершенно равноправная составляющая партитуры Скрябина, иногда в отдельных ее частях они даже выходят на первый план, оттесняя и световые эффекты и собственно музыку. Звуки медленно остывают, холодеют. «Мистерия» вся соткана из смертей, и агонии выписаны Скрябиным с почти медицинской дотошностью; бывает, что это ложный конец, тема длится, длится, все в ней уже измучено, искривлено, все вызывает у нее боль, но это еще не агония, идет долгая борьба со смертью, весы колеблются, а потом тема вновь поднимается; он играет ее мощнее, мощнее, и это как с человеком. Человек может вытерпеть многое, кажется, что человек вообще может вытерпеть все, и в этом, в том, что человек может вытерпеть все, что для него нет предела ни в грязи, ни в мерзости, ни в подлости, ни в страданиях, ни в унижениях, ни в зле, — апофеоз и торжество жизни, по Скрябину.

Однако проходные темы, как правило, слабые и мелодичные, умирают у него все время, они не выдерживают и тихо, как старушки, приготовившись и оплакав себя, уходят, и вот всегда, когда вслед за смертью темы Скрябин, как бы хороня ее, провожая в последний путь, почти до тишины приглушает звуки, — вступают запахи, это их время. Запахи тогда буквально буйствуют. Впрочем, в начальных аккордах, там, где речь идет о Петербурге, и в запахах много слабости и умирания. Скрябин соединяет их чрезвычайно прихотливо, о гармонии речи здесь нет, любимый его прием — смешать запахи великосветского салона, духов, цветов с запахами бойни или помойки. Если в музыке законы гармонии остаются для него все же важными и мелодии, — то прерываясь, то снова возникая, тянутся почти до конца «Мистерии», то запахи — это какофония, это прямое отрицание, убийство, заклятие гармонии; он ненавидит их, словно астматик; если он где и безумен, то в том, как он обращается с запахами. Надо подчеркнуть, что, несмотря на эту мешанину, палитра запахов у него очень резка, она буквально бьет, запахи в любой смеси утрированно чисты и не связаны с другими, не замузнены. Они никогда не составят пусть самого поганого букета, они только не дают друг другу жить, только глумятся друг над другом. Из-за этого, когда снова, всегда очень тихо, как бы из ничего, среди этого бреда возникает музыка, она, какой бы трагичной ни была тема, все равно звучит смягченно, подчеркнута мелодично, принося успокоение и умиротворение. В музыке, несмотря на свое новаторство, Скрябин, вне всяких сомнений, остается в рамках традиции, хотя и очень широкой и свободной; в запахах он отрицает не только традицию, но и вообще культуру. Это разрушение и отрицание всего, в первую очередь организованных, сотворенных человеком букетов, будь то сыр или духи. Тем не менее в той какофонии запахов, которая пронизывает скрябиновскую партитуру, достаточно хорошо различимы две переплетающиеся темы: город в петербургском своем обличье и юг России — начало движения Мистерии в Индию. Сами эти темы даны в явной длительности; и по ним, по запахам, как ни странно, даже легче, чем по музыке, можно понять, как представлял себе ход Мистерии Скрябин.

Петербург: война и постепенное ослабление, умирание запахов нормальной, ухоженной жизни — кондитерских, ресторанов, булочных, где все — кто, как и где должен пахнуть — давно определено и привычно; их замещение запахами мужчин, занимающихся своей исконной военной работой, уходящих на фронт, потом, после госпиталя, ненадолго возвращающихся домой и снова уходящих, искусственными запахами лазарета: йод, спирт, карболка, разные мази — и все это смешано с запахом заживо гниющего тела, кала, мочи, обильного и густого пота раненых и умирающих; запах отчаянной и безнадежной борьбы за жизнь, запах твоего тела, которое, как мясо, режут на куски, стол, где тебя разделяют, твоя часть — рука или нога — уже труп, а ты зацепился за жизнь. Пот смертельной усталости и смертельной работы. И еще: запах свежестирированных бинтов, которые в этом мире заменяют свежестирированное белье, запах гниющей раны и только что наложенных на рану белых, пропитанных лекарствами, бинтов. И все-таки сильнее всего трупный запах, он все время сильнее; и в том, что от него невозможно избавиться, в том, что он окончательный, конечный запах человека, — и есть конец всего.

Эта тема лазарета очень длинная, почти нарочито длинная, и вдруг, когда этого никто не ждет, вот здесь, Владимир Ильич, смотрите, — новая тема, с первых же тактов — полное ликование, фейерверк, все веселится, танцуют, царя свергли, и все дальше прекрасно и безоблачно, все ко всем добры, все захлебываются и потеряли голову, все всех любят, и нет никаких сомнений. Ушли и горести и

печали, — вот здесь тема печали как бы проскальзывает, но тут же уходит и забывается — так, мелькнуло и сразу ушло, и снова все беззаботно, все в эйфории; это революция, первые дни: все боялись, были в ужасе, а оказалось легко и просто, и даже никого или совсем мало погибших, и это как французы, танцующие на месте, где была Бастилия. Вот здесь танцевальные мелодии, а это взрывы фейерверка, как бы пародия, веселая пародия на военные взрывы, тогда ведь идет война, и все вздрагивают, что это война, и боятся, и тут же понимают, что это хлопушки, и еще больше веселятся, поэтому сразу после хлопушек такой всплеск веселья, и музыка еще громче, хотя и кажется, что оркестр на пределе и громче уже нельзя. И запахи тоже будто из прошлой жизни: пахнет хорошей кухней и рыночным изобилием, обжоркой и рестораном, духами, шампанским, тонкими соусами — как всплеск жизни перед смертью. Корица, ладан, кардамон, особенно густой и приторный запах благодарственных служб в храмах, — и сразу будто ты вышел на свежий морозный воздух. Кажется, завтра война кончится, все верят и полны надежды.

Все постепенно просыпается, начинают работать фабрики и заводы, здесь все очень ритмизовано, все движется как машина, очень четко и слаженно, почти никаких посторонних звуков, и здесь, в этих ритмах, — огромная сила, сила, которая, кажется, может все; торжество материализма — духа здесь почти нет совсем, он и не нужен, он только мешает, вот здесь он несколько раз как бы случайно появляется и везде звучит диссонансом, он здесь лишний и сам уходит, потому что сейчас не его время. Но скоро будет его.

Дальше праздник кончается: голод, холод, видите, музыка совсем тихая и медленная, такая, как ходят люди, когда им холодно и голодно, когда они берегут свое тепло и силы тоже берегут. Но никто ни на кого не сердится, все этого сами хотели. Снова медленное ослабление жизни и умирание старых запахов; сначала исчезают редкие и изощренные, но еще прежде они уже стали тебе чужими, и ты как бы рад, что их больше нет, за ними уходят совсем обычные запахи, но все медленно и постепенно, так что почти и не замечаешь, — не уход, а приглушение. По-иному начинают пахнуть женщины, нет дров, горячей воды, мыться все труднее, но духи, румяна и пудра еще в изобилии; стремясь забить запахи собственного тела, ощущение нечистоты, их теперь кладут куда гуще, чем раньше, но духи и пот только усиливают, подчеркивают друг друга, и женщины начинают пахнуть, как бабы. Запахи соединены так резко и вульгарно, что женщины все больше походят на так же раньше пахнувших проституток, и мужчинам это нравится, они чувствуют этот запах, он возбуждает их, женщинам это передается тоже, и они уже хотят пахнуть, как бабы, хотят чувствовать себя бабами, быть бабами, хотят, чтобы их любили и брали, как баб, — это отказ от культуры, от всех условностей, правил, этикета, как бы назад к природе, и поиск в себе и доли, и смысла, и своей судьбы, — эта тема останется до конца, будет только усиливаться и развиваться.

В домах все меньше тепла, совсем недавно отовсюду еще шел этот теплый дух: так пахли не только печи, очаги, камины или лампы, — нет, он шел и от стен, и от мебели, и люди тоже пахли теплом, какие-то запахи тепло пробуждало, но это было так везде и одинаково, что все к этому привыкли и, не умея разделить, так и говорили: запахло теплом. Теперь, когда тепла осталось совсем мало, но все-таки в домах пока еще теплее, чем на улице, все, что есть в квартире, начинает несильно, но явственно пахнуть по-другому. Особенно дерево, а из дерева — то, что ближе к земле, — скрипящие от сырости половицы. Если раньше запахи пробуждало тепло, то теперь сырость. Отсюда запахи прелости, старости, непроточной воды, запах гниения и лилий. Тепло раньше оттесняло все неродное себе в подпол, за обои, за окна и стены, теперь оно возвращается в дом, и только около буржуйки пахнет по-старому; комната разделена этими старыми и новыми запахами, и ты по многу раз в день переходишь из одного мира в другой, ты как бы все время уходишь из дома и возвращаешься обратно, ты хочешь быть дома, никуда не идти, но ты уже странник, перекати-поле, и в этом вся твоя судьба.

Граница тепла текуча, легка, это не стены дома, которые могли бы тебя удерживать. Мужчины пока все те же, что были на фронте, им легче, и они почти не замечают перемены. Потом запахов становится меньше, уходит очень сильный запах гниения, редет, растворяется, и ты начинаешь слышать слабое старушечье тление. Отбросов почти нет, месяц или два назад, когда городские службы день за днем бастовали и мусор не убрали, все пахло гнильем. теперь город как бы

сам собой очищается, все идет в дело, отбросов никаких нет, все очень чисто и холодно. Уходит живое, почти нет лошадиного навоза, пахнувшего особенно остро зимой на фоне снега. В прихожих не пахнет улицей, двери держатся на запоре, люди выходят редко, идут медленно, по большей же части, сберегая тепло, лежат в постели. Ты еще жив, еще не замерз, в городе культ своих живых запахов, культ теплой жаркой одежды, хранящей их вместе с теплом.

Запахи черного хода и парадного теперь мало отличимы, женщины уже откровенно пахнут природными запахами и не пытаются их скрыть, в этот мир только иногда странным напоминанием врывается или кусок швейцарского сыра, или бутылка хорошего вина, которую долго смакуют и плачут. До этого, когда громили царские подвалы, был взрыв, апофеоз ароматов вин, по городу текли розовые ручьи, тая снег и вымывая прошлогоднюю грязь, безумная мешанина вин со всей Европы, текущая по городским улицам, затекающая в подворотни, дворы и подвалы: посреди зимы — лето, порт, море и вино, и все ходят пьяные. Неведомо где добытая бутылка — память об этом.

Потом слабеют и природные запахи, люди почти не потеют и не пахнут, все идет в дело, чтобы продлить жизнь, перед смертью люди высыхают будто мумии. Города теперь вообще меньше, чем раньше, в самом центре холодно, свежо и пахнет лесом, не дымят ни заводские, ни фабричные трубы; городское тепло, вытеснявшее раньше за заставу чужие запахи, сошло на нет, как и тепло человеческое, и окружающий мир с морем, тем же лесом, текучей и стоячей водой шаг за шагом возвращает себе город.

В домах на место дорогих платьев, давно выменянных на хлеб и картошку, из комодов достаются старые, пахнувшие нафталином одежды, и этим запахом, сильным и резким, долго пахнет все, даже еда, но и он уходит вместе с вещами. Дальше город будет пахнуть лишь сыростью и запустением, одними разбухшими от влаги и оттого скрипящими половицами, и этот запах лежащего на камне дерева будет самым долгим.

Юг России. Такое же вытеснение горячих и нечистых фабричных запахов и возвращение в город запаха степи, остро запаха полыни; он все крепче, потому что многие поля не засеваются, земля лежит впусе, здесь тоже отказ от культуры — земледельческой — и возвращение к тому, что было прежде, еще до людей. Занятые насилием друг над другом, люди забывают о природе, и она поднимается. Даже когда во время боя загорается лес или поле с созревшей пшеницей, природой это воспринимается как ее часть, как стихия; разрыв снаряда так же резок и мимолетен, как молния, здесь нет системы, нет планомерного методического уничтожения, и деревья, принимая пожар как судьбу, не ропщут.

Надо сказать, что временами у Скрябина случаются совпадения начала и конца — тихое умирание или взрыв перед смертью — двух рядов: музыкального и запахов, но и здесь им подчеркнуто, что в одном жизнь подчинена, хотя и не явно выраженной, гармонии, в другом ряду — дисгармонии.

Снова юг; это уже, кажется, гражданская война. Отступающие и наступающие части то и дело меняются местами. Наступающие спокойные, уверенные; охотничий азарт погони. Отступающие пахнут потом загнанных, преследуемых по пятам зверей, дичи. Они выдыхаются и принимают смерть, как жертва, отданная на заклятие, как милосердие и освобождение от смертной усталости. Вернулась первобытная жизнь: грехопадение было совсем недавно и еще не забыто. Времена Нимврода, а может быть, еще раньше: биваки, стоянки и привалы, охотничьи подвиги, сила, ум, хитрость и удачливость; они неутомимы в любви, освобождены от условностей и субординации, от всех старых порядков; к власти теперь приходят мгновенно, приходят те, кто ее действительно достоин, кто пахнет силой и может сам своей рукой доказать, что он ее достоин.

Это жизнь свободная и прекрасная, с ночевками в поле, с купанием лошадей, с костром, с привычностью смерти и едой, которая вся — охотничий трофей, вся — добыча. Ты снова тот, кто есть на самом деле, и вот за эту жизнь, за это счастье, за эту свободу и волю одна часть народа, как агнца, приносит в жертву Богу другую и верует, что она — Авель и ее жертва угодна Богу. И вся земля, вся степь — алтарь, и полынный запах степи — приправа, пряность; одна часть народа ведет на заклятие другую, и запах жертвы — благоухание жертвы, принесенной с верой в правду и справедливость, со всегдашней готовностью поднимается в небо. Это возвращение к язычеству: враг приносится в жертву, и Бог обоняет запах торжества и победы».

Второй фрагмент — расшифровка части третьей главы «Государства и революции» — «Парижская коммуна как первый опыт диктатуры пролетариата»: «Слушайте, Ленин, слушайте внимательно. Вот первые такты, здесь много неуверенности, ритм все время сбивается, люди бросаются то туда, то сюда, рыскают, ищут, и то и дело слышны ликующие звуки — нашли, но снова оказывается не то, слабые быстро сдаются, очень быстро, они ничего не понимают, отчаялись, бросили бороться; вот тут, слушайте, звуки как бы перепугались, и все больше в них апатии, но сильные... сильные, — нет, вот снова совсем мажорно — сильных так просто не остановишь. Чего же им надо, Ленин? Чего они не могут найти? Мистерия — это грандиозный сексуальный акт, грандиозное соитие; аморфное, ничем и никогда не оформленное женское начало должно быть оплодотворено сильным и цельным мужским началом, этот акт оплодотворения и есть Мистерия; Мистерия — это новое рождение Вселенной. Пройдя через смерть, перестав быть чем бы то ни было, растворившись в этом бескрайнем женском начале, человечество, как и весь мир, возродится вновь, на этот раз для вечной и прекрасной жизни. Вот музыка этой жизни. Смотрите, Ленин, какие лучезарные, какие светлые гармонии! Женское начало — это Россия, огромная, бескрайняя страна, бессмысленная равнина, в которой нет ничего, кроме инертности и сопротивления; но где мужское начало, которое ее оплодотворит, тот творческий дух, который отпечатается на ней и от которого она зачнет, где он?

Сильные ищут сильного, я тоже долго его искал. Вы, Ленин, наверное, думаете, что это революция, что Россия понесет от революции, но нет, Ленин, это не так, не так. Да, вы правы, Россия уже беременна революцией, то есть уже зачала; революция — любимое, самое любимое ее дитя, значит, творческий дух уже начал отпечатываться, но кто он? Революция — именно дитя, сама она может очень мало, правда, она быстро, совсем быстро делается женщиной, красивой, решительной, экзальтированной, страстной, но женщиной, женщиной, которая временами будет вести себя как мужчина, но все равно это женщина, и, как ее товарики, она быстро выдыхается, устает и уже не может, не хочет ничего нового. И власть тоже женщина...

Я, Ленин, все перебирал и перебирал эти слова, все играл их для себя, и среди них мужским началом был только бунт, но бунт краток, быстротечен и суматошен, с женщиной он совладать не в силах, он никогда не успевает отпечататься на России. И тонет, исчезает в ней без следа. Я долго его искал, это мужское естество, долго, очень долго и все-таки нашел, слышите, Ленин, нашел его! Это террор; он и есть то терзающее, распинающее начало, неутомимое, вездесущее, сексуальное, которое я искал. Палач и жертва, их соединение, их связь чисто эротическая, смотрите, как строится террор: то безумная жестокость, то более мягко, и палач сегодня садист, а завтра снисходителен, полон сочувствия и понимания, и счастье, когда тебя не бьют, когда дают передышку; и надежда, и любовь, и чисто женская убежденность, что все правильно: палач на все имеет право, и, в первую очередь, право пытать, и нет большего греха, чем усомниться в этом. И всегдашнее желание оправдать, и вера тем сильнее, чем больше жестокости, и, значит, жестокость — во благо; вера, что террор может все, что он — главное средство, главное орудие в строительстве всего светлого и высокого, вера, что без него не может быть ничего, террор воистину и есть тот творческий дух, и самое важное — глубочайший мистический эротизм и сексуальность террора, ведь он даже приходит под маской женщины — революции, в ее одеждах и уже во время акта превращения из женщины в мужчину — тут особый эротизм. И такая же мистическая неразрывная связь палача и жертвы, невозможность, неполнота их одного без другого, их неразделимость, их слитность и слиянность, как в Христе — человек и Бог.

Только террор, только он заслуживает чистой и верной любви, только он может заслонить, заставить забыть все другое, что было в твоей жизни, и Россия станет его, отдастся ему безоглядно и беззаветно. Террор захватывает человека, подминает его целиком, ни о чем невозможно думать кроме как о нем, только он и страх: каждый день могут войти и взять, и ты только об этом и думаешь и все время ждешь — и днем и ночью, — вздрагиваешь от каждого шороха, скрипа, от каждого неосторожного слова или намека, а когда вдруг террор ослабевает, он кажется тебе таким мягким и нежным, таким добрым и великодушным! Ты думал о нем плохо, а он лучше и мягче, кто же ты теперь, если не негодяй и подонок?

Потом, когда эта мягкая ласка террора снова сменяется еще большими ужасами, ты в себе, а не в нем, только в себе ищешь вину и знаешь, что она только в тебе, и все справедливо и оправданно, ты полон раскаянья и умираешь, зная, что все заслужил, что смерть твоя — воздаяние за грех. На самом деле, Ленин, террор — не палач, а следователь, лишь необходимость может сделать его палачом, следователь, который допрашивает, пытаясь добиться правды, женщину. Эта женщина была всегда предана и революции и социализму, то есть она — не враг, она своя, и вот ее арестовывают, берут, и она узнает, что не ее одну, а многих и многих; ее начинают допрашивать, добиваясь совершенно немыслимых признаний, признаний в диких, безумных вещах, которых, конечно же, никогда не было, то есть возьмем чистый и невозможный бред и посмотрим, что из этого выйдет. У нее просят, чтобы она дала показания на мужа, которого она очень любит и который также вполне предан режиму, и на своих детей. И вот представьте ее: она любит революцию и старается все время объяснить это следователю, следователь для нее — олицетворение революции, и она его никогда и ни в чем не винит, она не будет винить его, что бы он с ней и с ее родными ни сделал: он может бить ее, пытаться, насиловать, может убить — что угодно, потому что если он виновен, значит, виновна и революция, он ведь только ее часть, но тогда она арестована правильно, она враг, и надежды нет. То, что с ней сидят столько ее товарок, похожих на нее во всем, показывает, как хорошо маскируется враг и как трудно и невозможно его выявить, какая трудная, важная и ответственная работа у следователя, как верно и преданно он ее и других честных людей защищает, и ясно, что его авторитет надо поднимать и поднимать и что даже если он в отношении ее и не совсем прав, — это ничего, и даже при том множестве врагов правильно и естественно; мудро было бы, если б было иначе, это только доказывает, что он живой человек, а не машина, раз тоже может ошибаться, и ей, женщине, приятно, что он живой, и вот она его поняла, и вообще власть такая живая и человеческая, ее родная власть.

Она еще больше ненавидит своих сокамерниц, которые продали и предали ее, будучи врагами, подделались под нее, и, значит, только они виновны, а он, следователь, — невинно обманутый, и ей горько, что она тоже, ведя себя так, как эти ее и власти враги, как бы даже помогала им маскироваться, как бы их прятала. Она ненавидит их так же, как следователь, той же ненавистью. И вот она с первого же допроса хочет сказать следователю, что она открыта, как открыта рука ладонью вверх, когда ты показываешь, что ничего не спрятал, ничем не грозишь. И она, потому что сама ищет, ищет еще дотошнее, чем следователь, может быть, она и вправду в чем-нибудь не чиста, может быть, она и в самом деле виновна, и он прав, ведь она знает, что следователи всегда правы, что ошибка в их работе почти так же невозможна, как ошибка Господа Бога; и вот она все рассказывает ему о себе, все-все, куда больше, чем мужу, и во всем ее рассказе одно: я люблю тебя, потому что ты — революция, и я не различаю вас, ты — ее человечье обличье, ее человечья ипостась, ты слит с ней; и она перед ним вся раскрытая, вся нага, и каждое ее слово «я люблю тебя»; господи, она готова для него на все, она вся его, его и только его, ради него она забывает и мужа своего и детей.

Может быть, сначала, когда она старается убедить его, что верна революции, она действительно хочет спасти жизнь себе, мужу, детям, но потом — нет, потом она любит только его и забывает о них. Поймите, Ленин, она не может быть верна мужу и объяснять следователю, что верна только ему, следователю, здесь раздвоение и ее слабость, и ее чувство вины; и она забывает обо всех, кроме следователя, и все равно, если погибает, то с сознанием, что виновна. Он допрашивает ее, а ее все тревожит, что она плохо одета, измучена, изнурена, что она может ему не понравиться, и тогда он не ответит на ее любовь, и она делает все, чтобы следить за собой, держать себя в чистоте; страшная ее нечистота перед ним — нравственная (он думает, что она враг) — и нечистота тела дополняют друг друга, сливаются воедино. Она думает только о нем, и во сне и наяву говорит только с ним, ищет слова, интонацию, ищет вину в себе, рано или поздно находит и понимает, что виновна, не так виновна, как ее товарки, но тоже виновна; и она думает, как он милосерд, она верит, что он простит ее; о, как он добр, и она готова для него на все; если же он не прощает ее, она понимает, что он прав: она сама, только она во всем виновна, только она виновна, что все погибло.

Иногда он меняет тон допроса, бывает с ней ласков, говорит ей какой-то комплимент, и ей радостно, что он наконец-то обратил на нее внимание; она снова чувствует себя женщиной и счастлива, что хоть немного угодила ему. В том,

как он ее бьет, как он над ней измывается, нет безразличия — только эротика, все их отношения пронизаны эротикой, она одна с ним, он ее раздел, она все ему про себя и про всех, кто у нее был, рассказала, всю себя вывернула наизнанку, она его; и он длит и длит наслаждение, он с ней то жесток, то мягок, то снова жесток, и она вся его, вся ловит малейшие изменения в нем, вся ему отдается, а он все медлит, все готовит ее и не входит, и это бесконечный оргазм: она уже ничего не соображает, ничего не слышит и не помнит, а главное — впереди, и здесь такое вождление; Ленин, ничего подобного она никогда не знала и не видела, не знала, что такое вообще может быть. И вот так каждый день по многу часов она его, а когда он устает и уходит, он отдает ее другому, своему напарнику, и тот продолжает то, что делал он сам; и вот в ее неверности, в том, что он отдает ее как бы на поругание, тоже эротика, и то, что она имеет с ними, конечно же, несравнимо с тем, что было у нее раньше, сколько бы мужчин она ни сменила.

Как бы он ее ни бил, она знает, что это потому, что он думает, что она ему изменяла, что она была ему неверна, насмотревшись на других, которые изменяли, на тех, что сидят с ней в одной камере; он уверен, что и она такая, и она все делает, чтобы доказать ему, что это не так, что на самом деле она ему верна, она любит его, любит больше жизни и он у нее — единственный. Ей не надо объяснять, что он пытается ее день за днем, ночь за ночью, добываясь признания, что она изменила ему и революции, потому что он любит ее, потому что если она ему неверна, для него это трагедия и смерть, то есть здесь все, как бы ни было это страшно и жестоко, все-все замешано на любви, на одной любви, только на любви.

Когда он добивается от нее политических признаний, она этого не понимает, а вернее, понимает как иносказание, потому что только любовь и ревность доступны ей, и она все сводит на это. Тут не будет ничего трагического, даже если она погибнет от пыток, голода или он просто ее убьет; ведь она понимает, что гибнет от великой любви, — трагедия здесь только для палача, который потом всю жизнь будет терзаться, мучить себя вопросом, действительно ли она ему изменяла, и знать, что ее уже не вернешь: он убил свою любовь, взял на душу грех».

После Октябрьской революции де Сталь сразу заняла сравнительно высокое место в коммунистической иерархии. В декабре она уже возглавляла один из секторов в отделе науки ЦК, одновременно работая в отделе агитации и пропаганды и еще в женотделе, так что день у нее был расписан буквально по минутам. За эти бесчисленные нагрузки она бралась с жадностью, каким-то животным восторгом; крутя с утра до ночи, чуть ли не ежедневные митинги, на которых ей приходилось выступать, — в партии она считалась хорошим оратором, столь же обязательные совещания и заседания — все это давало ей возможность забыть, не думать, что и эта третья ее жизнь, как и первые две, прошла, в сущности, зря: получить верховную власть в России ей не удастся, как в свое время не удалось во Франции. По тому, что она сделала для большевиков, от денег — были годы, когда партия существовала исключительно на ее средства, — до подпольной работы, которой она, рискуя всем, и жизнью в том числе, занималась с 1903 года, — в партии людей с таким стажем революционной работы были считанные единицы, она, казалось бы, имела основания рассчитывать, что ее карьера и дальше будет успешной; но Сталь была достаточно умна, чтобы не заблуждаться на сей счет. Она видела, что посты, которые ей бросили как кость, несмотря на громкие названия, были второстепенны и мало на что влияли, а главное, они были тупиковые: почетная синекура и ничего больше. Наверх теперь двигались люди иного склада, многие из них почти не имели заслуг перед революцией, и она сознавала, что то же будет и впредь, лишь еще более откровенно. Конечно, это было очень и очень грустно, но она понимала, что пришли другие времена, это естественно и, наверное, правильно, так было всегда, было и во Франции и всегда будет. Все же, возвращаясь домой (особняк она отдала еще в Октябре обществу политкаторжан под общежитие, оставив себе только двухкомнатную мансарду, впрочем, очень уютную, похожую на студии парижских художников, в этом же духе она и обставила ее), де Сталь с сожалением вспоминала, какими они все были до войны. Многое из того, что сегодня сделалось нормой, при отношениях, которые раньше связывали товарищей по партии, было невозможно. Правда, и прежде не все между ними было чисто и безоблачно, но нынешние свары и грызня за власть казались невыносимыми.

Впрочем, иногда ей приходило в голову, что она и здесь заблуждается, просто тогда она была независима, могла на это не обращать внимания.

В начале восемнадцатого года настроение у нее улучшилось, и не потому, что она смирилась, причина была другая: в Москву переехали весь ЦК и Совнарком, и их отношения со Сталиным после десятилетнего перерыва возобновились. Она очень боялась встречи с ним, не знала, как себя с Кобой вести, но он сам пришел к ней в первый же день по приезде и, бросив дела, провел у нее целые сутки. Они не могли оторваться друг от друга, все было так, как в первый раз на пароходе «Эльбрус», а когда наконец силы у него кончались и он с закрытыми глазами в изнеможении ложился рядом, она, счастливая, плакала от радости. Она любовалась им, не могла наглядеться на его открытое, благородное лицо, красивый высокий лоб, крепкую и в то же время стройную фигуру, — за эти годы он очень возмужал и все равно остался ее ребенком, ее сыном. И она имела право им гордиться, ведь вскоре после переезда Сталина в Москву его сделали первым секретарем ЦК, то есть, по сути, именно ему была теперь передана практическая работа по строительству и организации партии.

Но, увы, здесь ее ждало жестокое разочарование. Дважды побывав на заседаниях политбюро (оба раза там обсуждалось положение с наукой в стране) и понаблюдав за Сталиным и другими членами ЦК, она многое поняла. Сталин был человеком необычайно честным и порядочным, он с восхищением относился к старым деятелям партии, особенно к тем, кого в партии было принято считать ораторами и теоретиками, к ним он питал почти детскую любовь. Они-то и выдвинули его в секретари ЦК, потому что в их внутривнутрипартийных дрязгах он никогда бы не стал участвовать, да и не поверил бы, что такое вообще возможно между старыми товарищами по подпольной работе. У него, конечно, были совершенно наивные представления о дружбе, чести, этике и тому подобном, — идеалистом он был до мозга костей. В партии это было отлично известно, и ему отдали секретарство как фигуре во всех отношениях и для всех безопасной, отдали те самые Троцкие, Каменевы, Бухарины, Зиновьевы и им подобные на время, пока они не накопят силы для решающей схватки. На заседаниях политбюро они, к какой бы платформе или группировке ни принадлежали, откровенно надсмехались над Сталиным; он был среди них белой вороной, деревенским дурачком, и они не могли ему простить, что он лучше их. Сталин же не замечал, что над ним издеваются, наоборот, он по-прежнему смотрел им в рот и лишь с восторгом пересказывал ей остроты, отпущенные по его адресу. От этого зрелища ей хотелось плакать.

Несколько раз, когда он на всю ночь у нее оставался, она пыталась открыть ему глаза на происходящее, но это был мартышкин труд, у него было органическое свойство не слышать, если о товарищах по партии говорилось что-нибудь плохое. Заставить его поверить, что хоть один из тех, кто вместе с ним был на каторге или в ссылке, совершил неблаговидное, было просто невыслимо. Какие бы доказательства она ни приводила, он лишь смеялся и, обняв, говорил ей, что она чересчур легковерна и нехорошие люди этим пользуются. Сталя любила его так, как только женщина может любить мужчину, ведь он был ее сын, ее кровиночка, ее дитя, сын, которого она тогда, под Потти, спасла ему жизнь, словно снова родила. То есть Господь простил ей ее грех, простил то, что она, родив Сталина, от него отреклась, будто он был ей чужой, ни разу не дала ему грудь, так и отправила к этому подлецу Игнаташвили. Господь дал ей его спасти, вернул ей его, и еще Он сделал его ее любовником, мужчиной, которого она любила, пожалуй, даже сильнее, чем Скрябина. Возможно, что со Скрябиным ей в постели было лучше, чем со Сталиным; Скрябин, конечно же, был более умен, более изощрен, но если взять все вместе, то то, что ей дал Сталин, было куда большим, чем любой другой мужчина в ее жизни.

И вот, глядя, как так называемые товарищи по партии измываются над ним, она дала себе слово, что проложит ему дорогу к действительной власти, и почему-то сразу поняла, что Господь ей в этом не откажет. Всю жизнь она просила у Бога власти для себя самой; даже не жизнь, а целых три жизни она прожила, моля Господа о власти, но сейчас она подумала, что если Сталин получит власть, такую же абсолютную, ничем и никем не ограниченную власть, какую она просила себе, она простит Бога. Она простит Его, хотя Он искушал ее, простит, хотя Он поместил источник власти в ней самой и искушал день за днем, год за годом; каждый мог из него напиться, каждый, но только не она. И пускай Сталин тоже

напился из этого источника и лишь потому получит власть, на смертном одре она скажет Господу, что прощает Его.

Теперь у де Сталь снова появилась цель, ради которой стоило жить, однако долгое время она даже не знала, как к ней подступиться. Сталин по-прежнему был непробиваем, и она ничего не могла с ним поделаться; бывали дни, когда у нее опускались руки и она, словно девочка, ревела ночи напролет. А потом помог случай.

Весной следующего, 1919 года Сталин уехал в длительную командировку в Закавказье, где меньшевики устраивали бесконечные путчи и было беспокойно; в Москве даже шли разговоры, что, очевидно, он там останется, и Сталь взвешивала вопрос, не последовать ли тогда ей за ним. В Грузии очень требовались опытные партийные кадры, и она и без содействия Сталина легко бы получила туда назначение. Скучая без него, колеблясь, ехать или не ехать (она хорошо понимала сложности, которые возникнут в маленьком провинциальном Тифлисе, если они будут жить рядом), она с благодарностью приняла приглашение своего старого друга Якова Свердлова повидаться, а заодно пойти на «Чудо святого Антония» в постановке молодого и необыкновенно талантливого Вахтангова, тоже как будто грузина.

Спектакль действительно был хорош и ярко, особенно в контрасте с Москвой девятнадцатого года; они остались очень довольны и в антракте, обсуждая со Свердловым эту тему — нынешняя Москва как фон «Чуда...», — вышли из ложи и прогуливались в фойе. Свердлов, который был ею увлечен еще с довоенных времен, — он, кстати, был здесь не одинок, она до сих пор сохранила редкостную привлекательность, и многие из партийной верхушки, кто явно, кто тайно, были в нее влюблены; в конце концов сей сюжет надоел, и он, держа ее под руку, стал шептать на ушко какие-то комплименты. И тут в фойе вошел Сталин. Позже она узнала, что он для срочного совещания был на день отозван из Тифлиса в Москву, сообщать ничего ей не стал, хотел сделать сюрприз; дома от ее работницы узнал, что она в театре, и сразу поехал сюда. Вид Сталина был страшен, кровь отлила, и его от природы смуглое лицо сделалось совсем белым, глаза безумные, руки дрожат крупной дрожью и что-то вслепую ищут у пояса, лишь на следующий день она догадалась, что кобуру, и возблагодарила Бога, что пистолета тогда у него не было. Вся сцена продолжалась несколько секунд, Сталин повернулся и тут же вышел, Свердлов, кокетничая с ней, вообще, кажется, его не заметил, а она в это время случайно увидела его и себя, причем глазами Сталина: они со Свердловым шли точно на большое, в полстены, зеркало, и испугалась так, как давно уже не пугалась.

После этого происшествия остаться на второе действие было выше ее сил, под первым предлогом она распрощалась со Свердловым и поехала домой. Сталину звонить и объясняться она не решилась, понимая, что он сейчас не в том состоянии и лучше просто его не трогать, дать остыть. На другой день, не повидавшись с ней, он уехал обратно в Тифлис, а она, неделю поразмышляв об этой истории, поняла, что у него кровь настоящего южанина, причем горца, и если она сумеет надлежащим образом это использовать, шанс добиться того, о чем она просила Бога, есть.

Тактика, которую разработала де Сталь, была совсем не сложна: резко, даже не переговорив, она прервала отношения со Сталиным и стала подряд заводить романы с теми из верхушки партии, кто тогда стоял у него на дороге. Определить, кто ему мешает, ей было не трудно, всех их она знала не один десяток лет, ни на чей счет, включая Ленина, не заблуждалась и, главное, так же, как и Сталин, не принадлежала ни к одной из группировок, наблюдая со стороны, легко видела истинное положение дел. Чтобы еще больше раззадорить Сталина, она перипетии каждого своего романа афишировала во всех подробностях, и, в сущности, больше от нее ничего не требовалось. Дальше немедленно начинал действовать он. Люди, которых Сталин приговаривал к смерти, уже не были его старыми товарищами по подпольной работе, — это были соперники, отбившие, уведшие его самку, и они не могли рассчитывать на снисхождение. Сталь теперь открыла для себя совершенно другого Сталина; наверное, таким, когда мстил, был его дед Георгий, и поразилась и ужаснулась сыну. До последнего дня собственной жизни она запомнила, в состоянии какого безумия, не выходя из кремлевской квартиры, провалялся Сталин почти две недели, когда в том же девятнадцатом году от туберкулеза скоростижно скончался Свердлов, умер своей смертью, в своей постели, и он, Сталин, ничего не сумел сделать.

Но выбирать ей было не из чего — другого пути к власти у нее для него не было. Сталь не питала никаких иллюзий, хорошо понимала, что люди, которых она брала к себе в постель, которым разрешала себя любить и ласкать и которым сама объяснялась в любви, обречены. Ревность делала Сталина не просто жестоким, но и необычайно изобретательным, терпеливым, словно хороший охотник; он, дожидаясь удобного случая, мог ждать годы и годы, но и Сталь и он, оба равно знали, что добыча никуда не уйдет. И она не уходила: его враги гибли в автомобильных авариях и на операционном столе, под трамваем, от яда, от пули наемного убийцы, позднее он просто вносил их в списки НКВД и, с наслаждением по многу месяцев следя, как их пытаются, лишь затем давал санкцию на расстрел. Даже в тридцатые, даже в пятидесятые годы, когда она с ним уже давным-давно рассталась и оба они были стариками, не виделись почти двадцать лет, он, помня их всех, продолжал убивать ее любовников, а если кто-то из них, подобно Свердлову, сумел ускользнуть, умереть в своей постели, он без жалости расправлялся с его родными.

И тем не менее угрызения совести посещали де Сталь сравнительно редко; да, она знала, что ведет людей, которые ее любят, на заклание, спит с ними только затем, чтобы Сталин потом их убил, и все равно, стоило любому из них оказаться в ее постели, она любила его, страстно его любила, у нее вообще был удивительный дар любви, так что основания ревновать у Сталина были, были. Она же, как раньше с молодыми народниками, считала, что, что бы ни было дальше, познав ее любовь, они не напрасно прожили жизнь и не должны роптать. Куда больше ее беспокоил сам Сталин; она понимала, что в этой ненависти он быстро горит, ни один человек не сумеет прожить в подобном напряжении даже несколько лет, и она, чтобы дать ему возможность восстановить силы, ввела скоро своего рода специальные премии; разобраться в них было не сложно: убрав очередного соперника и тем самым подтвердив права на владение ею, Сталин в награду на неделю ее получал. Она ехала с ним в один из правительственных санаториев в Ялту или на его любимую Ризу, чаще же они, отгородившись от всего мира, обо всем забыв, просто запирались на подмосковной даче в Кунцево.

Система эта работала без сбоя, и буквально за пять-шесть лет де Сталь проложила ему путь к самым вершинам власти. Срыв был лишь раз. В двадцать седьмом году у нее почти месяц был бурный роман с Троцким, единственным, кто еще представлял для Сталина опасность; к тому времени, когда ей было пора с ним рвать, она вдруг почувствовала, что не на шутку им увлечена, похожего с ней давно уже не было, и не хочет, чтобы Сталин его убивал. Конечно, Троцкий мешал Сталину, очень ему мешал, поэтому она и легла с Троцким в постель, но сейчас она хотела, чтобы Сталин сохранил ему жизнь, избавился от него как-нибудь по-другому. Она видела, что говорить со Сталиным на этот счет не только глупо, но и опасно, он бы никогда ее не понял, и, спохватившись, стала всячески показывать, что с Троцким у нее не было ничего серьезного, просто легкий флирт; на самом деле она тогда была от него беременна, даже думала оставить ребенка и избавилась от него лишь в последний момент, понимая, что Сталин так и так его прикончит.

У Сталина была собственная, причем отлично работавшая агентурная сеть, с первого же разговора и она и Троцкий находились под наблюдением, он знал об их отношениях все: где, когда, сколько — все до последней мелочи, и тем не менее он настолько привык ей верить, так привык, что она никогда ничего подобного не отрицала и не прятала, не скрывала от него ни одного из своих любовников; и здесь он, не зная, что ему делать, кому верить, должен ли Троцкий быть убит или нет, в конце концов после долгих колебаний выслал его из страны. Понял он, как обстояли дела, лишь когда на исходе месяца не получил обычной премиальной недели. Он пришел звать ее поехать вместе на Кавказ, и тут она проговорила, проболталась совсем по-бабьи, и он не успокоился до тех пор, пока в сороковом году Рамон Меркадор не проломил все-таки голову Троцкого альпенштоком.

После высылки Троцкого отношения их прервались, она тоже ждала ареста, не сомневалась, что он будет ее пытаться, и заранее молила Бога, чтобы Он не длил мучений, дал скорее умереть. Но Сталин не тронул ее, он как будто просто о ней забыл. К тому времени было ясно, что Сталин уже рядом, вплотную с тем, что она просила для него у Бога, в нем появился настоящий вкус к власти, он был теперь далеко не тот наивный восторженный ребенок, что лишь несколькими

годами раньше. Ненависть и месть закалили его, сделали мужчиной, и все же де Сталь пока еще не была уверена, что он без ее помощи сумеет быть правителем, достойным великой России.

С легкой руки Хрущева стало общим местом и всеми повторяется, что суть культа Сталина состояла в безудержном и безграничном его восхвалении и ни в чем больше, но ведь это редкая глупость. Целью культа Сталина, который был тоже создан ею, де Сталь (начала она его создавать в популярнейшем советском журнале предвоенных лет «Работница», она не только редактировала «Работницу», но и писала в каждый номер журнала множество разных материалов, потом, когда поняли, что она хочет, ее инициативу подхватили тысячи: и поэты, и художники, и композиторы), было совсем другое, по смыслу, пожалуй, противоположное. Образ Сталина, ею и другими с таким старанием лепимый, это был тот идеал, к которому Сталин должен был стремиться, правя Россией, тот идеал, за которым он, пускай из последних сил, пускай стиснув зубы, но должен был тянуться. То есть это было не восхваление, наоборот, постоянный укор, постоянная открытая для народа демонстрация того, как он, Сталин, еще несовершенен. Образ Сталина во всем превосходил его самого, он был мудрее, смелее, красивее, решительней, бескомпромиссней, предусмотрительней, наконец, просто моложе и здоровее. И Сталин, ненавидя свой культ, проклиная его, действительно, как и предвидела де Сталь, тянулся, тянулся за ним всю жизнь, пока окончательно не надорвался. Это была гонка за лидером, которого ему так и не удалось настичь.

Как он презирал себя, когда, чтобы казаться хоть чуть-чуть выше, он, стоя во время парадов на Мавзолее, приказывал подставлять себе под ноги скамеечку, и все равно знал, что борьба для него безнадежна. Сталин старел, сил у него оставалось меньше и меньше, а тот был по-прежнему здоров и молод. Как он стыдился и ненавидел себя, старого, больного, с сухой рукой. В конце концов этот его двойник загнал его фактически в заточение: Сталин боялся выходить из Кремля, позже он оставил и Кремль, переехал на ближнюю дачу, но и оттуда не выходил гулять даже в сад; он был так жалок, что знал: посмей он кому-нибудь сказать, что он — Сталин, с ним расправятся, словно с самозванцем. Культ Сталина его и погубил: сначала он относился к самому Сталину, в сущности, неплохо, старался поднять его до себя, чему-то научить, радовался, когда у Сталина были успехи, а потом, когда понял, что Сталин больше уже ничего не может, что он безнадежен, уничтожил его.

Не следует думать, Алеша, что единственное, чем занималась де Сталь после семнадцатого года, это помогала Сталину пробиться к власти, продолжал Ибраимов. Это, конечно же, неправда. Львиная часть времени, которым де Сталь располагала, уходила не на Сталина, а на работу, связанную с ее членством в стародавней группе Эвро, той самой, которая мечтала о превращении России в страну гениев. Эвро тогда переживала жесточайший кризис, по непонятным причинам еще при ее создании было решено, что она должна остаться закрытым тайным обществом, причем после случая с Ткачевым из конспиративных соображений было постановлено вообще отказаться от приема новых членов. Это было грубой ошибкой, в результате к началу гражданской войны, то есть к тому времени, ради которого группа жила, которого ждала и молила, работоспособных членов уцелело лишь двое — де Сталь и профессор психиатрии доктор Трогау, другие умерли, погибли или сделались немощными стариками.

Де Сталь давно и настойчиво пыталась отменить этот нелепый пункт устава, семь раз с 1910 по 1920 год она ставила на голосование данный вопрос, но ни разу ей не удалось получить большинства. В итоге она была вынуждена примириться с тем, что организация по чисто физическим причинам могла скоро просто прекратить существование. Все-таки, пока Трогау и она были живы, группа тоже жила, и Сталь делала все возможное и невозможное, чтобы было выполнено предусмотренное программой-максимум Эвро. Революция и гражданская война — Эвро считала их главными испытаниями, через которые предстояло пройти России, чтобы стать гениальной, — свершились, теперь Россия получила право возглавить силы добра и начать долгую-долгую битву, решающую битву в истории рода человеческого, которая, как сказано в Апокалипсисе, должна будет завершиться конечной победой над силами мирового зла и торжеством праведных. В этой битве душа человека очистится, освободится от первородного греха, человек оставит, отвергнет все злое и снова возвратится к Богу, снова, на этот раз навечно, соединится с Ним.

Надежды, возлагаемые Эвро на революцию, оправдались полностью, разрушив до основания старую пирамиду общества, многократно перемешав всех и вся, сделав так, что люди, бывшие наверху, оказались низвергнуты в самый низ, в бездну, она не только бесконечно обогатила жизненный опыт народа; голод, холера, тиф, расстрелы заложников, убийства братом брата, сыном отца — все это стало частью нормальной, обыденной жизни; но самое важное — она освободила людей от всех прежних комплексов и условностей, показала необязательность, иллюзорность, потрясающую, ни с чем не сравнимую непрочность старого мира, ведь он рухнул в один день, потрясающую непрочность всех тех уз, которые держали в заключении мозг гения и его душу, говоря: «это можно, а это нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах». И вот гений теперь, точно зная, что он сильнее общества, что он на все имеет право, наконец-то раскрылся, вышел на свободу. То был праздник, фейерверк, настоящая вакханалия гениальности, но, к несчастью, большевики не сумели воспользоваться и этим нежданно свалившимся на них огромным богатством. Занятые сиюминутной борьбой за власть, они не только допустили, что многие, непозволительно многие гении умерли от болезней, от голода: гениям всегда труднее приспособиться к окружающей жизни, и, конечно, они умирали первые; гораздо хуже, что тысячи гениев были расстреляны без особой необходимости, просто потому, что, как говорили в ЦК, высовывались, не сидели тихо, когда было надо. И уж совсем непростительно было, что гении в революцию практически неограниченно выпускались из страны или даже насильно отсюда высылались, это была настоящая диверсия против сил добра. Была ли такая политика продиктована глупостью или это было предательство, — ни простить, ни понять ее невозможно.

Пытаясь спасти последние остатки рожденных революцией гениев, де Сталь с января 1918 года буквально бомбардировала ЦК и Совнарком письмами, обращалась и лично к Ленину с требованием остановить этот геноцид. Каждый раз с ней как будто соглашались, говорили, что положение действительно сложилось нетерпимое, пора принимать меры, но конкретно ничего не делалось, всякий раз находились более неотложные вещи. Она уже начала отчаиваться, однажды даже сказала Трогау, что никого ни о чем просить больше не будет, сил у нее нет, сколько она, женщина, может бороться одна. Лишь в 1922 году Ленин вдруг неожиданно сам позвонил ей домой и сказал, что если у нее есть конкретные соображения о создании Института природной гениальности, он их готов заслушать на очередном заседании Совнаркома, которое будет через неделю; если обоснование покажется убедительным, может быть положительно решен вопрос и о выделении небольшой суммы денег на эти цели. Но, добавил он ласково, пускай она не обольщается, шансов очень и очень мало, и не только по причинам финансовым, есть серьезные возражения и идеологического порядка. Все-таки он постарается ее поддержать и надеется, что решение провести удастся; Сталин, во всяком случае, говорил ему, что он знает об этой проблеме и будет голосовать «за».

Обоснование и проект устава института были подготовлены де Сталь и Трогау буквально в три дня. Они писали его день и ночь, и, как ни странно, несмотря на все последующие пертурбации, экземпляр его сохранился; в частности, он есть и в их больничной библиотеке. По внешнему виду, да и по способу изложения, он мало отличается от других документов подобного рода, и сейчас даже трудно представить, какое возмущение вызывал Институт природной гениальности (ИПГ) в первые годы своего существования. Тем более, что, вопреки опасениям Ленина, решение об открытии института прошло на Совнаркомке гладко: двенадцать «за» при одном воздержавшемся.

Обоснование состояло из следующих частей: преамбулы (в ней говорилось, что в последнее время в партийных документах все настойчивее проводится мысль о необходимости ускоренного развития страны и форсированной ее индустриализации, однако едва эти планы начнут претворяться в жизнь, выяснится многократная нехватка гениев в народном хозяйстве, которая неминуемо приведет к срыву всех программ и поставит революцию на грань гибели). Далее отмечалось, что давно уже возникла общественно-историческая потребность в создании института, подобного ИПГ. Государству необходимо наконец получить в свои руки научные критерии гениальности, оно не может больше довольствоваться такой глупостью, как «нравится — не нравится», «плохо — хорошо», а должно иметь точные данные, что это симуляция таланта — ее будут устанавливать, как суд устанавливает симуляцию невменяемости, — или что-то настоящее. Ясно,

сколько денег могло бы быть сэкономлено на одном лишь искусстве, если знать, на какое направление его давать деньги, а на какое нет.

Потом шло сделанное по последним публикациям, нашим и зарубежным, объяснение самого феномена гениальности. Трогоу и Сталь писали: нельзя смотреть на душевные болезни, любые другие виды патологии как на нечто целиком и полностью вредоносное; так обычно смотрят на нее врачи, подходя к гениям словно к обыкновенным людям или, вернее, словно к обыкновенным больным. Мы должны рассматривать патологию диалектически, видеть положительные ее стороны. Дело в том, что гений всегда есть результат скрещивания двух биологических линий; в одной накоплено огромное количество гипостатической энергии, называемой в просторечии одаренностью, это еще не сама гениальность, а ее потенция; для того, чтобы гений раскрылся и эта энергия высвободилась, необходим механизм выявления этой гениальности, как бы спусковой крючок. Им и становится обычно патология, которую гений наследует от другого своего предка.

Нормальный аппарат сознания, подчеркивали Трогоу и Сталь, — тормоз гениальности. Как всякая норма, он противен не норме. Творческий процесс вообще вне сферы ясного сознания, все приходит оттуда, откуда и бред. Исходя из вышесказанного, главная задача института была сформулирована следующим образом: не дать гению пройти непризнанным и неиспользованным, найти его, понять, раскрыть, а затем планомерно развить. Эту работу предполагалось разбить на несколько направлений; на первых порах главное — изучение всех вопросов, связанных с гениальностью, и комплексная научная экспертиза, тестирование как самих гениев, так и их творений; причем особое внимание следовало уделить тем гениям, которые в силу недостатка образования или по каким-то другим причинам не могут выразить свою гениальность. Это огромный резерв, настоящий Клондайк, отмечали Сталь и Трогоу. На выставках, в музеях, в редакциях журналов и издательствах, на конкурсах технических изобретений каждый год скапливается невероятное число образцов патологического творчества; многие, очень многие из них созданы гениями, не нашедшими признания. Поэтому следует сделать все необходимое, чтобы ни один из них больше не прошел незамеченным, не канул в Лету.

Другой немалый резерв — сны, видения, состояния гипноза, транса, аффекта, истерики, разного рода галлюцинации; в них, писали Сталь и Трогоу, возможно, в наиболее чистом и совершенном виде содержится то, что принято называть гениальностью; иногда достаточно одного-единственного сна гения, чтобы полностью перевернуть наше представление о Вселенной. После создания Института природной гениальности сразу же возникнет возможность подвергнуть тщательнейшей экспертизе и анализу все, что является возможным в снах и видениях, уже одно это, без сомнения, оправдывает существование института.

Третий резерв — тюрьмы и клиники для душевнобольных. В этих местах всегда скапливается большое количество одаренных людей, поэтому естественно, что данные учреждения тоже должны войти в сферу интересов ИПГ. Зная законы творческой патологии, государство займет совсем другую позицию в отношении аномальных, часто асоциальных проявлений психики гения, перестанет бросать такого рода людей на каторгу или запереть в сумасшедшие дома, а просто передаст их ИПГ, где они получат возможность творить на благо общества. В связи с этим, хотя и не только, Сталь и Трогоу считали необходимым создание при ИПГ интерната и специального учебного заведения. В интернате были бы поселены гении, забранные из психдомов и тюрем, и те, в сущности, очень немногочисленные их экземпляры, которые, все беря из себя, могли творить лишь в тепличных условиях. Как правило, они вели, вернее, старались вести замкнутый образ жизни и только иногда общались с себе подобными. Интернат предполагалось использовать и как временное убежище для гениев, которые были поставлены гражданской войной на край гибели; здесь они могли бы опрavityся и немного прийти в себя.

Школа при ИПГ, в свою очередь, должна была быть укомплектована исключительно вундеркиндами. В штатном расписании института предусматривался и экспериментальный отдел, где проходили бы проверку самые разнообразные средства стимуляции патологии гениев, среди прочего — искусственным образом вызванные трагедии, потрясения, боль, голод, холод, смерти близких — словом, все, что дало бы возможность, способствовало бы высвобождению накопленной гением созидательной энергии. Впоследствии, расширяясь, ИПГ должен был стать ядром целого комплекса институтов, перед которым было бы реально

поставить задачу полного раскрытия способностей, заложенных в человеке природой, в частности, достижения им всех видов гениальности, включая вечную молодость и бессмертие.

Как я уже говорил, проект института не вызвал на Совнаркоме никаких серьезных возражений и был легко утвержден, причем полностью, до деталей. Трогау и Сталь имели все основания считать, что победили, однако радовались они рано: уже через год оппозиция ИПГ среди партаристократии — старых подпольщиков и революционеров — была столь велика, что, казалось, институт обречен. Целых два года он и в самом деле практически не работал, хотя формально продолжал существовать. Детонатором этой кампании была предусмотренная проектом при ИПГ специальная школа для вундеркиндов, которую де Сталь и Трогау считали простым довеском к институту, в общем, и не обязательным. Едва эта школа была создана, в правительственных кругах сразу возникло убеждение, что учиться в ней очень почетно, так как именно из ее выпускников будут в дальнейшем заполняться вакансии в высшей номенклатуре. На чем были основаны подобные слухи — неизвестно, один раз Ленин на закрытом совещании действительно сказал нечто похожее, но то была случайная оговорка, за которой ничего не стояло, ему надо было лишь объяснить, для чего вообще стране, где победила революция, могут быть нужны специальные школы, и, конечно, никто, в первую очередь сам Ленин, не ожидал, как это будет раздуть и искажено.

В сущности, сначала у ИПГ не было врагов, наоборот, все стремились помочь институту, поддержать его, это было очень и очень нужно, ведь не было ничего: ни здания, ни оборудования, ни денег. Трогау и Сталь в мгновение ока сделались весьма заметными в партии фигурами, иметь с ними близкие отношения стало модным, их дружбой гордились, и они, конечно, этим пользовались — вокруг была разруха, голод, в таких условиях без помощи со стороны быстро поставить на ноги институт было просто невыносимо. Вся эта поддержка была для них нежданной, да и не очень понятным подарком, пять лет отсутствия в стране какого бы то ни было интереса к гениальности, непонимания, в чем вообще ее смысл, назначение, — и вдруг, когда они уже были готовы признать, что потерпели поражение, ничего добиться им и не удастся, — триумф; это и в самом деле было похоже на чудо.

Все же де Сталь иногда посещали сомнения насчет истинных мотивов интереса к ИПГ, однажды она сказала Трогау, что, кажется, на них смотрят так же, как в прежние времена смотрели на воспитателей наследника престола, но прозрения у них были не часты, они вообще старались о подобных вопросах не задумываться, дело шло, и это было главным. То, что помощь дается отнюдь не бескорыстно и каждый, кто хоть что-нибудь сделал для института, считает, что он имеет право на благодарность, Трогау и Сталь первое время вовсе не приходило в голову, тем более что напрямую ничего не говорилось. В партии были убеждены, что они это и сами отлично знают. То был тот не редкий случай, когда умные, все обычно понимающие люди вдруг настолько увлекаются своими идеями, что перестают замечать что бы то ни было из происходящего кругом. Намеки, которые им делались, были весьма прозрачными, однако де Сталь и Трогау и вправду ничего не видели и ни о чем не ведали, поэтому возникшее через год после учреждения института почти единогласное требование ЦК о его ликвидации было для них полной неожиданностью.

Недовольство копилось уже давно, даже удивительно, что вышло оно наружу столь поздно. Причина этой враждебности была проста: де Сталь набирала в интернат исключительно настоящих вундеркиндов, тогда как вся партаристократия была убеждена, что для того, чтобы революция не погибла, не свернула с истинного пути, интернат должен комплектоваться исключительно, в крайнем случае почти исключительно, из детей ее, партаристократии. Здесь была возможность компромисса: если бы де Сталь согласилась пойти на расширение школы, взяла бы туда отпрысков тех членов ЦК, которые этого добивались, ей, я думаю, разрешили бы оставить уже зачисленных вундеркиндов. Но она это не сделала, что всеми было однозначно понято как отказ от сотрудничества. В результате против ИПГ были выдвинуты — повторяю, для де Сталь совершенно неожиданно — очень серьезные политические обвинения. Среди прочего утверждалось, что институт руководствуется в своей деятельности чрезвычайно реакционной, по существу, расистской теорией Менделя—Моргана—Вейсмана, защищающей изначальное неравенство людей, неравенство наследуемое,

заложенное в них самой природой, изжить которое даже при коммунизме не удастся никогда и никому. Следовательно, под сомнение ставится главный из коммунистических идеалов; стань эта теория известна массам, она способна оттолкнуть от партии миллионы и миллионы людей и надолго затормозить строительство нового общества. Еще страшнее был вывод, сделанный старыми большевиками на основе анализа листовок по учету кадров тех учеников, которые были набраны в интернат. Оказалось, что свыше девяноста процентов вундеркиндов происходят из детей дворян, буржуев и попов, то есть людей, классово чуждых новой власти; это было сопоставлено с дворянским происхождением самой де Сталь, после чего ей на партийном суде было предъявлено обвинение в том, что целью ИПГ является протащить к власти недобитые остатки эксплуататорских классов, следовательно, главная задача института — тихая, ползучая и оттого еще более опасная контрреволюция. Создание института — диверсия, которая ставит под угрозу само существование советской власти в России.

Кампания против ИПГ была настолько хорошо организована, напор партийной аристократии был так силен, что ни Ленин, ни Сталин противостоять, как тогда говорилось, коллективной воле партии не смогли и не захотели, и, повторяю, на три года деятельность института была фактически заморожена, работала какая-то комиссия по его проверке; это, кстати, и дало возможность институт формально не ликвидировать. Лишь в двадцать шестом году, когда Сталин вошел в свою настоящую силу, ИПГ снова возобновил работу.

Надо сказать, что старые большевики к тому времени уже заметно ослабели, это было видно даже на глаз: в них, как раньше в Ленине, теперь все сильнее была тяга к смерти. Ленин, будучи верным учеником Скрябина, знал, что русская революция — это лишь начало, прелюдия всемирной гибели и Апокалипсиса; мир всегда и везде — зло, мерзость, только пройдя через смерть, только очистившись смертью от всепроникающего зла, человечество может возродиться, воскреснуть к новой жизни. Однако в 1926 году надежды на мировую революцию и всеобщую гибель выглядели куда как иллюзорными, и эти люди, понимая, что жизнь их не удалась, что то, за что они боролись, были готовы на любые жертвы, им так и не суждено увидеть, — если это и будет, то очень и очень не скоро, — теперь всеми силами желали и торопили свою собственную смерть. К власти же двигались совсем другие коммунисты, по большей части это были ортодоксальные федоровцы, ставящие только на жизнь, на вечную жизнь и на вечную молодость, ненавидевшие и не принимавшие смерть ни в каком ее виде. Сталин был их естественным и давним лидером, и под его руководством эта смена режимов шла быстро и достаточно безболезненно. Спротивление было очень слабым. В 1926 году институт был воссоздан на тех же принципах, что и раньше, но на сей раз партийная аристократия приняла это без единого протеста. Явный показатель того, насколько она ослабла, как мало у нее оставалось сил для борьбы; она смирилась, готова была принять все, что от нее могли потребовать, единственное, на что она еще продолжала надеяться, это — что если не ей, то, может быть, хотя бы ее детям доведется привести народы земли к всеобщей гибели и смерти.

Попытки протолкнуть тем или иным способом своих наследников в интернат при ИПГ приобрели теперь не только унижительный, но и почти анекдотический характер. Зная или, вернее, считая, что они знают, чем можно заинтересовать де Сталь и, следовательно, способствовать зачислению детей, они снабжали чад подробнейшими анамнезами (их за взятки составляли лучшие психиатры обеих столиц), из которых следовало, что и они, их родители, и все прочие родственники как по женской, так и по мужской линии не только имели скрытую одаренность, это легкое самовосхваление еще можно простить; но, главное, болели всеми видами душевных заболеваний, известными врачам, были просто-напросто невменяемыми. Так что они ни за какие свои деяния ответственности не несут и нести не могут, в том числе и за революцию, даже в первую очередь за революцию. Революция, писали они без тени сомнения, была чистой воды бредом, наваждением, и то, что они в ней участвовали, то, что они ее совершили, объясняется исключительно их невменяемостью, тем состоянием аффекта, в котором они постоянно находились начиная с 1905 года.

Да, вот что время сделало со старыми подпольщиками, и здесь ничего изменить уже было нельзя. Но совсем иными они были в 1922 году, когда добивались закрытия ИПГ, тогда они были полны веры, полны надежд, и, конечно, никто из них не был готов примириться с тем, что свое главное достояние — идейность, преданность делу партии, делу пролетариата, то, что

было ими выстрадано, приобретено ценой стольких мук, стольких жертв, они не смогут передать детям. Убеждение, что приобретенные признаки наследуются, причем наследуются намного лучше, чем любые другие, разделяла в то время вся верхушка партии; например, на одном из заседаний ЦК, когда обсуждался вопрос, что делать с Николаем Брудным, сыном известного большевика Брудного, за год растратившим огромную сумму денег (кроме того, он обвинялся и в изнасилованиях), Дзержинский сказал: «Невозможно себе представить, что сын такого верного ленинца, как Брудный, ни разу не бывшего в оппозициях, стойкого, последовательного большевика, прошедшего царскую каторгу, мог стать преступником, у меня есть этому лишь два объяснения: или тяжелая родовая травма, полностью исказившая его психическую конституцию, или второе — Николай вовсе не сын Брудного. Дело в том, что, если верить истории партии, год, когда был зачат Николай, Брудный находился в ссылке в деревне Кунтуша Илимского округа; у жены же Брудного Варвары, не последовавшей за мужем в ссылку и проживавшей в Туле у родителей, по агентурным сведениям, был любовник, жандармский офицер Груздев, который, судя по всему, и является истинным отцом Николая». Доказательства, собранные Дзержинским в пользу того, что Николай — не родной сын Брудного, единогласно были признаны Центральным Комитетом убедительными, и ЧК получила санкцию на его расстрел.

Как раз в 1922 году из Америки в Россию переехал известнейший биолог, ярый сторонник наследования приобретенных признаков Пауль Каммерер, и партийная аристократия получила научное обоснование идей, в которые всегда верила. Проведенное Каммерером тщательнейшее обследование двух отрядов итальянского рабочего класса, а именно генуэзских булочников и грузчиков, показало, что они имеют не только явные, для всех различимые особенности лица и фигуры, но и дети их, и внуки, и правнуки, то есть четыре поколения каждой семьи, строжайшим образом наследуют школьные оценки своих предков, следовательно, и знания, так что генуэзские учителя даже подумывают об отказе от системы оценок как абсолютно излишней. Эта работа Каммерера нанесла теории Менделя сокрушительный удар, однако враг тогда не сдался; союзник Менделя Вейсман, пытаясь поставить под сомнение выводы Каммерера и спасти то, что еще можно было спасти, на протяжении двадцати двух поколений безжалостно отрезал в лаборатории мышам хвосты, и так как каждая следующая все равно рождалась хвостатой, посчитал на этом основании, что теория Каммерера опровергнута. Однако Каммерер, в свою очередь повторивший в Москве опыты Вейсмана, показал, что хотя действительно мыши на протяжении как минимум двадцати пяти поколений рождаются с хвостами, даже в том случае, когда у их родителей они были отрублены (для природы это просто чересчур малый срок, писал он, чтобы сделать выводы), заживление ран после ампутации идет с каждым разом быстрее и безболезненнее.

Интересно, что даже Сталин, которому история его собственной семьи оставила мало сомнений насчет того, наследуются ли приобретенные признаки или не наследуются, долгое время был убежден, что для нравственного здоровья народа необходимо поддерживать именно теорию Каммерера (пускай это лишь красивая сказка, идеал, столь же далекий от жизни, как учение Христа), а не циничное учение Моргана—Вейсмана. В ином случае тяга людей к добру неминуемо ослабнет, зачем все эти жертвы, весь этот тяжкий, мучительный путь совершенствования, если детям так и так придется начинать с нуля. Понимая это, Сталин в 1923 году в соавторстве с Лениным опубликовал книгу о гениальности при социализме. Ленин весь тот год, как известно, тяжело болел, стоял одной ногой в могиле, и писал работу, по всей вероятности, один Сталин. Лениным она была лишь одобрена. Вопрос наследования гениальности трактовался в этой работе с необычной для Сталина уклончивостью. Фактически он вообще обходился. Утверждалось лишь, что после Октябрьской революции главным компонентом истинной гениальности является неуклонное, чисто интуитивное, часто вопреки логике и разуму следование генеральной линии партии, неучастие ни в каких оппозициях и платформах, все же остальное второстепенно и не имеет значения.

Иллюзии насчет Каммерера Сталин разделял долго, ему так хотелось верить, что приобретенные признаки наследуются, что дети его вернейших сподвижников унаследуют все лучшее, что было в их отцах. Он не хотел видеть то, что видели остальные, то, что де Сталь говорила ему день за днем, — старые большевики и их дети уже больше ничего не могут, у них уже ни на что нет сил, они

превратились в тормоз партии, вокруг застой и апатия, и причина именно в них. Сколько сил и сколько лет де Сталь потратила на то, чтобы убедить его в этом, она говорила ему, что их всех давным-давно пора пустить под нож, партия нуждается в притоке новых людей, новой крови, партия должна омолодиться, обновиться, она спрашивала его: партия живой организм или труп? Если она живой организм, то она должна подчиняться законам природы, каждый садовник знает, что если осенью не обрезать старых ветвей, сад одичает и перестанет плодоносить; она говорила ему, что огород надо пропалывать, часто пропалывать, иначе ничего не вырастет; если жалеть сорняки, все то, что глушит, тянет соки из полезных растений, урожая не будет, его просто не может быть.

Но он не слышал ее, не хотел ее слушать, гнал от себя всякий раз, когда она начинала этот разговор. Для него было немыслимо, как я уже говорил, что хоть кто-то из его старых товарищей по партии может уйти из жизни с его ведома, он был очень хороший, очень добрый и немного сентиментальный человек; конечно, он был лучше всех, кто его окружал, но для партии, для страны в то время это было не благо, а безусловно зло. Она ничего не могла с ним поделать. Только ревность, только она одна освобождала, раскрепощала его, только она могла его принудить расправиться с большевиком-подпольщиком, но в конце концов не могла же де Сталь переспать с половиной страны. На тысячах примеров она ему объясняла, что революция есть явление природы, что она органична и всегда права и, если судьба сделала его вождем революции, он обязан, не имеет права не подчиняться законам природы, это единственный закон, которому он, Сталин, должен подчиниться. Природа, говорила она ему, устроена так, что смерть — ее часть, смерть — главный инструмент ускорения жизни, вне смерти есть лишь застой и летаргия; смерть отсекает тупиковые линии, отсекает тех, кто уже не способен к развитию, не может ничего добавить и прибавить. Пускай они даже сейчас работают лучше других, как, например, кулаки. И это касается всех, всей страны, а не только одних большевиков. Если он хочет быстро и не так мучительно для народа построить коммунизм, он должен убивать и убивать; все, что пытается остановить, затормозить, помешать их общему делу, должно быть уничтожаемо абсолютно безжалостно, коммунизм — это строй совершенных людей, люди несовершенные построить его никогда не сумеют, наоборот, они всегда и везде только помеха, он должен уничтожить их как сорняки, чтобы сохранить землю, солнце, воду для тех, кто совершенен.

Он соглашался с ней, он и сам все это знал и понимал, но печально говорил, что сделать с собой ничего не может, что ему легче отказаться от власти, чем убить хотя бы одного человека, даже об убитых им ее любовниках он теперь иногда жалеет. Она гнала от себя мысль, что, быть может, он просто не создан для власти, ему не хватает воли, не хватает решительности, чтобы стать настоящим вождем революции, и он должен уйти, уйти сам, дать место тем совершенным людям, о которых она ему каждый день говорит. Де Сталь уже отчаялась убедить его в том, что репрессии, массовые репрессии абсолютно необходимы для революции, что без них никак нельзя, когда вдруг — это было 1 мая 1929 года, праздник — нашла слова, которым он поверил. Она и сама потом не могла понять, почему он не слышал от нее об этом раньше, почему именно с этого она не начала. В тот день она сказала ему, что смерть, которой умрут люди, убитые по его приказу, это не настоящая смерть, это как бы смерть понарошку, смерть как в сказке; настанет коммунизм, настанет время, когда эти когда-то убитые люди уже ни для чего не будут препятствием, и тогда, как и говорил их учитель Федоров, все они будут возвращены, воскрешены, все они восстанут из пепла. Совершенные люди примут на свои плечи весь тяжкий груз, всю ношу строительства новой жизни, а эти маленькие, ущербные, жалкие человеки только за то, что они согласились не мешать, не утяжелять крест еще больше, для этого на время уйти из жизни, умереть, получат награду, самую щедрую награду из всех возможных наград. Прямо из небытия они попадут в мир, прекраснее которого никогда на земле не было, мир счастья, гармонии, вечной молодости, вечной красоты, любви, радости. Они вернутся в рай, из которого когда-то за грехи был изгнан Адам, но о котором они все равно продолжали мечтать, поколение за поколением.

Этот разговор был решающим для судеб страны, после него Иосиф Сталин стал наконец настоящим Сталиным, тем Сталиным, каким мы все его знаем.

Рассказ об Институте природной гениальности и о Сталине был последним из растянувшейся на полторы недели серии наших с Ифраимовым ночных бесед. Сначала мне это было интересно, каждый вечер я боялся, что он не придет, был

счастлив, когда он все-таки приходил, я был к нему и по-человечески очень привязан, но потом я перестал понимать, зачем, для чего он мне это рассказывает.

Он знал, что я ежедневно до позднего вечера выслушиваю, стенографирую, а потом еще и расшифровываю исповеди людей, которые лежат у нас в отделении, знал, почему и ради чего я это делаю. Возможно, мои взаимоотношения с Богом — я почти все Ифраимову про себя рассказывал, — уход Его от меня и от других, который я чувствовал, любовь, которой я думал спасти и этих стариков, и весь мир, все это казалось ему наивным, может быть, вообще со стороны это выглядело не чем иным, как сумасшествием, бредом, но он не мог не видеть, как это и для меня самого, и для тех, кто вместе со мной лежит в больнице, важно. Он не мог не видеть, что эти немощные старики с раннего утра выстраиваются друг за другом, и хотя я их всех, как они просили, давно уже аккуратно, по порядку, переписал, вывесил этот список для общего обозрения и сказал, что сам теперь буду следить, кто за кем, они могут спокойно заниматься своими делами — их выслушают точно в срок, по справедливости, они все равно изо дня в день стоят в очереди, никуда не отходя и ни разу не присев. Мне всегда казалось, что Ифраимов относится ко мне с уважением, пожалуй, даже с нежностью, что он тоже ко мне привязан; но я все меньше его понимал, ведь он видел, что я стенографирую за ним точно так же, как за другими, и ни разу мне не сказал, что в этом нет необходимости, то есть он знал, что я собираюсь внести в свой «Синодик» и эту его историю; но о ком она, почему она должна там быть, почему этих людей тоже нужно сохранить, я от него ни разу не услышал.

Вряд ли это было этично: каждую ночь я писал за ним три, иногда и четыре часа, потом расшифровывал, правил, и все это занимало никак не меньше десяти часов. Я не высыпался, ночью я вообще почти не спал, расшифровывать я садился сразу, едва он уходил, боялся забыть детали, сам колорит того, что он рассказывал; утром я тоже не спал: приходили больные, кротко, не говоря ни слова, выстраивались в очередь, которая начиналась прямо у моего изголовья и, конечно, я спать больше не мог, вставал, брал бумагу, ручку и опять писал за ними. Из-за Ифраимова очередь двигалась чуть ли не вдвое медленнее, чем могла бы, он отнимал у меня столько же времени и сил, сколько все остальные, но ради чего? — история, конечно, была довольно интересная, и начал он ее рассказывать тоже по моей просьбе, но это было давно. Мне совсем не нужна была эта длинная повесть, он знал, что я теперь стараюсь записывать только то, что имеет прямое отношение к нашему отделению, ко всем этим старикам. На большее у меня просто нет сил. Я часто хотел его спросить об этом, но никак не решался, мне было неудобно, и потом я каждый раз ждал, что вот сегодня он сам скажет, как-то объяснится со мной. Однажды я все-таки собрался с духом, но он вдруг встал и пошел к двери, кричать же в спину мне показалось глупо. За эти полторы недели я очень устал и мечтал лишь об одном — выспаться, я думаю ни о чем не мог, кроме как о том, чтобы выспаться, поэтому, когда Ифраимов все-таки кончил свое повествование, для меня это было огромным облегчением.

Первую ночь без беседы с ним я спал как убитый, проснулся свежий, бодрый и потом до вечера много и хорошо работал. В тот день я вместо одного пропустил трех человек, очередь пошла несравнимо быстрее, мне это было, конечно, приятно, да и больные тоже повеселели. Все они, особенно те, кто в хвосте, стояли, уже ни во что не веря и ни на что не надеясь, но в них была та же безнадежная решимость, что и в военных очередях за хлебом: вдруг все-таки сегодня будут давать? вдруг будет чудо? Потому что дома этого чуда и быть не может, а здесь — да. И тут очередь, как говорится, пошла, они все пересчитали, и у них получилось, что если и дальше будет как сегодня, то я до конца февраля успею исповедать едва ли не всех, возможно, даже и крайних. Вера последних передалась другим, ведь это значило, что Господу нужны все человеческие жизни, все до одной, а не только жизни праведных и избранных.

Боясь, что Господь может передумать, я начал спешить, писал и стенографировал очень быстро, правда, мне пока хватало такта никого не торопить, я по-прежнему и выслушивал, и записывал все, что они говорили. Да и нужды в подстегивании не было, они давно стеснялись, что занимают столько моего времени, стыдились они и своих, которые стояли рядом. Подгоняя себя, они часто переходили то на причитания, то на скороговорку, комкали слова, проглатывали целые куски жизни, так что, наоборот, мне приходилось их замедлять, а временами, когда я терял нить, останавливать и возвращать вспять. В них было теперь много кротости и благородства, — каждый, кто доходил до

меня, больше думал не о себе, а о том, что если другой из-за него вообще не успеет выговориться, значит, не будет записана жизнь, возможно, для Бога более важная, чем его собственная. Из-за этого в них усиливалась новая вина, им все время надо было каяться, просить прощения. По-настоящему они хотели одного — примириться с теми, кто стоял рядом, и тихо уйти.

Конечно, это была совсем не обычная очередь, в них было мало радости, что вот я успел, прорвался; они понимали, что жизнь каждого — лишь часть целого, а выжить, спастись они могут только как целое, я даже думаю, что они собирались и весь день вот так стояли не потому, что боялись потерять место. Они хотели и себе, и мне, и Богу показать, что это раньше они были отдельными людьми — людьми, и жизнью и болезнью отделенными друг от друга, теперь же они вместе, теперь они будут всегда вместе, возврата к прошлому нет. Безнадёжная решимость, о которой я говорил выше, быстро уходила. Они чтити справедливость, но мне казалось, что если бы кто-нибудь из них попросил пропустить его вперед, они бы на это пошли, даже не стали бы спрашивать, почему, по какому праву. Они сделали теперь очень хороши, очень ласковы и нежны друг к другу — ведь они стояли за любовью, знали, что их может спасти одна любовь, и они хотели, чтобы в мире ее было больше, чтобы ее хватило на каждого. И сами они тоже были готовы любить.

Так продолжалось несколько дней, все шло хорошо, на редкость хорошо, я, во всяком случае, больше не боялся каждого следующего дня. Записывал я теперь намного профессиональнее, чем раньше, у меня появилось много своих секретов и усовершенствований, и расшифровывал я тоже профессиональнее, поэтому успевал немало, причем даже не очень уставал. А потом как-то вечером, когда я ничего плохого не ждал, даже думать о нем забыл, в меня опять вернулся страх.

Я испугался не количества работы, хотя не прошла еще и пятая часть больных, я вдруг понял и ужаснулся самому себе, тому, что мне могло прийти в голову, что я поверил, будто у меня хватит любви на всех этих людей, хватит сил всех их полюбить, — у меня одного. Я ведь это подрядился сделать, именно это обещал Господу, а не простую запись их исповедей. Я увидел, как мало во мне любви; я просто писал и писал, это была обыкновенная работа, иногда мне было интересно, и тогда я слушал и писал с удовольствием, иногда — не очень; я относился к больным хорошо, сочувствовал им, гордился, что и те, кто мне любопытен и кто нет, для меня равны, но разве здесь была любовь?

И сразу же я понял, что они все, вся эта очередь давно знает, что я самозванец, не имеет на этот счет никаких иллюзий, понимает, что во мне нет и не может быть столько любви, что я обычный человек, не лучше и не хуже остальных. И все-таки они не расходились, по-прежнему день за днем стояли у моей кровати. И я уже знал, почему, знал, что они будут вот так стоять, пока не наступит конец. В них была жива надежда на чудо, ведь Господь мог дать мне эту любовь. Они видели: навсегда Он ушел, бросил человека или еще только уходит, все равно Он дальше и дальше от них, и они тоже дальше и дальше от Него, и они знали, что из-за меня Он какое-то время, кажется, колебался, даже замедлил Свой уход; значит, они могли, были вправе надеяться, и они стояли у раздачи, веруя, что им все-таки достанется хлеба любви. Того хлеба, которым Господь питал человека со времен Адама, но который так и не сделал человека лучше, столько в нем было зла.

Что стоило Господу и в самом деле меня обелить, сделать, чтобы я перестал быть самозванцем, — я ведь и вправду хотел добра; если же нет, то все равно вместе, среди своих стоять теплее. И потом, они уже начали любить друг друга и боялись разрыва. В жизни они теряли чересчур много и часто, чтобы не бояться этого.

Как ни странно, но я только теперь понял, насколько по-разному больные и я тогда смотрели на мир. Я мечтал их спасти, показав Богу, сколько любви может быть в человеке, то есть он, человек, может, способен полюбить совсем для него далеких и чужих людей — старых, грязных, уродливых стариков; Господь, как бы говорил я, Ты решил их оставить, бросить, а я подобрал, взял под свою защиту, — тут, конечно же, был Господу укор, я словно говорил ему: смотри, я буду Твоим учителем в любви. И бунт против Бога здесь тоже был; почему, стоит нам захотеть быть лучше, чем мы созданы от природы, мы сразу же идем против Него, неужели и в хорошем у нас тоже есть предел, граница, и мы не должны ее переступать? Больные же целиком уповали на Бога, я не знаю, молились ли они ему и как они ему молились, по большей части они ведь были

атеистами, но слышал, что они говорили Господу, что я хороший, очень хороший человек, что я хочу их всех полюбить и, может быть, стоит мне в этом хотя бы чуть помочь — ведь я уже дал им много любви, в них эта любовь есть и сейчас; это моей любовью, говорили они Богу, они начали жалеть друг друга. То есть моя любовь — не ложная; не фарисейская, и они просили Бога, считали, что это будет справедливо, если Он сотворит чудо — даст, добавит мне любви, чтобы ее хватило каждому из них. Всё с любовью, что я хотел, они оставили, не изменили здесь ничего, только убрали, что я — сам, убрали мой укор, мой бунт; это больше не должна была быть любовь человека к человеку, а любовь Бога к человеку, но через человека явленная.

Кто знает, может быть, Господь и услышал бы эти молитвы, но дело касалось не столько больных, сколько меня, и Он ждал, когда я сам обращусь к Нему, сам попрошу, а у меня больше не было сил ни на жизнь, ни на веру в чудо. Я по-прежнему работал, но с каждым днем мне это давалось тяжелее, меня охватила какая-то апатия, мне, в общем, сделалось совершенно безразлично, пишу я эти исповеди или не пишу, я словно забыл смысл своей работы, просто делал ежедневный урок — и все. Возможно, эта безнадежность была совсем не связана с тем, что я не сумел почти никому помочь, а просто приближался новый припадок. Моим прежним, еще добольничным приступам за неделю и больше, как правило, предшествовали очень похожие вещи. Припадок действительно пришел, но был для меня не обычным: сознание тускнело медленно и постепенно, но не гладко, а будто мерцая, временами я чувствовал себя настолько хорошо, что даже мог говорить, потом оно снова уходило, но это не было обрывом, скорее напоминало те дни, когда меня без подготовки начали глушить большими дозами лекарств, и я все никак не мог к ним приспособиться.

Давно уже я по-настоящему боялся одного — потери памяти, но в том состоянии, в каком я тогда находился, припадок был для меня благом, это несомненно. Я хотел все оставить позади, забыть, и только он мог дать мне это. Первым ослабел страх, от него осталось слово, понимание, что он есть, но не он сам. Мне был дан отдых, возможность заснуть, отойти в сторону, то есть я ни в чем не был обвинен, и мне было обещано если не прощение, то милость. И вот последнее, что я помню: я хочу у всех просить прощения и всех простить, я уверен, что все будут прощены, все, не только я, оправданы, вообще все будет так, будто я сумел сделать то, что хотел, — мне хватило, достало любви.

Я говорю это тем, кто лежит со мной рядом в палате, я рад, что могу обрадовать их, потом выхожу в коридор, чтобы сказать эту добрую весть и другим, и тут наталкиваюсь на идущего Ифраимова. Хотя и с упреком, но, в сущности, давно уже его простив, я говорю ему: «Почему, зачем вы мне рассказывали эту длинную непонятную историю, к чему все это?» Говорю, понимая, что пока она не окончена, пока я не знаю ее смысла, по-настоящему заснуть и забыться я не смогу.

На что он мне грустно отвечает: «Как, Алеша, разве вы не помните, что много раз спрашивали, кто эта странно элегантная старуха из соседней палаты? Вы еще удивлялись, что не можете понять, кто она: из обычных здешних пациентов или из нас, воспитанников ИПГ, так вот, — это мадам де Сталь, та самая Жермена де Сталь, о которой я вам рассказывал, вдобавок еще во плоти. Это история ее жизни, и я думаю, она имеет право быть занесенной в «Синодик». Влюбленный же в нее старик — знаменитый философ Федоров; мне кажется, что и он, как, впрочем, и солдаты, с которыми спят медсестры, тоже должны быть помянуты, ведь на самом деле они никакие не солдаты — это дети Федорова от мадам де Сталь, те лишешные разума дети, которых она родила ему в Петербурге и которых в молодости он ни разу не видел. Даже не знал, что они у него вообще есть. Он и сейчас не верит, что это его сыновья», — говорит мне Ифраимов, и сразу вслед за этими словами, словно и вправду мне именно это надо было, чтобы заснуть, в моей памяти — провал. Делал ли я что-нибудь еще, говорил ли с кем-нибудь, я ничего не помню, во мне только есть сознание, что я был болен очень, очень долго, чуть ли не целую вечность.

Всего я был без памяти больше полутора месяцев — это немалый срок, но на этот раз сознание восстановилось быстро и довольно легко, я пришел в себя, будто просто заснул, пролежал ночь и вот теперь очнулся. Совпало даже то, что заснул я вроде бы во время разговора с Ифраимовым, а первое, что четко помню,

когда отошел: он стоит рядом со мной у окна и ногтем что-то чертит на заиндевавшем стекле. Как между камнями хорошей кладки нож, здесь не помещается даже ночь: просто говорили в коридоре, потом перебрались в палату. Но этот приступ у меня не первый, я знаю, что он был, знаю, что я долго был без памяти, и мы говорили с Ифраимовым о мадам де Сталь, о Федорове, о солдатах отнюдь не вчера — тут меня не собьешь, я нутром чувствую, что вокруг меня все другое.

Люди, которые живут гладко, день за днем, редко замечают изменения, ведь они добавляются по капле, а так сегодня то же, что и вчера, и завтра, судя по всему, будет то же самое; жизнь их имеет только одно начало и один конец, у их памяти совсем мало опор, они, конечно, есть, но их мало: несколько эпизодов из детства, брак, рождение детей и т. д. Мы же, те, кто больны той же формой амнезии, что и я, по многу раз за жизнь начинаем заново, наше существование куда более резко очерчено и разделено, части его автономны, и мы даже не очень стремимся заполнить лакуны, продолжить жизнь, как будто ничего не случилось. После третьего, четвертого припадка в большинстве своем мы начинаем ценить этот рваный ритм, мы уже приспособились к нему, и нам нравится, что все свежо, ярко, много красок, совсем мало рутины и вкус жизни иной, — ты ведь вернулся почти что из небытия. Однако первые дни после приступа для нас нелегкие, как правило, в это время мы до крайности осторожны и в словах, и в вопросах, редко когда вступаем в разговор, только смотрим со стороны, слушаем, пытаемся разобраться. Это из-за боязни попасть впросак, прослыть сумасшедшими. Каждый раз мы поражаемся, сколько нового произошло, потому что, чтобы все запомнить, быть на уровне, обычно приходится тратить чуть ли не три месяца за один месяц без памяти, как на войне — год за три; соответственно, и опасность мы тоже чувствуем, как на войне. Мы видим ее сразу, и ни о чем предупреждать нас не надо. Особенно мы осмотрительны там, где чего-нибудь не понимаем.

Но на этот раз я, очнувшись, вдруг почувствовал, что не только я, но и те, кто не терял памяти, тоже ничего не понимают и тоже боятся. Это было новое ощущение — жизнь, которая никому не казалась рутинной, устойчивое, стабильное куда-то ушло, а на его место пришел страх. Страх был настолько везде и отовсюду, что я, наверное, мог догадаться, что это не один мой страх, но в моей жизни это было впервые, и сначала я себе не поверил, решил, что был без памяти год или, может, даже больше, поэтому все так; и, конечно, я очень удивился, когда, осторожно наведя Ифраимова на эту тему, узнал, какое сегодня число, — припадок был не длинный, полтора месяца. Только тут я понял, что этот страх и вправду лишь в малой своей части — мой, не знаю почему, но бояться они все.

За окном падал снег. Ветра не было, и он падал большими и очень густыми хлопьями, ложился на деревья, на землю, на цветочную клумбу. Последние дни, похоже, была сильная оттепель, земля оттаяла, и сначала согретый ею воздух временами шел вверх, снег тогда оттаивался, иногда даже медленно поднимался вместе с ним; было похоже, словно хлопья привязаны к небу тонкими ниточками и кто-то, все еще ничего не решив, то дает им упасть, то снова, раскаявшись, тянет к себе. Но это продолжалось недолго, земля быстро остывала, и к ночи, когда на территории больницы зажгли большие желтые фонари, все уже было покрыто снегом, остался он один, даже черные ветки деревьев сделались в темноте не видны, лишь обозначены белым.

Я уже знал, что сегодня двадцать восьмое марта, и сказал Ифраимову: «Наверное, это последний настоящий снегопад, до января снега вообще не было, так я и остался в этом году без зимы».

«Нет, Алеша, — ответил он грустно, — это не последний снегопад, снег будет идти еще сорок дней и сорок ночей, будет падать и падать...»

«Но ведь этого не может быть, — возразил я, — чтобы в Москве весь апрель и май каждый день без перерыва шел снег».

«Да, — сказал Ифраимов, — прежде такого действительно никогда не было, но этот год не похож на предыдущие; вслед за тем, как сорок дней кончатся, пять месяцев, сто пятьдесят дней, будет бушевать пурга, метели, они нанесут столько снега, что от самых высоких гор до последней низины, от юга и до севера все замерзнет, все потонет и уйдет под снег. Лишь следующей весной придет тепло, и он наконец растает и водой стечет в море».

«Получается, — сказал я, — что это как потоп... Кто же этот год тогда переживет?»

«Это и есть потоп», — подтвердил Ифраимов

«А тот, первый, потоп, — спросил я, все еще не очень его понимая, — из-за чего он был? Почему Господь хотел тогда всех погубить, и сейчас, почему сейчас Он опять это хочет?»

«Господь, — сказал Ифраимов, — создал земной мир таким же завершенным и прекрасным, каким был Рай, все словно было на вершине, в расцвете, и человек тоже; но душа его была душой ребенка, она родилась только вчера и только вчера начала тот длинный путь, который должна пройти душа человека, чтобы узнать, что в мире добро, а что зло. Адам был ребенком, взрослым ребенком, и, отведав плода с Древа познания добра и зла, получив высший дар — дар творения, он начал играть с ним, как всякий ребенок. В том, что он делал, он был беззаботен и бесстрашен, душа его еще не была воспитана, и он не знал за собой греха. Изгнав его из Рая, Господь отдал ему, ребенку, мир, и по Слову Господа Адам соединился, познал все живое, что было на земле, чтобы каждый получил свое истинное имя.

Земля была дана человеку, чтобы он управлялся на ней сам, и Господь отошел в сторону. Но человек не остановился в познании, не испугался своего дара, я говорю: он был бесстрашен, как ребенок; мир вокруг был един, все соединялось со всем, — и этот восторг обладания друг другом, понимания, что все-все тебе родное, все твое и ты принадлежишь всему. Ты не один, слава Господу, ты не один, ты — лишь часть целого и ни за что не в ответе. Всякая плоть извратила свой путь, даже ангелы стали входить к дочерям человеческим, увидев, как они прекрасны. Живое забыло заповедь Господа, сказавшего: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». Скоро мир заселили невиданные уроды и убоюдки, из подобия Рая земля сделалась некоей чудовищной кунсткамерой. Она растлилась, наполнилась убийствами, злодеяниями, насилием. И Господь, узрев это, ужаснулся миру, который Он породил.

Но самым страшным из мутантов был выношенный человеком странный кентавр добра и зла; тоже ребенком, играясь, Адам скрестил их, и появилось зло, которое рождает добро, добро, которое ведет ко злу, и еще великое множество его разновидностей, где вообще не разберешь — где кончается одно и начинается другое, так все перепуталось и переплелось. Наслав на землю воды первого потопы, Господь думал очистить мир, снова вернуть его в первоначальное состояние; большинство уродов и вправду тогда утонули, но с этим мутантом Господь ничего поделать не сумел. Не имея тела, он жил в душе человека, жил в душе даже самого праведного из людей, Ноя, и, попав на Ковчег, ушел.

Даже Христа, Сына Божьего, чистое добро, данное Господом людям во искупление их грехов, данное как прощение, как возможность очиститься и воскреснуть для жизни с Богом, и Его сумели соединить со злом: сколько крови, сколько несправедливости творилось Его именем, сколько невинных погибло! Господь не питал иллюзий на сей счет. Он говорил после потопы: «Не буду больше проклинать землю из-за человека, ибо помысел сердца человека зол с юности его». То есть, что человек может исправиться, Он не верил. Живые твари, сумевшие сохранить свое естество таким, каким его сотворил Господь, ко времени потопы еще существовали, а чистого добра уже не оставалось — все оно было перемешано со злом».

«Но ведь Господь, зная это, все равно поклялся, что никогда больше не будет напускать воды потопы на землю и губить живое, — сказал я, — почему же сейчас он нарушил слово?»

«Да, это так, — сказал Ифраимов, — но этот потоп — не воля Господа, он лишь снизошел к молитвам, которые много тысяч лет обращал к нему людской род. Если до потопы человек, не ведая греха, легко творил зло, то после потопы, после Ноя он понял, как греховен, как далеко он отошел от Бога, грех стал доставлять человеку невыносимые страдания, он был как короста — все тонуло во зле. Да и тогда были те, кто сумел найти путь к Богу, сумел и среди всеобщего зла оставаться праведным, именно их молитвами чаша весов долго колебалась; иногда даже казалось, что их жизнью, их учением, их пророческим даром добро одержит верх, но потом люди окончательно отчаялись.

Когда-то человек думал, что может спастись, вернуться в Рай, сам, без помощи Бога, вернуться, построив Вавилонскую башню, — теперь же он, вспомнив, что создан по образу и подобию Господа, решил повторить Его в другом — призвать потоп и покончить со злом.

— Мысль эта крепла и крепла в людях, пока не настало время, когда они не

могли думать ни о чем ином. Это стало манией. Они были уверены, что то, чего хотят, угодно Господу, и не скрывали, что их потоп будет куда жестче Божова; они знали, где корень зла. Знали, что этот корень — в них самих, что он — в каждой душе человеческой, и они стали молить Господа о смерти, молить, чтобы погибли все, весь их род, никто, будь он даже праведник из праведников, не должен был уцелеть. Революция и была попыткой потопа.

Потоп, — говорил Ифраимов, — вовсе не всегда связан с водой. В Торе даже оговорено, что при Ное Господь наслал на землю потоп вод, сам же «потоп» в переводе с древнееврейского означает «смешение всего и вся», то, что случается во время огромного паводка, — вода сносит с гор, с высоких мест в низины и дома, и сады, и тех, кто там жил; все или погибло, или разрушено, занесено землей, грязью; корни, связи и между людьми и между вещами обрублены, оборваны, — кто, где, когда, откуда, — все стерто, забыто, уравнено, и концов не найдешь».

«Когда же это началось, — спросил я, — как давно это в нем появилось: что человек сам захотел своей смерти, решил, что ему уже никогда со злом не справиться?»

«Ну, трудно сказать, — ответил Ифраимов, — даже, наверное, и нельзя точно; это шло, вызревало очень медленно; лежал тут у нас один человек, правда, недолго, фамилия его Ильин, так тот говорил, что совпало это с приходом Христа; но я бы, например, столь жестко дату ставить не стал, мне это вообще кажется неправильным, что сегодня может быть одно, а завтра — совсем другое. Хотя, конечно, приход на землю Иисуса Христа — рубеж.

Господь, говорил Ильин, тогда задумал спасти человеческий род и послал на землю Его — второго Адама, дав знать людям, что грехи их прощены, искуплены, все плохое забыто и жизнь может быть начата заново. На этот раз Господь не повторил ошибки: Христос был зачат на земле и, в отличие от Адама, здесь же, на земле, должен был прожить полную человеческую жизнь от рождения до смерти. Жизнь с младенчеством, детством и отрочеством. Однако, говорил Ильин, раньше, чем Христос, еще дитя, начал ходить, Его рождение странным образом перестало быть тайной, изменило мир. Изменилось и стало другим все: и устройство жизни и соразмерность, и отношение ее частей, само ее здание, — изменилось даже то, что считалось в мире праведностью и грехом; да, праведность — всегда праведность, а грех — всегда грех, и все-таки в пространстве между ними нечто было нарушено, сдвинуто, искажено. Многие сбились, заблудились тогда, их спутала путеводная звезда, которая вела волхвов к Христу, они потеряли дорогу; и то, к чему стремились эти люди, люди, знавшие испокон веку свой путь, знавшие, что силы их невелики, — все это разом рухнуло и уже не могло быть правильным на земле, во всяком случае, пока на ней был и по ней ходил Иисус Христос».

«Я не хочу так сказать, — говорил Ильин, — но получается, что когда появился на земле Христос, там, где Он жил, в Израиле, остался как бы только один — революционный и мгновенный по своей сути путь праведности, тот путь, которым шел Сын Божий и Его ученики. Живущие под звездами волхвы и пастухи первыми заметили нарушение естественного строя жизни, оно было сильным: Господь спустился в мир, где человек должен был управляться сам, и его пространство оказалось тесным для Бога. Это нарушение привычного хода вещей, это столь массивное пришествие Бога на землю (напомним, что ни до, ни после ничего подобного не было) с неизбежностью изменило судьбу избранного Им народа и не только его.

Три года ходил Иисус, проповедуя, по Израилю, и от них осталось не только то, что Он говорил Своим ученикам и что через Писание дошло и до нас, — не менее важным было знание, вынесенное из земной жизни Самим Христом: единственное, что может помочь человеку, — чудо. Христос не утешает калек и больных, у Него для них нет слов, Он и не призывает их смириться — Он их лечит. Это суть: участь калек, увечных и бесноватых так ужасна, что без спасения слова — ничто. То, сколько чудес, самых разных, совершает Христос на земле, показывает, как необходимо чудо в мире, как целительно и что без него нельзя. Творя чудеса, Господь исходит из убеждения, что мир страшен и Он, Христос, послан спасти его».

Тот же Ильин говорил: все споры между Христом и фарисеями сведены в притчу о работниках; в ней спорят два пути к Богу: хозяин за динарий (вечное спасение) нанимает работников на свой виноградник; когда полдень минул,

нанимает других, за час до окончания работ — третьих, и всем платит одну цену — динарий и, когда работавшие с утра возмущаются, говорит им: «Друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» Так будут последние первыми и первые последними; ибо много званых, а мало избранных».

Здесь видно, что чудо, милость — больше справедливости, больше долгой, медленной и тяжелой работы, чудо больше всего. В основании того, что, исполнившись Святого Духа, Христос делает на земле, — добро: прожив столько лет в миру, видя так много зла, Он теперь, перестав быть человеком, став Мессией, снова став Богом, не может не творить добро, как можно больше добра, добра самым слабым и увечным и самым грешным тоже. Он, в сущности, нарушает Им же установленный порядок вещей: не медленный путь раскаянья и исправления человека, не медленный путь спасения его от греха и — как награда прошедшему этот путь — вечное блаженство, а просто горы и горы добра, мешки добра, и чем хуже тебе, чем более ты слаб и грешен, тем более достоин ты добра, достоин милости и снисхождения. Чтобы добра было больше, Он посылает Своих учеников во все стороны, говоря им: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте», — и дальше: «Даром получили — даром давайте», — чтобы они не задумывались — творить добро или нет и достоин ли просящий милости.

Ильин говорил: в Христе есть много радости Бога, который может и, наконец, творит добро, который уже не должен ждать, когда созданный Им человек исправится, не должен смотреть на все бесконечные беды и горе человеческой жизни, который любит человека как Свое дитя, ведь человек и есть Его дитя, Его продолжение, и создан он по образу Его и подобию, и в страданиях тоже. Бог просто дальше не в силах смотреть на беды людей, видеть, что зло множится, что его каждый день все больше; а так, конечно же, в Божьем мире быть не должно; и потом, разве Он не помнит, с чего и когда началось зло в мире? Началось, когда человек был ребенком, и трудно даже сказать, отвечал ли он за свои поступки, мог ли отвечать за них, да и зло, сделанное им, разве сравнимо с тем, что было дальше?

И вот Сын Божий, полный любви, полный желаний простить, жажды, чтобы зла больше не было, и еще — равенством: почему у одних есть все, и праведность тоже, а у других — ничего, ведь они от одного корня, от Адама, Он тем, у кого ничего нет, у кого меньше всего, — нищим, больным, увечным, мертвым, — дает чудо прощения и избавления. Но тогда, говорил Ильин, то, для чего создан Богом человек, человек, которому дано творить добро и зло и который когда-нибудь, по вере Бога, откажется от зла, свободно изберет добро и, значит, установит истинность, доброту Господня мира, окажется невыполненным и все, что было после рождения человека, все зло — ненужным, простым порождением зла. И сделанное на земле праведниками — тоже ненужным, и нет у Бога никого, и, главное, добро не лучше зла, люди не выбрали его. Не захотели или не успели. И Христос останавливается.

Ильин говорил: иудейская вера — это вера не учеников, а детей, христианство же — вера учеников. У Христа не было детей, и Он никогда о них не думал. Сам Он был Сыном Божьим, но представить себе, что, вознесясь на небо и сев одесную Бога Отца, Он мог оставить вместо Себя на земле Своего Сына, невозможно, это была бы уже совсем другая вера; дети Христа — его ученики, ученики его учеников и так далее. То был, конечно, иной, неприродный, и потому странно быстрый путь распространения веры. Случалось, что за один-единственный день в христианство обращалось население целого города или, как с Русью, целый народ. Ученики Христа очень и очень спешили, веря, что Второе пришествие Христа на землю и Страшный Суд будет скоро, очень скоро, может быть, через пятнадцать, может быть, через двадцать лет, или время, которое у них осталось, еще короче. Они пытались спасти как можно больше людей, больше и больше, могли думать только об этом.

Церковь Христова была огромным Ковчегом, который единственный мог спасти и сохранить всякого, кто оказался под его благословенным кровом. Христианство шло по земле, как лесной пожар, Слово Божие достигало самых отдаленных окраин, опережая подчас и апостолов. Все это задало мировой истории необычно ускоренный, почти трагический темп. Конечно, он был оправдан близкой и так быстро близящейся гибелью, конечно же, был допустим

и даже понятен в контексте всеобщей смерти, всеобщей гибели и разрушения. Стоило ли жалеть хоть что-нибудь из прошлого мира, раз он все равно был обречен? Ученики сделали христианство верой кануна конца, очень краткой, почти переходной верой. Вся история в ней оказалась построенной на чуде, во всем этом было слишком много разочарования в том прежнем пути, которым шел человек, и очень много надежды на Бога, очень много веры в то, что Он поможет и спасет. И еще была вера — среди прочих так потом веровали коммунисты, — что если человек в один день может перестать быть язычником, обратиться, познать Единого Бога, значит, человеческая душа вообще очень мягка и пластична и ее совсем не трудно изменить, а еще легче, чем душу, переделать мир, отряхнуть прах прошлого со своих ступней и, начав все заново, построить на земле Рай.

«Неужели, — сказал я Ифраимову, — мир все же настолько непрочен, что из-за какого-то снегопада может погибнуть, будет засыпан и потонет в снегах?»

«Да, — подтвердил он, — непрочен. Человеку было дано больше свободы, чем он смог вынести, мир его оказался таким сложным, в нем было так мало запретов, что он запутался, и концов уже не найдешь».

«Значит, на этот раз не уцелеет никто, погибнут все?» — сказал я.

«Нет, — возразил Ифраимов, — как и во время первого потопа, будет Ковчег, и несколько человек, кажется, спасутся, после потопа жизнь их продлится».

«Где же он?» — спросил я.

«Это наше отделение», — ответил Ифраимов.

«И Господь, — снова спросил я, — ничего не сохранит, не пожалует ни о ком, кроме этого отделения старческого маразма? Неужто Он верит, что только те, кто здесь, достойны спасения?»

«Да, — сказал Ифраимов, — только те, кто здесь, и то далеко не все. Ковчег перегружен; или большая часть из нас добровольно покинет его, или он потонет».

«Значит, и здесь тоже будет дележ на чистых и нечистых, нечистые погибнут, а чистые спасутся ценой их жизни и все равно в глазах Господа будут праведными?»

«Те, кто уйдет, — повторил Ифраимов, — уйдут добровольно, во всяком случае, по внешности уйдут добровольно, их даже трудно будет удержать. На Ковчеге они — случайные люди, они не сами пришли, их доставили сюда насильно, для них здесь тюрьма, и они мечтают об одном — выбраться на волю».

«И они будут знать, на что идут, будут знать, что мир гибнет и они тоже погибнут, если оставят Ковчег?»

«Трудно сказать, возможно, и нет. Наверное, правильнее сказать, что они будут обмануты, но насилия не будет, не будет совсем. Это правда. И не надо больше допытываться: здесь никто не виноват, в этом случае все решает Бог, а не человек. Год, когда был потоп, Господом вообще изъят из человеческой истории, в счете лет его нет. Человек был тогда ни в чем не волен, это время Божественной, а не человеческой истории».

«И все-таки, — сказал я, — я слышал, что есть такой талмудический комментарий: два человека, один ученый, знаток Торы, по-еврейски «талмид хахам», второй — не знающий Священного писания, «человек земли» (ам-гаарец), умирают в пустыне от жажды. Воды, чтобы дойти до колодца и спастись, хватит лишь одному. И вот Талмуд говорит, что вся вода должна быть отдана талмид хахаму, потому что иначе вместе с ним может погибнуть и знание Торы. Но, отмечает он, талмид хахам не может взять у ам-гаареца его воду, потому что тогда он примет в плату за ученость целую человеческую жизнь, а ведь единственное, для чего нужно знание Торы, — это чтобы быть праведным; взяв же чужую жизнь, человек уже не может быть праведным перед Господом. Путь ученого человека и путь человека земли должен быть одинаков, пускай они вместе умрут в пустыне, говорит Талмуд, зная, что оба дети Божьи, что оба созданы по образу Его и подобию, оба Им любимы, или пускай Господь обоим им пошлет чудо и спасет их, как спас Иосифа. Но после Исаака никто не может принести в жертву жизнь человека».

«Да, — повторил Ифраимов, — но здесь другое, здесь никто не волен».

«Кто же Ной?»

«Николай Федорович Федоров».

«Федоров? — удивился я. — Но ведь вы сами говорили, что он чуть ли не восстал против Бога, что он пытался продолжить дело строителей Вавилонской башни?»

«Это так, — ответил Ифраимов, — но это не все. Евреи всегда обвиняли Ноя

в том, что он не отмолил, не спас, допустил гибель человеческого рода. Хотя он и был праведным и непорочным, хотя и был пророком (Господь не раз говорил с ним), евреи утверждали, что он был праведным, по словам Бытия, только среди своих поколений, как известно, столь развращенных, что Господь обрек их на смерть. То есть он был лучшим среди худших, в поколении же Авраама он бы не был даже замечен. Да, говорили они, Ной строил Ковчег открыто, ни от кого не скрываясь, не таясь, так что каждый мог последовать его примеру, и то, что он не раз говорил своим соплеменникам, что Всевышний скоро найдет на землю потоп, — тоже правда, но как же это все мало, ведь погибнуть должны были его родные, его братья и сестры. Такое ощущение, что он и сам думал, что они должны погибнуть, что никто из этих грешников уже никогда не исправится и не станет на дорогу, ведущую к Богу. Он же не сделал и единой попытки отвратить их от зла, ни одной попытки умолить Господа отложить кару, хотя бы на время пощадить потомков Адама.

Это страшное обвинение тяготело над Ноем со времен первого потоп; не только его дети, его прямые потомки, лишь благодаря ему оставшиеся в живых, не только сотни и сотни толковавших Священное писание, пытавшихся понять, почему он был спасен, а другие обречены, но и мертвые, захлебнувшиеся в водах, обвиняли его перед Богом. Обвиняли в том, что он их бросил, не заступился и тем обрек на смерть. Этот крест он нес год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием, а потом восстал на Господа. Перед своими учениками он поклянется, что воскресит всех, когда-либо живших на земле, всех их спасет и вернет к жизни, потому что смерть несправедлива, смерть есть зло, и нет в мире такого греха, совершив который человек был бы достоин смерти. И Господь понял его, понял, что ноша, которую Он взвалил на Ноя, была тяжела даже для праведника, понял, что Ноем двигала вера, двигали любовь и сострадание к людям, и не поставил ему это в вину».

«А Сталь, в чем ее праведность?»

«Когда-то Христа дьявол искушал властью над миром, и Христос выдержал это испытание, не поддавшись дьяволу. Но он был Сын Божий. Мадам де Сталь же была обыкновенная женщина, источник власти находился в ней самой, Господь в нее саму вложил власть над миром, власть как бы истекала из нее, она была ее по всем человеческим законам, но де Сталь ее так никогда и не получила. Господь признал, что искушал Жермену де Сталь всю жизнь, сил же преодолеть искушение ей не дал, поэтому Он простил ее грех властолюбия, все другие грехи, которые породил этот грех, и не поставил их ей в вину.

Кроме того, — продолжал Ифраимов, — спасутся дети де Сталь и Ноя. Господь сделал так, что при рождении души их не были оплодотворены; бессловесными, не ведающими добра и зла Божьими тварями они прожили больше ста лет, и грех не сумел их коснуться. Правда, Ной все равно их ненавидит, он убежден, что, несмотря на неведение, они плоть от плоти старого мира, дети разврата, они рождены во грехе, и отсюда никуда не уйдешь. В Ное всегда было сильно стремление завершить прошлое, не длить, не продолжать этот уход человека дальше и дальше от Бога; он был готов терпеть сыновей, считал, что их жизнь может быть оправдана тем, что они начнут дело восстановления своих отцов и, значит, повернут ход жизни обратно к Богу. Но кого могут восстановить эти три идиота? Ведь они даже не знают, что Ной их отец. Он страшится, что с ними на Ковчег проникло зло и если наследуют ему они трое, если его жизнь продлится через них, все, как и тогда, в первый раз, — напрасно. Ной молит Бога, чтобы Он после потопы дал ему от де Сталь другого сына, сына всех людей, когда-либо живших на земле, и чтобы тот, чистый и безгрешный, как Адам до грехопадения, никогда не живший во времена греха и не знающий, что такое грех, начал человеческую историю заново.

Еще уцелеют три медсестры — это жены детей Ноя. Едва кончится снегопад, они каждое утро по очереди будут оборачиваться голубками и облетать землю, пока не найдут место, где снег стаял и вода ушла в почву. На этом пригорке они и начнут вить свое гнездо».

«И это все, — спросил я, — больше никто не будет взят на Ковчег?»

«Да, — подтвердил Ифраимов, — скорее всего, это все».

«Значит, — сказал я, — никто из больных не спасется, моей любви было так мало, что ее не хватило, чтобы спасти хотя бы одного из них, одного-единственного? Они мне доверились, пришли ко мне, но я их обманул, ни для кого из них я не сумел ничего сделать, никому из них не помог?»

«Может быть, и так», — согласился Ифраимов.

Вернувшись в палату, я был поражен тем, что здесь все, вплоть до последнего больного, казалось бы, уже давно не различавшего ничего из окружающей жизни, знали, что начался или вот-вот начнется потоп. Такой же потоп, как и во времена Ноя, насланный Господом на землю, чтобы погубить мир. Откуда в них было это знание, сказать трудно: то ли Господь, отняв у них разум, сделал их детьми, вместе с тем приблизил к себе, открыл то, что другие знать не могли, то ли здесь, на Ковчеге, единственном месте на Земле, которое Он защитил от стихии, изъял из общего порядка вещей, оно было дано всем, и дело именно в этом?

Наше отделение, как уже говорилось, было очень непростым: большинство пациентов, что здесь лежали, в прошлом были кадровыми партийными функционерами, номенклатурой, работали в Кремле и на Старой площади, в ЦК, в ЦКК или рядом, на Лубянке, в крайнем случае, занимали немалые посты в обычных министерствах, и, конечно, у них еще сохранились прежние связи. Поэтому всегда, чуть что у нас было не так, — наверх сразу же пачками шли доносы. Почтового ящика в корпусе не было, родственники навещали их нечасто, но они, словно в память о подпольной работе, умудрялись передавать их на волю за взятки. Кронфельд, подобно своим предшественникам по отделению, много раз пытался перекрыть этот канал. Часами он растолковывал нянечкам, что они, переправляя письма, делают это на свою голову: после каждой волны доносов в больницу приезжали комиссии, и хотя Кронфельду всякий раз звонили из Минздрава, предупреждая, кто и когда будет их проверять (сначала его даже инструктировали, как с какой комиссией разговаривать), приходилось устраивать настоящий шмон, чтобы привести палаты в божеский вид. Все это ложилось, естественно, на нянечек, но те никогда не желали рассчитывать настолько вперед и трешки, которые получали сразу и непосредственно в руки, предпочитали отдаленным выгодам.

Доносы бывали разные, иногда вполне невинные и, в общем, справедливые: в отделении, особенно в уборной, непролазная грязь, неделями не меняют белье, санитарки грубы; хорошая еда — мясо, творог, фрукты — разворовывается подчистую, апельсины в этом году не дали, например, даже на Октябрьские праздники. Все это перемежалось жалобами, что их незаконно лишают права голосовать на выборах в Верховный Совет, не собирают партвзносов и они оторваны от партии, не присылают лекторов, мало используют их опыт и знания в воспитании молодых и прочее. Однако обычно была и вторая часть, в ней фигурировали все виды вредительства — неправильные: лечение, диагнозы, дозировка лекарств; после того, как заведовать отделением был назначен Кронфельд, сразу возникла тема врачей-убийц и еврейско-масонского заговора: в отделении свила гнездо контрреволюция, медики находятся у нее на службе и сознательно уничтожают испытанные партийные кадры; и все окончательно стало напоминать 1953 год. Кронфельда, который смотрел на это и как профессионал, поражало, насколько точно, несмотря на все разрушения, прошлое сохранилось в их памяти. Сам он, хотя никогда об этом не говорил, тоже хорошо помнил то время: весной пятьдесят второго он закончил мединститут, так что пятьдесят третий год был первым в его самостоятельной работе, но здесь было другое, его и их памяти даже глупо было сравнивать. В том, как они, словно под копирку, воспроизводили все обвинения, все формулировки и обороты, было что-то нечеловеческое, нигде не было никаких отклонений ни в строении фразы, ни в тоне, ни в самом слоге; настоящее ничему не мешало, прошлое было очищено от всего, что было дальше, и воскрешено таким, каким было.

Причин, заставлявших их доносить, было немало: это и многолетняя привычка к этому рода работе, и недовольство своим нынешним положением, для которого у них, конечно, были основания; и все же главным было другое — им необходимо было доказать и себе и остальным, что они еще в форме, еще живы, на них еще рано ставить крест. Поскольку те, кто здесь лежал, считались хотя и больными, но вполне правоспособными гражданами — по уставу отделение не было психиатрическим, — и так как писали они по преимуществу туда, где раньше сами работали и где до сих пор работали их друзья и выдвиженцы, комиссии прибывали быстро, без привычной у нас раскачки, волокиты; но куда хуже было не это, а то, что их заключения составлялись обычно с почти личной ненавистью и приводили к тяжелым оргвыводам.

В сущности, это было довольно странно: с одной стороны, все вроде бы понимали, что люди эти больны, за себя отвечать не могут, ни за слова, ни за поступки, и их доносы — обыкновенный бред, в этом качестве они, в частности,

фигурировали в историях болезни, служили основанием для диагнозов, и здесь никто не возражал. В то же время комиссии относились к ним вполне серьезно, все детали тщательно проверялись и перепроверялись, причем всякий раз повторялось, что дыма без огня не бывает, хоть что-то за этим, без сомнения, стоит. В итоге находилось множество других упущений, заведующий получал очередной строгий выговор, и комиссия отбывала восвояси. Два предшественника Кронфельда, проработав под этим прессом ровно по году, слегли с инфарктом, после чего он и был отправлен сюда как бы в ссылку, правда, в обмен на обещание не чинить препятствий при скорой защите докторской.

Большинством из тех, кто у нас лежал, потоп был принят как дар, многие-многие годы они просили, мечтали об одном: снова оказаться нужными партии, и вот теперь, когда они уже готовы были отчаяться, им было это дано. Любой верующий человек сказал бы, что молитвы их были услышаны; может быть, это и вправду так и Господь, насылая на землю потоп, думал и о них, кто знает? В конце концов, все мы сотворены Им, все Его дети, никто из нас Ему не чужой. Теперь их час, их время пришло. Все было исполнено, как они молили, все было по их вере: что они еще понадобятся стране, революции, что их рано списывать в тираж.

По милости Господа они и в самом деле оказались в сердцевине событий. Ленин в начале века с восторгом доказывал, что центр революционного движения переместился в Россию, что теперь именно здесь решаются судьбы революции, социализма, мира. С этим тогда многие спорили, временами он и сам сомневался в предназначении России, следовательно, и в своем предназначении тоже, и все-таки это было ликование, радость, счастье, та его санкция на все, как бы он ни считал нужным поступать, которая и сделала его правым, дала ему силы совершить то, что он совершил.

Сколько же силы получили лежащие у нас большевики, каждый большевик, ведь теперь, сегодня, ни у одного из них не было и доли сомнения, что нынешние судьбы мира, судьбы всего человеческого рода решаются именно тут, в этом их отделении. То есть то, что решается здесь, сейчас, несравнимо больше, важнее, чем то, что решалось в семнадцатом году, а отделение их, их маленькое отделение склероза, — разве можно сравнить его с огромной Россией? Ведь это даже не точка на ее карте. Сколько же энергии было собрано тут! Сколько же ее было в них влито!

Они знали, что находятся именно на Ковчеге, то есть знали, что и они избраны, и их имена внесены Господом в список тех, которым, может быть, дано спасение. Для этого им надо лишь одно — открыто и без принуждения сказать, что они хотят здесь, на Ковчеге, остаться, что они готовы порвать все связи с прошлой жизнью, готовы забыть ее — осужденную Им и отданную на гибель. И вот тут следует признать, что никто из них вообще не думал о возможности своего отдельного спасения, о том, что их товарищи должны, обречены погибнуть, обречено погибнуть все, что они строили, что знали, любили, весь их, да и не только их, мир, а они неизвестно почему останутся живы. Эта мысль, к их чести, им даже не приходила в голову. А если бы и пришла, показалась бы кощунством, потому что единственное, о чем они думали, — предупредить, предостеречь партию, товарищей по партии, органы о грозящей всем страшной опасности.

Спасение было возможно для них, только если останется жива партия. Они были ее частью, и вне ее жизнь была для них невысказана. Они чувствовали себя не людьми, избранными Господом из других людей и потому взятыми на Ковчег, а лазутчиками, отважными разведчиками, волею судеб оказавшимися в стане врага. Многим из них теперь стал понятен глубокий, провиденциальный смысл того, что родные в свое время отреклись от них и отправили их в это отделение геронтологии, того, что партия это тогда допустила, не защитила, не сберегла их. Они заново оценили последние годы своей жизни, все, что с ними было в это время, простили и оправдали тех, кто клал их сюда. Ведь то, что они могли сделать для партии, находясь здесь, в этом отделении, было большим, чем в самых ярких их мечтаниях.

Все это их возвысило и облагородило. Доносы, которые они теперь писали, тоже были полны выдержки и достоинства, они были точны, выверенны, спокойны, в них не было ни истерики, ни кликушества — только факты и трезвый анализ этих фактов. Они информировали органы, что, по их сведениям, Господь, ожесточив Свое сердце, задумал в самое ближайшее время потопить в снегах людской род и, следовательно, погубить первое в мире государство рабочих и

крестьян. Писали, что этот удар в спину революции можно было предвидеть, давно предвидеть; ошибка партии состоит в том, что борьба с религией, с Господом Богом, несмотря на призывы Ленина, так и не была доведена до конца — бесперывные колебания, компромиссы, временами открывенное заигрывание с церковью, в результате эта гидра сумела оправиться и вновь поднять голову.

Словно у них на руках были документы с росписью планов Господа, они со скрупулезной точностью сообщали, когда, где и сколько дней будет идти снег и еще сколько дней мести пурга; писали, что весь мир, вплоть до самых высоких гор, будет занесен глубоким снегом, это уже решено, так что не уцелеет никто, ни один человек, кроме тех немногих, кто по Его специальному указанию взят на Ковчег. Ковчегом же Господь на этот раз сделал отделение геронтологии психиатрической больницы имени Ганнушкина. Повторяю, мне до сих пор не понятно, откуда все эти детали были им так точно известны; то ли и вправду здесь, на Ковчеге, они ни для кого, кроме меня, не были тайной; избрав их для спасения, выделив и приблизив к Себе, Господь естественным образом посвятил их и в свои планы относительно человеческого рода, рода, который им было предназначено продлить и продолжить, или дело в другом и знание это было не от Бога, отнюдь не от Бога, происхождение его совсем иное, оно было подсказано им их классовым чутьем.

Дальше они отмечали, что хотя положение, без сомнения, критическое и промедление с ответными мерами смерти подобно, никогда еще, даже в девятнадцатом году, во время похода Деникина на Москву, революция не находилась в большей опасности; шанс победить есть и на этот раз, и он, к счастью, не мал. Первое, что необходимо сделать, — это немедленно арестовать Ноя (Николая Федоровича Федорова), мадам де Сталь (Екатерину Ивановну Сталь) и их детей. Этот арест почти наверняка приостановит потоп, так как продолжение жизни на земле Господь связывает именно с данными лицами, вся Его ставка на них. Взятие их заложниками; но ни в коем случае — они настойчиво это подчеркивали — не убийство Федорова и Сталь (последнее лишь спровоцирует Господа на немедленное уничтожение всех и вся, мир, оставшийся без праведников, не будет Им пощажен и на мгновение) способно побудить Господа изменить свои ближайшие планы. Таким образом, чередуя, как в дни Брестского мира, угрозы с демонстрацией готовности к покаянию, партия сможет выиграть у Господа немало времени, в которое, если им умело воспользоваться, можно добиться не только окончательной отмены потопа, но и полной победы над верой в Бога.

Похоже, то был наиболее разумный план: он был прост, ясен, не требовал никаких сложных приготовлений; конечно, и он мог не удался, но что в нем было рациональное зерно — это очевидно. Редкой удачей было то, что все доносы со сведениями о намереньях Господа и с планами, как Ему противодействовать, как и раньше, исправно переправлялись нянечками на волю, не изменилась даже такса — по-прежнему трояк; приезжали и комиссии — это продолжалось дней двадцать, следовательно, органы почти три недели, пока дороги в Москве не занесло снегом и они сделались непроезжими, получали подробную информацию. Однако реакция на то, что писали больные, на этот раз, увы, была иной: никто им не поверил, даже не захотел выслушать, все посчитали доносы обычным бредом, виноватым же и на сей раз оказался Кронфельд. В заключениях комиссий, будто под копирку, указывалось, что недавно возникший бред, причем общий у всех пациентов, свидетельствует, что в отделении их неправильно лечат. Не исключено, что здесь имеет место не профессиональная безграмотность, а настоящее вредительство. Иначе трудно объяснить это одновременное ухудшение состояния больных. Как говорил в свое время Христос, много званых, но мало избранных, — никто их не услышал, никто не отозвался, когда, может быть, что-то и можно было поправить. Земля вот-вот должна была стать пустыней, и глас их так и остался гласом вопиющего в ней, — нужны ли еще доказательства безумия и обреченности этого мира!

Свидания Федорова и мадам де Сталь в эти дни по внешности продолжались тем же порядком, что и раньше, я, во всяком случае, ничего особенного не замечал. Я давно уже наблюдал за этой парой, пожалуй, раньше всего в отделении я обратил внимание именно на них, поэтому и столь настойчиво расспрашивал о Сталь и Федорове Ифраимова. После его рассказов суть их отношений мне, конечно, стала понятнее, койка Федорова к тому же находилась через одну от меня, и я видел и знал очень многое, почти все. Иногда их встречи с начала до конца были совершенно идиллические, очень похожие на те, что, судя по

Ифраимову, были в Сосновом Яре до всяких партий, вообще до всего. Она приходила, ложилась на его кровать, а он, будто мост, перекидывался через нее. У Федорова был хорошо известный психиатрам эффект воздушной подушки: голова и тело его легко принимали привычную позу, как бы застывали, каменели в ней, так и здесь — он лежал над, а не на ней, словно между де Сталь и им по-прежнему был хрустальный гроб. Подобным образом они могли проводить многие часы, голова его висела над ее грудью, и они очень тихо и очень нежно о чем-то беседовали. К этому времени он уже научился узнавать ее и вне гроба, но все равно каждая часть его отношений с ней была закончена и завершена, они не пересекались и никак не влияли друг на друга.

Де Сталь всегда, и в нашем отделении тоже, была элегантна, но в этом очерченном его телом гробе она неизвестно почему вдобавок молодедела, хорошела, морщины на ее лице разглаживались, она лежала свободно, даже будто лениво, немного поджав правую ногу и, словно во сне, мягко улыбаясь. Она все еще была, конечно, необычайно привлекательна. Они говорили о чем угодно, обычно это был необязательный разговор двух очень давно и близко знающих друг друга людей, где фигурировали и больница, и книги, и переустройство мира, и погода, но потом Федоров словно уставал от этой необязательности и начинал то и дело возвращаться к их прошлым отношениям. Начинал говорить с ней так, как будто со времен Соснового Яра в их жизни и вправду ничего не было, все по-прежнему.

Судя по тому, что мне рассказывал Ифраимов, Федоров почти дословно дублировал себя семидесятилетней давности. Он говорил ей, что он ее спасет, спасет и воскресит, что она будет его, только его, что она, царица, лежащая в хрустальном гробу, предназначена одному ему; все это могло продолжаться целыми днями, я спал, просыпался, уходил есть, приходил обратно, а в этой композиции ничего не менялось, по-прежнему она лежала на кровати, а он, как мост, был переброшен через нее.

К сожалению, эти идиллии, бывшие для всех нас отрадой, редко кончались хорошо. Мне трудно сказать, кто из них был больше в этом виноват, хотя ссоры шли у них обычно по одной и той же схеме. Он вдруг резко поворачивал тему и начинал ее уговаривать, что после потопа, воскреснув и восстав из гроба, она родит ему сына, сына, не ведающего зла и греха, который и начнет заново человеческую историю. На всем, что было раньше, будет поставлен крест, все будет стерто, навсегда вычеркнуто из памяти, — это время удаления человека от Господа, и оно должно быть забыто, то есть, в общем, то, что я уже слышал от Ифраимова.

Все это выглядело так и так им говорилось, как если бы у него прежде вовсе не было от нее детей. Сначала она делала вид, что этого не замечает, отвечала ему очень спокойно, даже подчеркнуто мягко: что груди ее иссохли и увяли, а обыкновенное женское давно прекратилось. Но Федорова это только раздражало:

«Вспомни, — говорил он ей, — вспомни Сарру, разве у нее было не то же самое, разве она была моложе? Есть ли что-нибудь невозможное для Господа? Сарра уверовала и зачала».

Де Сталь отвечала ему: «Но у Сарры не было детей от Авраама, род Авраама должен был продолжить Елиезер — раб, чужой человек, вот Господь и снизошел к их мольбам, сотворил чудо. У нас же с тобой по-другому, тебе даже грешно равнять себя с Авраамом: я уже родила тебе трех праведных, не знающих греха сыновей, чего же тебе еще надо? После потопа Господь, избравший их, оплодотворит их души, и они продлят человеческий род. Разве у нас есть право просить Господа о чуде, просить Его дать нам еще и других детей?»

Услышав ее слова, он распрямлялся и, вскочив, начинал кричать, что эти сыновья ему не нужны, он не признаёт их и никогда не признаёт, они — плод греха и надругательства над ним, она развратничала, усыпив его, она спала с ним как с животным, он не хотел их зачинать, по справедливости, они даже не могут считаться его детьми, это именно дети греха.

Вспышка эта редко бывала долгой, постепенно он успокаивался и с увлечением начинал развивать свою любимую идею о назначении детей: вспомнить, восстановить и воскресить родивших их, которую эти сыновья исполнить, естественно, не смогут. Ему это казалось настолько бесспорным, что он даже веселел, и тут уже не выдерживала она. В нее словно вселялся бес — не знаю, почему она так бурно реагировала на подобные философствования, ведь она слышала это от него сотни и сотни раз, здесь не было ничего нового, он никогда

не скрывал от нее, что считает в жизни главным. Наверное, тут было много всего намешано и перемешано. В том, что он не любит и не признает сыновей, которых она от него родила, она не могла не видеть умаление, недостаток его любви к ней; в другое время она, возможно бы, согласилась, что не всегда вела себя с ним корректно, но сейчас, перед концом, когда все это должно было остаться позади, когда все эти объяснения должны были потерять всякий смысл, она не могла не страдать, зная, что он, так безумно ее любя, не любит своих детей от нее, пускай ущербных, пускай и в самом деле рожденных издевательства ради (хотя это, конечно же, было неправдой), — все это казалось ей предательством: Федоров предал ее. Все-таки в ней крепко сидело, что если она произвела на свет нечто живое, как бы это внешне и ни было обставлено, что бы на это ни наложилось, она сделала хорошо, сделала благо. И потом, она ведь знала, что он хотел иметь детей от нее, чтобы любовь их осталась. Ее не оставляла мысль, что, не признавая своих детей, он тем самым хочет ей объяснить, что она, в отличие от него, неправедна, что в ней нет ничего, кроме блуда, похоти, и на Ковчег она попала только как его, Ноя, жена.

Все это должно было быть для нее особенно больно потому, что она была к сыновьям от Федорова очень привязана, гордилась их страстностью и физической мощью, обожала говорить на эту тему со своими невестками-медсестрами; к слову сказать, она была для них едва ли не идеальной свекровью, ей льстило, что в своих отношениях с сыновьями они почти буквально воспроизводят ее роман с Федоровым и счастливы этим. Та ее жизнь была ими словно размножена и в трех копиях показывалась ей. Ведь и Федоров был ею любим не такой, каким он был сейчас, а тот мальчик из Соснового Яра, наивный и смешной мальчик, ее дитя, ее игрушка, а не праведник, избранный Богом, чтобы в нем, единственном, продлился человеческий род. Ей, конечно, было приятно, что она тогда в нем, как и в других своих любовниках, не ошиблась, позвала к себе и от него родила, и в то же время все это было чересчур. Ей хотелось, чтобы и сейчас Федоров был прежним, похожим на детей от него, и она завидовала своим невесткам. Сестры все это видели, сочувствовали ей и тоже за любовь платили ей любовью.

В де Сталь был очень силен материнский инстинкт, своих детей от Федорова она любила какими они были, ей нравилось, что они не выросли, не стали взрослыми, не ушли от нее, подобно другим детям, все такие же неразумные, ничего не знающие и не понимающие, будто только вчера они покинули ее лоно. Она, вне всяких сомнений, гордилась тем, что им предстоит продлить человеческий род, что именно их избрал для этого Господь; как-то в споре она даже сказала Федорову, что Господь не потому задумал продлить род человеческий ее детьми, что они и его, Федорова, дети, дети праведника, а потому, что они сами праведны и невинны, словно в первый день творения, и зло к ним не пристаёт, они даже не знают, что такое зло. Про них Христос говорил, что их, детей, — Царствие Небесное. Сказала она это Федорову один раз, и то в споре, как бы случайно, сказала и испугалась, но на самом деле она давно к этому склонялась, давно так думала.

Вся эта любовь, обиды, страх за будущее сыновей накладывались на ее старинное раздражение Федоровым, она никогда не была готова ему простить, что была для него мертва, все еще мертва и в гробу; была женщиной, хотя и безумно им любимой, но мертвой, которую ему только предстояло воскресить, сделать живой. А она всегда, все эти годы была жива, в ней все было живое, и она хотела, чтобы ее любили именно такой, живой. Ей надоело, она устала от целомудренности и отстраненности их отношений, они бесили ее, она часто его желала, желала до спазмов, до боли, но решиться переспать с ним не могла, отчаянно боялась, что забеременеет, родит ему четвертого сына. Сына, которого он желал и который, — она это знала, — как Каин с Авелем, расправится со своими братьями. Все это вместе приводило ее в неопишное состояние, она буквально теряла над собой контроль, и вот, все так же лежа под ним, по внешности без всякого повода она начинала ругать его самым непотребным образом. Она говорила ему: «Что ты выкобениваешься, дурачка играешь? Неужто забыл, что я трех сыновей от тебя родила? Неужто впрямь думаешь, что чист и непорочен?»

Спрашивала его, неужели он забыл, что спал с ней, говорила ему: «Нет, ты знаешь, что такое женщина, знаешь, что такое лежать на женщине, не так лежать, как ты лежишь сейчас, а по-настоящему, ты знаешь, что такое хотеть женщину, что такое входить в женщину, что такое воцелеть к ней». Она говорила ему: «Плоть твоя умела хотеть и до меня, ведь ты помнишь, как она поднималась,

когда ты лежал на моем гробе, но и я многому тебя научила: разве ты мог забыть, что это такое, когда женщина, кончая, бьется под тобой? Неправда, милый, ты все это помнишь и многое другое ты тоже помнишь, я недаром тебя учила».

И она начинала описывать ему, как она с ним спала, их первую ночь, другие их ночи, и еще, и еще, и все это очень грязно и мерзко: какой у него член, и как он ее брал, и сколько раз. И снова — как она его хотела, и как он хотел ее, и как все это между ними было, говорила ему: «Да, твой мозг спал, когда мы были вместе, но тело, плоть не спала, она хотела, желала меня, она была разумна, сильна, зряча, над плотью твоей никакого насилия не было, так что эти дети — твои, они твои законные дети и они наследуют тебе».

Пока все это продолжалось, он страдал невообразимо, находился буквально на грани умопомешательства, но ни разу, когда она вот так под ним лежала, он ей не ответил, ни разу ничего ей не возразил. Она словно гипнотизировала его. Даже мне, человеку совсем постороннему, слушать все это было очень тяжело, и обычно я, почти сразу, как это начиналось, уходил, возвращался же только тогда, когда Федоров, наконец опомнившись, убежал из палаты.

Де Сталь, в сущности, неплохо понимала Федорова, она видела, что наступает его время, время, которого она, в свою очередь, отчаянно боялась. Она не была готова на такой разрыв с прошлым, он хотел, чтобы все было заново, он буквально этим бредил, она же, скорее, склонялась к тому, что многое в прошлой жизни было хорошим, и это хорошее следует во что бы то ни стало сохранить, уберечь от потопа. Во всяком случае, попытаться уберечь.

То же взаимное недоверие, что разделяло их с Федоровым, когда они говорили о будущем мира и о ее сыновьях, касалось и больных. Де Сталь была убеждена, что все они, раз они уже находятся на Ковчеге, должны пережить потоп, — это воля Божия, причем выраженная вполне ясно, иначе они бы никогда здесь не оказались. Почему они, будто праведники, взяты на Ковчег, — то ли потому, что стали неразумными детьми, нищими духом, чей рай небесный, или у Господа есть еще какие-то причины, ей все равно, говорила она Федорову, — они на Ковчеге и должны спастись. Спасти, как и он сам, она и их дети. Его доводы, что Ковчег перегружен, что он так стар и обветшал, что не выдержит, развалится и тогда потонут все, поэтому этих людей, хороши они или плохи (он не хотел с ней спорить на эту тему), необходимо во что бы то ни стало с Ковчеге удалить, другого выхода нет, она не желала слушать. Он доказывал ей, что тут нет никакого греха, все правильно, они попали сюда насильно, для них это только отделение сумасшедшего дома, почти что тюрьма, ни один из них не пришел сюда сам. На это она говорила ему, что у Господа достаточно сил, чтобы совершить и второе чудо — не дать Ковчегу затонуть, сколько бы людей в нем ни оказалось. Если можно было пятью хлебами накормить пять тысяч человек и еще осталось, если он верит, что Господь может сделать, что она снова зачнет, выносит и родит сына, то и не дать развалиться Ковчегу, как бы ни был он дряхл, тоже в Его власти.

Конечно, здешние пациенты волновали ее не сами по себе, а потому, что они были старыми большевиками. Де Сталь чрезвычайно импонировала мысль, что партия, у истоков которой она стояла и которая так оскорбительно отодвинула ее в сторону после победы осенью семнадцатого, теперь благодаря ей спасется. Партия была для нее святыней, она не могла быть виноватой, и де Сталь не помнила зла. Она любила партию, боготворила ее, была связана с ней пуповиной; партия была самым прекрасным, что она знала за свою долгую жизнь, самым чистым и непорочным, несмотря на всю грязь, которая к ней за эти годы пристала. Пускай партия забыла о ней, что ж из этого, она все равно была ее дитем, де Сталь была ей как мать и, конечно же, как мать, полна всепрощения. Она знала одно: ее дитя вернулось к ней и молит о спасении — кто бы устоял? Конечно, Жермена де Сталь понимала, что если партия уцелеет, она — и никто другой — естественным путем после потопа встанет во главе ее, наконец достигнет того, о чем мечтала всегда, от рождения. Благодаря партии она, без сомнения, когда сойдет вода и земля подсохнет, сумеет не только сравняться своим влиянием с Федоровым, но, если захочет, и поднять его под себя. Причем даже в том случае, если Господь однозначно встанет на сторону Федорова. И все же здесь гораздо больше было не расчета, а чистейшего альтруизма, все это были люди, которых она могла считать своими старыми товарищами, своими соратниками, и партийная этика, партийная солидарность обязывали ее не дать им погибнуть.

Федоров понимал опасность, всеми способами он пытался отвести ее от защиты большевиков, с первого дня, как на землю начал падать снег, он искал любые возможности, чтобы изгнать их с Ковчег; они мешали ему, мешали подготавливаться к потопу, ставили под угрозу все, но де Сталь каждый раз оказывалась у него на пути. Он пытался объяснить ей, что ни о какой партийной солидарности, ни о каком партийном братстве не может быть и речи — это старые, разложившиеся марзматики, балласт, отработанный материал и для страны, и для Ковчег, и для самой партии; у него были сильные аргументы: он говорил ей, что если бы они и вправду хотели тут остаться, и вправду были бы готовы после потопа, как и раньше, служить делу пролетариата, они бы давно снялись с партийного учета по своим старым местам работы и стали бы на учет здесь, на Ковчеге.

Этот вопрос, кстати, уже неоднократно обсуждался, все решалось на самом верху, в ЦК, в конце концов был получен положительный ответ и при отделении образовали партячейку. Но никто, несмотря на довольно долгую кампанию (это было еще за год до потопа), кроме несчастного Кронфельда и двух санитарок, в незапамятные времена по разнарядке принятых в КПСС, так сюда и не перевелся. Больные же руками и ногами держались за свои старые партгруппы, понять их можно: там прошла вся их жизнь, все хорошее и они еще надеялись выздороветь и туда вернуться, верили, что вернуться. На прежних местах работы им и их близким перепали — не столь регулярно, как раньше, но перепали — пайки, всякий дефицит, путевки в санатории, лекарства, а главное, пока они там числились, никто не мог отнять у них право на престижное кладбище и похороны с воинскими почестями.

Но Федоров не желал это видеть, он говорил ей, что вот она просит за них, молит за них, сама с ним, с Федоровым, и со своими ненаглядными детьми (когда ему было надо, он никогда не забывал помянуть ее детей) готова из-за этих большевиков идти на дно, а их волнуют только собственные шкурные интересы. Формально, говорил Федоров, они, может быть, еще и члены КПСС, фактически же назвать их большевиками уже нельзя: они разложились и выбыли из партии, нужды рабочего класса им совершенно безразличны. Во всем этом, конечно, была доля правды, и де Сталь понимала, что пока они все так же будут ориентированы на мир за Ковчегом, мир, ходом истории обреченный на смерть, доживающий свои последние дни, пока она не добьется, чтобы они встали на партучет здесь, на Ковчеге, тем самым однозначно показали, на чьей они стороне, у нее нет никаких шансов их спасти — Федоров это не допустит. И тогда де Сталь решилась предпринять отчаянную и безнадежную попытку их спасения, безнадежную потому, что всё и все были против нее: и Федоров, и Господь, и сами эти партийцы, все ее не понимали, все считали ее предательницей, и в первую очередь именно ее товарищи по партии.

Сколько дней она потратила зря, льстя им, моля их, пытаясь им объяснить, что происходит и куда идет мир, — бесполезно, они не желали ни слушать ее, ни понимать, все это казалось им очередной хитростью, каких в их жизни было немало, чтобы лишиться заслуженных льгот и привилегий. И все-таки она пошла на эту попытку, причем ее единственным оружием была любовь, одна любовь.

Выбрав душу, которую она сегодня собиралась обратить и спасти, выбрав большевика, от которого она сегодня собиралась добиться, чтобы он перевелся на учет в отделение, она покупала у нянечек чистое белье, откуда-то она доставала свежие, даже хрустящие простыни, шла в мужскую палату и сначала перестилала постель избранника. Потом, если он был голоден, она кормила его, если он был сыт, она не спеша угощала его редкостными конфетами — все старики, как дети, любили сладкое, — которые тоже неизвестно где доставала. Она разворачивала золотую фольгу и своими тонкими пальцами клала им в рот трюфеля с ромом и коньяком, чернослив, фаршированный цельными орехами и облитый шоколадом, цукаты, затем она раздевала их, раздевалась сама и ложилась рядом. Принимали они это безропотно и тихо: больница уже давно сделалась их домом, они успели привыкнуть к здешним порядкам, знали, что никто их ни о чем спрашивать не будет, просто сделает с ними, что считает нужным. И никто никого тут не стеснялся, все они, как глухими стенами, были отделены и отгорожены своей болезнью, да и без этого, едва болезнь стала в них укореняться, то есть много-много лет назад, они ушли, бежали от нее в собственное прошлое, так что они не просто не видели и не замечали соседей, а как бы даже и не были друг с другом в одной палате. Она ложилась с ними рядом

и начинала их греть, тепло было главной валютой в этом мире, тепла им всегда и больше всего не хватало, особенно они мерзли в последние дни, когда на улице и в больнице было очень холодно, а угля не осталось: была весна и топили еле-еле.

Любовь ее была хитра и изобретательна, тепло было единственным, что они безбоязненно впускали в себя, чего они не опасались, наоборот, просили и хотели, и она приходила к ним, сначала не как женщина, а как тепло. Это было, как когда-то давно на «Эльбрусе» со Сталиным. Она ложилась с ними, обнимала их, как грелка, согревала их постель, потом, не спеша, их самих, и так, теплом, в них входила. Она размягчала их, разглаживала их старые, дрожащие от холода тела, и они в благодарность впускали в себя ее тепло, ее запах, они думали, что она оттуда, из прошлого, того далекого прошлого, которое они любили, которому верили, того прошлого, где им было так хорошо, так всегда тепло, где они были любимы и любили сами и где так же пахли женщины. Теперь, даже если бы им сказали, что она жена и соучастница Ноя, жена того Ноя, который организовал этот потоп, ради которого, по молитве которого Господь и задумал уничтожить всех их, все, что было им дорого, все, что имело для них значение и смысл, то есть она враг, страшный, заклятый враг, — они бы не поверили, они бы сказали, что она пришла к ним из их собственного прошлого, что они знают ее много-много лет и готовы поручиться, что она верный товарищ.

Она уже была для них своя, сначала она стала их собственным теплом, потом их воспоминаниями, все это было очень медленно и зыбко, оборона их была крепка и глуха, не было ни одной дыры, но она все-таки проникала, просачивалась через нее и лишь потом, когда она уже становилась их частью, той, которая уже была в их жизни, она начинала их ласкать. Ласки ее тоже были очень медленны и очень осторожны, плоть стариков была пуглива и слаба, пожалуй, она была даже недоверчивее, чем их разум, она давно жила лишь памятью, и одно неосторожное движение могло все испортить. Стариков могло спугнуть что угодно и часто пугало, но де Сталь это мало смущало, она не сдавалась, начинала сначала и снова сначала, только была еще более осторожна.

Каждый раз я не верил, что ей удастся хоть что-нибудь сделать, настолько старики казались мне немощными и ни на что не способными, но каждый раз она добивалась успеха. Иногда на это уходило три часа, иногда семь, иногда чуть ли не весь день, но она добивалась своего. И вот когда они уже так хотели ее, что могли ее взять, они разгорались медленно, как сырые дрова, долго-долго тлели, лишь потом начинало перебегать пламя, которому тоже все время надо было помогать, поддерживать его, чтобы оно не погасло. Но вот огонь занимался, они уже хотели ее всю, ее грудь, ее пах, ее губы; своими скрюченными, негнушимися пальцами они гладили, ласкали ее кожу, ее бедра, ее живот, ее ноги, спину, ягодицы; тело их еще боялось верить себе, боялось поверить, что оно что-то может, но оно могло и, наоборот, уже не могло без нее, де Сталь, и тут она, не впуская их в себя, брала губами их плоть, их снова ожившую и поднявшуюся плоть, и начинала ее мучить. Они хотели ее все больше, молили ее, плача, молили ее не медлить, не тянуть, но она, не давая их плоти опасть и в то же время не давая им кончить, теперь требовала от них, заставляла их, чтобы они, прежде чем войти в нее, соединиться с ней, поклялись на своем партийном билете, поклялись памятью Ленина, что завтра же встанут на учет здесь, на Ковчеге. Они еще пытались сопротивляться ей, но она продолжала целовать, ласкать, терзать их плоть, она льстила им, говорила, какие они хорошие мужики, как они умело обращаются с женщиной, жаловалась, что может быть только с тем, кто стоит на учете в их отделении, кто свой, потому что она отдастся мужчинам только из родной ячейки — такое у нее правило; она звала их, манила, обещала им, что после потопа все они получат крупные посты и назначения — ведь они гвардия и у них еще есть порох в пороховницах.

После потопа, говорила она, ряды партии сильно поредеют, это неизбежно, старых большевиков, испытанных кадровых бойцов останется совсем мало, и каждый из них будет на вес золота. Не надо думать, говорила де Сталь, что жизнь кончена, — она только начинается, после потопа партия будет нужна еще больше, чем сейчас. Вспомните, говорила она им, как трудно вам было все эти годы строить новый мир, нового человека, каким косным все оказалось; после потопа же, убеждала она их, только от вас, только от партии будет зависеть, какой дорогой мы пойдем: встанем ли на ту, которой шли прежде и где не было ничего, кроме эксплуатации человека человеком, слез, страданий, ненависти, или с

самого начала выберем правильный путь. Это зависит от них, старых большевиков, и если они откажутся встать здесь на учет, согласятся, что вместе со всеми в водах потопа погибнет и партия, значит, они не достойны имени коммунистов, они жалкие трусы, дезертиры, предавшие свои идеалы.

В конце концов они уступали, клялись ей, даже подписывали заявление, и тогда она им отдавалась. То, что происходило потом, у меня сильное искушение назвать агонией: и вправду, сила, страсть, то, как это вообще выглядело, очень походило на конвульсии, и все-таки, несмотря ни на что, это была жизнь. Старики должны были вот-вот умереть, вот-вот должен был погибнуть весь этот мир, без сомнения, то была последняя в их жизни ночь с женщиной, как бы даже ночь после конца; для всех близких, родни, друзей они уже умерли, и вот вдруг им было это дано. Но дана была им именно любовь, а не смерть. Де Сталь воскресила их, вернула к жизни, вылечила, они перестали бояться настоящего, перестали сбегать от него в прошлое, они вернулись сюда ради нее, захотели жить с ней и при ней, в ее время; для нее они отказывались от последнего, что у них еще оставалось, от этих льгот, пайков, привилегий, — все это складывалось у ее ног как дар, отдавалось ей за одну только ночь; она была королева, царица, и весь мир был ее. Она это знала, для нее это тоже была любовь — не работа, не долг, не расчет, как если бы ей что-то было от них надо и она спокойно и методично добивалась своего, — нет, она понимала, чем они ее одаривают, понимала, как это много, понимала, что никто в жизни ее так не любил и, наверное, любить уже не будет, и она им шептала: «Милый, я не обманываю тебя, доверься мне, так действительно будет лучше, милый, я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне нужен живой, я хочу тебя спасти, милый, я хочу, чтобы ты жил и мы могли с тобой еще и еще...»

Любовь рождала любовь, им было хорошо друг с другом, но похмелье было тяжелым: через час она, перепечатав для них на машинке заявление о снятии с прежнего места учета, приходила, чтобы дать им его подписать; однако они то ли и в самом деле уже ничего не помнили — ни что спали с ней, ни что в чем-то ей клялись, или у них хватало хитрости, чтобы сделать вид, что ничего не помнят, но они наотрез отказывались даже посмотреть бумаги, которые она принесла, и де Сталь уходила ни с чем.

Так было каждый раз. Мне, который смотрел на все это со стороны, результат ее усилий был известен заранее, и я долго не мог понять, почему она сама ничего не видит. Потом я начал догадываться, что ее, как и их, по жизни тоже теперь вел не разум, а инстинкт, такое впечатление, что она вообще не замечала своих неудач. Во всяком случае, по внешности она принимала все это спокойно, просто как пчела перелетала с цветка на цветок и начинала сначала. А я уже знал, что они будут клясться, обещать ей все, что она у них ни попросит, будут, кажется, сами верить, что сделают, и тут же все потонет в их беспамятстве.

Федоров это тоже знал. У нас в палатах были стеклянные двери, перетянутые, как на дачных террасах, деревянными переплетами, лишь кое-где они были неплотно прикрыты занавесками. Это было удобно и врачам и сестрам, а больным, как я уже говорил, было все равно. К сожалению, эти двери позволяли Федорову видеть все, что де Сталь делала в постели. В свою очередь, мне никогда в жизни не доводилось видеть человека, который бы так страдал. Он смотрел на де Сталь и ее очередного любовника не отрываясь, — остановившиеся глаза, лицо без крови, все тело окаменело, и только руки мелко дрожали. Мы знали, что он очень-очень ревнив, знали, что он безумно ее любит, и, когда у нее кто-то был, старались его отогнать, но он не уходил, его приходилось в буквальном смысле уводить, уносить — сам он идти не мог. И вот, несмотря на всю эту любовь, он ни разу не попытался ей помешать, остановить ее, он как бы понимал, что то, что здесь происходит, его не должно касаться, для него это постороннее и чужое, это — дело де Сталь и Бога, их одних, и она не изменяет ему, просто здесь решается, быть партии или не быть, и решает это Бог. То есть он чувствовал, что у Сталь на все есть высшая санкция и ее успех или неуспех зависит только от Господа. Он верил, что партия, так же как и все остальное, обречена и погибнет, но не знал, боялся, что, может быть, Господь почему-то хочет ее сохранить.

Федоров понимал, что сейчас — время не людей, а Господа, по-моему, он единственный на Ковчеге это по-настоящему понимал. И все же, правда, не переступая определенных рамок, он делал все, чтобы не дать де Сталь спасти партию. Когда она после очередной неудачи, обессиленная, выходила из палаты, он всем своим видом показывал, что сочувствует ей, даже для верности

поглаживал ее руку, она была совсем опустошена, боялась хотя бы на минуту остаться одной, ей надо было хоть на кого-нибудь опереться, чтобы не упасть, и она была рада ему, хотя, в общем-то, давно насчет Федорова не заблуждалась. Они шли в ее палату, она ложилась, он садился рядом на стул и говорил ей, что сколько можно ей объяснять: люди, которых она пытается спасти, — разложенцы, эгоисты, лжецы; именно они погубили всю идею, все разрушили, сделали так, что человеку уже не спастись. Из-за них Господь и наслал на землю потоп.

«А ты, — говорил он ей, — хочешь отомстить их, хочешь сохранить им жизнь, чтобы это длилось и дальше. Ты делаешь для них все, что только можно представить, но ничего не добились: они ведут себя как скоты, любому ясно — они обречены, они сами обрекли себя на гибель. Ты посмотри: разве они способны работать на благо партии? Это отработанный материал, камень на шее, скольким ты ради них пожертвовала, ты ведь настоящая героиня», — он старался ей дать понять, что то, что она с ними спала, он ее за это не винит, что это не измена ему, а ее жертва, то есть из совсем другого ряда: «Но разве хоть один из них отказался от льгот, от пайка, подумал об общем благе?»

Он, конечно же, был очень умен, знал, как к ней подойти, и в конце концов он, как и она в свое время со Сталиным, нашел те единственные слова, которые убедили ее сдаться, убедили, что, действительно, всей ее любви не хватит, чтобы спасти этих людей и с ними вместе — партию. Поэтому когда через семь дней он все-таки добился, чего хотел, и выгнал тех, кто у нас лежал, на улицу, под снег, она, хоть и кричала, внутренне была к этому готова, уже приняла это. Однажды он сказал ей: «Пойми, дело не в этих людях, партия жива не ими, и она не погибнет, даже если погибнут они. Партия бессмертна, она как Бог и пребудет вечно. Пока будешь жива ты — она будет жива тобой, одной тобой, то есть она переживет потоп, не исчезнет в его водах, в твоём лице она спасется и продлится, потом она продолжится в твоих детях, ты можешь не бояться. Вот и все, что я хочу тебе сказать...»

Вслед за этими его словами она ушла к себе в палату и, спокойно, не спеша обдумав то, что услышала (Федоров ее не торопил), согласилась с ним, поняла, что он прав, она сделала все, что возможно, но и ее любви, так же, как раньше моей, не хватило, чтобы спасти хотя бы одного из них, они и вправду были обречены, раз ничья любовь больше не могла им помочь.

Спустя неделю после этого разговора де Сталь с Федоровым, когда он уже знал, что она ни в чем не будет ему помехой, во всяком случае непреодолимой помехой, поздним вечером в отделении появилось ровное, почти неотличимое от далекого гула шуршание. Возможно, это была ночь полнолуния, когда у всех больничных стариков обострялся их обычный синдром «сборов в дорогу». Из-под матрацев и подушек, из тумбочек, из-за батарей и плинтусов и еще из самых странных мест они доставали свои закладки, все-все, что было ими скоплено на черный день: высохшие горбушки хлеба, фантики, тряпочки, какие-то крючки и пружинки, рассыпающиеся прошлогодние листья, такие же цветы, прочий хлам; все это очень осторожно, — они боялись, что их заметят и не дадут уйти, — завязывалось и паковалось в узелки, свертки, коробки, а дальше они, шурша по полу тапочками (это шуршание и сливалось в гул), выбирались из палаты в коридор.

Одновременно с этим шуршанием, так что я никогда бы не смог сказать, что было раньше, что было причиной, а что следствием, в отделении раздался звонкий фальцет Федорова. Как фавн, подпрыгивая на ступеньках лестницы, сломя голову носясь назад и вперед по коридору с равномерно струящейся вдоль стены цепочкой стариков, но не задевая и не касаясь ее, то и дело влетая в палаты, он радостно, почти срывая голос, кричал:

«Последний день уплаты партийных взносов... Не внесший деньги автоматически выбывает... Закрытое партийное собрание... Явка всех членов партии строго обязательна... Не явившийся автоматически выбывает... Выбывает, выбывает, — передразнивал он себя, хохоча. — В части «Текущий момент», — орал Федоров с лестницы, — закрытое постановление ЦК партии о всемирном потопе... Допускаются только старые большевики... Ответные действия партии... Мы готовы к борьбе... В части «Разное», — возглашал он с другого конца коридора, — личное дело члена партии с шестнадцатого года Хорунжего... Аморалка... Сорок лет секретарша была его любовницей... От нее у него двое детей... Жена разоблачила Хорунжего... Можем ли мы и дальше терпеть таких людей в своих рядах? Думаю, нет! — кричал он. — Высказаться должны будут все...»

Потом вдруг сразу, я даже не понял как, Федоров оказался на первом этаже, у входной двери, где уже собралась почти половина отделения и где зареванные де Сталь и медсестры с нянечками, цепляясь за ноги стариков, из последних сил пытались не выпустить их во двор.

Очевидно, Федорова пока устраивало, что старикам не дают уйти, потому что здесь он, так же гогоча и так же, как и раньше, свечкой взмывая над головами, теперь восторженно и ликующе вопил: «Выпущен никто не будет! Не смей никого выпускать!.. Все знают, что приказом Кронфельда прогулки зимой категорически запрещены... Кто же вас выпустит, да еще в такую погоду?..»

Только потом я понял, что он просто тянул время, дожидаясь, когда тут, внизу, соберутся наконец все больные. Но старики это знать не могли и были очень испуганы его криками о Кронфельде и его явной поддержкой медсестер. До этого они молча, не поднимая глаз, упорно пытались оттеснить медсестер от двери и почти достигли своего — появление Федорова сломало их планы, больше не веря в успех, они возбужденно загомонили, натиск их ослаб. Однако заминка не была долгой. Старики тоже были изворотливы и хитры, теперь, когда они поняли, что силой им не прорваться, они решили разжалобить медсестер. Они хватили их за халаты, целовали руки, совали свои обычные трояки и одновременно, как будто после многих репетиций, стройно, на три голоса, выли: «Выпустите меня, выпустите... Дома второй день грудной ребенок некормленный...»

Другой ей вторил: «Горе, горе... Молоко мое перегорит, и дитя погибнет...» Третий: «Ушла — печь не загасила, сгорит моя кровиночка заживо...»

Слова о некормленных, брошенных дома детях повторялись всеми стариками, это были ключевые слова, и их еще можно было разобрать, остальное сливалось в какое-то тягучее стенание. В отличие от Федорова, замороженные этим странным хором, мы не считали больных и не обратили внимания, что все они, даже самые немощные, уже добрались сюда и шарканье наконец кончилось. Мы поняли это только тогда, когда Федоров вдруг, метнувшись, разом оказался у двери, никто из нас помешать ему не смог, он рывком распахнул ее, и стариков так быстро, что мы даже не успели вскрикнуть, ветром и холодом вытянуло наружу.

Федоров тут же снова попытался захлопнуть дверь, но ветер прижал ее к стене дома, и когда общими усилиями нам в конце концов удалось ее закрыть, коридор был наполовину засыпан снегом. Потом до середины ночи сначала все вместе — и Федоров, и де Сталь, и медсестры — мы сгребали его и через окно выкидывали на улицу, затем они ушли спать, и доделывали работу мы вдвоем с Ифраимовым. Все убрав, мы сели прямо на ступеньки лестницы, сил идти на второй этаж в палату не было. Мы долго сидели с ним бок о бок, наконец отдышались, и тогда я спросил его: «А с нами что будет?» — «Не знаю, — сказал он. — Похоже, нас пока сохранили как память о той жизни. Если Господь решит продлить ее — мы останемся, начнет все сначала — уйдем. Так же, как и другие...»

В 1993 ГОДУ

«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
РОМАН ЕВГЕНИЯ ЛАПУТИНА «ПРИРУЧЕНИЕ АРЛЕКИНОВ»
И НОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ИВАНА ОГАНОВА
«ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ»

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1993 ГОДА!

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

*

РОССИЯ ДЛЯ ПРИЕЗЖЕГО — ОРЕХ

ШВАРЦ

Часть I. Меттерних

1

— Поди сюда, поди сюда, смутьян!
Я не кусаюсь, а — глаза в растрате.
Австриец, младочех и басурман
Передо мной сошлись в одном дитяти;
Перед тобой — отживший интриган
На солнце дрогнет в ваточном халате.
Я — призрак дел, ты — испаренье книг,
Но все ж немецкий — общий наш язык.

2

Идеалист, послушай лицемера:
Ты все в Европе проклял наперед —
Но это старомоднее Вольтера!
Ты пробуждаешь к жизни свой народ —
Опять ветхозаветная химера!
Потом народ пускаешь в оборот,
Дуришь его дурманом мессианства
И топишь в гуртовом котле славянства.

3

А что славянство? Далеко зашло?
В холодную, на царские полати.
Меж тем у нас привольно и тепло:
Когда страна — заплатка на заплате,
Мундир не душит и, срывая зло,
На братьев-немцев можно срать в рейхсрате,
Ну как же тут не подрывать основ?
Прости, я для тебя не слишком нов?

4

Теперь, шаблоны школьные отбросив,
Взгляни на мир со всех шести сторон:
О диво! Недалекий Франц Иосиф
Куда мудрей, чем сам Наполеон, —
В полях сраженья не багрят колосьев,
Дунай гудит под брамсов камертон,
Избытком чувств клокочет оперетта...
Да, трудно жить в спокойный век расцвета.

5

Вооружись подзорною трубой —
 И вот Европы скифская изнанка:
 На Вацлавском мосту ко мне спиной
 Среди сокольских спин твой ментор Ганка
 В обвислой шляпе, с чинною удой
 И рядом, как у всех, ведро и банка,
 Хотя он ловит души, а не рыб,
 И ветер нам доносит жаркий хрип:

6

«...порукой древний Краледвор. Не много ль
 Мы Габсбургов терпели произвол?
 Пусть разум в сущем обнаружит Гегель!
 И что за имя — истинный козел.
 Другое дело — полнозвучный Гоголь!
 Он вывел русский паровой котел,
 Он сочинил чугунную дорогу.
 Кто храбрый — гей в Россию на подмогу!»

7

Верь, верь ему, фантазии купай
 В разлитии национальной скверны.
 На скверну ты ответишь: «Маха, Май».
 Но слов красоты краю соразмерны —
 Дашь маху, колихватишь через край.
 Зачем отец твой, урожденный Черны,
 Славянский, как и ты, провинциал,
 Стал Шварцем и Европой забряцал?

8

Затем, что мать истории Европа —
 Столица чести, чувства и ума.
 В дерме ж ее гнездится род микроба —
 Спасительская русская чума.
 Спасители не крышей, крышкой гроба
 Покроют возводимые дома
 И вместе с нами в них умрут. Ответствуй:
 Того ли для тебя хотел отец твой?

9

Херр Шварц! Он был достоинства пример.
 А ты схватился за бродяжий посох.
 Ну что же, каждый врет на свой манер;
 Но я, старик из кресла на колесах,
 Скажу: Москва бранится словом «херр»,
 Затем что у скуластых и раскосых
 Достоинство не ставится ни в грош...
 Ступай! Еще в герои попадешь.

Часть II. Путешествие

1

В Россию путь — на русском колесе.
 Сокольский хор отгрохал «Гей, славяне»,
 Момент — и в приграничной полосе
 Богемской сталью кованые сани

Кресалют по рокадному шоссе,
И с гор бегут гуцульские крестьяне,
Чтоб искру драгоценную в горсти
Домой, до черной печки донести.

2

Во время оно кельты, карпы, даки
Здесь разжигали жизнь, и ей в ответ
Вопили жертвы, плакали собаки;
Но постепенно все свелось на нет.
Идет гуцул. Душа его во мраке
От перебытых зря двух тысяч лет.
Он шляпу снимет, с добрым днем поздравит
И добрый день до вечера отравит.

3

Сыреет в яме Лемберг, он же Львов,
От жалоб украинских самостиев:
Шинки рыдают о правах батьков —
Их, только их первоначальный Киев,
А москали пощли от комяков
И превратились в новый бич Батыев,
И тем страшней, что для царя хохол
Иуда Гоголь порох избрел.

4

А по кофейням толк — уже немецкий:
«В Санкт-Петерс-Бурге силу взял масон,
Католик и поляк Мартын Пилецкий
(Распутный педель, что когда-то вон
Был выгнан из Лицея силой детской),
И двор славянством польским полонен,
И православью смерть в борьбе религий».
Герой решил проведать Ставропигий.

5

Се был Москвы передовой собор,
В австрийстем Риме община монасей.
К чужим дозор, а от чужих забор,
За коим сонм ученых ипостасей.
Там в русской филологии запор
Усердный тайнописец Копростасий
Навеки вызвал, «Слово о полку»
По вдохновенью взявши с потолка.

6

Ключарь открыл герою, что Украина —
Окраина Руси. Другой монах
Хотел сказать про Киев, но нечаянно
Соврал, что был у Гоголя в гостях.
А бывший царскосел видал случайно,
Как Пушкин — ангелок о двух крылах —
В Пилецкого стреляет из рогатки.
С монасей дале были взятки гладки.

7

Из польской Праги прибыл скороход,
И братия, решаь, Отца и Сына
Упорно молит ночи напролет,
Чтоб, не дождав до торжества Мартына,
Полупаны, студенты, прочий сброд
Востали — ибо клин взыскует клина:
Да разрешит державный мордобой
Старинный спор славян между собой.

8

Бог свят. Закрыты русские границы.
Во тьме варить историю спорей,
И над душой не виснут очевидцы
С причудливым чутьем нетопырей.
Пилецкий клином выбит из столицы —
Ему Березов, каша и борей.
Пока шалют варшавские смутьяны¹,
В Россию путь ведет через Балканы.

9

Момент — и в русском воинстве герой.
Яицкий есаул калмык Черняев
Стоит за брата сербского горой:
То щиплет оттоманских попугаев,
То ищет под дубовою корой
Добро упрямых, как дубы, хозяев.
Узрев российства с азиатством связь,
Союзников домой спровадил князь.

10

Вот Чичиков досматривает сани.
По щиколотку потонув во мху,
Хор трубачей выводит «Гей, славяне».
Пустырь. Кусты. Поодаль на ольху
Пейзанин в монополечном тумане
Наносит милый вензель «ха» и «у».
Знакомый мир — за полосатой гранью.
Герой, прими награду за старанья.

Часть III. Апраксин двор

1

Россия для приезжего — орех,
Который надо разгрызть зубами,
Экзаменуясь под зевотный смех
На роль в еще не сочиненной драме
С негаданной развязкой. Юный чех,
Как чацкий мотылек, летел на пламя
И сам подставил шею под удар,
Порхнувши с парохода на пожар.

2

Апраксин двор горел стоймя, как свечка.
Спекались кожи, фыркали меха,
Искрыло сало, и стреляла гречка.
У красного родного петуха

¹ Вариант: Пока рычат варшавские полканы.

Народ локтями добывал местечко
 Поближе к пре, подальше от греха.
 Купечество учло небес немилость
 И воевать стихию не стремилось.

3

Герой с разбегу взял барьер толпы,
 Нырнул в бурун крошащегося крова
 И вынес штуку ситца, куль крупы
 И дикого с похмелья домового —
 Но не разгрыз расейской скорлупы
 И был предъявлен в качестве улова,
 Когда пожарный заспанный обоз
 На поджигателей повысил спрос.

4

Всегда фекаловатый Чернышевский
 Петролеем и серой вдруг запах;
 Он выскочил на освещенный Невский
 В покрытых свежей копотью очках;
 Ему навстречу мчался Достоевский;
 Городовой был рядом, в двух шагах,
 Но по гнилой интеллигентской складке
 Писатель не донес и слег в припадке.

5

А встав, он поднял виденное зло
 До эсхатологического чина:
 — Отечество нам Царское — Село,
 А верховенским адская — машина:
 Безумцы бредят, что в аду тепло,
 Что бытие — колеса и пружина,
 Что надо рвать Россию как запал,
 Чтоб мир взорвался и в тепло попал.

6

Москва гудела, запирая крепость:
 — За Бологим чадит чухонский хлев! —
 Неправый левый видел в нас нелепость,
 Но если правый прав, то левый — лев,
 И днесь являет зверскую свирепость,
 Как здесь являют мудрый древний гнев:
 Мы, москвичи, пошли от Хомякова
 И нам с Европой спорить ох не ново.

7

А в Питере мундирный воротник
 Героя притеснял в казенном доме:
 — Тебя из чешской Праги Матерник
 Прислал погнить в холодной на соломе?
 Ты бунтовщик, ей-Богу, бунтовщик
 И живо загремишь к царю Ереме.
 Нам твой дружок Поганка не указ:
 Ни херр отсюда ни хера не спас.

8

Орех раскрылся дружбой часового:
 — Ну что ты, что ты, это, брат, того,
 Того, а не чего-нибудь иного —
 Оно ведь, право слово, ничего,
 Тем более что ничего такого
 И, стало быть, сойдет безо всего.
 Вот так-то лучше. Ладно, не печалься,
 Рассудит Карла Карлыч. Он начальство.

9

— Вы взяли имя Черный? Это жаль.
 Верните Шварц. В России хватит черный.
 Вы как герой с балканская медаль
 Найдет занятий чистый и просторный —
 Учить московский барышня рояль.
 Российский человек — слуга покорный,
 Хороший человек. Вы заживет,
 И ни назад не надо, ни вперед.

Часть IV. Шварц

1

Сто лет Россия киснет без реформ
 И колупает старые болячки.
 Страну спустили на подножный корм,
 И я, дошкольник, озверев от жвачки,
 Алкая цельных красок, чистых форм,
 Вязался с бабкой в гости, ждал подачи
 И с нищих брал свой нищенский оброк —
 Открытку, марку, царский пятачок.

2

Однажды нас окликнули: — Ирина
 Никитична, зашли бы! Это внук? —
 ...Под белым полотенцем пианино,
 На нем Бетховен, Моцарт, Гендель, Глюк,
 На полочках фарфор, фаянс и глина,
 По стенам Бёклин, Рафаэль и Штук
 В багете под стеклом. С голодным жаром
 Я прилепился к дивным обедам.

3

Седой хозяин был заметно рад:
 — Мой друг, я вижу, ты прекрасным занят.
 Ты видишь то, чем славился Закат:
 Пока хватает глаз, гляди на Запад,
 Пока хватает сил, иди назад —
 Иначе можно обезуметь за год...
 Ты любишь ли стихи? Сильней всего?
 Вот чешский Пушкин, гений, божество.

4

Он прожил двадцать три или четыре,
 Но Махе поклонился весь народ:
 О Данте, о Гомере и Шекспире
 Чех слышал слух — и видел перевод.

Да что такое русский Пушкин в мире,
 Сам Бог отсюда вряд ли разберет.
 Вселенские проистекали души
 Лишь из вселенских языков. Но слушай:

5

«Был поздни вечер, првни (первый) май,
 Вечерни май, был ласки (ласки) час,
 Звал благовоньем вдаль боровы гай,
 Звал к ласки грам грдлички (птички) глас...»
 Как музыка. Но нет, не понимай,
 Что это слышит кто-то, кроме нас:
 Наш чешский слишком избранный сосуд.
 Учи немецкий — все тебя поймут.

6

Ах, немцы! Я взрывался, как шутиха,
 И проповедал ложный идеал,
 За что имел отслушать Меттерниха —
 О как он врал, какую правду врал...
 И здесь у вас, когда изведал лиха,
 Мне русский немец в руку подыграл.
 Ах, если бы философ нами правил,
 То русским немцам памятник поставил!

7

Без немцев, господа, не вглубь, а вширь
 Растет когда-то славное славянство,
 И историю свою ведет в Сибирь,
 А географии дает дворянство.
 Без них кругом китайский монастырь,
 И если где-то шум, то, верно, пьянство,
 А если книга, то словесный сор,
 Как «Слово о полку» и «Краледвор».

8

Так что меня к России повернуло?
 Я услышал, что Запад — западня,
 И убежал от участи гуцула.
 О как меня звала назад родня!
 Но тут болото мигом затянуло,
 И силы вдруг оставили меня...
 Друзья, прошу прощенья за ворчанье;
 Примите этот снимок на прощанье. —

9

Прямой старик на жактовском дворе,
 При галстукe, с лопатой, возле тачки;
 Покатый лоб в косматом серебре,
 Усы на взлете — никакой потачки,
 Напоминатель о былой поре,
 Живой и бодрый в центре общей спячки;
 А ближе — клумба, кажется, в цвету
 И рамка, подводящая черту.

КОММЕНТАРИИ

Часть I

- Октава 1. *Но все ж немецкий — общий наш язык.* — Боборыкин в мемуарах описывает панславистский съезд в Чехии, где делегаты изъяснялись между собой на общеславянском, то есть немецком языке.
- Окт. 3. *Когда страна — заплата на заплате...* — Австро-Венгрию называли лоскутной империей.
- Окт. 5. *Среди сокольских спин твой ментор Ганка...* — «Сокол» — гимнастическая и национальная организация в Чехии, основана в 1863 г. Вацлав Ганка — чешский русофил.
- Окт. 6. *...порукой древний Краледвор.* — «Краледворская рукопись» — фальсификация Ганки, выдававшего ее за памятник древнечешской словесности. *Он вывел русский паровой котел, он сочинил чугунную дорогу.* — «В обожании сына Мария Ивановна (мать Гоголя. — А. С.) доходила до геркулесовых столбов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги)...» (Данилевский).
- Окт. 7. *На скверну ты ответишь: «Маха, Май».* — См. ниже.

Часть II

- Окт. 1. *В Россию путь на русском колесе.* — «В России большую часть года полозья заменяют колесо» (Де Кюстин). *Сокольский хор отгрохал «Гей, славяне»...* — Имеется в виду панславянская песня (музыка Огинского), впоследствии государственный гимн Югославии.
- Окт. 2. *Он шляпу снимет, с добрым днем поздравит и добрый день до вечера отравит.* — «Самый вид гуцула надолго поселяет уныние» (Адам Олеарий).
- Окт. 3. *Шинки рыдают о правах батьков...* — Ср. украинское «шинки» с русским «сынки».
- Окт. 4. *...масон... Мартын Пилецкий (распутный педель, что когда-то вон был выгнан из Лицея силой детской)...* — Действительный факт. См. роман Писемского «Масоны». *...двор славянством польским полонен, и православию смерть в борьбе религий.* — Такая возможность имела место в начале XIX в. *Герой решил проведать Ставропитий.* — Ставропитийский институт — старейшее православное научное учреждение; служил русским интересам в Австро-Венгрии.
- Окт. 5. *...в австрийском Риме община монасей.* — Католическая Священная Римская империя германской нации распалась во время наполеоновских войн. *...усердный тайнописец Копростасий...* — Копростаз (греч.) — запор. *...«Слово о полку» по вдохновенью взявши с потолка.* — Подлинность «Слова о полку Игореве» некоторыми филологами берется под сомнение.
- Окт. 7. *Из польской Праги прибыл скороход...* — Польская Прага — предместье Варшавы. *...чтоб, не дождав до торжества Мартына, полунаны, студенты, прочий сброд восстали...* — «Поляки сами всегда губили свои шансы на независимость и даже господство над Россией» (Ключевский).
- Окт. 8. *Ему Березов, каша и борей.* — Березов — место ссылки в XVIII в. См. картину Сурикова «Меншиков в Березове».
- Окт. 10. *...пейзанин в монополичном тумане...* — Винная монополия была введена в 1896 г.

Часть III

- Окт. 1. *...порхнувши с парохода на пожар.* — Пароходом первоначально называли паровоз (см. «Попутную песню» Глинки, слова Кукольника).
- Окт. 2. *...поближе к пре, подальше от греха.* — Пре — дательный от «пря».
- Окт. 4. *Вегда фекаловатый Чернышевский...* — Из дневника Чернышевского от 16 декабря 1848 г.: «...в баню за 7 к. сер., много народу было, однако, ничего, вымылся, кажется, хорошо. Пошел, собственно, потому, что на подбородке стала от грязи дрань, руки слишком загрязнены от кисти до локтя, и дело свое в нужнике слишком делал грязно и неловко, так что все должен был чесать». *...но по гнилой интеллигентской складке писатель не донес...* — Суворин вспоминает, что Достоевский не донес бы даже на злоумышленника, который собирается взорвать Зимний дворец.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

- Меттерних Клеменс (1773—1859) — князь, австрийский канцлер.
 Шварц Александр Александрович (1852—1940?) — чех-музыкант, бабушкин знакомый и сосед.
 Франц Иосиф (1830—1916) — император Австро-Венгрии.
 Ганка Вацлав (1791—1861) — чешский филолог, публицист и фальсификатор древностей.
 Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель.
 Маха Карел Гинек (1810—1836) — чешский поэт.
 Пилецкий Мартын Степанович (1780—1859) — воспитатель Царско-сельского лицея, масон.
 Польские восстания имели место в 1830—1831 и 1863—1864 гг.
 Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — русский генерал.
 Русское вмешательство в Сербии имело место накануне русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Апраксин двор горел в 1862 году.
 Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1883) — русский литератор.
 Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — русский писатель.
 Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — славянофил.
 Ирина Никитична (1877?—1951) — моя бабушка.

NB. Автор разделяет не все взгляды, высказанные героями поэмы.

А. С.

ЗИМНИЕ СТРОФЫ

I

По Москве, как обычно, шатались Гиштонцы,
 Гишпанцы, Гишландцы и прочий Зюйд-Вест и Норд.
 Визитеру инкогнито Виллему Хенрику Монсу
 «Сахотеель себя слобода намен Франс Лефорт».

Вилли Монс был потомком петровского патера.
 Он прославился тем, что в вечерней «Гааг газетт»
 Заявил, что папанинцев было пятеро:
 Пятый был Просоданов (в дальнейшем утерян след).

В обтекаемом мире удобно упрощены связи —
 Сообщение наутро читали на ста языках.
 Романтический блик на густой политической грязи
 Позабавил Европу, поверженную во прах.

На ростках и руинах резвились бесхозные дети,
 Листовое железо небес потрясали латунные глотки громых.
 Было время судов. Из земли выходили свидетели,
 Недостаточно знавшие русский язык.

Во дворцах заседали возвышенно и лицемерно.
 На столе перед каждым скрипел целлулоидный флаг.
 Мир давно переплюнул Платона, Дефо и Жюль Верна:
 Просоданов восстал из имперских бумаг.

Соучастник какого-то исполкома,
 Русской печи размах и подзола податливый стих,
 Весь пшеничный, продельный и васильковый,
 Улыбнулся — и славу распили на четверых.

II

Трасса вечно в ремонте. Машина считает ухабы.
Перерыв на обед. Над забором слепые часы.
Землекопы с сигарками. Черные, в ватниках бабы
Возле пастей продмагов выстраиваются в усы.

«Я хотел мне увидеть немеески кладбушке...»
Кроме парочек, кто забредает сюда?
Ну а Вилли услышал — грохочут потешные пушки,
Юный Петр сокрушает игрушечные города.

А потом в ассамблеях полно иностранцев
Под единым российским названьем: Немчин.
(Костомаров еще не успел поделить на Гишпанцев,
Гишландцев, Гиштонцев и прочих заезжих Муцин).

Над маршалем Вобаном изволят персоны и лица
Надрывать в конверсациях тонкие ниточки тайн.
Ритурнели играют. И не шевелится
За спиной ненасытный Кит Китыч Китай.

Дорогие могилы оставили люди в России.
А Россия забыла. Растила на них лебеду.
Время было домарксово: за усилия
Получали приезжие не по труду.

Но чтобы туриста извлечь из кладбищенских зарослей:
«Зеен зи?», «Новостройка. Гебаут», «О, я», «Вир марширен».
Здесь Москва вылезала в буэносы-айресы
И на эпос выклянчивал каждый аршин.

Всюду елок борьба за сосновые высшие принципы,
И поэты как черта чураются длинной строки.
По земле поспешают калошные аргентинцы,
По-баярски задравши барашковые воротники.

На оазисы дышат колючею злобой барханы,
По песчинке стекает единый великий песок.
На хромых лошадях спотыкаются чингисханы,
И опорой у моря замер Владивосток.

III

Вилли был здесь в тридцатых. Работал посильно,
Создавал эталоны тарелок, турелей, тазов, мисок, масок и
касok, кастрюль, капониров, корыт.
Улыбаться Востоку считалось тогда прогрессивно.
Возвращался Куприн, наезжал Андре Жид.

И казалось, что вдруг на казанских тишинах,
Там, где Богвтехнопомощь и новый Потемкиндерстрой,
Происходит вселенское исправленье ошибок
И исправленный мир, сами видите, не за горой.

Не петровское шуточное переодеванье —
Направленье не то и начальственный дух не Петров,
Да и гонка такая, что меридианы,
Затрещав, остаются в шершавых руках шоферов.

Хитрый Шоу сказал «хорошоу» и, фигу в кармане
Затаив, покатыл на родной Белорусский вокзал.
И бежали за Шоу якуты, киргизы, армяне.
Вилли тоже бежал, но потом понемногу отстал.

IV

Кто вас тронул за локоть? Все тот же ветер...
Мерно тикают в небе слепые куранты властей. Тишина.
Под чекистские шорохи туго светающих веток
На постели ворочается страна.

И не верит и верит, родимый, приписанный к Аргентине
Беспартийный, продельный, крамольный, глухой, винтовой
В то, что был кто-то пятый на исторической льдине,
Что китайцы желают не мира, а очередной мировой.

В то, что люди без спичек, не ведая, как обогреться,
После общего бенца забившись в забытый закон,
По хохлацко-бурятской степи поплетутся к второму прогрессу
Под эгидой монгольского слова ООН.

31 декабря 1955—1976.



«МЕНЯ УБЬЕТ ТОЛЬКО ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ ПО БАШКЕ»

Материалы к творческой биографии Андрея Платонова. 1927—1932 годы

В семейном архиве Андрея Платонова не востребованными долгое время лежали две папки, на которых рукой его жены Марии Александровны написано: «Город Градов», «Впрок». Оба произведения достаточно широко известны. «Город Градов» только при жизни писателя выдержал три издания. Правда, они отличались друг от друга; исследователи уже сравнивали эти варианты. Об известной повести «Впрок (Бедняцкая хроника)», на полях которой Сталин будто бы написал: «Кулацкая хроника», — также сказано немало и при жизни писателя, и особенно в последние годы, когда была переиздана сама повесть и опубликованы материалы «отречений» Платонова от нее. Однако в папках лежали не просто знакомые незнакомцы — неизвестные тексты «Города Градова» и «Впрок». Там находилась достоверная история русской литературы и столь же достоверная, ранее неизвестная канва духовной биографии Платонова, о которой сегодня сложилось и складывается невероятное количество домыслов и ложных умозаключений.

Публикация материалов этих двух папок с очень кратким комментарием — это одна из возможностей, а точнее — наша обязанность и долг противостоять нарастающему потоку кривотолков о творчестве писателя, его художественной и гражданской позиции, противостоять тому ложному счету, который предьявляется сегодня к одной из трагических страниц в истории русской литературы — к великим 20-м и к 30-м годам. Будущие историки, социологи, философы не раз будут обращаться к этому парадоксу нашего сознания, удивительному философскому и эстетическому бесчувствию нашего восприятия самой материи литературы тех лет. От этого бесчувствия катастрофически падает уровень б е з у с л о в н о г о знания. Оно снижается до нуля и становится уже отрицательным, ложным. Почти забыли, что история литературы есть прежде всего история текста, которая и позволяет проникнуть в те слои, к той кладке, различить те кирпичики, те элементы, из которых складывается подлинное лицо произведения и литературной эпохи. Цензура, тираническая политика партии, репрессии. Но, пожалуй, никогда за весь XX век русская литература не переживала того напряжения в духовном стоянии, как в 20-е и 30-е годы, утверждая свободу и власть духовного действия. Это подвиг творчества и созидания. Свою свободу художники отстаивали не на собраниях, не в публичных выступлениях как сугубо официального, так и покаянного содержания (а именно к ним чаще всего апеллируют нынешние критики, предьявляя счет не одному Платонову), а в единственно возможной области, в святая святых писателя — в его тексте. Обращаясь в 30-е годы к «Божественной комедии», Мандельштам говорил не только о вечных законах существования трагического искусства, но и о существовании русской литературы в эпоху «века-волкодава»: «Мне хочется указать здесь на одну из замечательных особенностей дантовской психики: на его страх перед прямыми ответами, быть может, обусловленный политической ситуацией опаснейшего, запутаннейшего и разбойнейшего века». И далее Мандельштам подробно говорит о «законе парусного лавирования»: «Иногда Дант умеет так описать явление, что от него ровным счетом ничего не остается. Для этого он пользуется приемом, который мне хотелось бы назвать гераклитовой метафорой, с такой силой подчеркивающей текучесть явления и такими росчерками перечеркивающей его, что прямому созерцанию, после того как дело метафоры сделано, в сущности, уже нечем поживиться».

В мандельштамовской логике вопрос о цензуре, как мы видим, приобретает непривычное звучание. Есть художник, размышляет Мандельштам, его замысел, он в черновике: «...сохранность черновика — закон сохранения энергетики произведения». А далее вступают в действие вечные законы творчества: «...чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в несколько иную сторону» («Разговор о Данте»).

Воскрешение текста — это не только филологическая, но и общекультурная задача. Освобожденный из плена сурового тематического детерминизма, из напластований редакторских правок, текст становится вестником, который говорит о писателе голосом культуры, а история создания произведения претворяется в самостоятельный сюжет — о творчестве и о путях, которыми художник из истории идет в вечность.

Черновики, первые редакции «Города Градова» и «Впрок», машинописи с пометами известных и неизвестных редакторов и самые невероятные, лобовые ответы на них автора (на полях страниц), и его поиск художественных, подтекстовых решений явно крамольных эпизодов, отдельных фраз — это своеобразное художническое подполье Платонова времен первой сталинской пятилетки (1927—1932).

Именно 1927 год можно считать годом появления в русской литературе нового мастера. До того был Воронеж периода революции и гражданской войны — статьи-манифесты о пролетарской культуре, стихи и рассказы того же плана. Потом он свернул — резко в сторону — с той общей колеи, по которой пришли в литературу с фронтов гражданской войны его сверстники. «Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой», — писал Платонов в автобиографии 1924 года. Председатель Комиссии по электрификации, заведующий работами по электрификации сельского хозяйства, губернский мелиоратор... — этот платоновский опыт, это платоновское знание российской провинции не имеют аналогий в истории советской литературы. Летом 1926 года Платонов приезжает в Москву для работы в ЦК союза сельского хозяйства и лесных работ. И — новый срыв, увольнение с работы, и — опять провинция, Тамбов, работа в земельном управлении. Тут и возник, а потом пошел нарастать тот колоссальный взрыв, выброс творческой энергии, которую, кажется, реальность исторгла из себя самой, предназначив для этого Платонова. Обрекая его на эту миссию. Он принял ее как удел — со смирением. И тогда горизонты видения разомкнулись, и уже больше до конца его жизни это видение не знало пределов. В январе 1927 года Платонов заканчивает повесть «Эфирный тракт» — она идет трудно и мучительно. В январе же — «Епифанские шлюзы», повесть о петровских преобразованиях русской жизни, рукопись практически не знает правки. В это же время пишутся статьи по вопросам землепользования в России, философские эссе об искусстве, религии, науке, проводятся социально-экономические расчеты. Оттуда, из Тамбова, в письмах жене Платонов проговаривает свои сокровенные темы. О творчестве и собственной судьбе: «Пока во мне сердце, мозг и эта темная воля творчества — «муза» мне не изменит... Иногда мне кажется, что у меня нет общественного будущего, а есть будущее, ценное только для меня одного». И о судьбе литературы и русской провинции, той глубинки, куда отправятся вскоре из «верховного руководящего города» его герои, «душевные бедняки»: «Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и проза. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль и могут только рождаться в таком захолустье».

В первую неделю февраля Платонов садится за «Город Градов», а 17 февраля заканчивает эти заметки командированного. В марте Платонов возвращается в Москву, которая встретит его ворохом бесчисленных житейских забот и творческими проблемами. До конца 1927 года тянулась судебная тяжба писателя и работника Наркомата земледелия за комнату в Доме специалистов. Тяжба завершится не в пользу Платонова, начинается полоса скитаний по Москве в поисках жилья. В этих скитаниях к лету 1927 года будут написаны три новых повести («Ямская слобода», «Сокровенный человек», «Строители страны»), а к концу 1927 — началу 1928 года завершен роман «Чевенгур». Написанный в Тамбове рассказ «Город Градов» и все события, развернувшиеся вокруг него, по-своему свяжут тамбовский и московский периоды жизни и творчества писателя.

Рукопись из папки, надписанной рукой Марии Александровны, — это тот первозданный текст «Города Градова», в котором мысль писателя абсолютно равна себе самой. Здесь нет ни рубцов, ни искажений, никаких следов редакторского насилия. Это рассказ в том виде, в каком он вышел из-под пера Платонова в феврале 1927 года и каким мы его еще не знали.

ГОРОД ГРАДОВ

(Заметки командированного)

Мое сочинение скучно и терпеливо — как жизнь, из которой оно сделано.

Ив. Шаронов, писатель конца XIX века.

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, — но князей Енгальчевых, Тенишевых и Кугушевых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом, и древневотчинная губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась советская власть в самом Градове, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: черносотенцев в Градове было столько, что хватило бы их с избытком на десяток других губерний. Одних мощей Градов имел трое; кроме того, здесь находились 4 целебных колодца с солной водой и две лежачих старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гроба.

Отсюда пошло то, что сколько ни давала Москва денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в последнем году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте, и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов, — говорил председатель Градовского Исполкома, — а у нас рожь начнет расти в оглоблю, а картошка в колесо! Вот тогда и видно будет, куда ушли пять миллионов!

Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы правительство отпустило пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал Президиум Градовского Губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса, а крестьяне тем временем продавали хаты и пускались в отход на заработки.

Наконец Губисполком решил — создать Губернскую Комиссию по борьбе с недородом, затем учредить уездные комиссии, а также волостные и сельские, потом — поднять кампанию в печати и начать работу по выявлению и учету пострадавшего от недорода сельского населения. Ранее того — денег не расходовать, дабы не допустить политической ошибки.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип. Чтобы не было злоумышленных толкований классового принципа, Губисполком дал местам марксистский метод его применения: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть объективные признаки голода, как то: высокая температура или желудочная изжога. Порция не должна быть больше фунта ржаной муки на душу семейства.

Ввиду некомплекта участковых врачей в губернии, научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал.

Затем Губернской Комиссией по борьбе с недородом была разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии». Ведомость эту разослали в уездные комиссии, те в волостные, волостные — в сельские. Сельские комиссии должны эти ведомости составить, потом послать в волостные комиссии, волостные — после увязки и проработки — в уездные, уездные комиссии, помудрив поелику возможно, посылают ведомости в Губернскую Комиссию. Эта Комиссия, получив тучу бумаги и полистав ее, докладывает Губисполкому свой проект оказания продовольственной помощи населению, в некоторой своей части пострадавшему от частичного недорода.

Деньги из Москвы пришли в сентябре, а заполненные ведомости из уездов вернулись в Апреле следующего года. Но так как без учета голодающих масс помощь нельзя начинать, ибо тогда и кулацкий элемент влез бы в долю, то помощь населению началась с Мая — через 9 месяцев после неурожая.

Первый мужик, получивший первый пуд хлеба, попал в «Градовские Известия» — с полной биографией. По классовой формуле, данной из губернии, этот мужик должен питаться казенным хлебом до нового урожая: у него не было даже двух овец, и кур тоже не было, потому что он только вернулся из шахт, и с деньгами, а крестьянского хозяйства никогда не вел. Он и получил первый пуд дарового хлеба без особой радости.

Один миллион рублей пошел на гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось — чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам — военнопленным Германии, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать и яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, — где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед царем Иоанном Грозным, — чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные правительством на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян; тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может было человека два. Но достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу, длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, не вернулся.

Сверх того, на те же казенные деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с даденным ему заданием: врати в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было 28 лет, он только кончил Сельскохозяйственную Академию по инженерному факультету и теперь послан на практическую работу.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, выпил водочки в буфете.

Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и грязным залам вокзала. В 3-м классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скудных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни. Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране: каждый ел укромкой и соседу пиши не давал, но друг к другу жались, ища защиты на страшных путях сообщения. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул и сел. За окнами проскакивали хижинки какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крылами, тяжко меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу — и люди смеялись, торопя старика.

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек, — говорил старик, — мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову.

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет. Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет — когда его русский в гости к себе позовет. Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату.

— К русскому?

— К русскому — то видно по рассказу... Да... Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. Што ты? — спрашивает его мордвин. — Места тебе не найду, — говорит русский.

— Почет, значит?

— Ну почет, конечно. Да... Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. Пей, — говорит. Мордвин ухватился, думал влага какая, а там вода. Попил мордвин, — будя, говорит. — Пей, — говорит русский, — не обижай пожалуйста! Мордвин, конечно, человек чувствительный, — пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя: не обидь, говорит, угощайся ради бога! Выпил мордвин три ведра воды и домой пошел. — Хорошо угостил тебя русский? — спрашивает мордвина жена. — Хорошо, — говорит мордвин, — спасибо, что вода была, а то от водки я бы помер — три ведра выпил...

Дальше Шмаков не слушал — поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал тормозами.

Печальный молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было ни следа промышленности. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд: эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — Газета им требовалась на сигарки. Шмаков побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли.

— Градов! Кому до Градова! Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор. — Насорили, идола, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги...

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

Вот оно — мое поселение! — думал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны. Не верилось, что этот пункт связан рельсами со всем миром, с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого Океана.

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице. Дом был невелик и жила в нем одна старушка — караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию 11 р. 25 к. в месяц и комнату сдавала за 8 р. с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотович вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотович поел колбасы, а затем сел выработать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков» — написал Иван Федотович. Нет, не твердо, — подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подписи [Ленина]* великих людей.

Затем долго раздумывал Иван Федотович — ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван, или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком, хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В 8 часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела: уснула. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

* Здесь и далее в квадратные скобки заключен первый вариант. — Н. К.

Иван Федотович задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь.

На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда —

«ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА».

Открыв рукопись на 49 странице, Иван Федотович подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«Большевики создали образцовое государство, коему нет примера в истории. Возьмем Рим — это анархия по сравнению с Советами. Взглянем на современные империалистические организмы — Британию, С. А. С. Ш., Францию и др. — это рассыпанный порох, тогда как СССР — плотный пироксилин, единая органическая масса, несмотря на множество сросшихся наций в нем.

Ни англичане, ни американцы, ни французы, ни прочие кто — никто не сравнится в понимании государства с большевиками. Воистину в 1917 году в России впервые родился государственный человек и впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка.

Мы, большевики, лучше переварили в себе тысячелетний опыт Европы, чем сами европейцы, выдумавшие одно социал-демократическое тело.

Ленин — это новый Иван Калита, с тою разницей, что тот собирал княжеские ключья безмасштабной московской Руси, а Ленин собирает ключья всего растрепанного империалистического мира; но сложить эти ключья можно в единственную возможную сумму — социализм.

Но сбор клочков мира, потрескавшегося от капитализма, допустим лишь путем образцовой государственности.

Настала поэтому эпоха великой мировой большевистской государственности, перед которой и Рим и Александр Македонский — ничто, и уездные исправники тоже.

Но что такое истинная государственность? — Это, ясно и понятно, классовая сила, превращенная в аппарат и сбита в нем до плотности железа. А что такое аппарат? — Это коллектив чиновников. Стало быть, советский чиновник есть исполнитель диктатуры пролетариата и заместитель пролетария на государственном посту.

...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением. А именно, я говорю: чиновник — это ценнейший агент социалистической истории. Чиновник, или должностное лицо, — это живая шпала под рельсами в социализм. Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из советского государства, как кислота из лимона! Но не останется ли тогда в лимоне одна ветхая мертвая ткань, не дающая вкусу никакого достоинства?

Подумать надо над этим — и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал — и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии — долго, пока его не перебил собачий лай по ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в Губернское Земельное Управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать непонятные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел и всюду усматривал ущерб стройности и делопроизводительной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах — запор смысла и скользкая бесклассовая

логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику Губземуправления — «О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела, в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь — когда уже снеслись куры, оплодотворенные вчерашним утром.

Утром хозяйка дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пицца в животе, — и утром сжалилась над одиноким человеком.

Иван Федотович принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолуние и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и навсистывали ветер.

Холуйство! — подумал Иван Федотович, послушав старуху. — Только живая сила государства — служилый должный народ — способны упорядочить это мракобесие!

Идя на службу, Иван Федотович чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некой Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов Поценского края в 18-м столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, — читал в деле Шмаков, — по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага с резолюцией начальника учреждения:

«Гов. Шмакову. Реши это дело пожалуйста окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить тройко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть вырабатывание социальной истины, а не порок.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим Административно-Финансовым Отделом Земельного Управления, Степаном Ермилычем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов! — сказал Шмаков. — У нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц — оказиями...

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов! — обратился Иван Федотыч. — У меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом.

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова — с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в Ремесленную Управу, — сказал Бормотов человеку. — Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц!

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня! — сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам. — Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч! — ответила Соня. — Это операционный план? Ах, нет, не переписала...

— Ну, вот ты спроси сначала, а потом отвечай, а то — переписала!

— Вы про операционный план спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да — не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там! — ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Шмаков вновь рассказал ему про почту.

Бормотов послушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? — Хорошо.

Прочно? — Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, и не чаще! Что теперь мне скажешь? — Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков отупел от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал сухим воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит Ремесленная Управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кой о чем, но о чем — неизвестно.

В дверях Административно-Финансового Отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один углый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка.

Первый, пьющий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа какой-то комочек в руке. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну, почему песок? — пытал его тощий.

— А потому что сыпется! — резонно говорил тот, что поспокойней. — Потому что мукой пылит: ты дунь!

Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил углый человек.

— Что ну? — сказал плотный. — Сыпется, значит песок!

— А ты плюнь! — догадывался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий и несчастный человек. — Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств:

— Глина! Мажется, дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же шел писать доклад начальнику Управления — «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам Управлении».

А меж тем, сквозь время, настигла Градов [печальная] суровая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей; даже на частной квартире они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотович с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников Земельного Управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке, — эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной природы. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом неустойчивом мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца — в круг делопроизводства не входили.

Однажды, в темный вечер, когда капала неурочная вода (был декабрь) и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь 25-летия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему — «[Советизация как] Начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел

вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благонравен, — что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

А все-таки он не спит! — с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч, — значит долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотович сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, жена стала бы одним из атрибутов деловой жизни. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повинование — радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именник, а как распорядитель.

— Марфуша! — обратился он к Жамовой. — Ты бы половичок в передней постелила. Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница — не кабак.

— Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы проходите — я вам престольное место приготовила! Выше вас чина ведь не будет?

— Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! — И Степан Ермилыч сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости. Пришли 4 деловода, 3 счетовода, 2 зав. личными столами, 2 бухгалтера, 3 заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе гражданин Родных.

Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак:

Степан Ермилыч Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи: задержка исполнением распоряжений Губисполкома — и в голосе говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие о задержке сдачи дел в архив самим Бормотовым, по причине их утери в перевозке из одного здания в другое, что, однако, Губархивом не было признано удовлетворительным объяснением и дела предложено было сдать. Тогда Бормотов, как замечательный администратор, велел набить сорок папок всякими бумажками. 2 недели не выносились корзины из учреждения, поставляя отброс в папки, — и 40 папок были превращены в 40 дел. Губархив прислал удовлетворительное отношение, и Бормотов послал его на доклад своему начальнику как символ порядка подведомственного ему органа.

Шмаков глел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые [вырождающиеся] руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе прижукнувшись и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмеялись они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, как сказал старый философ, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как [коммунист] современный человек, да и другие, не желали конечно звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола неплохи. А звон в государственной глуши — несомненно хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте.

Незаметно чай кончился, самовар заглох, Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане, — сказал счетовод Смачнев, — вот вам наглядное положение того, что мир утверждён на пороке!.. Чай — добро, семейственная добродетель, свободомыслие и Государственная Дума, так сказать, но не на чайной монополии держится бюджет государства, а на винной!..

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в общем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Я пережил 18 председателей, 26 секретарей и 12 начальников губземуправлений! Одних управделами при мне сменилось 10 человек! А чиновников особых поручений, как их, — личных секретарей председателей целых 30 штук прошло... Я говорю вполне искренно и определенно. Но посудите сами, дорогие сослуживцы, сколько было характеров, капризов, различных желаний и проектов — до превращения сухой территории губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков включительно! И я должен был всему сочувствовать, благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный [традицией] существом дела. И более того — Ремесленная Управа, то есть этот — Губпрофсовет однажды исключил меня из разземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов! Но однако, членом союза я остался, иначе быть не могло: Ремесленной Управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Далее того, — Казначейство, Контрольная Палата, даже Епархиальное Управление и прочие Присутственные места без меня не обходятся — кто ж, скажите, приложит руку к сердцу, учредил и обосновал их делопроизводство, упразднил всякие карточные системы, НОТы и прочую бюрократическую ахинею?

В городе без Бормотова не было бы учреждений и канцелярий! Я первый, кто [из большевиков] сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи!

Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток, или опекать лень деловодов!

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, оставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, вкруговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а по гармонической кривой, как на диаграмме, но прочно.

Наконец, встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство — нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару.

За Пеховым также молча и без предупреждения встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы: какой — никто не понял. Десущий славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания зав. п/отделом землеустройства Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рванников. — Что привело вас сюда, не шадя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормотов — слава нашего учреждения, административный мозг губернии, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей, т. е. губернии! И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции!

Вот действительно человек дореволюционного качества!

Граждане и советские служащие, приглашаю вас выпить за 25-летие Степана Ермиловича Бормотова, истинного государственного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову. Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал — этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолубие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека»:

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказала коллективно собрание. — Говори, Шмаков! Только режь экономно: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане! — обнаглел Шмаков. — Сейчас идет так называемая война с бюрократами! А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или в осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью. Кроме того (Шмаков начал путаться и голова сразу вся выпотрошилась — куда что девалось?..), кроме того, дорогие соратники...

— Мы не ратники, — прогудел кто-то, — мы — рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил Шмаков. — Но что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают — доверие вместо документального порядка, т. е. дают хищничество, ахиною и поэзию! Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным — не потому, что он так хорош по натуре, а потому что иначе ему деться некуда! Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок! Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника! Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей социалистической цивилизации! Она предугадывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества! Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии! И как идеал, зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными! Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами и нравственность сделалась их привычкой! Так вот! Я кончаю, — канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства. А так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый, бюрократ — есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира!

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев — его заело, он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП, но такое состояние Обрубаева службе его не помогало — он был и остался делопроизводителем, с окладом в 28 р. ежемесячно.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то. — Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо? Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом! Налицо — наименования советских учреждений девятилетней давности! А тут говорят! А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий и вроде кормилец! Тут говорят, что Губком — Епархия, что Губпрофсовет — Ремесленная Управа и так далее! Что это такое? Это перегиб палки — констатирую я! Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго! И вообще в целом, я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова! Я кончил!

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. — Закон-с! Уничтожьте бюрократизм — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона! Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев: закон-с!

— А если я в Губком сообщу, товарищ Бормотов, или в Губкаку? — мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросы «Пушки».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев? — спросил Бормотов. — Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? — обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в Губземуправлении.

— Нет, Степан Ермильч, я не записывала: вы ничего не сказали мне, а то бы я записала! — ответила хмельная блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев! — мудро и спокойно улыбнулся Бормотов. — Нет документа — и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы протоколичек, вы бы нас укатали в какую-нибудь каку! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели — пьяные, товарищ Обрубаев, во-первых, а во-вторых — они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли — и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы — к тому же мелкобуржуазной, — попытаю я вас? А?.. Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет!.. Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева — займись чистописанием!.. Десущий, крикни что-нибудь подушевной!

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и вселяя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то солное.

А утром Градов горел — стгорело пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, — тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлеба.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлений Градовского Губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои непрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника по прозвищу Чалый.

В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно. А именно:

— «Явиться на переучет в Терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

— «В 7 ч. перевыборы Горсовета — кандидат Махин, выдвинут ячейкой, пойдет единогласно».

— «Сходить в Гор. Коммун. Отд. — отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня».

— «Подать сведения Горсанкомиссии о состоянии двора, — штраф, см. постановление ГИК».

— «Собрание житловарищества о ремонте, составить повестку дня, согласовать с председ.».

— «Не забыть составить 25-летний перспективный план по землеустройству бедняцкого населения; осталось 2 дня».

— «Протестовать против Чемберлена — статья, как один, под ружье».

— «Зайдите вечером постоять в «красном уголке», а то сочтут отступником».

— «Имянины супруги. Сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

Каждый день был занят. Не в первый раз, и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается, — она заменилась государственной и общепольной деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии курс на индустриализацию?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено — по десяти в год будем строить, — затем-с — двадцать штук мясокладобоев и пятнадцать фабрик валяной обуви... Сверх того — водяной канал в земле через всю губернию для развития торговли с северной Персией!..

— Вон оно как! — дал заключение Шмаков. — Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество, — сообщил Чалый второстепенным тоном. — Того не менее как миллиарда три, сиречь — по триста миллионов в год!

— Ого! — сказал Шмаков. — Сумма почтительная! А кто ж даст вам эти деньги?

— Главное — план! — ответил Чалый. — А уж по плану деньги дадут!..

Вопрос так и остался без надлежащего уточнения, к прискорбию досконального сознания Шмакова.

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая; все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре.

Труд его жизни «Записки государственного человека» подбивался к концу, Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по Республике, над Градовом ночью солнце нормально не светило, — зато отсвечивало на чужих звездах. Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии!»

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли, — читал он середину, — измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь — для всякого героя есть своя стерва. Не стоит. И тому пример: в Градове пять лет назад, и двадцать лет обратно, было всего сорока пишущих машинки (обе системы Ройяль, т. е. Король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы. Но увеличился ли оттого социальный прок? — Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать: сам зачинивает, а сам на часы смотрит — глядь, время уже истекло и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала, как-никак, пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем. И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? — Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение. Да и то видно, как появляется человек, так и бумага около него заводится — и немалая грудка. А что если лишнего человека не заводить? Может, и бумаге завестись будет неоткуда!

Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть? Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что значит дело идет. И когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась. А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов...»

После этого Шмаков уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет. Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение живой гармонии вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотыча.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печки, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически вешали, мудря на граммах.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай — садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения — и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет!..

— Да будя, будя тебе, Захарий, — говорила ему жена. — Будя бурчать — садись чай пить!

Захарий садился, но говорить продолжал, досрочно расходуя духовную энергию, т. к. остальной день он неподкупно молчал.

— Скучно, Марфа! Грусть и жуть берет меня — по-бычиному! Никакой я прохлады в жизни своей не встречаю!

— А чего ж делать-то, Захарий! — отвечала Марфа. — Хлеб-соль есть, и слава богу! Каждый день чай пьем, живем как люди, я тебе жена, чего ж еще тебе надобно-то, ай ты молодой што ль?

— И то, Марфа! Разум тебе даден, — со скукотой покойней! Пришла бы к нам радость — и деться с ней некуда! — испускал последний дух Захар и садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обузе восьмой год идет — и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, — а сапоги все живут!.. Кустарник лесом стал, революция прошла, может — и звезды какие потухли, — а сапоги все живут!.. Это непостижимо!..

Иван Федотович ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека!

— А по мне, — говорил Захар, — бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как я!

Иван Федотович убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью — на свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение как не мешанство, опороченное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное, — говорил Захар. — Да уж дюже землю назвали, Иван Федотович! В порядок ее теперь добром не приведешь — опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотовича Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого — плетень, а житель — курица.

Через три месяца для всего служебного населения Градова настали боевые дни. Правительство решило 5 губерний — как раз и Градовскую — слить в одну область. Губернские города теперь должны упраздниться и стать окружными, а один из них превращается в областной.

И заспорили 5 губернских городов — кому приличествует быть областным. Особенно лютовал в этом деле Градов. Он имел 3 тысячи советских служащих, да безработных чиновников имелось 2 тысячи — только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампредгубплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими губгородами перед лицом Москвы.

Москва созерцала и помалкивала. А губгорода проектируемой области лупили друг друга на ее глазах.

Особо внушительно доказывал свои преимущества Градов.

По приказанию Градовского Губисполкома спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршовки из усадьбы гражданина Моева. Этот канал должен пересечь четыре губернии и кончиться в устье Волги, дабы персидским купцам было повадно торговать с градовскими госорганами.

О канале губплан написал три тома и послал их в Москву, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан особой мощности — с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал всей подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Началась беспримерная война служащих. Соседние губернии — претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в своем губернском усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотович Шмаков написал на 400-х страницах среднего формата «Проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной Области»; за соответствующими подписями он был отослан в Москву.

Бормотов, Степан Ермилович, подошел к делу исподволь: он предложил учредить такой Облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах — и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это конечно не согласится, но спросит, кто это изобрел. И тогда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова. Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так рассказывал свою мысль Бормотов товарищу Сысоеву, председателю ГИКа. Тот подумал и сказал:

— Да, это орудие высшего психологического увещания, — но теперь нам всякое дерьмо гоже! — И подписал доклад Бормотова для следования в Москву.

Много делов наделали градовцы, доказуя свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал неврастенией, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре, почти столице европейского веса.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу 5 губгородов, в то время как крестьянское хозяйство в них падало и число пожаров возросло. Но это потому, что энергия администраторов поглощалась более благородным строительством — рытвем каналов, секущих континент, постройкой аэродромов, учреждением ипподромов союзного значения и закладкой сверхмощных гидростанций на провинциальных тихоходных речках.

Сапожник Захарий Пальч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту; Бормотов был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чох дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один и притом без жалованья.

Наконец, через 3 года после начала областной кампании, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую Земледельческую Область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными городами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины, и горсовет — для решения местных дел».

Что же случилось потом в Градове?

Ничего особенного не вышло. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно-регламентированными поступками на каждый миг бытия».

Перед смертью он служил в сельсовете — уполномоченным по грунтовым дорогам.

Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался Губисполком, а теперь висит вывеска «Градовский сельсовет», — не веря глазам своим.

Истинного себя я еще никогда и никому не показывал, и едва ли когда покажу.

Тамбов, январь 1927 года.

«Город Градов» — это сатира на бюрократию, скажут исследователи в эпоху оттепели. Но ни в 20-е, ни в 30-е годы критики не причисляли «Градов» к этому разделу советской литературы и были правы, как бывают правы лишь близкие свидетели.

Действительно, первые месяцы 1927 года еще «озарены» постановлением XV партконференции, осудившей бюрократизм как явление, тормозящее процесс социалистического строительства. Ширится и борьба с троцкизмом. Но возникают уже и новые мрачные, разрушительные веяния. 12 января 1927 года в «Правде» опубликованы «Злые заметки» Бухарина, где клеймилось творчество Есенина и вся новокрестьянская литература квалифицировалась как «кулацкая идеология», мещанская псевдокультура националистического толка. В рождественские праздники 1927 года по всей стране пройдут партийные конференции. Выступая 27 января в Ленинграде на XXIV партконференции, Бухарин отмечал, что одной из реальных опасностей для радикально-революционных преобразований страны становится «национально-российский» момент во всей палитре его содержания: от сменовеховских идей «примирения» с советской властью на базе российской государственности («Сменовеховцы считали положительным фактором то, что большевики «собрали Россию» на манер Ивана Калиты»¹) до — по мнению Бухарина — развития и даже роста «руссопьятских настроений», шовинизма не только в литературе, но и в других сферах общественной жизни. Нельзя отказать Бухарину в точности социально-политического диагноза. Как свидетельствуют сегодня многие документы, из мясорубки революционных потрясений и гражданской войны Россия выходила медленно, но еще несокрушимой и прочной; жизнь в провинции восстанавливалась в ее прежних основах — «крепком предании и крепком быте».² Доклад Бухарина, опубликованный 2 февраля на страницах «Правды», возвестил надвигающиеся радикальные перемены. Нэп с его борьбой буржуазно-капиталистической и социалистической тенденций в народном хозяйстве — эпоха «перепутья» (определение А. К. Воронского, 1926 год) — заканчивался. В общественном сознании пестуется и созревает идеология «года великого перелома». Платонов, переживший свою «личную» эпоху коммунистических мечтаний, не мог не почувствовать родства идей 1917 и 1927 годов, их онтологическую чуждость самому течению национальной жизни. Еще в 1920 году, выстраивая проект всемирной революции и всемирного государства, в наброске статьи «Колымага России» он назовет трех «врагов» революции: буржуазия, природа и «сама Россия»³. Находясь в Тамбове, одном из центров реакционно-провинциальной России, в феврале 1927 года он разглядит в программе, выдвинутой Бухариным, очертания будущего «Чевенгура». «Заметки командированного» — это первый выстрел в ту новую философию истории, которую готовила партия для России. Этот открытый и действительно контрреволюционный смысл «Города Градова» прекрасно понял первый читатель и редактор рассказа Г. З. Литвин-Молотов⁴.

Мы никогда не узнаем, о чем говорили весной 1927 года ученик и его бывший учитель, когда-то давший Платонову рекомендацию в партию. Одно безусловно: они были откровенны. «Смеха, юмора — нет. Злобы, печали, скуки, уныния полон короб. Озлобленность и отрицание даже возможности хорошего, дельного в таких условиях», — запишет Молотов на первой странице. А на полях страницы 14, где речь идет о рытье канала «в лопухах слободы Моршовка из усадьбы гражданина Моева», опять оценка и прямой вопрос к Платонову: «Значит: Днепрострой, Волго-Донканал, Волховстрой такая ли чепуха — ведь это сатира на все строительство, на весь СССР». Красный редакторский карандаш Молотова пройдет по всему тексту «Градова», оставив вопросы и замечания. Однозначные решения. Прежде всего убрать Москву, дать иной уровень конфликта, не всесоюзный: Москва (центр) — Градов (провинция). Платонов примет это предложение: вместо упрямой редакторской карандашом Москвы он вписывает по всему тексту губернский город Талдомов, а провинившийся Градов понижает до столицы уезда. Перечеркивает Молотов и ту часть записок Шмакова, которая посвящена Ленину — «новому Ивану Калите». Как крупный партийный деятель, Молотов прекрасно понял, что здесь пародировались не

¹ Бухарин Н. И. Путь к социализму. Новосибирск. 1990, стр. 188.

² Чужковский К., «Дневник (1918—1923)» («Новый мир», 1990, № 8, стр. 135).

³ Рукопись статьи «Колымага России» хранится в архиве М. А. Платоновой.

⁴ Литвин-Молотов Г. З. (1898—1972) — в годы гражданской войны один из секретарей воронежского губкома, член редколлегии воронежских газет («Красная деревня», «Воронежская коммуна»), на страницах которых часто выступал Платонов. В 1921 г. Литвин-Молотов возглавил краснодарское издательство «Буревестник», здесь в 1922 г. с его предисловием вышла книга стихов Платонова «Голубая глубина». С 1925 г. — член правления Гослита, затем директор издательства «Молодая гвардия», в этом издательстве благодаря Молотову выйдут книги Платонова «Елифанские шлюзы» (1927), «Сокровенный человек» (1928); он редактор всех платоновских повестей 20-х гг. и романа «Чевенгур»; в 1929 г. своей волей Молотов доведет «Чевенгур» до верстки. В 30-е гг. репрессирован. В 60-е гг., после возвращения из сталинских лагерей, Молотов рассказывал Н. Задонскому, что в облике еще совсем молодого Платонова что-то напоминало ему любимого им Достоевского (см.: З а д о н с к и й Н. Интересные собеседники. Воронеж. 1975, стр. 24—25).

столько сменевеховские идеи преемственности в государственном строительстве, сколько январские тезисы Бухарина о классово-интернационалистическом основании новой государственности. Правда, эта часть заметок не потеряется, и уже в апреле 1927 года великий метафорист Фома Пухов сформулирует тезис об антинациональном и антинародном смысле новой государственности в своем письме комиссару Шарикову, которому он доверчиво сообщит о «Коммунистическом Соборе, нагло всему народу построенном летом на Базарной площади» («Сокровенный человек»). Но это апрель. А в марте писателю необходимо было напечатать «Градов».

Итак, вопросы перед Платоновым поставлены, условия публикации определены. В марте—апреле в сознании писателя уже живут замыслы трех новых повестей, он осуществит их с потрясающей стремительностью, и здесь скажется темп, проявится та мускулатура сопотвращения, которая нажита была в борьбе за «Градов».

Перед нами поединок не смиряющейся правды с жестким идеологическим давлением, которое не обойдешь, но сквозь которое надо пройти. В этом партизанском прорыве Платонов будет расширять каждый узел хроники и одновременно расплывать открытые идеологемы в новых сюжетных конструкциях, столь же невинных, сколь и опасных, жестких и открытых одновременно. Здесь его изобретательность не знает границ. Его маневр гибок и никогда не теряет художественности. Искусность маневра искусством не поступается. Так, он пишет более обширную предысторию Градова, вводя в нее новые подтверждения «безумия» градовской жизни. Но о том, что расширяется, знает только сам Платонов, знает, но уже глубоко спрятал ключи от первых страниц хроники. Об этой тайне нам, может быть, никогда и не догадаться, если бы не свидетельские показания рукописи. В первой главе «Заметок командированного» первоначально содержалось прямое указание на то, что подобный «образ» Градова принадлежит идеологам Москвы: «Иван Федотыч ехал из Москвы с даденным ему заданием. Думал Шмаков как раз про то, что было известно ему про Градов и что выше рассказано». Платонов опускает последнюю часть фразы (она обозначена курсивом), однако авторство Москвы сохраняется и укрепляется в глубинах подтекста. В новой редакции появляются имена святых: «Евфимий — ветхопещерник, Петр — женоненавистник, и Прохор — византиец» («Одних мощей Градов имел трое...»). В именах святых перепутано все (мирское и церковное имя, место обетования и подвиг), однако перепутано в очень строгой логике московского журнала «Безбожник», авторы которого не утруждали себя тонкостями в житиях великих подвижников веры и благочестия, просиявших на тамбовской земле: святителя Питирима Тамбовского, преподобного Серафима Саровского, святителя Феофана Затворника. И это понятно: цель журнала была прямо противоположной. Однако эта московская путаница работает еще одним, неожиданным, эффектом: она просветит за выдуманным Градовом его реальный прообраз — Тамбов. Тот Тамбов, который в 1920—1921 годах ответит на продразверстку и осквернение мощей святых Серафима Саровского и Питирима Тамбовского (они находились на территории Тамбовской епархии) широким крестьянским восстанием, подавить которое смогли только части регулярной Красной Армии. Не менее потаенными тропками вводит Платонов в сюжет градовской жизни и тему «героев», того «нового человека», героя «новой породы», которого призывала выводить и пестовать официальная литературная Москва. Первые варианты Платонова, лобовые и злые («Героев город не имел и пришлым коммунистам на их социальные призывы...», «Были герои, [нрзб] Не привились»), даже не дописываются, он пробует несколько новых вариантов, пока не приходит к чисто «гераклитовой метафоре», в которой есть все, но ничего впрямую не названо: «...и были лет шесть назад в Градове герои, только перевелись они в точной законности и бумажных надлежащих мероприятиях». Метафора сработала с большим прицелом, на большую дистанцию и в глубину. За уточнением («шесть лет назад») стоит 1921 год. Метафора усилила и общую тональность первой редакции, ибо уточненная хронология высветила высокий — жизнестроительный — смысл в планах градовской бюрократии. И прежде всего в главных бюрократах Градова — московском теоретике Шмакове и в провинциальном практике-хитреце Бормотове. Спасение героев — дело писателя, и Платонов, идя по лезвию идеологического и эстетического риска, очень осторожно ищет, нащупывает пути утверждения «правды» своих героев. Так, пострадавшую под редакторским карандашом Молотова часть «Записок государственного человека» он переносит в сцену пирушки, следуя святой логике — что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Шмаков, чья любовь к теории государственности уже переросла в страсть (пути же страсти неисповедимы), должен проболтать на пирушке самое сокровенное в своих теоретических прозрениях — ведь он разглядел, угадал антипролетарскую (!) сущность новой государственности. В первом наброске речи Шмакова на пирушке читаем:

«Кто мы такие? Мы за-ме-сти-те-ли пролетариев на государственных постах! Пролетариат только имеет право на государство, а правим-то мы».

Платонов отбрасывает этот вариант. Может быть, он слишком откровенен, может быть, слишком гол и однозначен, а может быть, и слишком теоретичен для охмелевшего Шмакова. В новом варианте московский теоретик обуреваем настоящим поэтическим экстазом:

«...Кто мы такие? Мы за-ме-сти-те-ли пролетариев. Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! *Мастеровой воевал, а чиновник победил!* Чувствуете, граждане? Так наша цель, я считаю, с честью оправдать историческое доверие пролетариата и стать его достойным заместителем».

По этому тексту пройдет редакторский карандаш Молотова (курсивом обозначены сокращенные им фразы). Платонов примет сокращения Молотова, но не все. Возле вычеркнутой фразы «Мастеровой воевал, а чиновник победил» Платонов запишет: «Надо!» Однако ни прижизненная, ни посмертная цензура не пропустит подобной клеветы на пролетарское государство.

С великим вдохновением сражался Платонов за Бормотова. Роль Бормотова остается неизменной. Он бюрократ с двадцатипятилетним стажем, гений которого в умении превратить в блеф любые спущенные сверху директивы и одновременно в способности сформулировать пресокровенное — тайные мысли и желания центра. Эти тайны в новой редакции и доверит писатель Бормотову.

Первая тайна — о Губкоме как новом столпе Истины: «*Раньше в уездах епархий не было, а теперь есть*, потому что религия пошла новая и посерьезней православной! *Раньше ты не причастился — с тебя не взывается*, а теперь на собрание — ко всенощной — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш партбилетик... кто в епархии делопроизводство поставил и всю новую веру оформил — сильнее православия ее сделал?» (Курсивом обозначен текст, не вошедший ни в одно издание «Города Градова».)

Вторая тайна — о том, как угодить Москве:

«Но на этом Бормотов не остановился. На тайном совещании на квартире тов. Сысоева с повесткой дня «Градов как окружной центр. Мотивация сего», — Бормотов заявил, что раньше считались с числом церквей и мощей, где их больше, там и надлежало быть административному центру. Так и сейчас организовать в ударном порядке сто клубов сверх имеющихся, открыть институт Астрофизики (у ветеринара есть труба — он ее слово утрачено. — *Н. К.*), а затем учредить группу героев революции из старейших большевиков уезда — для почитания их массами — и вывесить их портреты всюду и везде, окаймив вечной зеленью сосны. А обо всем том — исподволь — через газеты и гражданскими письмами — донести в Москву и Талдомов».

— Что же примем? — сказал Сысоев. — Внесем редакционные поправки к предложению тов. Бормотова и примем — идеологическая организация масс тут налицо, а эта работа высоко отмечается центром»⁵.

Нет ничего удивительного в том диагнозе, который поставил Молотов градовской жизни. «Надо, чтобы вмещалась Москва более четко и решительно. Расправа трудная», — записал Молотов на последней странице «Заметок командированного». Вопрос, кто победит — бюрократы Градова с их многовековой консервативной традицией или «юные разумом» герои нового, революционного времени, — оставался для Платонова в начале 1927 года открытым. В романе «Чевенгур» открытый финал «Градова» приобретет трагическое звучание. «Пришлые коммунисты» — «Чепурный и его редкие товарищи» — остановят в небольшом городке Чевенгур, соседе Градова, не только время, но и дыхание «буржуазной» жизни. Однако, как и предупреждал Молотов, это будет «расправа трудная». Народ, «кротко» идущий по «адову дну коммунизма» с молитвами про лето Господне, «про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой освеженной страданиями земли», предстает даже для Чепурного не в своей слабости, а в духовной силе: «...забытые запасы накопленной вековой душевности помогали старым чевенгурцам нести остатки своей жизни с полным достоинством терпения и надежды». Эта картина голгофы христианского народа потрясает идеолога новой, интернациональной нации, «должного народа» и приоткрывает для него духовные и душевные пустоты в теории коммунизма — в «страшных книгах» Маркса, «московских и губернских плакатах».

«Чевенгур» написан в конце 1927 года. В работе же над «Градовом» Платонов закреплял пусть хрупкое, но равновесие самых разных традиций национальной жизни, и провинциально-консервативной и радикально-революционной. В этом контексте фигура Бормотова обретает воистину эпическое звучание. Примечательно,

⁵ Страница этого текста была разрезана Платоновым при новой работе над «Градовом»; одна часть этого абзаца оказалась в домашнем архиве, в папке с «Городом Градовом», другая — в архиве Платонова в ЦГАЛИ (ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 74, л. 33).

что уже при первом чтении рассказа Молотов предлагал жестоко наказать этого гения бюрократии навыворот. «А потом посадить надо его в тюрьму» — запись Молотова на полях последней главы. Но Платонов сохранил Бормотову жизнь во всех редакциях. Возможно, в этом типе юродствующего советского бюрократа, защитника стабильной жизни испуганных градовцев, писатель видел одну из возможностей спасти от уничтожения, от радикальной идеологической катастрофы само течение народной жизни. В этом смысле традиции щедринского «Города Глупова» в творчестве Платонова — тема особая и достаточно непростая. В философских сентенциях Бормотова, считающего, что «в мире не только все течет, но и все останавливается», в его радикально-левых планах, которые, однако, он вовсе не собирается претворять в жизнь, в этой намеренной двойственности поведения угадывается будущая тактика сопротивления самого Платонова — тактика псевдоотречений, тонкозвучительных и даже саркастических в своем существе.

И еще об одной линии «Градова», над которой Молотов предлагал Платонову серьезно подумать. Это тот мир градовской жизни, который не затронут идеями «советизации как основы гармонизации вселенной»: глубоко драматический сюжет о сапожнике Захаре, «славянские молитвы» домохозяйки Шмакова, чувство счастья (!) консервативных градовцев, что «новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит». В этой линии «закон художественного лавирования» (выражение О. Мандельштама) дал блистательное по своему изяществу художественное решение одной из злободневных для первых месяцев 1927 года тем. Poleмические адресаты этой линии, которые прослушал такой внимательный читатель, как Молотов, были просто очевидны. После публикации в январе 1927 года поэмы Н. Клюева «Деревня» пролетарская критика ударит серией разоблачений по «кулацкой идеологии» «утолителей печали и ран», оплакивающих разрушение русской деревни и православной Церкви. 2 февраля в Тамбове Платонов мог держать в руках «Комсомольскую правду» со статьей А. Безыменского. «...«ячменный лик» поэта обнаружился до конца», — утверждал пролетарский поэт-критик. И был прав, так как ценностная шкала трагической «Деревни» оставалась прежней, она из клюевских «Избяных песен», есенинской «Радуницы» — великой поэзии о душе, «ключаях Марии» русской провинции:

Озерная схи́ма и куко́ль лесов
Хоро́нят село от людских голосо́в.
По Пятни́чным зоря́м на харти́и вод
Всевы́шние притчи́ читае́т наро́д.

(«Избяные песни»)

«Это безобразие, это «кулацкая правда», — гневался Безыменский. — Мы бодем лишь тем, что такие стихи (конечно, случайно) глядят на нас со страниц журналов. Не будем только констатировать. Будем это преодолевать».

В «Городе Градове» прибывший из Москвы Шмаков испытывает подобный же государственный гнев:

«Иван Федотыч... прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолуние и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху. — Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Новую редакцию «Города Градова» (теперь уже повести) — с правкой, со вклейкой написанных от руки новых эпизодов — Платонов опять отдает Молотову.

И — снова диалог. И — снова непростой.

Молотов категорически настаивает, чтобы Платонов убрал открытую политическую аллюзию во второй главе: «Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было ни следа промышленности» — курс на индустриализацию страны, принятый в 1925 году на XIV съезде РКП(б), считался одним из исторических решений партии, ирония была здесь недопустима. Поверх вычеркнутых слов (набранных у нас курсивом) Платонов впишет: «...где не было теперь никакого промысла» — и вместо требуемого смягчения подчеркнет опустошительный характер хозяйствования советской власти.

Редакторский карандаш пройдет и по новым эпизодам «Градова». Платонов внял многим советам Молотова, исполнив их с большой изобретательностью, тонкостью, но не без иронии. Так, на полях рассказа мужика про мордвина и русского сохранилась следующая запись Молотова: «Дайте повеселее случай и вагонные разговоры о: 1) Волховстрое, 2) В-Д канале, Днепрострое». И здесь же — вклеенная рукописная

страница с новыми «веселыми» случаями: разговоры в поезде о религии, природе и Днепрострое, тон которым задает комсомолец, утверждающий, что «религия должна караться по закону», природа должна быть покорна, рассказывающий мужикам «о Днепрострое все, что известно и неизвестно». Мужики оппонировали юному проповеднику «злобно» и «хмуро». Эпизод получился не совсем веселый. Молотов редактирует его, понижая статус поэта Днепростроя: комсомолец, он же «гражданин коммунист», «товарищ коммунист», превращается в «масляного парня» и «деревенского знатока» (эта редакция войдет в издание 1927 года, в издании 1929 года Платонов частично восстановит первоначальный вариант).

В заключительной главе «Градова» Молотов потребует снять авторский вывод о том, чем обернулась для крестьянских хозяйств борьба Москвы (Талдомова) и Градова. Платонов пытается отредактировать абзац, но затем вычеркивает весь текст и вводит метафору, которая оставляет тему «последствий» открытой и неисчерпаемой в своих смыслах: «Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти у/губгородов. Буке в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии».

Эта, по сути дела, третья редакция «Города Градова» получит право на свою публикацию и войдет в книгу 1927 года «Епифанские шлюзы».

В 1928 году — «Чевенгур» в это время уже завершен — Платонов еще раз вернется к «Городу Градову». Он восстановит некоторые купюры и вернет Москве ту роль вдохновенного и беспощадного преобразователя градовской жизни, которую она играла в самой первой редакции, когда «Градов» был еще рассказом.

Повесть будет опубликована в литературно-художественном сборнике «Красная панорама» (1928) с дополнительной правкой и в книге платоновских произведений «Происхождение мастера» (1929).

Когда сегодня думаешь о том, почему, из какой логики в 60-е годы «Город Градов» упорно трактовался как советская сатира на бюрократию, вспоминаешь один эпизод травли Платонова в 1929 году. Эпизод этот бросает свет на иллюзии эпохи оттепели.

28 сентября 1929 года (той же осенью Горький, прочтя «Чевенгур», посоветует писателю отложить публикацию романа на далекое будущее) в «Вечерней Москве» появилась статья В. Стрельниковой «Разоблачители социализма. О подпольничниках». Статья была направлена против сборника Платонова «Епифанские шлюзы» и его очерка «Че-Че-О» (1928), опубликованного в соавторстве с Б. Пильняком. Стрельникова отмечала «родственность мировоззрений» Платонова и Пильняка в том, что касается «схожести Октябрьской революции с Петровской эпохой», но подчеркивала, что у Платонова взгляд особенный: «Этой затрепанной и дешевой исторической аналогии Андрей Платонов сообщил, однако, много своеобразия, — он взял ее в таком разрезе: дутые прожекты Петра и дутые прожекты Октябрьской революции». Критик обращает внимание на то, что в исторической повести «Епифанские шлюзы» и в современном «Градове» каналы проектируются, прорываются, строятся, но... не текут. Удар по Платонову был зол, но в меткости ему не откажешь. Платонов был прочитан зоркими глазами. «Ряд персонажей, — резюмировала Стрельникова, — поразному выражает его основную мысль: ориентация коммунистической партии, строящей в СССР социализм, на пролетариат и трудовое крестьянство, — ориентация вздорная: не таков наш народ, чтобы на него ориентироваться. Андрей Платонов смотрит на бюрократизм с полной безнадежностью, ибо считает, что бюрократизм породила сама «советизация как основа гармонизации вселенной»». Точно подметив, что пролетариат и крестьянство в платоновском народоведении не противостоят друг другу, как в новокрестьянской литературе, а стоят рядом — на одном полюсе исторического конфликта, — В. Стрельникова квалифицировала подобный масштаб идеологических просчетов писателя как взгляд классового врага и фашиста.

Эти определения не были личным изобретением В. Стрельниковой, это было веление времени. Партией уже отброшен восстановительный период с его «мирным путем» и «самотеком» и объявлен реконструктивный (апрель 1929 года), уже прозвучало грозное предупреждение главного теоретика страны, что лозунги партии (обострение классовой борьбы, новые темпы и др.) перестают быть просто агитационными лозунгами, а имеют силу **практического решения, силу закона**⁶, уже сказано, что если даже нет условий для радикальных преобразований, то «надо наконец создать, организовать эти условия»⁷. В этой ситуации литературный обозреватель «Вечерней Москвы» просто выполнила первой, причем выполнила добросовестно, социальный заказ в отношении Платонова, имя которого было еще мало известно широкой общественности. Однако в литературных кругах 1929 года читается «Чевенгур», известна и история его неиздания, более того, в октябре уходит в набор рассказ «Усомнившийся Макар».

⁶ Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М. 1947, стр. 213.

⁷ Там же, стр. 243.

Платонов решает сам защитить свое творчество и 14 октября в «Литературной газете» публикует статью «Против халтурных судей. Ответ В. Стрельниковой». Его «Город Градов», утверждает Платонов, принимает участие в той широкой борьбе против бюрократии, которую ведет советская литература. Пожалуйста, предлагал Платонов, т а к и читайте повесть: «Корни бюрократизма у меня показаны. Показано, что губерния эта крестьянская, что в городе пролетариата нет, что живут там служащие и откупщики (это подчеркнуто неоднократно — с. 12, 113, 114 и 168), что редко где было столько черносотенцев, как в Градове (с. 111), что среди служащих — старые чиновники, живущие дореволюционным прошлым (Бормотов, справляющий 25-летие «своей службы в госорганах»)». Подробный авторский анализ «Градова» подкреплялся цитатами из работ Ленина, Энгельса, партийных резолюций и постановлений с указанием издания, тома и страницы — 8 цитат в небольшой газетной статье! Халтурность же критиков, судей, подобных Стрельниковой, заключается, по мнению автора «Градова», в том, что они то ли не знают, то ли забывают классиков марксизма-ленинизма, в согласии с которыми будто бы и написана его повесть.

Трудно сказать, как озарила Платонова идея использовать градовский кроссворд в сюжете данной статьи, но действительно в изощренной тактике самозащиты он порой даже превосходит Бормотова. Однако здесь Платонова ожидало поражение. Все та же неутомимая В. Стрельникова не поверит марксистско-ленинской оснащенности его статьи (на эту уловку, на платоновский анализ «Градова», предложенный в статье «Против халтурных судей», попадутся критики в 60-е годы). 2 ноября на страницах «Вечерней Москвы» В. Стрельникова ответит Платонову маленькой заметкой с лаконичным названием «Признанные ошибки надо исправлять». Свои «декларативные утверждения» Платонов, советовала критик, должен доказать — «выпрямлением своего творчества в определенных пунктах».

«Окончание не в литературе, а в жизни», — писал Платонов в статье «Против халтурных судей». Этот тезис не оспаривала и Стрельникова. Правда, жизнь писатель и его критик понимали по-разному. Это подтверждает правка «Города Градова», это подтверждают и материалы творчества Платонова реконструктивного периода — вторая папка архива.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ МАССОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Сюжет не нов,

Повторено страданье.

*Из черновиков к повести
«Котлован».*

Еще не разысканы платоновские материалы из архива Наркомата земледелия за 1929 год, где он продолжает работать в отделе мелиорации сельского хозяйства. На столе же Платонова-писателя в первые месяцы 1929 года появится несколько циклов былей — «Эпизоды из жизни массового человека». Один из циклов посвящен провинциальному философу и изобретателю Макару Прохорову. По законам волшебной сказки писатель перенесет сокровенного человека 1929 года в Москву и приведет к «научному человеку» на горе, «учейшему человеку» (современники сразу узнают в этом образе самого Сталина), которому любопытный Макар по своей дурости задаст прямой вопрос: «Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?» Научный, мертвый человек не заметит Макара, не услышит его вопроса, ибо занят другим — созерцанием грядущей жизни. Летом 1929 года из былей о Макаре Платонов монтирует рассказ «Усомнившийся Макар. Быль». Он переименовывает героев (Прохорова — в Ганушкина, Мозгового — в Чумового) и пишет общий зачин: «Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся Лев Чумовой, который был наиболее умнейший на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу...» Будет написан также и новый финал (иронической складок с трагического «Чевенгура») — о том, как, начитавшись в сумасшедшем доме сочинений Ленина о бюрократии, Петр и Макар «организовали горе» — упразднили государство. Напряженно работает Платонов и над диалогами доверчивого Макара и Петра, которого наделяет чертами архаровца Прошки Дванова, — «Чевенгур» в это время уже отклонен. Вот как первоначально выглядел эпизод первой встречи Макара и Петра.

— Все ушли на работу, чего же ты один стоишь и умываешься?

Рябой промокнул мокрое лицо о подушку, высох и ответил:

— Потому что я не верблюд, я был в Месопотамии и видел там озов — высокое существо, лучший пролетарий посреди скотов...

Макар ничего не понимал в верблюдах и ослах — он любил лишь механизмы и уважал человека. Но рябой, будучи ленивым и оттого рассудительным, сам объяснил свое умственное воззрение.

— Я устал от прошлой жизни, — сказал рябой. — Понял ты? А осел, когда устанет, ни за что не будет трудиться — он честный рабочий, его, брат, не поугнетаешь; его бей — не бей, он умрет, а с места не сдвинется, потому что сознательный пролетарий и от него буржуазия не потолстеет...

Макар соглашался: он видел ослов на картинах — смиренные существа и, должно быть, умные в своей глубине. А рябой говорил дальше, потому что он давно решил, что работающих пролетариев много, а думающих мало — и он назначил себя думать за всех.

— Ослы умней слонов, — говорил рябой. — Если бы пролетарии были как осла, никакой буржуазии бы никогда не произошло — имей в виду! Попробуй осла заставить работать сверх его желания и потребности — он тебе не позволит! А наш пролетарий — не осел, а верблюд, — он тебе не ест, а работает. Знаешь, верблюд ест кустарник, пьет песок, а сам все идет и груз везет. А дело в осле, а не в верблюде. Понял ты меня или молчишь от дурасти и утнетения?

— От горя и сомнения, — ответил Макар.

— Ага, — обрадовался рябой, — а кто тебе горе организовал? Верблюды, дьяволы, а не осла.

— Должно, они, — согласился Макар.

— Ну вот, и пойдем, стало быть, искать ослов, — предложил рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым искать ослов среди верблюдов.

В окончательный текст «Усомнившегося Макара» этот диалог не войдет. Вместо него появятся разговоры Макара и Петра о партии. Петр объявит, что он подобно Ильичу-Ленину будет «глядеть и вдаль, и вблизи, и вширку, и вглубь, и вверх». Макар узнает в этом образе Ильича «громادного научного человека», что привиделся ему в страшном сне, а также вспомнит провинциального теоретика Чумового. Упраздненный диалог Макара и Петра отзовется в записной книжке Платонова 1935 года: «Верблюд — пролетарий. Осел — профсоюзник».

Не вошла в окончательный сюжет «Усомнившегося Макара» была, повествующая о возвращении Макара из Москвы в родную деревню. Время для ее завершения еще не пришло, финал фабулы жизнь подскажет позже.

Реакция на рассказ «Усомнившийся Макар» была мгновенна. «Усомнившийся Макар» был напечатан в № 9 журнала «Октябрь», а уже в № 11 журналов «На литературном посту» и «Октябрь» публикуется — одновременно одна и та же — статья ведущего критика РАППа Леопольда Авербаха «О целостных масштабах и частных Макарах». Критик колоссального классового темперамента и чутья, Авербах понял и объяснил читателю и власти, что за Макаровой якобы дурастостью и безобидными догадками о партии чумовых, наивными вопросами о душе, о радости бытия стоят очень серьезные вещи — сомнения в самой теории и практике социалистического строительства: «Маркс и Ленин не раз, как известно, сравнивали строительство социализма с родами, т. е. болезненным, тяжелым и мученическим процессом. Мы «рожаем» новое общество. Нам нужно величайшее напряжение всех мускулов, суровая целеустремленность. А к нам приходят с проповедью расслабленности! А нас хотят разжалобить! А к нам приходят с пропагандой гуманизма! Как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата, как будто можно на деле проявлять свою любовь к «Макарам» иначе, как строительством тех новых домов, в которых будет биться сердце социалистического человека, как будто можно быть действительно человеком иначе, как чувствуя себя, человека, лишь частью того целого, которое осуществит нашу идею»⁸.

Платонов внимательно читает Авербаха. Напомним: в это время он уже приступил к работе над «Котлованом». Волевой заряд статьи неистового Леопольда открестализует в платоновском воображении тот «деспотизм теории» (выражение Ап. Григорьева) над жизнью, которым объединены в повести фаустианские прожекты интеллигента Прушевского и невероятные программы Активиста по раскулачиванию и грядущему расколхозиванию (!) крестьянства⁹. Даже сомневающийся Вощев готов — почти по Авербаху — расстаться с расслабленностью и гуманизмом [«Вощев согласен был и не имеет смысла существования... мог пожертвовать на труд все свое

⁸ «Октябрь», 1929, № 11, стр. 166.

⁹ «Значит, вы так угождаете советской власти? А знаете ли вы, что такое расколхозивание? Имейте ж в виду, что это вам будет не раскулачивание, когда каждый неимущий рад! Я и неимущего расколхозю; бедноты на нас хватит и без вас!..» (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 71, л. 84). При посмертной редакции «Котлована» этот текст был изъят из повести.

слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью}] и полюбить авербаховские дома социализма: «Вощев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость делается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир».

Однако героям «Котлована» не суждено будет успокоиться обретенной любовью к дальнему человеку. Строительство «общепролетарского дома», подобный которому, кстати, уже посетил в Москве Макар Ганушкин, породит ворох сомнений и проклятых вопросов. Тоска безверия и тревога об истине, поиск религиозного смысла уведят героев Платонова к иным измерениям. Вот лишь один из тех внутренних монологов Вощева, который остался в черновиках повести:

«Вощев стоял вблизи ночного мира и чувствовал его сиротство: в земле есть истина, раз она произошла и существует, но нет сознания, а в человеке есть сознание, но в нем нет смысла жизни. Человек с землей и все различные существа живут без обручения, без обмена внутренней теплотой своего влечения и страдают разлукой уединенного тела. Чтобы объединиться с этим грустным пространством, нужно сначала умереть и лечь в земляную могилу [сколько совести и мысли может быть в человеке!] — это было бы совестью. А чтобы жить в своем одиноком теле, нужно мыслью заменить честность. От мысли Вощев стал надеяться, а от совести медленно затосковал».¹⁰

3 декабря с небольшими изменениями статья Авербаха была опубликована в газете «Правда» — в течение месяца это было третье ее издание. Все три редакции статьи Авербаха хранятся в домашнем архиве Платонова. В контексте исторических решений ноябрьского пленума и сталинской статьи «Год великого перелома» (опубликована 7 ноября) всесоюзному читателю предлагалось осудить те выводы, которые порождают сомнения платоновского героя («Партия наша отнюдь не похожа на научного человека, ибо партия наша — отнюдь не партия Чумовых»), а писателю осознать весь масштаб его контрреволюционных заблуждений: «Писатели, желающие быть советскими, должны ясно понимать, что нигилистическая распушенность и анархоиндивидуалистическая фронда чужды пролетарской революции никак не меньше, чем прямая контрреволюция с фашистскими лозунгами. Это должен понять и Платонов». Так заканчивалась статья Авербаха.

Публикация в «Правде» стала поворотным пунктом в литературной судьбе Платонова. В это время терпит крах попытка опубликовать хотя бы в отрывках современную часть «Чевенгура». Роман будет законсервирован более чем на полвека, а Платонов прочно зачисляется после «Усомнившегося Макара» в «агенты буржуазии и кулачества».

В конце 1929 года не оказалось ни одной литературной группы, которая взяла бы Макара Ганушкина под свою защиту, не сделали это ни критики «Перевала», ни попутчики. Авербах был точен, когда писал, что «Усомнившийся Макар» — «произведение даже не попутничское». На одном из пленумов Всероссийского Союза писателей 1930 года П. Павленко, секретарь ВССП, с гордостью отмечал, что в творчестве писателей непролетарского происхождения (попутчиков) правые тенденции «пресечены» и планомерно ликвидируются. Правда, признавался Павленко, в среде писателей есть еще «беспринципное болото, не совсем порвавшее с правым уклоном и не совсем ставшее на пролетарские рельсы», но это «одиночки-зубры».¹¹

Это очень важный вывод. На смену десятилетию ожесточенной борьбы литературных групп приходила эпоха зубров.

В первые месяцы 1930 года, когда литературная общественность живет дискуссиями о творческом методе советской литературы и идет последняя схватка РАППа и «Перевала», Платонов завершает «Котлован», произведение и не рапповское, но и не перевальское.

Создание «Котлована» — это победа русской литературы на ее магистральном направлении — защиты народа и народоведения. Через поля сражений современности идет сомневающийся Вощев, все тот же сокровенный человек, чей путь освещает вдохновляющая идея всеединства, полноценности живого бытия в вечном — «взыскание погибших». Вощев в повести не одинок. Желание выйти из современности, из истории посетит только интеллигента Прушевского, по чьим теоретическим проектам и строится «общепролетарский дом». Народ же — крестьяне и пролетарии — идет ч е р е з смерть политических страстей, идет по-пушкински безмолвно. «В народе

¹⁰ ИРЛИ, ф. 780, ед. хр. 7, л. 116. Слова в квадратных скобках Платоновым вычеркнуты.

¹¹ ЦГАЛИ, ф. 2199 (П. А. Павленко), оп. 1, ед. хр. 161, лл. 27–28.

своя политика, своя поэзия, свое утешение и свое большое горе», — скажет Платонов в 1937 году (статья «Пушкин и Горький»). Недолгим окажется испытание идеями года «великого перелома» и у рядовых идеологов — Сафронова, Чиклина, Жачева. Они возвращаются от утопических соблазнов к вере не через философию, не через мораль, а через любовь к ближнему, к ребенку, который не может жить в мире, где «отменено слово мама»¹². У каждого из них своя — мучительная — дорога возвращения, вспоминания. Смутный, неосознанный, мистический испуг слышится в вопросе местного перегибщика Сафронова: «Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?» — и озаряет его догадкой, что идея коммунизма как священного царства свободы народа органически чужда самому народу: «Ах ты масса, масса. Трудно организовать из тебя *кулеш* коммунизма! И что тебе надо, стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!»¹³ Трепетная мысль Фомы Пухова о цельности народной жизни внутри себя, о необходимости воскресить в будущем «убитых — красных и белых» выразится в вопросе Чиклина: «...отчего же плакали в конце жизни Сафронов и Козлов?» В устах грубого Чиклина этот толстовский вопрос звучит благовестием о воскресении, высвечивая в социальных коллизиях великую общечеловеческую драму. Не случайно по всей рукописи «Котлована» сомневающийся мастерской Чиклин шел под отцовской фамилией Платонова — Климентов. В финале повести один из самых крутых идеологов, Жачев, сформулирует окончательный приговор теории коммунистической реконструкции России: «Я теперь в коммунизм не верю! — ответил Жачев в это утро второго дня»¹⁴.

Таково было свидетельство Платонова в марте 1930 года.

В трагедии, случившейся с «Котлованом» в 70-е годы, остается слишком много белых пятен. Текст повести готовился к изданию на Западе изошренно и тщательно. Одиночку Вощева пощадил (с одиночками всегда проще), но линию вощевских философских беспокойств, захватывающих самые разные пласты народной жизни, усекали и правили беспощадно. Как и лишат Активиста, героя эпохи раскулачивания, доверенного ему автором права на грядущий теоретический эксперимент над жизнью крестьянства — расколхозивание. Будем откровенны: народоведческая линия «Котлована» (такая же судьба постигнет народ джан при посмертном издании повести «Джан») не согласовывалась, даже конфликтовала с либерально-демократическими ценностями, со все более утверждающимися в те годы представлениями о традиционности народных, религиозных истоках русского коммунизма, об исчерпанности исторического пути России. Чего стоит чисто инквизиторская замена в финале повести слов «в коммунизм не верю» на нигилистическую формулу «ни во что». За платоновскими словами — выход из пут утопизма, возвращение, открытый финал. За редакторским вариантом 70-х годов — тупик, конец истории. Об этом тупике много напишут писатели, критики, исследователи и у нас и за рубежом. Обрушив свой гнев и на Сафронова, и на Козлова, и на Жачева, критика отнесет повесть к ведомству прозы о коллективизации.

Подлинный «Котлован» позволяет хотя бы отчасти понять ту стремительность, с какой в мае 1930 года в течение десяти дней будет написана повесть «Впрок». Да, материал для новой повести был уже накоплен: это и «Эпизоды из жизни массового человека» под названием «Умственный хутор»; это и были, написанные в 1929 году («Послушайте рассказ об одном мужике, который перехитрил целое государство», «Слушайте теперь краткий рассказ про Филата-батрака», «Наследники Ленина», «Масло розы», былль о Чумовом и др.); это и материалы «Первого Ивана», социально-экономические расчеты 1929 года, очерк о судьбе реки Тихая Сосна. Платонов собирал на страницах «Впрок» свою — изгоняемую из литературы — Россию. Красноречива сама рукопись «Впрок» — общая тетрадь, рукописные страницы которой перемежаются «Вставками» машинописных текстов былей и очерков, редактируемых и дописанных.

Но главное, чем одаряет нас рукопись повести «Впрок», это неизвестные тексты, не вошедшие в общеизвестную повесть. Хроника открывалась самостоятельным, внесюжетным предисловием «От составителя», пародией на советскую литературу — «Великую Глухую» (определение Платонова 1931 года). А оппонентами писателя стали теперь уже не рапповцы, а их классовые антагонисты по литературной борьбе — группа «Перевал», критики которого выдвинули в 1929 году новые лозунги: «моцартианства», «искренности», «гуманизма», «движничества», «эстетической культуры». Трагические реалии современности, что стоят за «Котлованом», где обнаженной искренностью и моцартианским самозабвением отмечены новые «строители страны», безусловно отозвались в ироническом строе этого предисловия:

¹² Архив М. А. Платоновой. Записная книжка Платонова 1929 года.

¹³ ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 71, л. 55. При издании слово «кулеш» было заменено на слово «скелет».

¹⁴ Там же, л. 137. При издании слова «в коммунизм» заменены на слова «ни во что».

От составителя

Под именем автора, от лица которого ведется сообщение, не следует понимать составителя. Местоимение «я» употреблено для краткости и не соответствует точности. От имени одного человека изложено более широкое наблюдение, чем оно доступно было составителю, — ибо составитель считает, что хроника обязана иметь своим содержанием не запавшее чувство или запечатленное сознание одного субъекта, а те же свойства целого коллектива. Это обстоятельство верно и по отношению к художественной литературе, вопреки мнению тех идеологических паразитов, которые признают искусство действительностью, пропущенной через эмоционально-индивидуальные, ароматические особенности автора и еще дополнительно окрашенной в эти благоухающие качества писателя. На самом же деле литература должна происходить из чувства коллектива и представлять из себя не букет индивидуальных ощущений, годный лишь для излишества, а — хлеб наш насущный. Но как же извлечь из коллектива его активное чувство действительности, его впечатления, обращающиеся затем в положительную волю? Несомненно, посредством рассудка автора, а не посредством интуиции, — потому что интуиция, если говорить о ней, это ведь состояние, и оно не поддается транспортированию. Отношения же людей работают на более технически доступных предметах, например на рассудке. Упомянутые паразиты могут сейчас же из этих наших слов установить преимущество интуиции перед рассудком. Тогда мы можем доказать, что они сами никогда не чувствовали в настоящей степени рассудка, иначе бы они узнали, что рассудок есть страсть и синтез всех чувств, куда входят и память и интуиция, если опять-таки считаться с ней — для угождения заблуждающимся; понятно — рассудок уже не сохраняет питающих его первоначальных чувств, он их диалектически уничтожает и сам становится в противоречие с действительностью, чтобы развить по отношению к ней тягостное, ведущее усилие. У нас же очень часто судят о рассудке как о рабе всякой современной действительности, как о Сальери, слепо бредущем за Моцартом и трепещущем перед ним в чувстве тревоги, удивления и несчастья. В наше время эта пушкинская тема изменилась: мы видим моцартиански действующих людей, но в которых душа Сальери, и видим бессильную работу Сальери, не могущих сделать внешним фактом свое моцартианское существо. Вот как стоит эта проблема на своих ногах.

Но наша действительность такова, что в бедной избечитальне Моцарт научится делать из своей безмолвной души общественное явление, потому что Моцарту не слишком много надо, а действующий Сальери погибнет без душевного резерва, без самостоятельного умения питаться из материнского источника своего класса — или питаться не кровью здорового класса, а гноем погибающего исторического общества.

Прямо говоря, вся эта надменная проблема пахнет в наше время очень скверно. Нельзя отделаться от воображенья, что Моцарт — это аристократ, а Сальери — пролетарий. А в действительности мы наблюдаем иначе: мы видим технически и культурно не вооруженных пока Моцартов — пролетариев и мощно вооруженных, моцартиански оборудованных Сальери, не имеющих на самом деле никакой душевной мускулатуры.

Сальери, конечно, может лишь думать своим рассудком, но не может непосредственно усваивать им коллективного, классового, исторического опыта; от этого и сохнет, и мучается Сальери, и по заслугам не уважает свой бескровный разум, к которому нет питательной жилы из коллектива; а для равенства в силах, для самоуважения Сальери стремится уничтожить и чужой разум, беря себе на помощь интуицию, то есть нечто произвольно зарождающееся, — дар от бога, а не от людей, ибо к ним Сальери не знает дороги. Он хочет, чтобы и люди питались этой интуицией, а не рассудком, — собственной личностью, а не из коллективного источника. Он бы желал, чтоб насущный ржаной хлеб сознания пропал на земле и в пищу пошла бы подводная кладоформа — редчайшее реликтовое растение из девственных болот, не имеющее никакой пользы для сытости трудящегося человека.

Затем мы должны сказать, что составитель этой хроники стремился отвлечься от своей отсталости от действительности и — личных предрассудков, давая свободу движению фактов, а не своему настроению от них. Он даже помогал фактам произойти, считая, что литература не служанка для пролетарской

революции — рабынь последней не нужно, — а ее младшая сестра, такая же мужественная, желающая, чтобы старшая сестра воспитала ее себе впрок.

Так в марте 1930 года, обратившись к пушкинским «двум сыновьям гармонии» («Моцарт и Сальери»), откорректирует Платонов претензии критиков «Перевала» на моцартианские традиции советской литературы, претензии, за которыми автор «Котлована» увидел гордыню писателя в желании личного спасения, стремление литераторов снять с себя ответственность за трагическую реальность России. Однако и оппоненты «Перевала», праздновавшие в марте—апреле 1930 года победу над своим врагом — «Перевалом», тоже появятся, и не раз, на страницах рукописи «Впрок». В запаснике Платонова к этому времени еще лежала неиспользованной быль 1929 года о «воинствующем безбожнике» Чумовом, «активно отрицавшем Бога и небо». Ее текст он вкладывает в рукопись повести, переименовывает Чумового в Щекотулова и посвящает Авербаху. Неистовый ревнитель классовой чистоты советской литературы, разоблачитель «Перевала» и бедного Макара Ганушкина, Авербах обретет своего двойника в образе платоновского Мозгового-Чумового-Щекотулова. «Воронский Карфаген обязательно должен быть разрушен»¹⁵, — предрекал еще в 1925 году Л. Авербах. Это «прозрение» неистового Леопольда зафиксирует рукопись «Впрок» — как и его поражение — в диалоге Чумового с «отсталыми верующими» бабами:

«Передние женщины, видевшие возбуждение тов. Чумового [Щекотулова], начали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот, — обращался товарищ Чумовой [Щекотулов]. — Сознательные женщины плачут предо мной, стало быть, они сознают, что бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где ж ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался товарищ Чумовой [Щекотулов]. — Если б он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества...

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы, — а как ты уйдешь, то он и явится.

— *Это контрреволюция!! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!* (Курсивом обозначен текст, вписанный в быль в 1930 году. — Н. К.)

С публикацией хроники «Впрок» Платонов торопился. Об этом его запись на рукописи, адресованная машинистке: «Напечатать просьба в течение 3-х дней». Семья бедствует, нет денег — об этом говорит запись Марии Александровны, обращенная к машинистке: «Ел. Павловна! Просьба за работу обождать в течение семи дней (максимум). Привет. М. Платонова». С мая 1930 года начнется эпопея хождений новой повести по редакциям журналов и издательств. О муках и мытарствах, что пережил автор «Впрок», только отчасти могут рассказать вопросы и замечания на всех страницах машинописи повести: они сделаны красным, синим, зеленым карандашом, черными чернилами. Рецензенты «Бедняцкой хроники» узнали во всем ее строе, в «душевном бедняке» все еще живого и опять сомневающегося Макара. «Во всем сомневающемся», — уточнял во внутрииздательской рецензии на повесть «Впрок» И. Сац, отмечая, что, «несмотря на то, что автор в предисловии (написанном очень неудачно — оно направлено против “Перевала”, но также идеалистически ставит проблему соотношения бессознательного творчества и рассудка) заявляет, что нельзя отождествлять автора с лицом, ведущим повествование, мы вправе не верить и делать Платонова ответственным за все промахи “электротехника”».

Далее Платонов обвинялся в том, что он совершенно оторван от масс (!), в том, что он не понимает сущности реконструктивного периода и той огромной роли, которую играют в деревне партия и комсомол. «Самих по себе этих принципов достаточно, чтобы не позволить автору создать хорошую, умную и верную книгу о колхозном строительстве»¹⁶, — справедливо резюмировал автор рецензии.

Текст повести «Впрок», каким он вышел из-под пера Андрея Платонова, не мог быть опубликован. Но ситуация для Платонова теперь уже новой не была. За спиной две редакции «Эфирного тракта», три редакции «Города Градова», две редакции «Чевенгура»... И это только то, что нам сейчас известно. Верная муза не изменила ему и в работе над новой редакцией «Впрок». Открытые политические намеки? Их можно убрать. В сельскохозяйственную артель имени Награжденных героев переименовывается «С.х. Коммуна имени Общества Старых Большевиков» («Общество старых большевиков» возглавлял редактор журнала «Безбожник» Е. Ярославский). Ефим Нечаев из колхоза «Утро Человечества» превращается в безымянного товарища Пашку — а ведь имя Нечаева было для второй половины 20-х годов весомым: шла реабилитация печально знаменитой «Молодой России», ее идеолога Нечаева, ставшего прототипом Петра Верховенского в «Бесах» Достоевского¹⁷. Потом из жизни Нечаева-Пашки исчезнет парижский эпизод. Читатель может самостоятельно пораз-

¹⁵ «На литературном посту», 1926, № 1, стр. 20.

¹⁶ ЦГАЛИ, ф. 611, оп. 2, ед. хр. 246, л. 227.

мышлять над нюансами претворения в жизнь платоновского «закона лавирования», сравнив эпизод из жизни «Утра Человечества» общеизвестного текста «Впрок» с его первоначальной редакцией. Основой этого сюжета также стала быль 1929 года (в рукописи — «Вставка“у”»).

<НАША БЫЛЬ>

Товарищ Ефим Нечаев сроду не имел в своем сознании ни рвачества, ни отсталости, а сердце его не располагалось в виде любви к единоличным коровам и частным дворам. Он еще с семнадцатого года приобрел симпатию к обширной, общественной жизни и к энтузиазму кампаний, проводимых на селе благодаря спускающимся туда директивам.

Уже давно Ефим стоял на заметке района и округа как низовая пружина, ведущая и жмущая бедные и средние массы вперед. Поэтому Ефима назначили однажды ехать за границу, чтобы посмотреть там разную научность, а также запомнить и доставить в голову, как в сундуке, в СССР.

Весь колхоз провожал Ефима.

— Не объем ли я свое государство, товарищи? — спрашивал Ефим. — Ведь дорого обойдется везти и кормить мое личное тело!

Колхоз отвечал ему как один рот:

— Ничего, Ефим! Ты же не за нашу кашу поедешь, а за счет роста производительных сил!

— Не засохнут ли те силы от моего аппетита?

— Ничего, Ефим! Мы без тебя кашу щами будем мочить, а ты уж ешь масло на глазах буржуазии!

— Разве что на глазах только! — ответил Ефим. — А уж до капитализма я поеду натошак!

Вдобавок Ефиму дали еще наказ. В нем значилось, чтобы товарищ Ефим осмотрел заграничные города и уголья, понаблюдал природные дожди и ветры, обнаружил бы там активные массы, а также прочие тенденции. Особо же Ефим должен сосредоточиться на заграничном быте: сколько времени буржуй жует мясо во рту, долго ли беднячество будет обожать феодалов и за что, как организована там красота и счастье жизни и когда настанет мгновение раскулачивания? И еще должен Ефим справиться — хватит ли заграничным товарищам революционных сил или придется откомандировать туда кадры наших активистов, — тогда пусть они запомнят нашего дядю Лукьяна: он пойдет за границу пешком и вручную ликвидировать все, что прикажут, — будь то класс или племя или кирпичная постройка.

— Скажи там, что у Лукьяна рука, как чугунная болванка, — что попало кроет, лишь бы директива была!

С тем Ефим и отправился в буржуазию.

Достигнув капитализма, Ефим сказал ему:

— Сволочь! — и пошел ходить по одному всемирному городу под названием Париж.

— Где тут контора, как у нас сельсовет? — спросил он у провожатого.

— На что тебе? — произнес провожатый.

— Пускай на удостоверении явку отметят!

После отметки Ефим сказал, что здешняя контора велика для сельсовета — придется пойти поискать другое помещение для канцелярии парижской диктатуры.

Нашедши более подходящий дом, дабы загодя разместить в нем сельсовет, Ефим вошел внутрь его вместе с провожатым. Он хотел уже сейчас распланировать установку столов по комнатам.

— Тут сейчас беата! — сказал Ефиму провожатый. — Что означает красота.

— Тем более, — определил Ефим. — Красота у меня в наказе есть, нам тоже ведь нужно какое-нибудь загляденье! Веди, подкулачник!

В институте Красоты их начали приветствовать. Ефим уже знал, что его советскую державу везде бояться, и не стал отвечать на поклоны, а сел посреди убранного зала и начал делать проверку всей наличной женской массе.

— Организуй красоту дальше! — сообщил он, а провожатый спустил его приказ на присутствующую периферию.

¹⁷ См.: Сараскина Л., «К гордыне преодоления. К восприятию «Бесов» в 20-е годы». («Октябрь», 1991, № 11, стр. 196—197).

Зажиточные дамы занялись производством красоты. Они все имели толстые туловища, — прибавочное сало, отнятое у пролетариата, намазано было на них сверху, так что можно слизать его обратно, но Ефим решил сделать это наутро после [содеянной] социальной революции.

Главная руководящая дама вынесла из чулана большую банку, наполненную какой-то копошащейся живностью. Ефим сейчас же узнал, что в банке живет население глистов. Главная худощавая женщина включила громкоговоритель — и в зале, как в избе-читальне, раздалась [бесшумная] бушующая музыка боевых масс Африки. Так провожатый объяснил Ефиму значение фокстрота.

— Сам чую! — ответил Ефим и вздохнул, что музыка играет без революции.

После того активная дама открыла перед жирными бабами буфет с напитками и все начали танцевать такими движениями, будто хотели размножиться.

— Останови их! — указал Ефим. — Буржуазное количество и так достаточно!

Но дамы и сами остановились, только от них запахло потом и сварившимся салом.

Инструкторша пустила из трубки благовоние, а потом вынула одного червя из банки. Ближняя толстая баба подошла к ней и проглотила того червя своей пастью, а инструкторша дала ей стакан какой-то влаги, чтобы запить проглоченное животное. Другие пухлые женщины тоже стали глотать червей: кто по одному, а кто по два. <Утрачена страница. — Н. К.>

Спустя же время вновь заиграла музыка и все начали танцевать с червями внутри. Ефим встал, чтобы заняться ликвидацией такого явления, но председательница подошла к нему, взяла его, как буржуя под руку, и повела вместе с провожатым в другое помещение. Там было вроде больницы — и лежали похудевшие полуголые женщины на чистых столах. Главная дама объяснила через провожатого Ефиму эти видимые обстоятельства. Здесь вытравили червей обратно, потому что черви уже сделали свое дело — довели обрюзгих девушек до красоты худощавости. Теперь оставалось только вымыть глистов и опять давать их глотать жирному женскому полу.

— Не только нам плохо! — сказала дама через провожатого. — Наши дамы уже привыкли к местным глистам и худеют от них очень медленно. Нам нужны более ядовитые аскаридные черви, мы бы хорошо за них уплатили.

— Можно! — согласился Ефим. — Скажи этой стерве, что большевистский глист не только в худобу — в гроб любую буржуйку вгонит.

Провожатый перевел.

— Мерси, мерси! — заулыбалась руководительница.

— Я скажу своему государству, — сообщил Ефим, — так мы целыми эшелонами червей сюда будем гнать — этого имущества у нас хватает! Пускай только машины нам качают обратно: им черви, а нам чугун! Скажи ей еще, подкулачник, чтобы она дала мне в задаток за будущих глистов радио: оно нам для культурной революции приемлемо!

Дама с удовольствием поднесла Ефиму радиоаппарат.

— Все равно бы конфисковал! — поблагодарил Ефим. — Чего, червивая, ухмыляешься?

В тот же день Ефим отправил громкоговоритель почтой в колхоз, а колхозу приказал, чтобы все его члены изгнали из своей утробы глистов, пускай пролетарии всех колхозов опрожнятся от вредителей и соберут их в бочку, а ту бочку пусть шлют на Париж Ефиму. Он же ту бочку загонит здесь толстым бабам для тощей красоты, а ихнее золото обратит в предметы железной индустриализации. Что же касается его личности, то он уже слышал такую [буржуазную] бушующую музыку масс и видел таких опухших от классового счастья буржоек, что настал сочельник революции. А посему он остается на своем парижском посту, тем более что уже подыскал удобный дом для парижского сельсовета и теперь ищет здание для правления колхоза. Завтра он пойдет метить мелом по полу, где будут стоять столы председателя и секретаря, а пока пусть спросят по родному району сплошной коллективизации — согласны ли массы, чтобы Ефим стал председателем парижского сельсовета. Пусть также колхозные массы ждут от него, вскоре после социальной революции, эшелон парижских толстых туловищ, — с тем, чтобы трамбовать ими проезжий грунт.

После поклона дяде Лукьяну Ефим закончил письмо и пошел покупать кусок мела для обозначения места сельсоветских столов в том Институте, в котором нынче живут черви, жирные буржуйки и какая-то незаметная сволочь по имени Беата.

— Я ее в плен возьму, — решил Ефим про ту Беату. — Пролетариату и сволочь пригодится, раз она невидима!

После получения от товарища Нечаева его первого же письма он был немедленно отозван назад в СССР. Ибо его посылали учиться садоводству, а не учить парижанок советской власти.

Нечаев приехал обратно без всякой обиды, ибо вера его в классовую революцию была сильнее парижской действительности — она способна была сдвинуть с места и преобразовать эту нынешнюю действительность.

Ясно, что Нечаев для дипломатической работы годен быть не мог, а для строительства социализма на советской родине он был вполне хорош.

Трудная борьба, потребовавшая от Платонова огромного творческого напряжения и воли, развернулась на страницах повести, посвященных Крушилову (в дальнейшем — Упоеву). Рецензенты предлагали два выхода: или убрать эти страницы, или переписать «наоборот». Весна 1930 года, отмеченная знаменитыми сталинскими статьями «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам», никаких иллюзий по поводу изменений политики партии не породила у автора «Котлована». Именно эта родственность сталинской политики и идеологии «Социального Совета Чевенгурского освобожденного района» ошутима в эпизоде с Упоевым. Основной эпизодом стала быль 1929 года «Наследники Ленина». Осмотрительные рецензенты подчеркивали и даже вычеркивали из текста такие вот строки: «Неужели ты думаешь, что такой человек, как Ленин, не позаботился о нас и не оставил нам своего наследника — хотя бы одного?», «...он вполне чувствует и понимает, что Ленин действительно позаботился о своем помощнике и наследнике. И умирая, Ленин думал не о своей судьбе, а о жизни тружеников и неимущих, потому что его наследник действует с тою же неустранимостью и пользой для бедности, как действовал бы сам Ленин, если бы он жив был на свете».

В новой редакции Платонов уходит не только от крамолы, но и от идеологически однозначных определений, уходит в глубину характера, втягивая на эти страницы трагическую чевенгурскую тему «прочих», тему «безотцовщины» и сиротства человека, отпавшего от Бога, от дома-очага, от отца-матери.

Первая редакция: «...и не могу почувствовать, кто ему будет равен».

Вторая редакция: «...и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете».

Первая редакция: «...Ленин действительно позаботился о своем помощнике и наследнике».

Вторая редакция: «...действительно позаботился о своем наследнике и его сиротой не оставил».

В правке этих страниц уже можно нащупать зерна новых замыслов, видны очертания темы «отца Сталина», одной из ключевых в творчестве Платонова 30-х годов («Счастливая Москва», «Джан», «Отец-мать», «Голос отца», «Воодушевление» и др.), — она еще ждет своего осмысления. Здесь привычными для нас заклинаниями о «деформации» художника явно не обойтись, сколь бы уверенно они ни звучали.

И все-таки Платонов, наверно, не раз смеялся над замечаниями рецензентов, бросая весь мусор «умнейших» советов и пожеланий в ту стихию художественности, глубочайшей языковой свободы, преград и границ которой ему нельзя было поставить. А если они ставились, то он размывал их как художник. Только два примера (правленная машинописью дарит бесконечное множество!). На полях диалога крестьян и Крушилова-Упоева сохранились два замечания: «Исправить» (простым карандашом) и «Как по Евангелию!» (синим карандашом). Платонов учтет оба «совета», так откорректировав в новой редакции идеологический облик своего героя: «...Упоев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского еще не знал...»

Все рецензенты предлагали убрать слова Ленина, обращенные к Упоеву:

«Ленин поднял свое лицо на Упоева:

— Знаешь что, товарищ! У тебя ведь разума нет: буржуазия лишила тебя разума, но не успела уничтожить в тебе гигантского чувства жизни и того самого высокого ощущения будущего человечества, которое называется революцией. Ты одарен крупной стихией жизни, но ты можешь много навредить нам, если не приобретешь дисциплины и организованности».

На полях этого текста сохранилось чье-то «не так!». Новая — изящная и тонкая — редакция этого сюжета:

«Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся».

Понимал ли Платонов все возможные последствия публикации хроники «Впрок» даже в новой редакции? Избавимся хотя бы от двух выдумок, прочно вошедших в наше представление о Платонове, который якобы все писал в стол и не всегда понимал, что он написал. В 1930 году в литературных кругах, в среде критиков хорошо были известны и «Чевенгур» и «Котлован». Очевидным даже для его хулителей был сам масштаб Платонова-мыслителя. Подчеркнутое неучастие в кухне литературной жизни Москвы также не могло быть не замеченным. Не забудем, что в это время он работает инженером, косясь по провинции — по командировкам от Наркомата земледелия. Что Платонов достаточно трезво оценивал перспективы публикации «Бедняцкой хроники», свидетельствует быль о Макаре Ганушкине, не вошедшая в текст рассказа «Усомнившийся Макар». В период переработки «Впрок» он допишет и этот эпизод «из жизни массового человека».

ОТМЕЖЕВАВШИЙСЯ МАКАР*

После долговременного присутствия в учреждениях Макару было скучно присутствовать в деревне. Старый секретарь сельсовета тов. Лев Чумовой в деревне уже не находился — некому теперь было тревожить Макара, и от этого становилось еще грустней на уме. Макар познал в городе пользу научного противоречия, когда среди счастья обязательно организуется небольшое горе. Но в деревне было вполне спокойно, потому что началась достойная жизнь. Самой деревни, в смысле ее царского устройства, уже не существовало: в ней произошел колхоз.

Старшие люди по колхозу пожелали было вовлечь Макара в актив, но Макар решил пока что организовать себе систематический отдых и отказался.

С утра, уничтожив свою долю пищи, Макар выходил в природу и наблюдал все, что было видно. Слабый свет исходил с неба, но Макар знал, что наука с негодованием отвергает небо, и не стал глядеть вверх.

Вон вышел трактор из базы и пошел лущить землю. Машина гулко трудилась и со взрыгами вышибала непережженный черный газ.

Макар почел такое руководство машиной бюрократизмом. Он сейчас же достиг механизма и прекратил его действие.

— Ты, товарищ, сволочь, а не пролетарий, — сказал Макар трактористу. — Разве же допустимо таким керосином без подогрева топить мотор!

— Нет, товарищ Ганушкин, — ответил тракторист, — сорт керосина тяжел, в цилиндрах загар, работать им недопустимо!..

— Как же ты работаешь, неразумный член? Клади руль на задние градусы: я тебе подогреватель сделаю.

Пришедши на базу, Макар сделал в два часа особый бак, в котором керосин предварительно подогревался исходящими горячими газами машины, от этого керосин делался жиже и полезней сгорал в моторе.

Трактор снова вышел в поле и начал трудиться с чистым газом на коллективной земле.

— Ну вот, — определил Макар, — так будет гораздо научней!

Над головой Макара летали какие-то неорганизованные птицы. Ввиду того, что будущее все более наступало, воздушные птицы были как-то малоуместны: они бросали свет на светлую землю.

— Надо поесть этих мчащихся тварей, — решил Макар, но потом передумал. — Тогда граждан сгрызут комары и прочая мелочь. Но какой же здесь будет идеологический выход? — Неизвестно!

И Макар вздохнул от слабости своей мысли, шагая дальше по культурной почве, на которой уже давно закончился агроминимум.

Женщины-коллективистки, согнувшись, собирали корнеплоды в ведра, а Макар шел между, горюя за лучающееся в труде туловище человека.

— Что ж ты все ходишь? — обратилась к Макару одна женщина. — Приехал — и кушает, а работает одной походкой!

Макар ответил ей:

— Ты, баба, еще маломочна мне указывать. Я действую умом в тишине — тебе незаметно.

* Курсивом обозначен текст, дописанный в 1930 году при переработке были в рассказ.

— У нас был такой товарищ — Лев Чумовой: он тоже все умом действовал, а хлеб ел из наших рук, и уехал — ума не оставил.

Макар вспыхнул лицом от классового стыда: что же он делает, ведь городской пролетариат просил его душу изобрести, а он разлагается.

Но, ослабев от выдвигенческой деятельности, Макар не мог ничего выдумать, сколько ни надувался. Тогда он решил обнаружить готовую душу, а потом размножить ее техническим способом.

Он спросил:

— Баба, у тебя есть душа внутри?

— Да то будто нет!

— Покажь мне ее *наружу!*

Но та баба была культработница и сама организовала местную культурную революцию, поэтому она могла научно понимать и выражаться.

— Ты чин имел большой, а дурак! Как же я тебе душу покажу, когда она — общественное отношение?!

Макар, однако, тоже имел перспективу и благодаря ей нигде не мог заблудиться: он сразу же дал бабе дальнейший вопрос:

— Значит, душа, по-твоему, лишь пустая доброта, а вещества в ней нету? Как же так, — бог и то был телом, хотя и нарочным, человек ведь насущней бога!

— Ты бога не поминай: он отвергнут научным противоречием!

— Каким, сознательница? Говори мне теоретически!

— А таким! Бог-отец — это тебе положение, бог-сын — противоположение, бог-дух святой — соединение первых двух, а по-научному — *диаволектический свинтус, или* сцепление двух гадов в узком месте! Понял?

— Нет, — сознался Макар. — Но я убеждаюсь: деваться все одно некуда, как только в кучу масс!

— Значит, бога нет, — пояснила женщина. — А душа есть не предмет, а отношение людей среди коммунизма!

— А где ж коммунизм?

— Насыпай овощ в ведро, тогда узнаешь. Ты трактор починил сегодня — значит, тоже душу готовишь. А ты думал — надо ходить да выдумывать, разве так ты узнаешь смысл жизни? *Мелкобуржуазный подкулацкий ты человек: правду говорил вождь — тов. Авербах.*

Макар отошел от нее, залез в чулан и горевал целые сутки, что внутри его постоянно живет ошибка, а затем заснул и, увидев во сне ужас своей отсталости, к рассвету отмежевался от своего единоличия.

На следующее утро он пошел рыть овощ вместе с бабами, чтобы чувствовать себя явным членом будущего человечества, которое выкормится этим овощем и образует душу внутри себя и между собой.

Так Макар осознал себя социальным условием — и с тем смирился среди теплоты трудящихся масс.

А впоследствии он умер от слабости сердца, не перенесшего наступившего его организованного счастья, и вслед его худому, равнодушному телу шла печальная тракторная колонна, вернувшаяся с межселенной пахоты, ибо все же Макар был член, и за то ему полагалась механическая честь во время смерти.

— Одним темным врагом стало меньше, он не выдержал темпа счастья, — сказала знакомая Макару сознательница на его могиле, и всем ее слушателям стало легче и лучше. А вечером эта женщина написала открытку тов. Авербаху, что Макар мертв и перспектива гораздо видней.

«Отмежевавшийся Макар» остался среди платоновских набросков 1930 года. В марте 1931 года на страницах журнала «Красная новь» появится многострадальная повесть-хроника «Впрок». Как и «Усомнившийся Макар», она ляжет на стол И. В. Сталина. За «идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар»... мне поделом попало от Сталина»¹⁸, — писал А. Фадеев в декабре 1929 года Р. С. Землячке. Как за «Бедняцкую хронику» попало Фадееву, теперь уже редактору «Красной нови», мы можем только догадываться. Но поступок состоялся. Последствия имеют уже другие измерения. Хорошо бы это не забывать. Обрушившийся на Платонова шквал разгромных постановлений, резолюций и даже талантливо-аналитических глубоких статей был неистов и сокрушительен. 9 июня Платонов отправляет в редакции «Правды» и «Литературной газеты» письмо:

¹⁸ Фадеев А. А. Повесть нашей юности. М. 1961, стр. 189—190.

«Просьба поместить следующее письмо.

Нижеподписавшийся отрекается от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в не напечатанных.

Автор этих произведений, в результате воздействия на него социалистической действительности, собственных усилий навстречу этой действительности и пролетарской критики, пришел к убеждению, что его прозаическая работа, несмотря на положительные субъективные намерения, приносит сплошной контрреволюционный вред сознанию пролетарского общества.

Противоречие между намерением и деятельностью автора явилось в результате того, что *субъект* автора ложно считал себя носителем пролетарского мировоззрения, — тогда как это мировоззрение ему предстоит еще завоевать.

Нижеподписавшийся, кроме указанных обстоятельств, почувствовал также, что его усилия уже не дадут больше художественных предметов, а дают даже пошлость вследствие отсутствия пролетарского мировоззрения.

Классовая борьба, напряженная забота пролетариата о социализме, освещающая, ведущая сила партии — все это не находило в авторе письма тех художественных впечатлений, которых эти явления заслуживали. Кроме того, нижеподписавшийся не понимал, что начавшийся социализм требует от него не только изображения, но и некоторого идеологического опережения действительности — специфической особенности пролетарской литературы, делающей ее помощницей партии.

Автор не писал бы этого письма, если бы не чувствовал в себе силу начать все сначала и если бы он не имел энергии изменить в пролетарскую сторону свое собственное вещество. Главной же заботой автора является не продолжение литературной работы ради ее собственной «прелести», а создание таких произведений, которые бы с избытком перекрыли тот вред, который был принесен автором в прошлом.

Разумеется — настоящее письмо не есть самоискупление вредоносных заблуждений нижеподписавшегося, а лишь гарантия их искупить и разъяснение читателю, как нужно относиться к прошлым сочинениям автора.

Кроме того, каждому критику, который будет заниматься произведениями Платонова, рекомендуется иметь в виду это письмо.
Москва. 9 июня 1931 г.

Андрей Платонов¹⁹.

Текст этого письма, к которому сегодня столь вдохновенно апеллирует критика, предвзялая счет к нравственной позиции Платонова, в 1931 году не осмелится опубликовать ни одна газета. Проницательные критики 30-х годов умели читать и текст и подтекст, а подтекст «отречений» Платонова был не просто двусмысленный, а вызывающе ернический. Вся же ситуация с этим письмом и логика платоновских аргументаций очень напоминают «прозрения» Фомы Пухова, который еще в апреле 1927 года «втайне подумывал», что наступает «эпоха умственной жизни», что «без вреда себе уделеть трудно», «а если сорвешься с общего такта — выпишут в издержки революции как путевой балласт». Правда, усвоив эти законы новейшей истории, Пухов признавался себе, на то он и «сокровенный человек», что избавиться от «пережитков идеализма» невозможно.

В июне—июле 1931 года Платонов отправляет письма еще двум адресатам — Сталину и Горькому. Ответа не последует. В августе автор «Впрок» выбирает прежний маршрут своей жизни, маршрут «душевных бедняков»: он уезжает от Наркомата земледелия по колхозам и совхозам Поволжья и Северного Кавказа и привозит беспощадный материал для повести «Ювенильное море». В записной книжке этого времени Платонов опять вернется к своему «природному дураку» — тому типу народной культуры и русской и мировой, в котором жизнь сохраняет себя от эпидемий безумия во всех исторических катаклизмах:

«Не Иван-дурак, а Иван-аспид, Иван-хитрец — вот сущий тип нашего времени, и действующий «положительно», но он будет в конце концов разоблачен.

Иван-дурак, это утешение барина-буржуя».

И другая запись: «Сознание себя Иваном-дураком, это самосознание народа (класса) — самое *такое* самосознание показывает, что мы имеем дело с народом-хитрецом, с умницей, который жалеет, мучается, что живет в дурацком положении»²⁰.

¹⁹ Архив М. А. Платоновой. См. также «Русскую литературу» (1990, № 1, стр. 230—231); здесь в четвертом абзаце вместо «субъект автора» — «автор», в седьмом абзаце вместо «свое собственное существо» — «свою идеологию».

²⁰ Архив М. А. Платоновой. Записные книжки.

Уже умер незабвенный Макар («Отмежевавший Макар»). «Объявление о смерти» — первое название пьесы «Высокое напряжение», над которой писатель работает в это время. Но разоблаченный Иван-дурак, Иван-аспид, Иван-хитрец все-таки не умирает и воскрешается в это время в «Ювенильном море». В историософских прозрениях Умрищева, а также в его сентенциях по поводу своей жизни, реалии которой странным образом совпадают с веками московского периода жизни писателя, узнается платоновский автопортрет эпохи «отречений»:

«Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни — ведь все враги сейчас сознательны — и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова»; «Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения».

1 декабря 1931 года Платонов делает запись в альбоме писателя Г. Алексева: «На конце истории находится радость. Это пишет человек, на конце которого стоит смерть и которому, однако, все удалось успеть. А. П.»²¹.

1 февраля 1932 года Платонов выступит с творческим самоотчетом на собрании советских писателей (еще один документ, который нам подарило перестроечное время... для разоблачений писателя). Он скажет о «прогрессивно нарастающей ошибочности» в своем творчестве, о том, что масштабы «вредности» его мировоззрения критика просто еще не может оценить («...большинство моих рукописей не издано!»), что его «глубоко и мучительно тронула» статья Авербаха, а главное — ему трудно «прекратить... этот поток произведений, выходящих из меня», «поток», не имеющий «никакого интереса и пользы для революции», и т. д.²². Трудно понять, за что в этой яростной исповеди можно ухватиться, чтобы доказать радикальную ломку якобы сдавшегося писателя. Лишь на пространствах, пораженных духовной эрозией, мог произрасти подобный упрек. Пространствах выветрившихся и бесплодных.

1931—1932 годы по своей продуктивности могут быть сравнимы с 1927 годом, когда из грибницы блистательных повестей выросло монументальное здание «Чевенгура». В начале 30-х годов Платонов вышел к постижению реальности постчевенгурской эпохи. «Котлован» (1930) закладывал фундамент этого постижения. В конце 1931 года он создает «Ювенильное море», в 1932-м — «Хлеб и чтение». Параллельно с прозой идут драмы: «Шарманка» (1930), «Дирижабль» (1931), «Высокое напряжение» (1931—1932). В сентябре—октябре 1932 года как инженер Гипропровода Платонов ездит по районам Поволжья. Полная изоляция в литературной жизни, непрекращающиеся проработки, запрет всех публикаций и изданий — а он в конце 1932 года создает народную трагедию «14 Красных Избушек», рекем о страшных потрясениях русской провинции, о голоде народа, который принес «великий перелом». Никогда, пожалуй, Платонов столь резко не противопоставлял комедию советской литературы трагедии народа. Жанры столкнулись — теперь уже в жизни. Фарсовость Москвы, где проживают и играют в политику советские писатели Уборняк, Фушенко и Жовов, — и разрушенная, обезумевшая от идеологии и голода Россия. В финале пьесы ее лица и голоса развернуты к Москве, этой носительнице мертворожденных «градовских» идей. Развернуты голодом и людоедством, духовной и душевной смертью доверчивой Суениты, заплатившей безумием за невозможность соединить любовь к ребенку с дальними целями истории. А уста Ксении, чья измученная, но не убиенная в катаклизмах времени душа единственная противостоит в финале пьесы социальному року действительности, прошепчут и приговор: «Москва проклятая!»²³

Градовский сюжет завершился, проложив мост к главному герою этой трагедии — Москве, обрекая писателя на новый роман (в 1933 году он приступит к работе над «Счастливой Москвой»).

Заканчивалась первая пятилетка, центральные газеты и журналы подводили ее итоги и планировали темпы второй. Платонов заканчивал свою пятилетку трагедией. Это был духовный подвиг в масштабе большой русской литературы. «...могу ли я быть советским писателем, или это объективно невозможно», — спросит Платонов Горького в письме 1933 года. Горький не ответил. Еще в 1929 году он сказал Платонову — не только о судьбе «Чевенгура»:

«Не сердитесь. Не горюйте... “Все — минется, одна правда останется”.

“Пока солнце взойдет — роса очи выест”?

Не выест».

²¹ ЦГАЛИ, ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 94, л. 29. Разыскание Е. Шубиной.

²² См. «Памир», 1989, № 6, стр. 97—118.

²³ Цит. по рукописи и авторизованной машинописи (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 90). Как в зарубежном издании пьесы («Грани», 1972, № 86), так и в отечественном («Волга», 1988, № 1) эта фраза Ксении отсутствует.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Предварительные итоги XX века

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

*

ПОД СКРИП УКЛЮЧИН

1

Блики солнца играют на бегущей воде — всегда приятное зрелище. Выгребая веслами лицом к телезрителю, заслуженно уважаемый человек, мэр Петербурга, рассказывает о себе в дни годовщины августовской победы (роль его в тогдашних событиях общеизвестна — как и последующие усилия для упрочения российской демократии). Между делом упоминает о том, что и он был в коммунистической партии — потому что все активные люди там были... Плывет лодка, бежит вода...

Вот так, между двумя взмахами весел, нам сообщается прямо-таки пастернаковской строкой — «Это ведь может со всяким случиться!».

В автобиографической книге «Хождение во власть» этому тоже уделено всего несколько строк: «Я ни от кого (и прежде всего от себя) не скрывал, решившись на такой малопопулярный уже в то время шаг, что КПСС для меня прежде всего не политическая партия, а государственная структура...» (речь о первых горбачевских годах) — и одна фотография с подписью: «Перед моим выходом из КПСС...»

Вошел — вышел. Как все активные люди.

Кто эти «все»? Что такое «активные»?

...А. М. Емельянов, академик, с располагающим изможденным лицом русского мастерового начала века, объясняет с телеэкрана, как он только в 1990 году разобрался с Лениным. Улыбаясь, повествует он о том, как мы (кто же все-таки эти «мы»? Ведь это самостоятельный предмет размышления, а не словечко в скороговорке) читали у Ленина о душе собственника и душе труженика — и думали (опять-таки, видимо, все вместе), что это великое учение... (Не ставлю кавычки, не имея точной записи, но воспроизвожу почти дословно.) Теперь мы понимаем, что лишить крестьянина собственности — это сделать его люмпеном. Это значит, добавляет академик с чувством, что во втором поколении на землю будет уже наплевать.

Подождите, не уходите с экрана, позвольте вопрос: вы, человек академический, де й с т в и т е л ь н о вот так, по-ленински «двоедушно», смотрели всю свою сознательную жизнь на крестьянина? И как-то занимались научной работой, связанной с сельским хозяйством, будучи де й с т в и т е л ь н о убежденным, что надо вынимать душу собственника из крестьян? Это ведь самое важное — де й с т в и т е л ь н о или не действительно? В с ю жизнь? Нет, не могу поверить. Наверняка были минуты, часы, может быть, даже целые полосы сомнений. Как вы подавляли эти сомнения? Что вас поддерживало в этом борении?

«Да что вы от них хотите? В новое время они сделали свой выбор — вам этого мало? Опять будем требовать — «разоружайтесь», только не перед партией уже, а перед нами?»

Легко вообразить такие возражения, почти негодующие. Вопрошающего сегодня легко устыдить.

Повторю слова одного из ныне пишущих — они мне близки: «...я не собираюсь обличать большевиков... К тому же, благородное негодование и призывы к справедливости, обращенные в минувшее, не имеют ни малейшего смысла. В прошлое надо вглядываться, а не вперять укоризненный взор»¹.

¹ Владимир Медведев, «Нечаянная революция» («Дружба народов», 1992, № 1, стр. 164).

Но мы именно этого и не умеем. Или вперяем взор, или отворачиваемся. В отечественном общественном быту господствует закон исключенного третьего, к общественным явлениям вряд ли применимый.

Коммунисты были правящей партией в той стране, где я родилась, живу, которую считаю своей. Они правили этой страной семьдесят четыре года, и правление их было крайне жестоким и разрушительным. Сегодня в России не менее десяти миллионов людей, которые были членами этой партии. Но слышим мы только тех, кто «не поступился принципами», хотя именно их жизненный опыт, быть может, наименее интересен и поучителен.

Уже затвердевает мнение, что вот — прошел и окончился чудовищный социалистический эксперимент и мы уже принесли к ногам мирового сообщества все что могли, что получено в результате, — горы трупов, реки крови (почти буквально — если вспомнить кровотоковый желоб из Большого дома в Неву, показанный как-то с телеэкрана).

Но наш урок не кончен — мы его еще не преподали. История страны в ее фактах восстанавливается бурно. Но есть иная история — она на глазах опускается в небгтие. Люди, пробывшие в партии по десять, двадцать, тридцать лет, начали жизнь с чистого листа, перевернув — или вырвав? — листы предшествующие.

Феномена партийности мы, общество, не знаем изнутри. Хотя, казалось бы, «мне ли бриллиантов не знать»? Ведь партия пронизывала все, всю нашу жизнь. Но для людей непартийных это было скорее отвратительное ощущение чьего-то присутствия, чем знание. А каждый, кто имел партийный стаж, знает нечто о себе и о других — про себя. Но он не попробовал рассказать об этом и теперь старается как можно скорее забыть. Стираются в памяти человека и общества ценные свидетельства. Какими стимулами был движим, когда вступал? Какие причины, поводы, мотивы? Как возникало после приема это чувство — члена правящей партии? Чувство причастности, как любили говорить советские журналисты? Чувство ответственности? Ощущение подавления чьего-то в себе? Чего-то ценного ради еще более ценного — или было ясно, что речь идет о выигрыше? Когда чаши весов заколебались, появилось сожаление? Появилось ли? Было ли чувство раздражения к беспартийным коллегам («Захотели остаться чистенькими»), ощущение неравной с ними ноши?

...В начале 60-х он спрашивал меня в упор (что оправдано было давней близостью к нашей семье и десятилетней разницей в возрасте):

— А ты почему, собственно, в партию не вступаешь?

И не дождавшись ответа, продолжал (привожу дословно — такие нетривиальные речи в юности врезаются в память навсегда):

— Что, хочешь сначала наукой позаниматься? Не-ет, это параллельно делать надо. А то сейчас, понимаешь, много умников, которые на других хотят это перевалить. Один мой однокурсничек бывший тоже, смотрю, медлит. «Ты что не вступаешь?» — спрашиваю. «Да я как-то еще не созрел...» «Что, — говорю, — хочешь лучшие годы науке отдать? Нажить научный капитал, пока мы, дураки, тут стараемся? Так я тебя предупреждаю — с ейчас я тебе рекомендацию дам. А если ты тянуть будешь, выгадывать — через несколько лет уже не дам! Я твою расчетливость поощрять не буду!..

...Что же это за монстр? — спросят сегодня.

Нет, не монстр. Всю дальнейшую жизнь известен был среди коллег своей повышенной, далеко выходящей за обычный уровень честностью, живою преданностью учеников (она, как известно, зазря не дается), ни на йоту не циник, дерзко вступавший не раз в неравный бой с администраторами разных уровней — и чаще всего его выигрывавший. Сам он в партию вступил еще на пятом, кажется, курсе, уже с головой погруженный в научную работу, для которой имел два необходимых и достаточных качества: талант и усидчивость, — и к моменту разговора с однокурсником уже испытывал, думаю, сосущее чувство нехватки времени, отвлекаемого от письменного стола на дела партийные...

Так что ж он вступал туда, умный и честный? Чего ему не хватало, отнюдь не бездари, в середине 50-х? Подпорок, как многим? Ни в коем случае. Его научному будущему ничто не угрожало: отличник, комсомольский вожак, «пятого пункта» нет. Карьера как таковая его ни тогда, ни позже нисколько не интересовала — честолюбие его целиком лежало в научной сфере, а в ней он имел все основания преуспеть без подпорок.

Так чего же, чего ему не хватало? Что им двигало?

Да вот тот самый, теперь уже не знаю кому и понятный, а тогда имевший еще силу соблазн: «В надежде славы и добра/Глядеть на вещи без боязни. / Хотеть, в отличие от хлыща/В его существовании кратком,/Труда со всеми сообща...»

Помимо сугубо индивидуального, за личным письменным столом, профессионального (любимого! не дочкиного!) труда — еще и иного, совершаемого с о о б щ а, общественным... На пользу общества?

Вроде бы и да, но речь шла не о той пользе, которую каждый посылно приносит при естественном разделении труда, — о какой-то иной.

В. И. Даль пояснял: «*Общество* — собрание людей, т о в а р и щ е с к и, б р а т с к и (разрядка моя. — М. Ч.) связанных какими-либо общими условиями». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона — полвека спустя: «Никто, конечно, не отрицает взаимодействия, существующего между государством и обществом, но взаимодействие это понимается не как отношение целого к образующим его частям, а как отношение одного целого к другому. Государство и общество действуют друг на друга как две планеты, отделенные друг от друга пространством. <...> Общество, с точки зрения социологии, — это социальная жизнь народа, во всей ее совокупности, жизнь, которую живет народ частью в государстве, частью в многочисленных и многообразных союзах». Энциклопедическая статья заканчивалась словами: «Выяснение природы общества и взаимодействия между частями его и целым есть дело социологии будущего или политики, в истинном смысле этого слова».

Политика в истинном смысле слова не замедлила, и Словарь Ушакова — более прямой, бесхитростный, чем последующие, — первым значением слова выносит «совокупность определенных производственных отношений...», а вторым — «круг образованных, передовых людей страны; интеллигенция», и значение это помечено как «д о р е в о л ю ц и о н н о е» (1938). Появились новые и становящиеся все более важными словосочетания: «общественная работа», «общественное порицание», «общественный обвинитель», «общественный суд». А понятие «общество», и в общем и в частном смысле, в сущности, исчезло. (Ленин обосновывал это заранее: «Было время, когда слово «общество» все обнимало, все покрывало, выражало разнородные, просыпающиеся к сознательности, элементы населения или просто так называемых «образованных» людей». — ПСС, т. 20, стр. 379).

Общество слилось с государством. В системе идеологических понятий эпохи уже отсутствовали представления об «общественном мнении», «общественном настроении» и т. д. В Академическом словаре (1959) все значения слова, кроме первого («Совокупность людей, объединенных определенными отношениями, обусловленными исторически изменяющимся способом производства материальных и духовных благ»), отнесены к устаревшим или «не нашим» («2. *В дореволюционной России, в странах с классовым расслоением...*»). Помимо двух основных значений остается упоминание слова в значении «компания», «круг людей», «организация».

«Общественная работа» (недаром «общественные работы» — уже принудительные) — понятие, корни которого уходят в народничество, в насмешку российской прогрессивной журналистики над «теорией малых дел», над тем, как «барынька открыла школу...». Какое-то непереносимое насилие над собой. Непременное отсутствие конкретной, практической пользы. Особое, почти ритуальное действие.

Что-то относилось к общественной работе, другое же — нет. Недаром она называлась еще «нагрузкой» (как и «партийная» и «комсомольская») — что-то с в е р х, в том числе сверх очевидной пользы, сверх уловимого здравым смыслом.

Сегодня все это уходит в словарь советской цивилизации, но живыми эти слова не были уже на памяти нынешних старших и средних поколений. Два моих коллеги (их имена сегодня хорошо известны в мировой славистике) навсегда запомнили, как в середине 60-х на филфаке университета в одной из балтийских столиц комсорг курса на обсуждении «характеристик» энергично указывала на их общественную пассивность: «Совсем не вели о б щ е с т в е н н у ю р а б о т у!» Когда кто-то заикнулся про дельные доклады на НСО, горячо возразила: «Они же научной работой для себя занимались!»

Конечно, между моим собеседником, ярким ученым, и бездарной комсомольской деятельницей — пропасть. Им двигала активность личности, живое хотение — хотя, может быть, уже и надтреснутое из-за бессознательного отвращения к «партийным нагрузкам» с их трупным запахом, — и этим-то и подогревалась скорее всего агрессивность по отношению к «уклоняющимся», к увернувшимся от этой добровольной ноши.

Но оба демонстрировали действие одного закона, по-моему, бесспорного: в дурные эпохи природы активные и тяготеющие к труду «со всеми сообща» проигрывают, конечно, по крупному — этическому счету. Так получилось в России советского времени, что послужить о б щ е с т в у «заодно с правопорядком» было негде кроме как где-то вблизи комсомольского или партийного бюро. Под их облучением желающие послужить полагали качества своего личного темперамента общезначимыми, свой образ действий — образцовым, понуждали к тем же действиям других, пытались так или иначе манипулировать людьми. Многие вспомнят заразительность этого образа мыслей и действий. На другом полюсе в то же самое время находились те, кого тошнило от одного словосплетения «общественная работа», кто не имел (в силу особенностей личности и, конечно, семейного тона, уклада) тяготения к действию «со

всеми сообща» — и время от времени становился или едва не становился, как два упомянутых филолога, жертвой общественного темперамента других; в хрущевские времена это, слава Богу, не вело к тюрьме или казни.

Было такое ругательное слово — «индивидуалист». В университетские годы я припечатала им на собрании актив курсов одного из своих приятелей (после борьбы «чувства и долга», разумеется, и не без некоторого надрыва), затем в качестве бессменного редактора курсовой стенгазеты участвовала в тут же состоявшемся заседании комсомольского бюро курса, где выносился вердикт по поводу поведения двух «индивидуалистов» на военных сборах (то ли они там валялись на койках до обеда, то ли бродили по лагерю в расхристанном виде — уже не помню: обвинителями упоминалась, кажется, обмотанная ниточкой дужка очков одного из индивидуалистов — как пример какого-то особенного эпатажа), и голосовала за выговор, но про т и в его занесения в учетную карточку, в личное дело и характеристику (были такие три слова, обозначающие опорные для советского образа жизни понятия)... Впоследствии оказалось, что на факультетском комсомольском бюро (активнейшие члены нашего бюро составили через два-три года наиболее прогрессивную часть редколлегии «Нового мира» при Твардовском) занесли-таки в характеристику слово «индивидуализм», а так как дело было на пятом — выпускном — курсе, то потерпевший имел (как узнала от него самого спустя двадцать с небольшим лет) из-за этого сложности с устройством на работу, впрочем, по его мужественной оценке, не очень крупные. Для меня личный опыт искреннего, но предательства имел неоценимое значение и повлек за собой грандиозные последствия; не будь этого, время умственных и моральных потемок продлилось бы, несомненно, гораздо дольше; тогда же сосущее чувство, называемое угрызениями совести, беспрерывно растрavляя душу, проясняло сознание, что, в свою очередь, обострило угрызения, перешедшие в подлинную муку, а они повели ко все большей рефлексии над бедной собственными предрассудков и мучительному, но освобождающему уразумению в конце концов простейших основ человеческого общежития. Словом, годы — хотя благодаря злосчастному эпизоду и недолгие — были, пользуясь строками Наума Коржавина, незадолго до этого и писавшимися, «потрачены на постижение того, что должно быть понято с рождения».

Именно эти в точку попадавшие строки в завывающем авторском исполнении в одноэтажном деревянном домике на Преображенке, где жил тогда Стасик Рассадин и время от времени учил меня великодушно литературному уму-разуму (благодарно помню) и знакомил нас (А. Чудакова и меня) на своих застольях с замечательными людьми — Коржавиным, Окуджавой, Борисом Балтером, В. Войновичем — строки «Таньки», «Арифметической басни», поэмы «По ком звонит колокол», как и суждения этих находившихся на недосягаемом для меня уровне духовной зрелости людей, изменяли юное сознание, к счастью, уже подготовленное к этим переменам сильнейшим разочарованием в себе и в приобретенных в годы советского детства и отрочества ценностях, лишь частично сокрушенных 1956 годом.

Но об этом надеюсь рассказать отдельно и внятно. Сейчас речь о слове и понятии «индивидуалист». Пострадавший от своих же сотоварищей — давно уже известный профессор; круто изменив — и даже, пожалуй, не однажды — свою судьбу, очень и очень переменившись, он, однако, как выяснилось с годами, сохранил (а как могло быть иначе?) тот самый в сердцевине своей склад личности, за который и был когда-то осужден своими суровыми не по годам сокурсниками и сокурсницами. И когда я спросила нынешнюю его (совсем-совсем другую, чем я когда-тошняя) коллегу: «Можете вы мне в одной фразе сказать, чем сейчас занят К.?» — она ответила, что хватит и одного слова: «Собой». Но, к счастью, это — давно уже его в прямом (а не в советском) смысле слова л и ч н о е д е л о, то есть его самого и его близких. И наше воинственное и опасное морализаторство для него — в далеком прошлом.

Тогда, в конце 50-х, в России происходило становление с к е п т и ц и з м а.

На тогдашнем филфаке он плескался уже на романо-германском отделении (в ту пору не сокращенном еще в нынешний ромгерм), проявляясь волнами иронии, старательного доморощенного снобизма и той подчеркнутой сосредоточенности на внешнеобщественно-научном (особенно — усердном изучении языков), которая у комсомольцев-энтузиастов получала кличку «эгоизм» (см. примеры, приведенные ранее), — плескался, затекая и на русское отделение.

Боря Сухотин, сын профессора Сухотина, известного лингвиста, сидя со мной на каком-то общекурсовом собрании на задних скамьях амфитеатра (недавно, увы, его разрушили — незаконно и совсем напрасно) обширной Коммунистической аудитории аудиторного корпуса на Моховой, тихо смеялся, слушая про не помню уже какие только-только обнаруживавшиеся ужасы нашего прошлого (длилась оттепель). Я спросила сурово: «А почему ты смеешься, Боря?» Его темное, какое-то немолодое лицо продолжало улыбаться. Он ответил: «Приятно поплясать на развалинах своего отечества». «Это цинизм! Я с тобой больше не разговариваю!»

Нам и правда как-то не пришлось больше разговаривать — ни до недалекого уже выпуска, ни после. Недавно я узнала, что он умер. Темный, нездоровый цвет лица — лица усталого и какого-то дореволюционного российского горожанина — был, может быть, свидетельством уже тогда гнездившейся в нем болезни. Прости, Боря Сухотин.

«Многое зависит от воспитания.

Всякое воспитание человек может в себе преодолеть. Труднее всего — отойти от самого себя. Тот, кто этого не думает, тот просто не был самим собой» (А. Есенин-Вольпин, «Свободный философский трактат», 1959).

Подобно Эваристу Галуа, автор трактата имел несколько часов для краткого изложения своих взглядов — не перед дуэлью, а, как можно понять, ввиду неожиданной, в те годы еще очень редкой okazji для передачи рукописи на Запад. Он подверг систематизированной критике, очень ясной и очень убедительной, множество ходячих квазиистин марксизма — писал, например, об «очевидном заблуждении так называемого исторического материализма, который видит в экономически возникающих отношениях основу всех остальных, в частности, основу моральных и юридических отношений», утверждая, что «это неприменимо, например, к советскому обществу, в котором сильная государственная власть может менять экономический строй с аграрного на индустриальный. Как же она может при этом оставаться «надстройкой над экономическим базисом»? У марксистов есть софизмы, при помощи которых они пытаются затушевать этот парадокс — или, лучше сказать, самообман. Они известны. Скажу только, что если они сами будут верить в свою теорию, то погибнут от собственной слепоты».

Под беспощадным светом ясного взгляда человека, областью профессиональных занятий которого была математическая логика, разваливались постулаты догматического марксизма. «Не могу не связать по поводу каламбурного определения «свободы» как «осознанной необходимости». Получается, что, если я сижу в тюрьме, то я не свободен только до тех пор, пока не «осознал», что не смогу выйти, — и вот когда это пойму, то сразу обрету «освобождение»...»

На последних страницах трактата автор, торопясь («...я должен кончать»), переходит уже к постулированию некоторых своих представлений. Кто помнит себя и своих друзей в 1959 году, тот способен понять стоимость этих простейших, казалось бы, суждений в ценах того года.

«Я против моралистических норм, воспринимаемых как догмы, — в чем бы они ни состояли. Но есть естественные нормы, необоснованный отход от которых меня в большей или меньшей мере возмущает.

Прежде всего важно быть честным. Это значит: не врать и не становиться предателем. Иногда это требует мужества, которое надо иметь. Остальное — приложится».

«Ни государство, ни культура (последнее ограничение и сегодня звучит достаточно актуально. — М. Ч.) не должны иметь власти над убеждениями отдельных лиц!»

«Я писал наспех. <...> Многое здесь не ново, но в России каждый студент, который своим умом дошел до философского скептицизма, может считать себя Колумбом. <...> В России нет свободы печати — но кто скажет, что в ней нет и свободы мысли? Москва, I/VII — 1959»².

В предисловии к этому трактату (который тут же был отправлен на Запад и через полтора года опубликован там — вместе со стихами автора — на двух языках) издатель книги Ф. Прегер писал: «То, что вульгарный жаргон советской публицистики называет «нигилизмом», на самом деле является явлением неизмеримо более глубоким и решающим. Не опустошенность «экзистенциалистической» молодежи Запада, а до конца идущий скептицизм, требование переоценки и переосмысления всех постулатов прошлого, требование ничего не принимать на веру. Это — совершенно закономерная реакция мыслящей и стремящейся к свободе личности против уже совершенно окостеневшей и мертвящей догмы: не только против социально-экономической теории и практики марксизма, а прямо против самих основ миропонимания, на которых зиждется эта теория и практика»³.

Трактат не получил тогда широкого хождения — и не дал импульса к выработке того целостного ревизирующего мировоззрения, недостаток которого у людей пишущих, высказывающихся публично на общественные темы, сохранился на два с лишним десятилетия — и с резкостью сказался в начальные годы новой эпохи.

От 1956 года пролегло несколько разных дорог. Одни с отвращением и саркастическим смехом отпрянули от всего «общественного», не видя нигде в стране чего-то общего с собою лично. Другие метались, сиюсь найти русло для своего персо-

² A. Y e s e n i n - V o l p i n. A Leaf of Spring. N. Y. 1961, pp. 162, 140-141, 164, 168, 170.

³ Ibid., p. 98.

нального тяготения к «труду со всеми сообща», и попадали в мертвую зону, а дальше — дальше уже приноравливали свое умозрение к своему положению, например, п р и н ц и п и а л ь н о не читали появившийся вскоре самиздат и тамиздат: боялись, собственно, освещения темных углов своего сознания, — углов, позволявших оставаться хотя бы в худом мире с самим собой.

Многие из тех, кто не был «индивидуалистом» по складу личности (сложившемуся в советское послевоенное время!), пошли после 1956 года в партию — иного пути в общественную жизнь, повторим, в России давно уже не существовало.

2

— Можешь ли ты вспомнить, почему ты вступала в партию? (В тот год — 1958-й — ей было около тридцати лет; теперь, в 1993-м, давние добрые отношения позволили мне задавать ей прямые вопросы, и она согласилась отвечать на них, отнесясь и к этому с органичной для нее добросовестностью.) Как ты самой себе это объясняла?

— Я не представляла, что я не вступлю. Мне казалось, что я тогда буду за бортом. Мне было бы горько, что я буду отброшена.. Это была бы неполноценная жизнь.

— А когда ты начала разочаровываться в партии?

— В брежневское время. Это омерзительное лицо, которое у всех нормальных людей отвращение вызывало... Вот это все действовало уже... Но я и тогда думала, что сама идея правильна.

— Какая именно идея?

— Идея справедливости — вот что привлекало.

— Но ведь видно было, что справедливости — не получается?

— Думала, что что-то мешает. Люди не хотят работать. Как-то я прочла — кажется, в «Известиях» — убедительную статью: что нам мешает. Она на меня подействовала. Я много думала над ней. Там на первый план выдвигались транспортные дела — огромные расстояния, плохой транспорт. Там объяснялось, как трудно вообще управлять такой огромной страной. Это казалось убедительным.

— Тебе не кажется, что с какого-то момента ты просто притерпелась, привыкла, что ты в партии, и уже не подвергала сомнению все с этим связанное?

— Притерпелась? Нет... Я пыталась для себя выяснить. Я знала, что многие относятся уже скептически, иронически... Я была парторгом. Наша парторганизация была небольшая — человек девять в двух отделах. Меня многое все-таки отталкивало. Меня отвращал райком, семинары — как будто для дураков. Обязательно в субботу или в воскресенье. И надо было уезжать из дому, ехать туда. Сиделись вразброс по залу, но нас заставляли сесть плотнее — чтобы мы не рассредоточивались, а все сидели впереди. Я даже спорила: «Я не хочу весь день просидеть плечом к плечу...»

— Что же все-таки вас с Д. (ее мужем, крупным ученым, вступившим в партию в аспирантуре в 1954 году) раздражало в существующем уже обществе, где ваша партия была все-таки правящей?

— Когда мы ездили на юг — вот эти зоны закрытые, все это раздражало. А один раз попался спутник в поезде, из крупных работников. Мы разговаривали всю дорогу. Он откровенно сказал: «Да, у нас есть уже коммунизм. Но не для всех — для передовой части». Это было при начале Брежнева. Вот это как-то запомнилось, мы потом возвращались к этому... (Сами они никогда не пользовались привилегиями, жили вполне аскетической жизнью людей науки.) В те годы часто уже бывало стыдно, что я причастна...

— А Чехословакия — вторжение как-то на вас подействовало?

— Нет, я тогда еще верила.

— Во что?

— Ну, во все! — Смеется. — Что т а к н а д о. А Польша — я как раз была там в это время... во время событий... Мы были вдвоем с одной приятельницей... И вот мы настолько не понимали, что происходит, что просились, как идиотки, в Гданьск. — Смеется. — Поляки, которые нас принимали, к нам очень бережно относились... Они нас прятали; просили по-русски не говорить... Я тогда понимала эти волнения — их возмущение. Но мешали просто свойства, что ли, людей... У них ведь очень много фанатерии. И это затмевало — прикрывало — действительное, к чему они стремились. Потом — они были очень озлобленные. В те годы я часто ездила в командировки в Прибалтику. Вот там я очень переживала. Они очень горько воспринимали все н а ш е — и было стыдно. Их я больше понимала, потому что не было преграды этой польской гордости, озлобленности... Но вообще мы с Д. еще в начале восьмидесятых уговаривали нашего сотрудника, способного человека, вступить в партию: «Иначе тебе хода не будет!» И даже в те годы я все-таки стремилась находить в самой идее что-то правильное. Да и все ведь, все руководство было в

партии. Завотделом, замзавотделом... Райком давал нам инструкции — осуществлять руководящую роль партии...

— Ведь вы специалисты? Зачем вам были нужны инструкции, инструкторы?

— Но ведь многие просто не хотели работать... Или шалай-валяй работали. Мы собирали партхозактив... Ну, и пытались... пытались наметить пути.

— Разве не могли бы вы все это делать без райкома? Ведь вы сами прекрасно знали, что надо делать. Какие пути вам могли указать невежественные инструкторы? Тебя не удивляло, что в райкоме — только такие люди, которых ты никак не могла бы искренне уважать?

— Но общий принцип казался правильным. Ведь с т и м у л о в не было! У нас не было возможности просто так заставить людей работать... Руководители ведь все были партийные. Мы назначали им с р о к — и они должны были действовать. Можно было вызвать их на партсобрание, на партбюро. Эта система была, не скажи, эффективной. Партийную ответственность люди ощущали в себе.

— Наверно, внешне — перед бюро, перед райкомом?

— Нет, многие — в д у ш е.

— Поясни, пожалуйста, что это было за чувство — в д у ш е.

— Это как-то подтягивало...

— Как ты себя на это настраивала? Ведь ты и по природе человек ответственный. Как это твое качество относилось к партии?

— Старалась хотя бы не подавать плохой пример.

— Беспартийным?

— И беспартийным и партийным. Больше все-таки это было с в о е чувство. Не то что кто-то п р и т я н е т. Было неудобно перед своими. Понимаешь — когда к ч е м у - т о п р и з ы в а е ш ь л ю д е й, то уже неудобно самому не делать этого. Я из-за этого ушла в конце концов из парторгов. У меня были большие переживания — я не могла ездить в колхоз, а тогда каждую осень ездили, как ты помнишь, наверно. И мне неудобно было призывать других — я очень мучилась. Вообще же в партии можно было что-то делать нужное. У Д. в институте в парторганизации было много хороших, честных людей. Там так сложилось, что все хорошие люди были в партии. И они оказывали свое действие на администраторов. Ты же знаешь, какая была администрация в институтах, вообще в научных, культурных учреждениях. Мы тоже своего замдиректора разбирали на партсобрании — по моральной части. Бахвал был ужасный.

— Только по моральной? Речь шла только о каких-то неприятных свойствах личности — или это как-то сказывалось в служебных отношениях?

— Нет, не только моральное... Он действительно п р е в ы ш а л... Использовал свое служебное положение, очень плохо обращался с людьми. Но это было связано с чертами его личности.

— То есть можно было говорить «о моральном облике коммуниста»?

— Да... Но вообще — недовольство мое тем, что происходило, накапливалось... Мы, конечно, многого не знали, но многое отвращало... И когда стали вскрывать все язвы, я была очень рада. Это я твердо могу сказать. Не то что — «ой, ужас, зачем это делать!».

— Ведь Д. — человек замечательного ума. Неужели он не видел с а м того, что потом вскрывали?

— Ты же знаешь, мы не читали никогда самиздат... Только «Доктора Живаго» мы прочли, но уже позже. Д. — понимаешь, он все время балансировал. Он боялся, что закроют его т е м у, — ты знаешь, под каким обстрелом всегда было то время, которым он занимался. Его работа для него самое главное. Он не хотел подвергать ее опасности. Ведь когда один его сотрудник — из его сектора — остался за границей, что тут началось! Тут же он испытал такой нажим — начались проверки научных тем сектора... Дирекция хотела свести с ним счеты.

— А сейчас?

— Сейчас он вообще не читает газет, не смотрит телевизор. Мы с ним очень переживаем — за Ельцина... А об экологии и о преступности — об этих двух темах я вообще не могу читать. Я просто начинаю болеть. Я действительно страшно переживаю все это.

— Как менялось ваше с Д. отношение к Ленину? Раньше он умел находить у него важные мысли в подтверждение своих тезисов.

— Мы с Д. всегда очень не любили м е т о д о л о г о в — ты знаешь, мы ценили конкретный материал, конкретный анализ. Они нас раздражали — в семидесятые годы аспиранты наши всем этим заражались, было такое поветрие... И нам кажется, что у Маркса тоже это есть — схематичность. Где-то и Ленин схематичен.

— Ты никогда не сожалела, что оказалась в партии, что это было напрасно?

— В моем случае где-то это было напрасно... Вообще мне всегда казалось, что сама

идея хорошая, а вокруг — шлак... Гласность — это было как воздух. Вот в эту затхлую атмосферу — свежий воздух...

— Что тебя поддерживало, когда ты видела, что кругом — шлак, затхлость?

— Твердая уверенность, что ты приносишь пользу.

— Не было у тебя чувства, что ты приносишь пользу, но в самой себе подавляешь что-то важное, совершаешь насилие — над своей душой, даже умом? Я хорошо помню, что было для меня одним из главных препятствий, когда меня звали в партию — полтора годами позже твоего вступления. Я поняла, что если на партийном собрании большинство проголосует, что черное — это белое, то я, выйдя в коридор, уже должна буду говорить беспартийным: «Да, товарищи, это — белое!»

— Но Д. всегда удавалось убедить других, что белое — это белое! Он умел т а к воздействовать на людей на этих собраниях. И он сумел в этих условиях остаться л и ч н о с т ь ю.

Для моей собеседницы и ее мужа сделанный когда-то в ы б о р (хотя, как видим, у нее — почти рефлекторный) оставался значимым — или скорее воздействовал на их мирозерцание, на жизнь личности, п р и с п о с а б л и в а я к себе то, что могло бы выбиться за границы выбора и в конце концов отменить его. Можно было бы сказать, что постепенно личная ситуация осознавалась как сделанный в ы б о р, которому сохранялась верность до тех пор, пока события последних лет не взорвали его, поселив в душе сомнения, повернув к размышлениям об уже совершившейся жизни.

Для тех, кто вступил в партию пятнадцать — двадцать лет спустя, все, о чем вспоминала, стараясь мне помочь, моя собеседница, изначально не было значимым — и так и вплыло, в неброском, незначимом облике, в 80-е, а затем и в наше посткоммунистическое время.

— Вы были в партии?

— Ну да, — с запинкой и женственной улыбкой отвечает Е. Ей тридцать семь лет, выглядит она на десять лет моложе; ее жизнь изменилась в последние годы — в ней открылись способности к историко-литературной работе, живая исследовательская интуиция. Она уверена — а может быть, убеждает себя, или меня, или обеих, — что недавнее прошлое скатилось с нее как с гуся вода. — Ну да, была в партии, то есть имела билет. Ну какое это имеет значение? — И сама же отвечает: — Никакого.

— К а к о е - т о значение, наверно, все-таки имеет?

— Ой, ну что вы! Что вы! Просто платила взносы, больше ничего. Ну нет, вы это просто не понимаете...

— Но вы же в с т у п а л и в партию, своей рукой писали заявление?

— Ну и что, ну писала... Я же кончила журналистику, работала в редакции газеты. Там же необходимо было быть партийной. Но это же не имело а б с о л ю т н о никакого значения! Вы просто не понимаете...

— Вы же сидели на собраниях, принимали участие в обсуждении, за что-то голосовали...

— Ну и что? Ну, что-то обсуждали... Но ничего такого о с о б е н н о г о не обсуждали.

— Разве для вас совсем не имеет сегодня значения, что вы были членом правящей партии — значит, несете какую-то личную ответственность за происшедшее?

— Да каким там членом? Какой правящей?

— Разве вы не чувствовали, не замечали определенную — пусть хоть самую малую — свою привилегированность как члена правящей партии?

— Ой, ну что вы?! Ну какие привилегии? — Большие глаза смотрят с неподдельным изумлением и некоторой обидой. — Вы просто не понимаете...

— А когда вы вышли из партии? И как?

— Ну, не помню... Ну, когда в с е э т о происходило, когда в с е стали выходить... Перестала платить взносы. Какое это имеет значение?..

В общении с ней, в беседе на научные даже темы с какого-то момента начинаешь чувствовать неясное неудобство. Какая-то уплощенность. Стертость, безрельфность морального фона — будто выключена та сеть, в которой параллельно людскому общению и личным нашим действиям и бездействию, помимо воли и непрерывно мигают хотя бы слабые сигналы «хорошо—плохо», «по совести—против совести». Естественная, как аппетит, озабоченность своими целями. Полное отсутствие (в отличие от некоторых из старших ее товарищей по партии) интереса к общественным, политическим вопросам. Настолько полное, что нет и скепсиса — просто гладкое место там, где должно размещаться что-то мирозерцательное, «идейное» (скоро, будем надеяться, это слово можно будет употреблять без кавычек, как в начале нашего века). Тот самый «индивидуализм»? Но индивидуалистов начала 60-х, как и их младших выучеников 70-х, никто бы палками не загнал в партию.

В феврале 1992 года на заседании правления «Московской трибуны» (свободного клуба московской интеллигенции) обсуждался вопрос о подготовке общественных слушаний о КПСС, об ее ответственности перед своим народом, перед человечеством. Спорили — «суд» или «слушания»? Один из членов правления, известный публицист новейшего времени с постоянным антифашистским пафосом, предложил:

— Нужен суд над правящей кликой, а не над партией. И нужно назвать поименно тех, кого мы будем судить, чтобы они уже сейчас чувствовали, что над ними занесен топор. (Это была, конечно, метафора — никакo не жестокого приговора Н. в виду не имел, но столь сильные слова являлись не случайно.) Я отделяю клику от рядовых не потому, что сам был среди рядовых членов...

— А вы разве были в партии?

Все молча повернули головы в мою сторону. Возникла классическая немая сцена, длившаяся всего несколько секунд, но очень выразительных. Пытаюсь передать доподлинный ее характер, совсем не стилизуя, потому что здесь важна точность, а не словесная игра. Возникло ощущение, что я сделала какую-то бестактность — коснулась, скажем, фамильной тайны, о которой не принято говорить вслух, особенно в присутствии посторонних. На лицах недавних коммунистов (а ими, собственно, как сразу же стало понятно, оказались почти все присутствовавшие) была тревога, тень страдания и укор. Им стало неловко за человека, тронувшего то, чего не надо бы касаться, — настолько все это сложно, что лучше забыть. Лица же тех двоих, которые, по моему предположению, коммунистами не были, имели выражение любопытства и аналитического (там собрались аналитики) интереса к человеку, заговорившему о неудобосказуемом («Это правда, что от вас жена сбежала?»).

После еле заметного утвердительного кивка вопрошаемого (примечательно и то, что здесь его дар речи ему изменил) никто не проронил ни слова. Тишину прервала женщина (социолог по профессии), не сумевшая в отличие от мужчин справиться со своим раздражением. Я услышала странный текст:

— Хорошо, что вам т а к п о в е з л о (!), что не только вы, но и ваш муж не был в партии. А у большинства трещина прошла через семью! Коснулась близких! Это — драма!

«Повезло». Так одна моя знакомая первоклассница говорила матери: «Тебе везет: ты отличницей была!»

Так весной 1984 года, размышляя вслух над тем, может ли он мне как-то помочь (тогдашний директор ГБЛ Н. С. Карташов готовил мое увольнение), один добрый знакомый, либеральный театральный критик, сказал с симпатичной непосредственностью:

— Тебе хорошо — ты беспартийная!

— Ты же знаешь — я всегда умела устроиться.

Но вернусь к социологу. П о в е з л о — то есть схема такая: все жили в одной и той же ситуации, все были одинаковые, никто не был хозяином своей судьбы, все в равной степени были в тисках обстоятельств. Свирепствовала эпидемия — набор в партию. И с одними «так случилось», что они туда «попали» (в тифозный барак). Другим же повезло — проскочили. Тем, попавшим, было труднее т о г д а, труднее им и теперь — им не повезло.

... Укоризненный или раздраженный взгляд каждого из участников описываемого маленького эпизода говорил и о том вкладе, который внес в свое время каждый в утверждение общественного представления о н е з ы б л е м о с т и существовавшего режима. Каждый, вступив, далее как бы ежедневно демонстрировал окружающим эту неизбежность, поскольку — «если бы эта система могла измениться, р а з в е б ы я в с т у п и л? Вы же понимаете!..».

Сегодня стремятся продлить конвенциональные отношения, достижения своего пика к концу 70-х: «Но вы-то понимаете!..», «Но мы же все знаем, что — ...». Что? Чтó — что?..

Я не знаю, кто — «мы», и не знаю — «что».

Огромный период жизни страны слит в одно нерасчлененное пятно, огромный народ — в единое «мы», делавшее и думавшее нечто единое: «Т о г д а (т. е. с 1917 до 80-х. — М. Ч.) мы думали так...» Это Андре Жид писал с удивлением и ужасом в 1936 году: «...когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу...»

«А что мы могли сделать?» — «мы», общность людей в одних обстоятельствах.

Итак, общие обстоятельства, одинаковые поступки. Потому что хорошо известно бывшим марксистам, что именно «бытие» (оно одно!) определяет сознание. У народа, состоящего из т а к и х людей, действительно нет истории. К счастью, это не так

Конвенция — отвратительная и в те годы — расторгнута. Нелепо ее подновлять. Но круговая порука тех, кому «не повезло», мешает осмыслить личный и общий духовный опыт. То, что не подвергнуто осмыслению, не становится опытом — остается проишествием. Множатся на страницах книг, на телеэкране сообщения об ужасных фактах отечественной истории XX века, но расплзается, тает опыт жизни множества людей, составлявших партию.

Для многих пребывание в партии было двусмысленным с самого начала. А для тех, кто вступал после середины 60-х, — пожалуй, в большинстве случаев (говорю, конечно, о тех, для кого осознание своих действий — привычное занятие). В конце 80-х (вплоть до августа 1991 года) они освободились от своих партбилетов с облегчением — и постарались поскорее их забыть: в доме повешенного не говорят о веревке. Но этим молчанием добавили двусмысленности в нашу общественную атмосферу. Действует закон сохранения вещества: сколько от одного отнимется, столько к другому прибавится.

Возможно, им и стало легче, но нам всем как рождающемуся гражданскому обществу — труднее.

Но и не всем умалчивающим — легче.

Не потому ли такая высокая нота господствует в нашей публицистике? Повышенным тоном, срывающимся в крик, стремятся нередко что-то заглушить в себе самом. Сегодня это, кажется, ощущение многими двусмысленности текущей своей ситуации.

Внимание публики к интеллигенту, читающего — к пишущему держится исключительно на доверии. Внимание специалиста к статье другого специалиста обеспечено научным рейтингом. Взаимоотношения публицистов с публикой целиком строятся на доверии. Сегодня оно в значительной степени подорвано, поскольку за резким переходом от одних (до 1985 года) статей к другим не ощущается какого-либо душевного усилия субъектов этого перехода, вершковой хотя бы глубины душевной драмы.

Доверие — совсем не эфемерная, не абстрактная, а очень реальная вещь, это одна из важных политических категорий, одна из основных социальных скреп. Доверие к одному банку, а не к другому; доверие к данному издательству — оно известно своей солидностью, не скалтурит, не издаст книгу ниже определенного уровня; доверие к государственному деятелю, к правительству.

Трудно верить автору, в серьезности личного душевного опыта которого сомневаешься. Человек, не продумавший беспощадно свой собственный путь, вряд ли может предложить продуктивный вариант пути огромной страны. И это не просто моральная невозможность (меньше всего хотелось бы морализировать), а, пожалуй, интеллектуальная. Подлинная рефлексия, добросовестная саморефлексия сама собой приблизила бы пишущих к формированию общественной идеологии (которую сейчас не формирует, в сущности, никто — кроме тех, кто вовсе непригоден для этой роли) — долгу интеллигенции. Она, эта рефлексия, не отняла бы волю к действию (вопреки расхожему мнению), а, напротив, дала бы наконец уверенность в себе (разрушенную в настоящее время тотальной закомплексованностью) и, как следствие, силу.

— Каждое утро он начинал новую жизнь. Когда я говорила с укором о том плохом, что он сделал накануне, он смотрел на меня удивленными ясными глазами: «Но я же сегодня начал новую жизнь!» Он считал, что его решение автоматически стирало то, что он натворил в «прежней» жизни. (Из рассказов о неудавшейся семейной жизни.)

«Никогда не поздно начать жизнь заново» — еще одно расхожее представление, насаждавшееся в нашем общественном быту. Об очень больших сложностях такой ситуации — о необходимости, так сказать, специальной процедуры — обычно умалчивают.

На наших глазах множество публицистов в течение последних семи лет каждый квартал начинали жить заново — забывая об обязательной для пишущего процедуре пояснения своего пути от недавно высказанных воззрений к сегодняшним.

Прошу извинения за длинные цитаты.

«Наши классовые оппоненты, а иногда и друзья-коммунисты, перечисляя наши действительные или мнимые недостатки, ставили нам в вину несовпадение каких-то сторон нашего строя с тем, что предполагали Маркс, Энгельс, Ленин. Вроде бы то, что есть, не социализм. В ответ мы говорили примерно так: это и есть реальный социализм, он хорош, и мы им гордимся. Однако в соответствии с принципами историзма следовало бы учесть также и следующее. Социализм как он есть неизбежно отличается от первофеномена, от начального состояния. И в какой-то мере естественно его отличие от тех идей, замыслов, которые питали нашу изначальность».

Итак, изначальные «наши» идеи хороши; воплощением гордились не совсем правомерно, но отличие воплощения от замысла — естественно и неизбежно.

«XXVII съезд КПСС был действительно революционным съездом по главному своему настроению. Потребовалось возродить наши надежды, нашу трудовую деловитость, нашу способность быть верным идеалам. <... > Мы — правящая партия, внутри страны нам ничто не противоречит и не угрожает, кроме нашего собственного самодовольства и косности». Комментариев практически не требуется.

«Еще одна важная проблема: обращение к прошлому с классовых марксистско-ленинских позиций. Нам предстоит внимательно осмотреться и продумать, все ли наши ориентиры в этом отношении исправны на сегодня, не применялась ли к некоторым из них, например, к законной нашей гордости прошлыми заслугами нашего народа, слепящая национальная спесь? Не окрашивается ли иногда чувство советского патриотизма в трехцветные оттенки дооктябрьских великодержавных раскрасок? В наших публикациях и в литературе последних десяти лет был стход — и не как случай, а в массовом порядке, — о т х о д о т к л а с с о в ы х , а п о р о й . . . д а ж е и о т д е м о к р а т и ч е с к и х т р а д и ц и й , ч т о о т п е ч а т а л о с ь и в о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и . С т а л а с о з д а в а т ь с я и д е о л о г и я , п о л у ч и в ш а я о ч е н ь с и л ь н у ю п о д д е р ж к у в н е к о т о р ы х к р у г а х , з а м е ш а н н а я н а в л е ч е н и и к т а к н а з ы в а е м ы м «сильным личностям». Это очень серьезное явление особенно усилилось в 70-е годы. На наших глазах осуществляется «научно-исторически» оформленная проповедь внеклассового псевдопатриотизма, а то и просто национализма».

Не укреплялось ли, однако, влечение к «сильным личностям» и национализму именно этими способами идеологической с ним борьбы?

«И наконец, еще одна задача наших встреч — рассказать о героях Октября и гражданской войны. Эти люди были и будут, я уверен, служить еще примером, образцом для подражания».

Эта уверенность высказана в печати (широкой — научно-популярной) осенью 1987 года. Вскоре автор — один из самых энергичных деятелей и ярких публицистов периода перестройки — писал обо всем этом иначе. Но номер популярного журнала был прочитан сотнями тысяч. Он остался в домашних и публичных библиотеках. Мне не хватает такого текста этого автора, где было бы ясно сказано: что в этом выступлении осени 1987 года было данью политике момента, что — вполне соответствовало тогдашнему мировоззрению автора (кстати, я имела случай незадолго до начала нового периода убедиться в том, насколько либеральнее и смелее своих коллег-историков был этот человек), каковы были этапы изменения тех взглядов и той уверенности, которая выражена была в цитируемом тексте.

«Значит, все-таки — требуется «разоружиться»?..»

И еще раз объясняю — нет, не о том речь. Но нельзя было всей страной каждый день начинать жить заново.

В одном из романов Фолкнера мальчик совершает в течение нескольких дней тяжелые поступки, и они гнетут его, он не знает, как снять их бремя. «Я лгал», — говорит он своему деду и просит: «Так сделай что-нибудь. Что угодно. Только сделай». А дед отвечает, что не может ничего сделать. «Но ты можешь». Мальчик хочет, чтобы дед помог ему все это забыть. И слышит в ответ: «Ничто никогда не забывается. Ничто не утрачивается. Оно для этого слишком ценно»⁴.

Бесперывным усилием забвения наше прошлое обесценено. Люди с головой окунуты в него как в помойное ведро — с закрытыми глазами.

На протяжении нескольких лет постоянные авторы ведущих газет с не слабеющей страстностью утверждают новый этап своего мировоззрения — мы слышим инвективы прошлому, настоящему и будущему. Но неужели они совсем не испытывают потребности как-то обозначить этапы своей собственной «старой» жизни, своей идеологической биографии? Ведь жизнь — была. Разве не нуждается она в осознании? Разве не в этом она в первую очередь нуждается?

Обращусь еще раз к тому, что писал Александр Есенин-Вольпин в умственно смутное для многих (для меня в их числе), но не для всех лето 1959 года: «...мало ли процессов происходит в нас не для того, чтобы мы о них потом рассказывали или вспоминали. Многие явления определяются не целями, а причинами — и в этом случае могут ускользнуть от регистрации в сознании. И если речь идет о процессах, хотя бы и психических, но таких, которые заведомо не послужат предметом рассказа, то с какой стати они будут осознаны? Может быть, и интересно было бы их осознать, но в силу упущения или слабости интеллекта мы не в силах этого сделать. Направив

⁴ «Похитители» (перевод В. Гольшпева). Прошу извинения у читателей моей книги «Беседы об архивах» за то, что позволила себе повторить однажды использованный пример.

внимание внутрь своей души, мы кое-что сумеем там заметить и путем анализа попытаться выразить в языке — но это удастся лишь в предположении, что эти явления грамматически сводятся к тем, о которых мы умеем говорить. <...> Неосознанная тенденция является неуязвимой и потому может разрастись до потрясающих размеров, оставаясь не замеченной рассудком. Считая, что добились победы над какой-то тенденцией, мы утверждаем противоположную ей, — но прежняя исподволь продолжает развиваться. Если мы не знаем этого процесса, нас должен поразить тот взрыв, который может наступить»⁵. Не предвствия ли этого в о з м о ж н о г о (но совсем не обязательного) взрыва пугают сегодняшних публицистов-идеологов, заставляя их все громче и громче говорить о грядущих бедах и все глубже и глубже загонять во тьму подсознания то, что и готовит в к о н е ч н о м с ч е т е этот взрыв?

Не следует ли исходить из предположения, что происходившее внутри нас в минувшую эпоху по большей части сводится к тому, о чем мы «умеем говорить»? Умеем — но не хотим применить это умение?

В современной демократической печати (иную оставляю сейчас в стороне) господствует самый верхний слой сознания. Все неповерхностное как бы перемещено в сферу невыразимого — искусственно расширяется область подсознательного. Боязнь п и с а т ь на болезненную тему («Презирать суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно») ведет к тому, что о ней и не думают. Автор трактата 1959 года, думаю, прав: если принять, что какие-то явления нашей внутренней жизни заведомо не послужат темой для описания, «то с какой стати они будут осознаны»?

Наша печатная (и аудиовизуальная — телевизионная) жизнь свидетельствует (а ее свидетельства в современной цивилизации — основные), что «советское» осознано до сих пор главным образом на внешнем, фактическом, политическом уровне. Результаты индивидуальной (а иной она быть не может) работы над более глубокими слоями отсутствуют.

Мы узнали немало духовных биографий узников лагерей — от бесхитростных, но зато лишенных двусмысленности повествований до глубоких, аналитических сочинений. Но те, кто был на свободе, плотно задвинули ящички своего прошлого — они занялись борьбой, очень нужной, но от этой «задвинутости» все менее эффективной. Закомплексованные собственным прошлым, современные идеологи — недавние коммунисты — боятся вообще обернуться назад, взглянуть в нашу недавнюю историю. Приняв на себя добровольный обет молчания о с в о е м прошлом, они воздвигли преграду между прошлым и настоящим общества, невольно возбуждая в широких слоях ностальгию отчаяния.

Закрылся доступ к собственной истории. Она предстает какой-то плоской картинкой. Ее, в сущности, нет.

...Как это нет? Утром, днем и вечером мы видим на телеэкране страшные документальные кадры (и поражаемся тому, как много их все-таки сохранилось). Каждодневно (дней не хватает!) можем читать хорошо откомментированные публикации документов. Наконец-то мы получили доступ к своей истории! Как же можно сказать, что ее — нет?..

Да, для историка, для человека науки материала немало; он сумеет проработать всплывшие в печати, открывшиеся в архивах документы. Кончилась государственная ложь о фактах нашей истории. Теперь обнаружение реальных фактов — в основном дело техники, профессионального умения (а оно у нас есть, хотя профессионалов успешно теснят невежды и халтурщики) архивистов и публикаторов.

Но никакие публикации документов сами по себе не помогут обществу в целом войти в историческое бытие.

Миллионам людей сказано, что их прошлого — н е т, вместо него — кровавое месиво.

«Как?.. Но я же помню... Выходной день... Парк культуры... Музыка, песни. Всем весело...»

Как из потайной двери, выскакивают на авансцену пишущие и говорящие с телеэкрана люди и вот уже несколько лет объясняют, в какой ужасной стране они, читатели и зрители, жили, как правящая партия вела страну в тупик и как ужасны идеи социализма. Типовой «образ автора» нашей политической публицистики строится так, что совершенно неясно, где находился в это ужасное время сам автор, и совершенно ясно, что он не имел никакого отношения к правящей партии. Охотно употребляемое «мы» («Мы все в те годы верили...» и т. п.) вместо «я» может быть понято и как снисходительно-скромное снижение себя до уровня массы, и, напротив, как настойчивое утверждение того, что н и к т о не мог миновать его, автора, образа мыслей и действий.

⁵ А. Yesenin - Volpin. A Leaf of Spring, pp. 158—160.

С теми, что приезжают из-за рубежа, более или менее ясно — многие побывали в лагерях, а потом с Востока, почти без пересадки, проследовали на Запад.

Прошлое же оставшихся на свободе и в отечестве покрыто мраком для рядового их читателя и телезрителя. Все публицисты нового времени будто в 1985 году родились. Про эмигрантов их интервьюеры дают массу сведений, про «своих» же — минимум. Раз не сажали, не выпускали, не высылали — вроде и говорить не о чем.

Прошлое прошло, но где мы? В потоке ли мы непрерывной исторической жизни? Или только в хаотическом настоящем? Но тогда мы вряд ли имеем отношение и к будущему.

Прошлое — это ценность. Оно стало таким с того момента, как мы могли заговорить о нем правдиво. Это так или иначе — единственная наша история. Повысить ценность нашей забитой ничем не оправданными жертвами, залитой кровью миллионов истории можно одним лишь путем — влетая туда духовные биографии современников.

Пока мы наш опыт беспрерывно обесцениваем — именно тем, что каждый день слышим и читаем людей «без биографии», людей, начавших жизнь с чистого листа — и от нежелания заглянуть в собственное прошлое избегающих серьезного разговора об о б щ е м прошлом, о том, что от него о с т а л о с ь.

А что, собственно, так уж ступешили в себе ограничивает сегодняшних публицистов — печатное поле стало аренной достаточно плоских (хотя я никак не хотела бы назвать их «бумажными») схваток: «Фашист!» — «Сам фашист!». Не хватает внутреннего подпора для «силовой» (не крикливой) борьбы с реальной (но отнюдь не роковой) опасностью объединения коммунистов, фашистов, спасителей нации и многих других.

Недаром нынешний российский житель ширяет мыслью сразу к Николаю II — все семьдесят четыре года после гибели последнего монарха ему, жителю, представили сегодня как мертвое поле, усеянное мертвыми костями. Но по этому полю и живые люди ходили — те, кто по случаю оставался на воле, пережили свои драмы, среди прочего и насилие над своей душой, приводившее их в партию, и свое бессилие, и попытки убедить себя и других в том, что черное — это белое, и внезапное или ползучее протрезвление, — и все это тоже дорогого стоит. Зачем же сдавать в утиль свое прошлое? Это же жизнь целая.

Так мы опять понижаем ценность человеческой единожды данной жизни.

Весь личный духовный опыт многих нынешних пишущих людей уложил в последние годы в простенькую формулу: а вот он я! Я — на демократическом митинге; я — на трибуне самого демократического движения, на страницах демократических газет и журналов. Я — начавший новую жизнь без оглядки на «старую». Не потому ли я так растерян и бессилён с е г о д н я, когда исчезла прямая линия движения?..

Так что же — вводить закон о люстрации? «Я считаю, что действие закона должно распространяться не столько на партийных функционеров, сколько на бывших сотрудников КГБ СССР, конкретно — на тайных осведомителей 5-го управления. <...> В руководстве демократических партий и движений тоже, вероятно, есть люди, на которых следовало бы распространить действие закона. Их, полагаю, немного, но, может быть, именно они и дестабилизируют обстановку» (что ж, страх перед тем, что откроется невзначай позорная страница, может, наверно, толкать человека на многое); «Очевидно, надо ставить вопрос о создании кадровых комиссий, которые рассматривали бы каждую судьбу отдельно»⁶. Может быть, может быть. Но кто видит себя за этим столом с зеленой скатертью? Допрашивающим того, кто сидит напротив?

«Я убежден: существует понятие национальной вины, и в том, что произошло с нами, виноваты все мы без исключения. <...> Разумеется, коммунисты виноваты в нашей истории больше, чем некоммунисты. Но ведь все общество позволило вбить себе в голову их идеи»⁷.

И все-таки — одинаково неполны слова «виноваты коммунисты», «виновата правящая клика», «в и н о в а т ы в с е!».

«Виноваты все» — значит, каждый вздыхает с облегчением: во-первых, на миру и смерть красна, во-вторых же, где все — там нет н и к о г о, там нет л и ч н о й вины, а только в личном плане, как хорошо известно, возможно настоящее раскаянье.

А между тем в издательстве, называвшемся недавно «Советская энциклопедия», около четверти века назад снявшего в энциклопедических статьях упоминание о репрессии как причине смерти человека, недавно снято упоминание о членстве в КПСС — «какое это теперь имеет значение?».

⁶ Лев Пономарев, «Люстрация в России: быть или не быть?» («Московские новости», 31. 1. 93, стр. 9А).

⁷ Сергей Ковалев, «Общая вина, общая ответственность» (там же).

Так утверждается: выбора не было, не было психологической коллизии у тех, кто не вступил в эту партию, и у тех, кто вступал, и у тех, кто выходил из нее до повальных выходов...

Мои соображения очень многим покажутся нелепыми, и это еще очень мягкое слово. Тем не менее.

Пока «б/п» (бывшие партийные) сами не забыли о своем партийном стаже (о тех, кто сегодня снова становится под знамена коммунистической партии, не говорю — они скорее производное от той социопсихологической ситуации, которую пытаюсь описать), стоило бы указывать для лиц, появляющихся на публике в роли идеологов или в функции государственных служащих (про поэтов, художников, артистов, людей науки и т. д. не говорю), год вступления в ряды КПСС и год выхода из них.

«Ну, всё понятно: снова — что вы делали до семнадцатого года?»

«Как в славные младосоветские времена — до октября 1917 года или после?»

«Пятый пункт!»

«Выявлять, а потом к стенке, что ли?»

Такие возражения предсказуемы, но, утверждаю заранее, некорректны — не будем оскорблять память жертв террора беспочвенными аналогиями. Как написал недавно легкомысленный журналист: нынешняя демократическая власть точь-в-точь прежняя, разве что без расстрелов и лагерей...

Это «разве что» очень запомнилось. Дурные ассоциации (с многолетним заполнением советскими людьми разного рода анкет — «Состоял ли...», «Исключался ли...», «Выходил ли...», «Примыкал ли...»), конечно, имеют какое-то значение. Хорошо бы их избегать, но и робеть перед ними до оцепенения тоже не стоит.

Дело слишком серьезное, чтобы отказываться от него из-за ассоциаций — напротив, можно идти им навстречу. Ведь разницу между тем временем и сегодняшним так легко пояснить — она хотя бы в самой возможности по-я-с-н-я-т-ь открыто и не робея.

Не удивительно ли, что мы нередко слышим с телеэкрана вопрос интервьюера: «Скажите, вы верующий?» (и лишь однажды я услышала твердый ответ: «Этот вопрос я не хотел бы обсуждать») — редко или почти никогда: «Скажите, вы были членом правящей партии?»

Между тем первый вопрос относится непосредственно к совести; задавая, мы стучимся в душу человека, куда он совсем не обязан кого-либо допускать — кроме тех, кого сам выберет — конфидентом или духовником.

Второй же, не задаваемый вопрос перевели — миновав предварительное обсуждение — то ли в сферу свободы совести, то ли в область медицинских диагнозов, тайну которых у нас все пытались начать соблюдать, да так, кажется, и не преуспели.

Вообще мало какой другой вопрос удалось запечатать так быстро и так наглухо, как вопрос о членстве в правящей партии. Мы и оглянуться не успели, как он стал ужасно деликатным. Его как-то быстро и прочно соединили с неперемненными будто бы «оргвыводами», «репрессиями» и снятие его с повестки дня записали в одно из достижений демократии. Все равны, «у всех жена ушла», все прожили одну и ту же жизнь. Какое, в сущности, пренебрежение уникальностью каждой жизни!

Я, собственно, протестую против того, чтобы переводить партийность/беспартийность в интимную сферу. Это и в советское время не было делом личным, а вполне общественным, и сегодня относится к тем фактам биографии, которыми каждый и общество в целом вправе интересоваться.

Главной деятельной силой начала новой эпохи оказались, естественным образом, члены правящей партии («Партия сама начала перестройку!» — говорилось с гордостью. Интересно, кому другому она бы это позволила?!), и под влиянием этого именно факта явился тезис «не в членстве дело!».

Но между словами «не в этом дело» и «это не имеет ровно никакого значения» есть дистанция. Иногда дело в этом, иногда не в этом, но в стране, где одна партия семьдесят четыре года стояла у власти, сам факт имеет значение — и будет иметь его в дальнейшем, когда минувшая эпоха, а также и наши дни станут предметом изучения историков.

Я говорю сейчас только о придании этим биографическим фактам статуса значимых, ни о чем ином.

Мы, российские люди, любим выбирать между «все» и «ничего». Здесь хотелось бы настоять на иной методологии. Факт принадлежности к партии мог мало что определять в человеке, мог почти не касаться его сути, а мог и получать весомый смысл в зависимости от контекста, от других фактов и факторов. Сам этот факт еще не основание для каких-либо значимых выводов вне других наших знаний о данном общественном деятеле, администраторе, публицисте. И противоположный факт тоже еще не убеждает в том, что этот человек луже тех, кто там был (хотя сегодня именно благодаря стыдливому молчанию «бывших», двусмысленному их поведению

люди, ничем другим себя не прославившие, нашли себе неожиданные знаки отличия). Для одних отказ от вступления был значимым выбором, для других — естественным, как ходьба и дыхание, третьих корысть повела по иной, не этой, дороге, четвертые очень хотели бы, да не были удостоены — и так далее, так далее.

И еще будут описаны трагические судьбы тех, для кого вступление в партию было единственным средством спасения от травли, а то и физической гибели, деформирующим их духовный и интеллектуальный опыт.

Небезразличны для меня люди, вышедшие из партии не после августа 1991-го, а после августа 1968-го. Каждому особенно интересно — и наиболее знакомо! — его поколение. И я знаю цену тому факту, когда человек этого поколения, напротив, в с т у п и л в партию в конце 60-х или в 70-е.

Да и вообще год вступления и выхода — это информация к размышлению, хотя она не может ни оттеснить, ни заменить других фактов деятельности человека в советское время и в начальные постсоветские годы. Обязательность такой информации может быть делом временным — до тех пор, пока не появятся регулярные издания справочников «Кто есть кто», где все персоны, являющиеся перед широкой публикой в форме своих книг, изобретений, публицистики, государственных действий и т. п., среди краткого перечня биографических фактов укажут по запросу редакции и этот факт — когда вошел, когда вышел или выпал.

Впрочем, в анкете, которую рассылает редакция готовящегося к изданию ИНИОНа справочника «Кто есть кто в русском литературоведении», такой вопрос не предусмотрен.

Я пишу все это не для расчета с прошлым, не для мести многим современникам, — только для будущего. Я дала себе слово — помешать спутывать карты.

А их спутывают довольно энергично и, пожалуй, пока успешно. «Вы что, крови новой хотите?», «А кто чистеньким-то остался?» Выбираются экспрессивные слова, которых нельзя, в сущности, оперировать в серьезном рассуждении и обсуждении.

«Ведь мы жалуемся, что судьба все равно превратила нас в дикарей и варваров, так почему не умеем, как дикари и варвары, начинать с частного и от него идти к обобщениям? Почему неизменно танцуем от печки дедовских обобщений, когда марксистских, когда теологических, когда националистических, когда еще каких, но лишь бы п р о ш л ы х? Ведь такие обобщения не нами обобщены, вот мысль, которая начисто не приходит в голову посткультурному человеку, вот амбиция, которая его миновала: найти новые, свои собственные обобщения...» (Александр Суконик, 1992).

Не пора ли все-таки перейти к собственным размышлениям и обобщениям — о н а ш е м, нами самими пережитом времени?

Суд над КПСС может состояться не в судебных заседаниях, а на типографских страницах — это самоотчет, самоанализ всех тех, кто жил и действовал в советское время, всех, кто окажется к этому способен.

Без этого не будет подлинно твердой почвы под ногами — все расползётся.

Речь идет не об «автобиографической прозе» (в 70-е годы, она, помнится, шла потоком, довольно мутным), а о чем-то, быть может, более скучном и более трудном, но очень нужном. Для такого повествования (даже для того, чтобы описать его самоё!) еще и нет, в сущности, подходящих слов, поскольку каждое пропитано недосказанностью, на каждом — несмываемый, кажется, налет многолетних его употреблений в составе специально советского тезауруса. Что значит слово «советский»?.. Что значит — «искренне» («Он искренне верил...»)?.. О каждом из них можно написать сотни страниц.

Да, я уверена: каждый, выступающий нынче в печати, каждый, чувствующий социальную ответственность, должен (не люблю этого слова в применении к другим людям, но никак не выведу его из собственного все еще зависимого от прошлого «бытия» словаря) попробовать написать честную автобиографию, свой очерк пережитого времени. Так мы прорубим окно в собственную историю.

«Фальшь была именно в том, что я как будто кого-то хочу своим «Сахалином» научить и вместе с тем что-то скрываю и сдерживаю себя», — писал Чехов Суворину в 1893 году. Чехов сумел от нее освободиться. Может, и нам удастся?..



ПУБЛИЦИСТИКА

Россия, которую мы обретаем...

С. АЛЕКСЕЕВ

*

НАШ ШАНС

I

К началу 80-х годов социально-экономические процессы, происходившие в СССР, в том числе и в России, подвели наше общество к жесточайшему всеобъемлющему кризису. Состояние дел в стране оказалось настолько трудным, бесперспективным, что, пожалуй, только выжимание последних, предельных ресурсов из истощенной экономики, беспощадное проедание природных богатств, пренебрежение к экологическим бедам (да еще благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке плюс интенсивная торговля оружием) позволяли кое-как сводить концы с концами.

В такой обстановке стало очевидным, непреложным: назрела необходимость существенных перемен. И с 1985 года такие перемены начали шаг за шагом осуществляться. Однако проводимые сначала под флагом «совершенствования социализма», а затем «перестройки» перемены эти изначально не предполагали отказа от исходной мировоззренческой философской основы общества, его главных принципов и устоев, не были нацелены на коренное, решительное преобразование всей общественной системы. По большей части они сводились к осторожным, «взвешенным» полумерам, боязливым полушагам на пути к демократии.

Подобный курс, как теперь ясно, не только не привел к видимому успеху (за исключением, конечно же, нашего главного достижения — обретения политических и гражданских свобод), но и вызвал дополнительные, стремительно нарастающие трудности. К 1990—1991 годам на общество обрушился крутой и жестокий вал новых бед, потрясений и кризисов. И что особенно страшно, в противоречие со всем тем позитивным, что несут процессы демократизации, возрождения национального самосознания и децентрализации, начался развал единой государственности и законности, в ряде регионов возобладали центробежные силы и устремления, реальностью стал паралич власти, ее полная недееспособность.

Этот вал ничуть не ослаб после распада в канун 1992 года самого СССР. Более того, негативные процессы в России и других бывших союзных республиках «взвинтились», приобрели новое качество, стали выливаться в острые, кровавые конфликты.

Почему же все это произошло? Нередко при ответе на подобный вопрос ссылаются на отсутствие заранее разработанного плана преобразований, на ошибки и просчеты в ходе начавшихся перемен, на нерешительность и опоздание в проводимых акциях. Приверженцы же старых, тоталитарных порядков вообще усматривают первопричину всех бед в деяниях «архитекторов» и «прорабов перестройки», всех этих так называемых демократов...

Что ж, некоторые из упомянутых факторов, особенно половинчатость, нерешительность, просчеты, хронические опоздания, действительно сыграли свою немалую негативную роль. Но основное и решающее все же не это.

Решающее в нагрянувшей беде, в подступившей вплотную катастрофе, — это неотвратимая логика событий, связанная с судьбой нашей отечественной тоталитарной системы. Искусственное, уродливое, нежизнеспособное по своей природе общество может функционировать и как-то развиваться лишь в том случае, когда исправно действуют все внешние силовые и идеологические рычаги, подпорки,

механизмы. Но как только они отпадают или хотя бы ослабевают, теряют силу, общество, построенное на соблазнительных химерах, насилии, лжи, неизбежно с а м о р а з р у ш а е т с я.

Социализм, тоталитарная коммунистическая система не просто потерпели поражение и сошли с исторической сцены. Они обрушились на российское общество камнепадом обломков — целыми блоками, грудой несоединимых частей, разъедающей пылью.

Демократам, одержавшим, казалось бы, решительную победу, после августа 1991-го досталось в наследство неэффективное, дефицитное, однобоко развитое народное хозяйство, функционирующее как одна фабрика, построенное на наемно-принудительном труде. Более того, само российское общество представляет собой уникальный деклассированный социум, в котором ни привилегированный, ни управляемый слой наемных работников, частично пролетаризированный и люмпенизированный, кровно не заинтересован в кардинальных реформах.

О двух обстоятельствах, которые представляются наиболее тяжкими, труднопреодолимыми именно для сегодняшнего времени, следует сказать особо.

Первое — это нынешнее состояние страны. Страны обедневшей, разоренной коммунистическим экспериментом и последующими огрехами и ошибками в реформах, уязвленной поражением в мировом состязании; страны, в которой, несмотря на появившиеся «очаги демократии», продолжают превалировать авторитарно-тоталитарные порядки, укорененные в своей питательной среде — монопольной государственной собственности, во «всевластных» Советах, в номенклатуре, в прокоммунистически настроенных социальных силах и движениях; страны, где все еще отсутствует нацеленность на систематический напряженный труд, доминируют «социалистическая» атмосфера расслабленности, настрой на опеку и милость государства-благотелья, требовательное иждивенчество, стремление поскорее урвать из общего котла побольше благ.

Второе — это расцвет дикого рынка, спекулятивного «капитала», циничное обогащение настырных и изворотливых перекупщиков, финансовых комбинаторов, дельцов теневой экономики, паразитирование на бесхозной «общенародной» собственности с нацеленностью не на последующее вложение капитала в хозяйство, в промышленность, а на новые финансово-посреднические ухищрения (что помимо всего прочего создает искаженный образ будущего «капитализированной» России, будущего страшного и безысходного по представлениям немалого числа людей).

К тому же у нашего общества очевидно смещены нравственные ориентиры, что ведет к его неуклонной криминализации, эскалации социального напряжения. Сегодня все мы несем тяжкий крест грехов нашего прошлого. Есть люди, и их немало, кому уже невыносим этот крест и эта тяжесть и кому уже хочется поскорее выкарабкаться из-под этих обломков и, черт с ним, вернуться пусть и в убогое, жалкое, униженное, однако же для многих удобное, бесхлопотное, защищенное от превратностей судьбы недавнее «застойное» прошлое...

Но если столь сложны, неподатливы, труднопреодолимы препятствия и преграды реформам в посткоммунистической России, то спрашивается в каком направлении должны проходить дальнейшие реформаторские преобразования?

Первейшая сегодняшняя задача — это остановить разрушительные тенденции, положить конец распаду общественного организма, стабилизировать экономическую и социальную ситуацию и начать, хотя бы маленькими шажочками, по сантиметру, улучшать положение людей, ввергнутых ныне в тяжкое, порой бедственное, полуголодное существование, предотвращая тем самым вероятный социальный взрыв, когда катастрофа может перейти в критическую, необратимую фазу. Такой путь возможен лишь в том случае, если использовать уже существующие институты и социальные инструменты, созданные в «перестроечное» время и в значительной мере обновленные и обогащенные за последние годы.

Вместе с тем при всей важности, неотложности решения антикризисных и стабилизационных проблем нельзя упускать из виду, что нынешние жесткие и, понятно, непопулярные меры только тогда будут исторически оправданы и приняты обществом, если люди увидят и поймут общую стратегию — направление и перспективу возрождения России, ее демократического преобразования.

II

Куда же все-таки движется Россия? Конечно, и сейчас произносятся общие формулировки и определения. Чаще всего — «демократия», «рынок». Все настойчивей звучат голоса, в особенности радикально настроенных демократов, — «нечего лукавить, надо идти к капитализму» и даже «строить капитализм». И если впрямь не

лукавить, так что же может быть иное? К социализму, к коммунистическим порядкам, истерзавшим нашу страну насилем, ложью, искалечившим миллионы судеб, возврата для большинства людей нет. Значит, остается... капитализм?

Между тем если не заикливаться на канонах ортодоксального марксизма, отойти от общих лозунгов и штампов, то суть и динамика развития общества как социальной системы вырисовываются совсем в другом виде, нежели это преподано марксистскими догмами: они вовсе не сводятся к формациям и к дилемме «капитализм — социализм». Здесь нужен более основательный подход, опирающийся на данные современной науки. Суть проблемы раскрывают две возможности, два сценария.

Первый сценарий — это естественное развитие общества, с издержками и потерями, корректируемое прогрессивной гуманистической мыслью, но все же в принципе основанное на естественных-природных и социальных факторах (таких, как частная собственность, рынок, возможность человека распоряжаться своей способностью к труду, трудовая мораль).

Второй сценарий — это такое развитие или состояние, когда обществу в основном через насилие, государственную власть, духовный диктат навязываются, «задаются» пути и формы жизни, основанные на групповых, партийных или религиозных представлениях, канонах и мифах.

Отсюда и проистекает различия между основными типами обществ: с одной стороны, общества саморегулирующегося, развивающегося по своему социально-природному естеству (и потому в идеале и в итоге свободного, демократического, рыночного, правового), а с другой — общества «заданного», «идеологического», общества-монолита, скованного властью и идеологией (и потому, как правило, авторитарного, деспотического, силового, по современной лексике — тоталитарного).

И вот если исходить из законов естественного развития общества, то довольно отчетливо различимы глобальные тенденции истории христианской цивилизации. Центральная из этих тенденций: движение человечества пусть не всегда последовательное, зигзагообразное, но все же неуклонное — от монолитного (тоталитарного) общества к более развитой системе — к обществу свободному, саморегулирующемуся, развивающемуся на своей собственной основе, в соответствии со своим органическим естеством. Отсюда и процесс все большего выделения, обретения своего высокого статуса в обществе автономной, «суверенной» личности, процесс, который на основе высвобождения частной собственности от диктата идеологии и власти, развития прав человека и правосудия приводит к формированию гражданского общества.

Тогда что же представляет собой капитализм? Особую формацию? Ничего подобного.

Это прежде всего фактор социально-экономической жизни, суть которого ограничивается в основном фиксацией особенностей товарно-рыночных отношений, не связанных идеологией и властью, — отношений, где мотором является капитал, самовозрастающая стоимость.

Такое построение товарно-рыночных отношений, конечно же, представляет собой значительное продвижение вперед на путях общего развития человечества. После доминирования в течение многих тысячелетий власти и идеологии (по экономическим укладам и даже «формациям» соответствующие порядки общественной жизни обозначались как «азиатские», «рабовладельческие», «феодальные») общество с освобожденной товарно-рыночной экономикой являет собой принципиальный прорыв человечества к свободе, а отсюда — к бурному, восходящему экономическому прогрессу, причем такому, когда через капитал развертываются саморегулирующиеся механизмы частной собственности и рынка. И это все, понятно, влияет на другие стороны социального строя: развиваются и совершенствуются такие демократические институты, как правосудие, парламентаризм, местное самоуправление, являющиеся неотъемлемыми атрибутами подлинно свободного гражданского общества.

Вместе с тем важно обратить внимание на то, что капиталистический уклад возможен при различной организации общественной жизни — не только в «классическом» свободном, саморегулирующемся обществе, но и в обществах, где в немалой степени доминантой все еще остаются групповая, классовая политика и авторитарная власть, что, в частности, объясняет появление такого политико-экономического монстра, как монополичный государственный капитализм.

Итак, оценка существа и перспектив того или иного экономического уклада, других сторон и институтов общественной жизни должна проводиться с учетом глобальных тенденций развития человеческой цивилизации, в контексте того или иного политического строя. Последнее особенно важно, ибо свобода в обществе сама выступает как мощная социальная сила.

III

У России нет иной судьбы и исторического предназначения как двигаться в сторону свободного, саморегулирующегося демократического строя, способного раскрыть и реализовать искверкванную коммунистическим режимом, покуда дремлющую созидательную силу российского общества. И значит, строя, способного максимально мобилизовать и эффективно использовать и несметные природные богатства России, и созидательную энергию и силу российского духа, интеллектуальный, творческий потенциал всех россиян.

А так как свободное саморегулирующееся общество — это общество, исповедующее и утверждающее свободу во всех сферах, и прежде всего в экономике, то оно с неизбежностью включает свободное развитие товарно-рыночных отношений, не скованных диктатом идеологии и власти, а значит, развертывание капиталистических отношений.

Но вот что принципиально важно. Капиталистические отношения при такой постановке вопроса не имеют самодовлеющего, всепоглощающего, конечного значения; они будто бы образуют некую «формацию», они лишь элемент, один из факторов свободного, саморегулирующегося общества, встроенный в единую систему его социально-политических, духовных, нравственных опор и конструкций. Думается, при такой постановке вопроса о капитализме он не должен становиться предметом спекуляций ни «справа», ни «слева».

И все же произнося сегодня расхожие речи о некоем абстрактном «рынке», мы, в общем-то, продолжаем уходить от существа вопроса и лукавить. Ибо восходящее экономическое развитие общества обеспечивает не сам по себе рынок, а капиталистический уклад хозяйствования.

Если перспективу намеченных нами перемен связывать просто с рынком и не видеть всей суммы условий и факторов, которые определяют действительность капиталистических отношений (приоритет частной собственности, ее безусловная защита, жесткая нацеленность на экономическую результативность, на преимущественные вложения доходов в экономику, налоговая поддержка таких вложений, иные привилегии для инвестиций и т. д.), то ожидаемые перемены никогда не произойдут.

Самое же тревожное в процессах, проходящих сейчас в России под эгидой рынка, вот в чем. В ходе проводимых рыночных акций (освобождение цен, приватизация в нынешних ее формах) не только не решаются, но, пожалуй, даже и отодвигаются на неопределенное время основополагающие задачи по реформированию российской экономики — формирование капитала на основе либеральной частной собственности, более интенсивное вложение в экономику имеющихся ресурсов в расчете на скорейшее и эффективное включение механизма восходящего экономического саморазвития.

Напротив, создается впечатление, что все, что производится в стране, немедленно и без остатка бросается на удовлетворение текущих нужд, на потребление, проедание (этим, даже с неким восторгом, обосновывается то иллюзорное достижение, когда в обстановке безумия цен и падающего производства для работников государственной промышленности поддерживается высокий уровень заработной платы). Приватизация же, осуществляемая путем подушной раздачи части государственности в виде ваучеров, когда главенствующим в экономике вновь выступает принцип «социальной справедливости», приводит, в сущности, к распылению капитала, к появлению наряду с собственниками-производителями все большего числа нищенствующих собственников-рантье.

Более того, и это, быть может, самое страшное, — если ограничиваться безмятежными, убаюкивающими формулами о «рынке» и не видеть того, что общество уже вступило в полосу суровых, жестких капиталистических взаимоотношений пока, увы, периода первоначального, нецивилизованного, дикого рынка, то мы можем не заметить ту жуткую перспективу, которая в наших драматических посткоммунистических условиях уже реализуется и, не исключено, довольно скоро может стать необратимой реальностью.

Дело в том, что в обстановке еще сохраняющегося советского авторитарного строя, где до сей поры господствуют бюрократическая государственная собственность и «всевластные» Советы, плотным кольцом сжимающие «очаги демократии», преемником социалистической системы хозяйствования становится не классический капитализм (и тем более не его обнадеживающая перспектива — «народный капитализм»), а на основе чуть обновленной, акционированной государственной собствен-

ности — монопольный номенклатурный квазикапитализм, который, войдя в унию с теневыми криминальными структурами, может на долгие годы превратиться в несокрушимую крепость прежней и новой номенклатуры.

Именно в этом направлении развернулась в последнее время номенклатурная приватизация, которой, приходится сожалеть, вовсе не препятствуют нынешние официальные ее формы — сплошное акционирование и подушная раздача по ваучерам части госсобственности.

Некоторые черты нового чудовищного монстра — номенклатурного монопольного квазикапитализма — становятся очевидными уже в настоящее время

IV

С давних времен повелось считать, что России уготован некий особый путь, особая миссия в истории. «Третий Рим», «спасительница славянства», «собирательница славянских народов», «хранительница чистоты христианства» — эти и им подобные формулировки столетиями укоренялись в сознании многих поколений россиян. Мысль, а точнее, ощущение самобытности, избранничества русского этноса стало частью нашей ментальности.

Да и среди исторически сложившихся институтов, традиций, тенденций немало таких, которые как будто бы на самом деле выражают неповторимое своеобразие прошлого и будущего России, ее «особое» предназначение. Это и «соборность» как ведущий, принцип политической жизни, и «русская община» как основа сельского бытия, и «державность» как теоретическое начало государственности; плюс к этому терпеливость русских людей, непритязательность их быта, устойчивость и одновременно восприимчивость ко всему «иноземному» и т. д.

Но означают ли эти и ряд других особенностей, в той или иной степени характерных для России, что ей суждено выбиться из общего потока цивилизованного развития?

Ответ на такой вопрос мы сегодня уже имеем. Российское общество сполна испытало на себе все последствия отказа, обособления от общего пути цивилизованного развития. Так что самой жизнью подтверждено, что и для России, как и для всего человечества, дорога в будущее возможна лишь в направлении свободы, саморегулирующегося общества, центром которого является человек, его права и достоинство.

Вместе с тем следует признать, что движение России к свободе и демократии должно опираться на российскую историю, на наши исконные российские традиции и ценности.

Однако здесь необходимо зафиксировать следующий принципиальной важности момент. Российские традиции в нынешних исторических условиях могут быть успешно использованы лишь постольку, поскольку они согласуются с общим направлением развития цивилизации.

В этой связи скажу прежде всего о безусловной ценности русской артельной работы — того микроколлективизма, который, будем надеяться, еще с надлежущей силой проявится в труде, основанном на групповой (то есть соединенной частной) собственности и трудовой морали.

В мире уже давно и отчетливо наметилось движение к **н а р о д н о м у к а п и т а л и з м у**, когда в экономике исключается монополизм, утверждаются свобода конкуренции, открытая состязательность, широкое развитие получает мелкий и средний бизнес со все большим участием в отношениях собственности непосредственных производителей. А главное — все эти процессы, нормальные и естественные для людей, сопряженные с природой и потребностями человека, таковы, что они неизбежно должны происходить в рамках свободного, саморегулирующегося демократического государства, в котором подобающее им место занимают институты развитой политической демократии, культуры, высокой духовности и морали.

Может показаться парадоксальным, но должен быть признан очевидным и вполне объяснимым тот факт, что именно при нормальном, естественном развитии общества, в условиях свободы, демократии и рынка, могут быть реализованы те рациональные, здравые элементы социалистических представлений, обоснованию которых многие из нас отдали столько сил и веры, но которые фактически с разной степенью успеха осуществлялись западной социал-демократией во имя социальной справедливости и социальной защищенности людей.

Во всяком случае, использование достоинств капитализма должно осуществляться в России в условиях реализации как национальных российских традиций, так и развитых западных моделей современного гражданского общества, обеспечивающего

надлежащую социальную защиту нуждающихся людей и реальность общенациональных программ в области экологии, науки, культуры, искусства.

Думается, что в России для развития гражданского общества имеются благоприятные предпосылки, к счастью, не изничтоженные советским тоталитарным строем и коммунистической идеологией. Ведь многие российские ценности, которые в годы коммунистического режима изображались порой чуть ли не в виде «элементов социализма» (хозяйское подвижничество и сноровка, артельный труд и др.), на самом деле пусть и отдаленные, но все же ценности, значимые именно для гражданского общества. (Кстати сказать, широко рекламировавшиеся в недавнее время лозунги октябрьского переворота «фабрики — рабочим», «земля — крестьянам» никакие не социалистические, а, в сущности, тяготеющие к тем же самым началам.)

С этой точки зрения ориентация на «народный капитализм», на усвоение отечественных ценностей и накопленного на Западе опыта, на использование уже выработанных здесь институтов, утверждающих антимонопольные меры, поощряющих мелкий и средний бизнес, «народные» предприятия (уже более чем в двадцати развитых демократических странах существует законодательство, стимулирующее образование предприятий с групповой собственностью), может придать целенаправленный характер демократическим реформам в России. Особо значима такая направленность при осуществлении приватизации.

Тот экономический уклад, а по сути дела — целостный общественный строй, который может быть назван современным гражданским обществом, имеет ряд взаимоувязанных характеристик, относящихся и к экономике, и к политической сфере, и к духовной жизни общества. Этот строй не изобретен, не выдуман, а рожден самой жизнью, естественным ходом развития истории. Его стержень образует современный, модернизированный капитализм, раскрывающий свои достоинства как здоровая, динамичная, хотя и суровая экономическая система в условиях последовательного либерализма, развитых социальных отношений, достаточно отработанных и скоординированных между собой институтов демократии, права, правосудия.

Понятно, формирование такого общества — относительно длительный процесс, проходящий сложным путем проб и ошибок через драматические испытания, тяготы, возможные сбои и потрясения.

В этом сложном, многогранном процессе все важно; всякого рода «мелочь» — не мелочь. И все же, в особенности с учетом наших своеобразных посттоталитарных условий и самобытных российских ценностей, могут быть выделены ключевые звенья — точки опоры, которые имеют отправное значение и с ориентировкой на которые реформаторские усилия, надо полагать, способны круто изменить ситуацию, придать общественным процессам последовательно демократичный характер.

V

Для нормального существования свободного гражданского общества необходимо не просто право, не просто юридическая система, а прежде всего **п р а в о ч а с т н о е**. Во всех рыночных, демократических странах классическое капиталистическое хозяйство если уж не начиналось, то, во всяком случае крупномасштабно разрывталось на основе отработанного гражданского законодательства, то есть частного права.

Частное право — это не что иное, как признание и обеспечение в обществе сферы абсолютной свободы частных лиц — граждан, их объединений, иных субъектов, осуществляющих свободную экономическую деятельность, и в этом отношении оно не только предпосылка, условие, элемент рынка и демократии, а экономико-юридическая инфраструктура свободного общества (независимо от того, в каком облике и в какой степени оно реализовалось, раскрылось).

Частное право, следовательно, образует ту среду, точнее, то необходимое «поле благоприятствования», которое только и может дать реальную жизнь частной инициативе, предпринимательству, рынку, собственной экономической и политической активности. Именно оно, частное право, становится ключевым звеном демократических преобразований в экономике, во всем обществе.

Российское общество сегодня остро нуждается в том, чтобы произошла крутая и решительная смена координат в правовой системе, принципиальное изменение самой ее сути.

Словом, назрела необходимость того, что с известной долей условности может быть названо **п р и в а т и з а ц и е й п р а в а**. Право из целостной государственной системы, во всех элементах которой так или иначе доминируют публичные начала, государственная воля, возведенная в закон, должно превратиться в правовую

систему, где юридический приоритет принадлежит воле и интересам человека. На место «юридической надстройки», нацеленной на «кару», «запреты», «порядок», должно заступить великое достижение цивилизации, воплощающее начало справедливости, равенства и возвышения личности, — система институтов, построенная на правах и потому названная правом. Только тогда окажется возможным формирование действительного правового государства, а рынок и демократия получат надежное юридическое основание.

В тоталитарном обществе (и советская правовая доктрина это убедительно продемонстрировала) главенствующее положение занимают отрасли публичного права — уголовное, административное и т. д. В правовой системе демократического общества на первое место выдвигается частное, гражданское право, которое делает реальной, обеспеченной экономическую свободу, дает частным лицам такое юридически защищенное и притом обширное пространство для свободной экономической деятельности, куда за исключением случаев, специально предусмотренных законом, заказан вход государству. Это сфера полного господства частных лиц, решения которых становятся тем не менее юридически обязательными для государства, их поддерживающего и обеспечивающего.

Вот почему в современных условиях острая задача первоочередной важности — это завершение работы над Гражданским кодексом Российской Федерации, его скорейшее принятие, а вслед за тем разработка и принятие всего пакета основанных на нем юридических документов — законов о купле-продаже, о банковском деле, строительном подряде и т. д., включаемых в Торговый кодекс, ряд других нормативных документов. И, что не менее существенно, придание гражданскому кодексу, всему гражданскому законодательству высокого статуса в правовой системе, статусу, близкого к конституционному уровню. Тем более что Гражданский кодекс, вполне оправдывая свое наименование, действительно является своего рода конституцией гражданского общества.

VI

В результате приватизации в экономике должны появиться «хозяева дела» — активные и ответственные. Но откуда же им взяться, когда значительная часть обладателей «большого денежного мешка», новоявленных миллионеров, успешно участвующих в аукционах и конкурсах по приобретению госимущества, это вовсе не деловые люди, не трудяги-бизнесмены, а нередко удачливые, ловкие и находчивые перекупщики и финансовые деятели, научившиеся извлекать в нашем бесхозном огосударственном хозяйстве миллионы «из воздуха»?

Действительные, подлинные предприниматели, реальные хозяева дела, производители-собственники сосредоточены сегодня в трудовых коллективах, в «директорском корпусе». Значит, сама логика жизни приводит к тому, чтобы в качестве приоритетного направления осуществлять реальную народную приватизацию через трудовые коллективы, со включением в этот процесс организаторов производства — директоров.

Такое направление приватизации, способное, по основательным расчетам, привести к формированию в России общества собственников на началах либеральной частной собственности, встречает немало возражений, в том числе демократически настроенных официальных лиц, полагающих, что подобный путь является чуть ли не «просоциалистическим», ведущим к образованию новых «колхозов». Однако такие возражения не учитывают самой природы собственности, мирового опыта, наши отечественные реалии и ценности.

Прежде всего собственность в экономике тогда собственность и лишь тогда она приводит к процветанию общества и благосостоянию людей, когда происходит соединение ее вещественного состава (средств производства, орудий труда) с рабочей силой. Из трех основных способов такого соединения (принуждение к труду, найм, работа на своей собственности) логика цивилизации неумолимо ведет от принудительных форм к свободным. К тому, чтобы производитель был хозяином, трудился на своей собственности.

Вот почему во всем мире, прежде всего в передовых, промышленно развитых странах, в противовес монополиям нарастает процесс формирования групповой частной собственности самих производителей, приватизация «рабочих мест».

Теперь о наших отечественных реалиях. Действительно, и «директорский корпус», и современные трудовые коллективы в немалой степени деформированы растратными методами хозяйствования и иждивенческой психологией (автор этих строк до сей поры убежден: лучшим путем перехода к соединенной частной собствен-

ности была арендная «школа собственности» — путь аренды с выкупом, когда отсекаются просоциалистические, растратно-иждивенческие наслоения и коллективы вместе с организаторами производства овладевают «собственнической наукой»).

И все же более безболезненного и оптимального пути приобщения производителей к собственности, преодоления растратно-иждивенческой психологии, кроме приватизации через трудовые коллективы, в наших отечественных условиях просто нет.

И если даже не рассматривать соединенную, групповую собственность в виде конечного итога приватизации, то есть уже завершенной основы частнособственнического хозяйствования (хотя опыт МНТК «Микрохирургия глаза» С. Н. Федорова, ряда других коллективов — очевидное подтверждение благотворной эффективности и такого результата), то вполне оправдано видеть в ней промежуточное звено, позволяющее органично перейти к любой иной частнособственнической структуре, в том числе индивидуальной, кооперативной, и в то же время уже сейчас решить в высшей степени важные задачи.

Во-первых, уже происходит отрыв хозяйствующего субъекта-товаропроизводителя от государственной бюрократической системы; во-вторых, удовлетворяются интересы производителей и, следовательно, начинает работать экономика и плюс к тому предупреждаются возможные резкие протесты, не исключено — жесткие действия производителей, которые в соответствии с нынешними официальными формами получают в основном не ожидаемую собственность для своей работы, а увеличение числа акционеров, в сущности, рантье, предвкушающих дивиденды от их работы; в-третьих, достигается главное: происходит приобщение производителей к отношениям собственности.

Последнее мне представляется особо значимым.

Ведь самое страшное разрушительное последствие многодесятилетнего господства советского коммунистического режима — это резкое отчуждение трудящихся от собственности, объявленной «общенародной», но реально сосредоточенной в руках монополиста — государства. Отсюда утрата естественных стимулов к напряженному высококачественному труду, разрушение трудовой морали, паразитирование и всепроникающее иждивенчество, упование на благодетеля — государство, рабская покорность перед всемогущими чиновниками, ожидание от них милости, паечных благ. Решительно изменить такую атмосферу, приведшую к обессиливанию общества, утрате им жизненной энергии, может только приобщение каждого производителя, каждого труженика, притом на его рабочем месте, к собственности, которая только одна и способна зарядить людей производительной энергией, творческой активностью и ответственностью за дело.

И наконец о самом существенном. Приватизация, осуществляемая трудовыми коллективами с включением организаторов производства (директоров), позволяет плодотворно использовать исконно российские ценности.

Если на Западе важнейшей предпосылкой, предопределившей утверждение эффективного рыночного хозяйства, стала протестантская этика индивидуализма, а в Японии, некоторых других странах Азии семейные традиции, отеческое попечительство, то в России аналогичную роль наряду со всем другим может сыграть, как уже говорилось ранее, артельная форма организации труда.

При этом хотелось бы обратить внимание на то, что русская артель, хотя генетически каким-то образом и связана с общиной, сформировалась в России применительно к динамичным и жестким капиталистическим условиям в качестве производственной ячейки, всецело направляющей свою деятельность на хозяйственный результат.

Думается, даже в растратно-плановой обстановке советского хозяйства именно артельная форма лежала в основе тех выбивающихся из общего серенького уровня форм трудовой деятельности, которые демонстрировали студенческие строительные отряды и их продолжатели — строители МЖК.

Да и передовые арендные предприятия, а также коллективные предприятия (и именно там, где они достигли заметных успехов) выступили в качестве продолжателей дела русской артели; и это тем более важно подчеркнуть потому, что эти производства уже выражают определенный уровень приватизации государственного имущества, подтверждая тем самым, что современная русская артель хорошо совмещается с групповой, соединенной частной собственностью. При этом, понятно, должны быть в полной мере использованы и все иные, индивидуальные и семейные, формы частнособственнического хозяйствования. Особенно в малом и среднем бизнесе. Важно лишь, чтобы действительно восторжествовала либеральная частная собственность — собственность, не связанная ни государственной властью и идеологией, ни диктатом каких-либо монополий...

АНАТОЛИЙ ИВАЩЕНКО

*

ЗЕЛЕННЫЕ ПОБЕГИ НА ЗАСОХШЕМ ДРЕВЕ

Однажды на телевидении мне принесли это невеселое письмо.

Желтый примятый конверт с адресом и крупной пометкой: «К юбилею Верещагина». Было оно от давнего моего знакомого инженера Александра Сергеевича Кишкина, боевого авиатора и большого знатока кооперативного движения. Начиналось письмо так:

«С комом в горле слушаю сейчас передачу о Мусоргском. Ответы ребят на улице о том, кем он был, убийственны. До чего же мы дошли в односторонности образования! И это еще половина беды. Не Мусоргского, так Чайковского наверняка знают. Почти уверен, если бы с микрофоном в руке шел к тебе по коридорам Останкина и спросил носителей информации о славных людях нашей истории: «Кто такой Верещагин?» — в один голос все бы ответили: «Великий русский художник»...»

Ладно. Как не знать славного нашего баталиста? Но я мог бы добавить: «А кем был старший брат Василия Верещагина Николай?» Наверняка случилось бы то же самое, что и со школьниками на улицах Москвы, ничего не знавшими о Мусоргском.

Почему пишу об этом? Да потому, что 26 октября 1989 года у Николая Верещагина, как и у Мусоргского, был юбилей: 150 лет со дня рождения. Мусоргского вспомнили. О Верещагине нигде ни слова. Ни имени его, ни юбилейной даты составители не включили даже в отрывной календарь. И это не случайно. В своем прошлом мы еще чтим из десятилетия в десятилетие деятелей культуры, науки. Да и то далеко не всех. Отдавали все больше предпочтения вождям. Сколько же памятников поставили им в Москве и по всей стране?.. Не счесть тех «алмазов каменных», бронзовых, чугунных и т. д. А где память о людях дела? В Англии, скажем, поставлен памятник даже изобретателю булавки, у нас же не каждый знает, почему башня на московской Шаболовке называется Шуховской и кто такой Шухов. Впрочем, не такая уж новая эта наша черта. Стоит хотя бы вспомнить рассказ Чехова о том, как при открытии моста, построенного талантливейшим инженером, все цветы и аплодисменты достались залетной певичке, разрезавшей ленточку при въезде на то самое сооружение. Ученик и последователь Николая Верещагина А. В. Чичкин с горечью писал:

«В Канаде и Дании установлены, например, памятники мастерам сыроделия, над центральной площадью Копенгагена взметнулся высь бочонок сливочного масла. У нас же все это вызывает недоуменную улыбку. А жаль! Очень жаль! Любой памятник — это прежде всего застывший в бронзе, мраморе, граните дух народного гения, поклоняясь и равняясь на который народ продолжает движение вперед! Почти полное отсутствие у нас памятников основоположникам той или иной отрасли промышленности, книг о них, культ уважения и равнения на них среди молодежи не делает чести России».

Можно, конечно, «наплевать на бронзы многопудье», как и наплевать на «мраморную слизь» памятников отдельным личностям, но попробуйте найти мемориальные доски, из которых бы явствовало, что здесь, мол, были первая кондитерская фабрика России, корабельная верфь, мануфактура... Увы, их нет.

В серии «Жизнь замечательных людей» вышло множество книг. Но почему среди них нет жизнеописаний гениев русского предпринимательства? (А если есть, то раздва и обчелся.) А Николай Верещагин из их плеяды. Он создатель отечественной молочной промышленности. Выходит, буржуй. А раз буржуй, то эксплуататор...

Вечером, придя домой, я распотрошил тот злополучный отрывной численник и убедился, что Кишкин прав. Из 156 имен, обозначенных в календаре, 58 принадлежали политическим и революционным деятелям, 46 — художникам, артистам и музыкантам, 18 — военным, 5 — новаторам села, 4 — врачам, 2 — изобретателям. И ни одного имени из крупнейших зачинателей нового дела. Оказывается, и так можно фальсифицировать историю, сокрыть от людей тех, кто ковал экономическую мощь России, кормил, одевал, тащил из дремучей отсталости. Давно ли было много шума вокруг «стройки века» — БАМа, но что мы знаем из эпопеи прокладки Транссибирской железной дороги? По темпам и качеству работ ни в какое сравнение с БАМом она не идет! А Морозовы, Мамоновы?.. О них до нас дошли лишь «обрывки из отрывков».

Александр Кишкин вооружил меня объемистым досье на Николая Верещагина. Но съемки сорвались, написать же очерк руки тоже долго не доходили. И вот пишу только теперь. Пишу не потому, чтобы хоть запоздало, но сказать доброе слово о великом подвижнике, а потому, что нужда приперла вспомнить о зарождении кооперативного движения, осмыслении его значения для судьбы России, а затем и о восстановлении в нынешних условиях.

Представьте себе, что в наше смутное и уже голодноватое время некто в сером, молодой, энергичный, с двумя такими же молодыми приятелями дожидается приема в коридорах Академии наук, у дверей министерских кабинетов или Аграрного комитета Верховного Совета, и всюду, где принимают, излагает дерзновенный замысел, согласно которому вся Европа не только удивится несравненным нашим сыром и маслу, но и примется все это покупать: и Англия, и Голландия, и Германия... Мягко говоря, реакция была бы сдержанной. Еще бы, датчане не знают, куда девать свое масло, в Швейцарии что ни ферма, то свой великолепный сыр, голландский фермер мог бы получать от своих коров по 8 тысяч литров молока в год, но разрешают только по 6: размахнись на большее — и задушат налогами. Нет, там нам делать нечего. Тут хоть себя прокормить, да и то «в перспективе». Ну а качество? Тут не до жиру, давно от позора снимали вывески «Вологодское масло», заменив их на безликие «Молоко».

А ведь когда-то и удивляли и продавали. Да, тогда тоже жилось не сладко. Везли за границу лес, пушнину, лен... Большой же частью пшеницу. То была первейшая статья российского экспорта. Самому же мужику хлеба далеко не всегда хватало «от нового до нового». Голод следовал за голодом, унося то великие тысячи, то миллионы людских жизней.

Все так. Тут ни убавить, ни прибавить.

Только вот русская душа поистине загадочна и порой выписывает такие фортели, что диву даешься. И если бы только это. Еще загадочней, что фортели ее повторяются. Вот, скажем, блистал при царском дворе юный душака офицер Андрюша Болотов. Дворянин, участник Семилетней войны, ему бы с переездом в Санкт-Петербург в самую пору волочиться да танцевать на дворцовых балах. А он в двадцать два года от роду подал в отставку и отправился в тульскую глушь, домой, в родовое сельцо Дворяниново.

Так Россия получила своего первого агронома.

Николай Верещагин к 1826 году окончил морской кадетский корпус и естественный факультет Петербургского университета. И тоже подал в отставку, «сменив черный офицерский китель на белый халат молочника». Порыв Николая разделили и два его товарища по корпусу.

Пройдут долгие годы, и профессор И. О. Широких напишет: «Когда едешь по окрестностям Едимоново, по маслодельным местностям Ярославской, Вологодской губерний и Сибири, мысль невольно стремится представить себе картину той жизни, когда три молодых человека — Николай Верещагин, Владимир Бландов и Григорий Бирюлев, — захваченные волной начинавшегося возрождения России, полные деятельной любви к народу, принесли сюда свою молодую энергию, чтобы в качестве скромных специалистов молочного дела поднять производительные силы страны».

Пусть скромные, но уже специалисты. Николай Верещагин основательно изучал молочное дело в Англии, Германии, Франции и в других странах Европы, хотя большими средствами не располагал. К тому же деньги нужны были и для обучения живописи младшего брата Василия. Они были очень дружны и заботливы друг к другу. Любопытны их письма в Череповец отцу и матери:

«Сообщаю вам, дорогие родители, что у меня гостил брат Вася! Сегодня его проводил на вокзал к поезду, идущему в Вену. Ученье ему идет впрок... он имеет уже крупные достижения. Дорогие мои родители, я теперь в Вашей помощи нуждаюсь не буду, поэтому прошу денег мне больше не присылать, а Васе денег не жалейте. Сколько намерены были ему посылать, добавьте и те, которые хотели переводить мне в Женеву, и вся достойная всяческой поддержки. Я думаю, не за горами то время, когда он удивит своими картинами не только Вас, любящих его родителей, но и широкую публику.. Ваш сын Николай Верещагин».

Почти одновременно и об этой же встрече младший, Вася: «В Женеве я был у брата Николая! Большое и полезное дело он затевает, отец! Прошу тебя, не жадничай! Подкинь ему деньжонок, да побольше, если можешь. Ты уж лучше мне не присылай, я перебыюсь как-нибудь. А Кольке не жалеяй, окупится на общественном деле. Послушал я его и теперь вижу, он, как зачинатель сыроварения в России, сделает великое дело. Николаю денег обязательно высылай! Ах, и умница... Кланяюсь, Ваш сын Василий Верещагин».

Что ж, братья не ошиблись друг в друге. Младшего двигала в поиск собственного почерка русская школа живописи. А старшего? Тут иное. В разные годы на международных конгрессах кооператоров рядом с портретом Н. Г. Чернышевского висел портрет Н. В. Верещагина. И это вполне естественно. Ибо 60-е годы прошлого века ознаменовались не только отменой крепостного права, но еще и преобразованием самого уклада экономической жизни, подъемом демократического движения, ломкой людских судеб, рождением народничества.

Вопрос, куда идти, был мучительным. На него узник Петропавловской крепости Николай Чернышевский ответил своим полуутопическим романом «Что делать?». И многих увлекла идея коллективного труда в артелях, которые виделись очагами кооперации будущего, где все люди станут свободными.

Николай Верещагин «сеять разумное, доброе, вечное» отправился в Корчевский уезд Тверской губернии, про который Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин саркастически замечал: «Что в Корчеве родится? Морковь! Так и та потому, что сеяли свеклу, а поселили бы морковь — непременно уродился бы хрен. Ясно, что человеку промышленному, предприимчивому ездить сюда незачем».

Два года в этой тмутаракани осваивал чисто технические проблемы молочного дела, чтобы уже потом приложить к здешним условиям зарубежный опыт. Затем неподалеку от Городни, в пустошке Александровка, оборудовал совсем крохотный сыроваренный заводик. К тому времени Николай был уже женат. На сыроварне всю работу он выполнял собственными руками с молодой супругой Таней и родственницей. Вот и весь стартовый состав. Но с ним уже можно было начинать дело, из которого потом родится обширная молочная кооперация России.

10 марта 1866 года Н. В. Верещагин заключил с крестьянами договор, где говорилось: «Мы, нижеподписавшиеся домохозяева Лычевской волости с деревнями Коромыслово, Отроковичи и Горки, согласились между собой сносить все молоко в одно место и выдѣлывать из него лучшей доброты сыр и масло, для чего заводим артель под названьем «Отроковской сыроваренной артели»...»

Разумеется, для этого требовались деньги. И уже не родительские. Однако Верещагин был и услышан и понят. Его сыроварню финансировало Вольное экономическое общество и не потребовало никакого возмещения затрат, поскольку сочло, что это будет «первая общественная крестьянская сыроварня России». Вот ведь как! Хорошо бы нечто подобное сотворить и сейчас. Не окончательно же превратились в труху те 6,5 миллиарда рублей, которые якобы выделялись на развитие крестьянских хозяйств. И, глядишь, пример мог бы оказаться заразительным, как это получилось у Верещагина с отроковской артелью. Александр Кишкин рассказывал мне:

— Небезынтересно отметить, что уже через несколько месяцев после рождения первой артели без нынешних телевидения и радио в Отроковичи началось паломничество любопытствующих из Вологодской, Новгородской, даже из дальних Курской и Волынской губерний. В том же 1866 году в семи верстах от Отроковичей появилась вторая сыроварня, в селе Видогощ. Через два года вокруг них заработало еще семь артельных сыроварен. А 15 ноября 1868 года открылась уже десятая, в селе Едимоново, о котором потом заговорит вся Россия. Но это потом.

В отличие от «Снов Веры Павловны», где, согласно Чернышевскому, швеи живут во дворцах из стекла и металла среди благоухающей природы и облачены в белые одежды, здесь были все те же курные избы под соломой, грязь с исконным российским бессортирьем и беззаборьем, но дело шло. Как свидетельствуют документы, 1 августа 1869 года Н. В. Верещагин, В. И. Бландов и Г. А. Бирюлев (вся флотская троица) в сопровождении А. Н. Ухтомского и двух местных крестьян появились в селе Коприно Рыбинского уезда Ярославской губернии. По договоренности с ними П. Ф. Шатаев построил артельную сыроварню в селе Коприно, Т. М. Бушнов — в селе Палкино.

17 марта 1870 года обе сыроварни были пущены в ход В. И. Бландовым. Не менее энергично действовал в Пошехонском уезде Г. А. Бирюлев. При его участии там было открыто сразу три артельных завода: в селе Ермаково — голландского сыра, в селе Щетинском — швейцарского, в Малофееве — маслозавод.

Выписываю названия этих деревень, а сам думаю: остались ли они в живых, не задряхтели ли в «неперспективных»?.. А ежели остались, то помнят ли, что это такое — швейцарский сыр? И все же надеюсь: вдруг эти страницы кто-то прочитает там, с изумлением узнав, что к концу 1871 года на ярославской земле работали уже 14 сырозаводов и один строился. «Смелость так же заразительна, как и панический страх» — эта крылатая фраза Верещагина пришла по душе многим его последователям. Один из них, Шулятников, начал строительство первого в Вятской губернии сырозавода на деньги, взятые по решению крестьянского схода с кабатчика, торговавшего на селе водкой.

Пример прямо-таки золотой. Жалуемся — нет средств. А давно ли самым дорогим компонентом водки был не спирт, а дистиллированная вода. На втором месте значились бутылка с пробкой. (О настоящих пробках теперь помнят разве что старухи, ибо мужья их вымерли много раньше.) А вот некогда копейная посуда стала дороже спирта. Бутылка же «злодейки» взлетела по цене до облаков. Так вот, эти денежки из «пьяного бюджета» да и вернуть бы порушенной деревне. Глупость? Кавалерийский наскок? Но на деньги того кабатчика маслозавод все же поставили...

Главный кабатчик у нас-то — государство. (Подчеркиваю, кабатчик, а не целовальник. Путать их нельзя: целовальник крест целовал, что разливать по бутылкам будет как подобает и разводить не станет. Главный же кабатчик что хочет, то и ворочит. У кабатчика водка, если ей, простой, надлежало быть сорокаградусной крепости, то и была она именно сорокаградусная, не как теперь — сплошь и рядом меньше.)

В книгах и фильмах про первую мировую, революцию и гражданскую вовсю идет пьянка. Чуть это несусветная. В 1914 году с началом войны винокурение в России царь запретил. И возобновилось оно лишь через десять лет, в 1924-м. Первая советская водка в просторечье называлась «рыковкой», по имени председателя Совнаркома А. И. Рыкова. Сталин объяснял делегации английских рабочих, что это временная мера, что вызвана она капиталистическим окружением, экономической блокадой и необходимостью на свои средства строить социализм в отдельно взятой стране.

С социализмом не вышло, зато индустрию-дурищу сгородили «пьяным бюджетом», займами, лагерями и сверхэксплуатацией.

Повторение пройденного с ГУЛАГом и нищенской зарплатой нам, как говорят на Украине, не треба. Доходы же от статьи «вино-водочные изделия», колы провалилась очередная кампания «за здоровый образ жизни», стоило бы, повторяю, отдать фермерам. Это ведь не жалкие «6,5 миллиарда», похудевшие со 2 января 1992 года по меньшей мере в десять раз.

Случай с заводом на деньги кабатчика, понимаю, исключительный. И не одной же сивухой поднимать деревню. Тут потребуются усилия куда большие. И на первое место не могут не выйти такие понятия, как деловитость и предприимчивость, которые демонстрировали подвижники русской кооперации. Потому с удовольствием и выписываю из досье:

«В Архангельской губернии за молочное дело взялся сам губернатор Н. А. Качалов. По его просьбе из Холмогор к Верещагину выехал Сидельников, организовавший после возвращения от него первую крестьянскую молочную артель на родине Ломоносова в селе Еменце. Инженер-полковник кубанского казачьего войска Сельвестрович прислал к Верещагину казака с женой и сразу же по их возвращении учредил в станице Слепцовской три первые молочные артели на Кубани.

К началу 1871 года появились две молочные артели в Новгородской и еще две в Вятской губернии. Был создан склад артельных сыроварен в Петербурге, продавший в 1868 году на 5000 рублей артельного сыра и масла, приумноживший свой оборот в 1869 году до 20 тысяч и еще через год — до 680 тысяч рублей».

Тем не менее были тут и свои сложности. Уже тогда вставала проблема: кто должен быть первой скрипкой — крестьянский двор или молочный завод, сырьевая база или промышленность? Об этом спорят и теперь. В самом же начале, как ни странно, но против кооперативных идей Верещагина выступил весьма авторитетный деятель: сосланный в Смоленскую губернию народник А. Н. Энгельгардт, чьи письма «Из деревни» знала вся Россия.

«Посмотрите, чем питается крестьянская семья? — писал Энгельгардт. — Ржаной хлеб. Мяса почти нет. Рыба в исключительных случаях. Отнимите молоко, что же получится? Во время самых трудных полевых работ — сенокос и жатва... рабочий молоком только и живет. Ржаные лепешки с творогом и сметаной — главная пища косца и жниц. Для детей молоко ничем не заменить... но смотрите, какая разница между детьми тех дворов, где молока много, и тех, где мало молока. Большая смертность детей всеми авторитетами приписывается недостатку молока и разбавке его водой. В Англии самые сильные рабочие происходят из графств, где потребляется много молока. Те же графства доставляют и наибольшее число рекрутов в гвардию».

В принципе Энгельгардт не возражал против объединения крестьян в артели, но был против молочной кооперации, которая лишила бы их самих молока. «Санкт-Петербургские ведомости» так истолковали позицию Энгельгардта: «...вся затеянная им история сводится к тому, что офицер на офицера войной пошел, офицер Верещагин стреляет артельным сыром, а офицер Энгельгардт — крахмалом и постным маслом».

Многие сторонники ссыльного народника считали, что надо сначала поднять надою молока, а уже потом думать об артелях, молочных школах и организации промышленности. Верещагин против поднятия продуктивности, конечно, не возражал, но говорил, что сами крестьяне, не имея интереса и никак не направляемые, выполнить такую задачу не смогут. Это сделают лишь собранные в единый союз «переработчики молока», только те, у кого, помимо знания дела, под одной рукой — ссудная касса, под другой — материальный склад с цецилками, марлей, жмыхом и прочими концентратами. Или, как гласит китайская мудрость, это тот случай, когда «дают не рыбу, а удочку».

С особой наглядностью все это проявилось с появлением у Верещагина такой «удочки», как только что созданный фирмой «Альфа Лаваль» сепаратор. Николай Васильевич купил его и установил в Едимонове. С этим сепаратором открывалась уже четкая перспектива организации мощной молочной промышленности. А тут подошла и очень важная поддержка Дмитрия Ивановича Менделеева, который провозгласил, что в хозяйстве, как и в химии, нельзя упускать из виду основной закон сохранения вещества. Ибо все, чем мы живем, приходит к нам из воздуха, воды и почвы: углерод, кислород и частично азот растения получают из воздуха, остальные элементы — из воды и почвы. «Так как животные и растения разводятся как для использования в самом хозяйстве, так и для сбыта на сторону, — учил Менделеев, — то при сбыте хозяин всегда должен знать: откуда выделяет он избыток продуктов своего хозяйства? Из почвы, воды или из воздуха? Продавая животное, он продает и часть почвы, откуда оно заимствует свои составные начала... Если перерабатывать сено в масло, то хозяйство не беднеет. Если хозяин собирает молоко, масло или сыр, то он отчуждает только то, что берется из воздуха, и, следовательно, почва не терпит никакой убыли».

(Несколько позже академик Иван Петрович Павлов добавит к этому, что молоко, являясь изумительной пищей, приготовленной самой природой, сторае в нашем теле почти без остатка, удваивая за полгода вес ребенка, несет в себе все, что надо, и ничего лишнего.)

И хотя под делом теперь была хорошая научная основа, но 20 марта 1889 года в Петербурге под председательством известного общественного деятеля, профессора А. Г. Столетова в Вольном экономическом обществе состоялись слушания о судьбе первой школы молочного хозяйства, с которой Верещагин связывал главные свои надежды на развертывание широкой сети артельных заводов. Здесь-то и вступили в противоборство Дмитрий Иванович Менделеев и противник кооперирования чиновник департамента государственных имуществ В. В. Кардо-Сысоев. Дискуссия оказалась долгой и бурной. В результате школу решили учредить и подготовить в ней на средства Вольного экономического общества за десять лет не менее 300 мастеров и организаторов крестьянских молочных артелей. Решение это было принято после того, как Столетов предложил всем, кто согласен с позицией департамента, встать. Ни одна фигура не воздвиглась. Остался сидеть и Кардо-Сысоев. Битва оказалась выигранной, и в селе Едимоново та школа начала работать. Ее двери Николай Верещагин широко распахнул всем, кто хотел помогать становлению послереформенной страны.

«Поражающе необычной была для того времени вся атмосфера, царившая в этой школе, — вспоминал ее питомец Кондратьев, — духом какой-то неуловимой теплоты и доброжелательности был проникнут каждый час и шаг пребывания в этой славной трудовой коммуне, традиции которой уносили с собой на всю жизнь ее питомцы...»

И действительно, отсюда, с берегов Волги, где размещалась Едимоновская коммуна, двинулись по всей России на захват в свое движение сел и деревень не только молочная, но и вслед за ней потребительская кооперация, отвечающая от сыроварни и заводов в виде всякого рода артельных лавок.

«Меня жжет теперь вопрос, — размышляла заведующая учебной частью едимоновской школы Александра Ободовская, — силою каких радикальных факторов может народ из коллективного раба... превратиться в сознательного борца за свое очеловечивание?»

«Одной теорией и книгами, — писала Ободовской будущая помощница ее в этой школе Софья Перовская, — я решительно не могу довольствоваться. Мне необходимо работать физически, тогда теория моя пойдет на лад».

Девизом всех, как и у Николая Верещагина, здесь было: не бояться никакой черной работы, уметь все делать своими руками, увлечь за собой, организовывать дело, не кичась, не бахвалясь знаниями. Работа своими руками вызывала в газетах и саркастические замечания, писалось, например, что в Едимонове готовят «ученых судомоск». На это одна из «школьниц» дала резкую отповедь: «Будь трижды благо-

словенна русская молочная школа, выпускающая «ученых судомоек», умеющих собственноручно отчищать нашу русскую грязь».

С 1 июня 1871 года по 1 августа 1888 года едимоновская школа выпустила 325 первоклассных мастеров и 152 отличных мастерицы молочного дела. С 1871 по 1874 год, в период подготовки массового похода молодежи в народ, Единоново оказалось в центре внимания народников всех мастей и направлений, опорным пунктом проверки их теорий на практике. Побывали здесь и единомышленники Бакунина, задавшиеся целью взбунтовать народ, и учителя-просветители, врачи, землеустроители, агрономы...

Столь большой подъем не прошел мимо внимания даже Ленина. Анализируя в своей первой большой работе развитие «земледельческого капитализма», он в подтверждение этой концепции цитировал специальные труды:

«В области сыроварения в течение последнего 25-летия в России сделано так много, как едва ли в какой-либо другой стране. В Тверской губ... доход от скотоводства исчисляется в 10 млн. руб... В Ярославской губ. «молочное хозяйство» с каждым годом развивается ... То же самое... говорится о Смоленской губ., в которой размер производства сыра и масла определялся в 240 тыс. руб. в 1889 г... Развитие молочного хозяйства отмечается в Калужской, Ковенской, Нижегородской, Псковской, Эстляндской, Вологодской губ. Производство масла и сыра в последней губернии определяется... в 500 тыс. руб. по местным сведениям 1894 г., считавшим 389 заводов».

Не преминул Владимир Ильич отметить и спад нового дела на рубеже веков. Он писал: «...“подготовили почву” так называемые “артельные сыроварни” 70-х годов и “сыроварение продолжает развиваться на правах частной предприимчивости, сохраняя лишь одно название “артельного”». «Развивается расплата товаром, так что приходится пожалеть о том, что на наше «народное» мелкое производство не распространяется закон, запрещающий расплату товаром на капиталистических фабриках». Да это в самом деле так и было.

В конце 90-х годов на едимоновскую школу обрушивался удар за ударом. В связи с общим кризисом и резким падением цен на молоко в селах появились лавочники-маслоделы. Они-то, конкурируя с артельщиками, и скупали по дворам молоко под товар. В 1891 году за антиправительственные выступления в Единонове рабочего Пестнова, за революционный дух, царивший в селе, школу закрыли. В общей растерянности молочной промышленности приходилось искать выход из положения, бороться за свое существование. И ключ к решению проблемы был найден. Вацлав Воровский так анализировал его:

«Маслоделие, начавшее в предыдущий период складываться в самостоятельный промысел, стало теперь придатком к лавке. Мелкие деревенские лавочники начали устраивать мелкие заводишки, принимать от крестьян молоко, а взамен открывать им кредит на товары первой необходимости. Сбыт предметов крестьянского обихода оставался по-прежнему главным занятием лавочника, маслодельный завод являлся лишь тем средством, при помощи которого он мог закабалить за собой покупателя, связать его кредитом, а себя обеспечить заносимым молоком. Денег крестьянин не получал, следуемую ему сумму он забирал товаром по произвольной цене лавочника...»

Поэтому-то такому лавочнику энтузиасты кооперативного движения противопоставили свои артельные лавки. Так удалось слить производственную молочную кооперацию с потребительской. Товары в торговых предприятиях были добротными, а цены низкие. «Маслодельная кооперация, — продолжал В. Воровский, — превращается в настоящее время в центральный орган кооперации, точнее крестьянской кооперации всего Северного края».

2 февраля 1915 года в Орловском уезде Вятской губернии, там, где в годы ссылки Воровского терпели неудачу попытки сколотить крестьянские молочные артели, возникли знаменитая Истобенская, а вслед за ней Зыковская и Поляновская артели. Их экономическая живучесть оказалась настолько высокой, что даже в годы войны, революции и долгой разрухи они продолжали расти и развиваться.

К 1 июля 1922 года, то есть уже в советское время, в Вятской губернии было создано 118 молочных артелей, из них 75 объединились в уездные союзы молочной кооперации. В Вологодской губернии число молочных артелей со 160 в 1915 году возросло к началу нэпа в два раза. Предвидя все это, еще за два года до революции Воровский писал о том, что «в тех районах, где маслодельные артели развились, они уже теперь стали органами, регулирующими хозяйственную жизнь деревни, концентрирующими вокруг себя ее общественную энергию».

Так, еще в конце прошлого века в Москве, на Петровке, открылось центральное молочное товарищество «А. Чичкин». То была у нас первая ласточка цельномолочного производства. Фирма «Чичкин» имела до революции 91 молочный магазин на полуторамиллионную Москву. Она поила город только сырым молоком, и люди не

знали от него никаких заболеваний. «До чего мы дошли, господа хорошие! — потешалась одна из бульварных газет того времени. — Дети уже не просят у матери молочка, а кричат: «Дай мне Чичкина»...»

Вот, кстати, еще один весьма любопытный факт. В мае 1907 года на лондонскую квартиру Ленина зашел делегат V съезда РСДРП Н. С. Каржанский. Сели завтракать. За столом гость восторгался чудесным ароматным сливочным маслом. Желая польстить хозяйке и ее вкусу, Каржанский рассыпался в комплиментах, говорил, что Надежда Константиновна наверняка знает лавки, где продается самое лучшее английское масло. «Да это, должно быть, наше, сибирское, — несколько смутился Ленин. Порасспросил Крупскую и, довольный, заразительно расхохотался, подтвердил. — Так оно и есть, сибирское, — не без гордости воскликнул он, озадачив прикусившего язык Каржанского. — Она даже район назвала. Это между Омском и Томском. Чудесный край с большим будущим!»

И действительно! У того края не только было «большое будущее», но и славное прошлое. Первый маслозавод в Сибири был создан под Минусинском еще в 1836 году ссыльными декабристами Беляевым, братьями Круковыми и Мозгалевским. В Западной Сибири первый завод был открыт полвека спустя А. Ф. Панфиловым в селе Чернореченском Тюменского уезда. Правда, готовил он лишь топленое масло.

Что касается настоящего расцвета, то он начался с открытием движения по Сибирской железной дороге. В 1895 году туда, в Тобольскую губернию, отправился выпускник едимоновской школы Сокульский. По прибытии он организовал первую в Сибири крестьянскую маслодельную артель в деревне Мареве Емурглинской волости Ялуторовского уезда. Сначала Сокульский сам был там мастером, затем, обучив еще четырех помощников, создал вокруг Маревской еще Скородумовскую, Митиновскую и Больше-Дубровскую артели, а в 1897 году еще 7 артелей — в Ишимском, Ялуторовском и Курганском уездах. Через два года там уже работали более 80 артельных заводов. Открылась контора братьев Бландовых. Появилась также иностранная фирма «Поллизен», начавшая скупать сибирское масло для отправки за границу.

Не исключено, что такие фирмы потянутся сюда и теперь, возникнут всякого рода совместные предприятия, всякого рода смешанные компании. Дело, разумеется, полезное, однако следует учесть и давнюю практику фирмы «Поллизен». Она поучительна и настораживающа, потому выписываю из досье: «Весной 1899 года питомец Верещагина Сокульский выехал с холодильным поездом к Балтийскому морю с первой партией сибирского масла, которое сибирские кооператоры повезли, минуя перекупщиков, прямо в Лондон. Уже к 1904 году Сибирь поставляла 97 процентов экспортного масла. К началу 1913 года на ее просторах работали 4229 в основном артельных маслозаводов, вывозивших за рубеж около 4,5 миллиона пудов продукта».

Выходит, умели! Хотя историки сегодня порой спорят об истоках столь бурного взлета сибирского маслоделия. Называют несколько причин. Тут и отсутствие помещиков, и большие села, где в каждом дворе стояло по меньшей мере по пять доившихся коров, а сплошь и рядом много больше, да еще дающих молоко почти пятипроцентной жирности, хорошие корма и пастбища, ну и, еще чистоплотность сибирячек.

Сегодня просто диву даешься энергии лидера сибирских маслодельных артелей Александра Николаевича Балакшина, который был вынужден покинуть родину из-за преследований царского правительства. Он эмигрировал в 1913 году, но дело его жизни в Сибири продолжало цвести. А вот учитель этого самородка Николай Васильевич Верещагин полностью осуществленной свою мечту — Всероссийский союз молочной кооперации, или, как его потом назвали, Маслоцентр, — так и не увидел. Союз этот был создан в 1924 году его многочисленными питомцами.

Документы свидетельствуют, что в 1928 году — у самого порога сталинского «великого перелома» — Маслоцентр был удостоен золотой медали Международного молочного конгресса в Париже. Посетившая вслед за этим Россию делегация зарубежных кооператоров не без восхищения отметила, что не далек день, «когда российская кооперация будет крупнейшей жемчужиной в кооперативной короне мира»...

Как видим, российское кооперативное движение, начавшееся благодаря преимуществу Верещагина и его сподвижников, выдержало проверку на крепость революцией и гражданской войной с ее бесконечными поборами с деревни и чрезвычайными мерами. Вот почему, когда польхнул Кронштадт, вслед за тамбовской антоновщиной вспыхнули сотни и тысячи мужицких восстаний, уже совсем больной Ленин вспомнил крестьянские артели, попросил книги проницательного аграрного ученого А. Чайнова и принялся за статью «О кооперации». Да и как было

не вспомнить, если в 1910 году только одна молочная продукция России оценивалась в 1017,5 миллиона рублей, в то время как вся остальная продукция животноводства — в 841,3 миллиона. В общем экспорте продукции сельского хозяйства и лесоводства экспорт сливочного масла прочно занял пятое место. На первом была пшеница, затем лес, яйца и птица. Только за одно это масло в 1913 году из-за рубежа было получено золота в два раза больше, чем добывали его все золотые прииски империи. Фактически Россия завоевала первое место в мире среди экспортеров сливочного масла, хотя по статистике лидировала Дания, перепродававшая наше масло после переработки в Англию.

Выходит, артельные заводы способны были не отторгать молоко от бедняцких детей, а служить основой для процветания народа. Только в наше уже время огласки оказался известным тот факт, что Ленин, строя свои концепции, не знал о письме Карла Маркса Вере Засулич, где основоположник научного коммунизма говорил о том, что почти сплошь крестьянская Россия с ее общинной собственностью на землю не подходит для мирового революционного взрыва. Что ж, хоть поздно, но прозрение-то пришло, и Ленин увидел будущность России в «строе цивилизованных кооператоров».

В апреле 1925 года состоялась XIV конференция РКП(б), где речь шла о дальнейшем углублении и практическом воплощении идей, выдвинутых в статье «О кооперации». По решению конференции всем слоям населения, занимающимся сельским хозяйством, давалось право участвовать в кооперации, облегчались условия применения наемного труда и аренды земли. Партийным и советским органам запрещалось административное вмешательство в кооперативную работу.

Результаты сказались быстро. Если в 1924—1925 годах сельская кооперация объединила 24 процента крестьянских хозяйств, то в 1927 году — уже 32. С 1927 по 1929 год число разного рода кооперативов увеличилось в 2,5 раза. В канун «великого перелома» к сельской кооперации примкнули уже 55 процентов крестьянских хозяйств. Это активность населения. А производство?

Если в 1922—1923 годах государство и кооперация заготовили 84,8 миллиона пудов хлеба, в 1923—1924 годах 310 миллионов, то в 1924—1925 годах 323 миллиона пудов. Такие шаги говорят сами за себя. Далее. В 1923—1924 годах деревня приобрела машин на 18 миллионов рублей, а в следующем — уже на 33 миллиона...

С 1923 по 1926 год среднедушевое потребление мяса увеличилось почти в 2,5 раза, молока и молочных продуктов — вдвое, сахара — втрое и в 1,5 раза — сливочного масла.

...Но все это пошло под откос с началом «сплошной коллективизации». Уже в самом начале 30-х годов деятельность Маслоцентра стала сворачиваться. Пальбу по ней начали с печатных изданий. Газета «Кооперативная жизнь» трансформировалась в «Снабжение, кооперацию, торговлю». Затем из ее названия вылетели и «снабжение» и «кооперация». Газета стала «Советской торговлей». В 1931 году ликвидировали журнал «Молочное хозяйство». Из программ всех учебных заведений вымарали имя Н. В. Верещагина.

В конце прошлого и начале нынешнего века центром пропаганды кооперации был Всероссийский музей истории сельского хозяйства. Его упразднили в 1932 году сразу после ликвидации Маслоцентра. А судьба Центрального молочного института в Пушкине, где готовили специалистов высочайшей квалификации? Закрыли и его. Кадры готовили на крохотных факультетах в разрозненных вузах.

Поистине ломать — не строить. И тем не менее на пожаре мало кричать: «Горим!» Пожар надо гасить. У нас же на страницах периодических изданий многие еще с большей удалю, чем прежде, отплясывают уже не твисты, а брэйк и ламбаду с заливистым присвистом и матерком. Ни за багры, ни за ведра бывшие балалаечники «передового колхозного строя» не хватаются. А тут бы вместе с «мужиками» задуматься — как жить дальше?

Ни одна мировая цивилизация, начиная с древних шумеров, не вырвала с корнем у пахаря и сеятеля извечную тягу к земле. Это сделали мы, искривив даже генетическую наследственность крестьянства. Как ни горько, но в России утрачена основная ячейка сельской общины — трудовая семья. За обеденный стол уже множество лет не садятся по десять, а то и по двадцать человек. Как и в городе, умещаются на кухне вдвоем, втроем... Реже вчетвером. Перефразируя Сталина, можно сказать: есть крестьяне — есть проблема, нет крестьян — нет крестьянского вопроса.

Да, крестьянина давно нет. На что же надеяться? Нынешняя молодежь не последует примеру народников, не пойдет в деревню. Не двинется она туда, как двинулись на целину в степи Востока легковерные и обманутые энтузиасты 50-х. Земледелия же без земледельца не бывает. Так что — конец всему?

Нет...

Садовники не удивляются, когда по весне из голых стволов засыхающего дерева вдруг начинают лезть молодые зеленые побеги. Их выбрасывают отмирающие скелетные ветви, вспучивая утоптанную почву, новая поросль пробивается от корней. то проснулись, чувствуя скорую погибель, спящие почки. Теперь, знает садовник, нужно удалить все трухлявое, и дерево оживет, станет вновь плодоносить.

Сколько раз за минувшие десятилетия буйно проклевывались у нас такие «спящие почки» и рвались к жизни! Стоит вспомнить хотя бы Ивана Худенко, который не переворачивал сельское хозяйство вверх ногами, а, напротив, мог поставить его на ноги. Вспомнить отца бригадного подряда великолепного экономиста Александра Еркаева и его подопечного — знаменитого кубанского звеньевго Владимира Первицкого, который с двумя напарниками выращивал кукурузу почти на тысяче гектаров с такими ошеломляющими урожаями и предельно низкими затратами, что удивлял даже всемирно известного американского фермера Гарста.

А что же сановные садовники? Линия у них была ровная. Один платил колхознику «палочками», другой согнал скот на фермы и обещал мигом «перегнать Америку по надоям молока». (В результате той гонки содержание сухого вещества в молоке упало на один процент. Цифра вроде неброская. Подумаешь, какой-то процент, а это миллиардные потери.)

Еще один усмотрел было в бригадном подряде выход из тупика, собрал даже в Белгороде по этому поводу грандиозное совещание. Правда, ни Еркаева, ни Первицкого туда не позвали, ибо у нового дела может быть только один автор, два — это как два солнца в небе. А тут еще окружение считает: никаких бригад не надо, лучше все тракторы района собирать в один механизированный кулак и все пахать с юга на север, в таком же порядке сеять и косить, как предложил Ипатовский район Ставропольского края.

Нет, садовники не спиливали труху. Они резали по живому, долго скрывая не только умопомрачительные закупки за границей хлеба, но и мяса, сыра, масла. Москву молочными продуктами снабжали двадцать областей, краев, республик да еще частично Финляндия, Бельгия, Франция...

И хоть стало яснее ясного, что дальше так нельзя, шесть лет перестройки обернулись сплошной говорильней о верности «социалистическому выбору». Позвольте, но где же в таком случае «строй цивилизованных кооператоров», где кооперация, настоящая, не лоточная? Почему бы не возродить в новых условиях, скажем, верещагинский Маслоцентр? Кооперацию производителей хлеба, картофеля, льна... Все те системы выверены. Что, в таком случае окажется негодной сверху донизу огосударвленная система нынешней потребкооперации с ее номенклатурным Центросоюзом? Да, она не выдерживает критики даже после недавно принятого о ней закона. Однако Центросоюз выгоден был старой номенклатуре как распределительная инстанция, перекачивавшая ресурсы из деревни в казну, а что подефицитнее — на спецбазы, откуда черпались и японские телевизоры, и французская косметика для жен, и финские костюмы, и австрийская обувь. Колхознику же, если и обламывались крохи, надо было возами возить за них подсолнечное масло, грецкие орехи, тыквенные семечки и все такое прочее, что охотно берет за граница. Список же товаров за «деревянные» рублики в магазинах сельпо не мог превышать 300 названий. По государственным расценкам здесь давным-давно не продается даже то, что произведено на соседнем мясокомбинате или молокозаводе. Только по коммерческим или по так называемым договорным. Да еще с гужевой наценкой, будто ту колбасу везли сюда гужом, конскими повозками да воловьими арбами.

Благодаря публикации в «Аргументах и фактах» полного списка тех, кто на VI съезде народных депутатов РСФСР провалил Закон о частной собственности на землю, стало доподлинно известно, какая сила противостоит переменам в деревне — вчерашняя номенклатура в сцепе с «красными помещиками». Вот как глубоко врос лежачий камень. Потому и берутся подкопать его. Иначе под такой камень вода не потечет.

Горожане сегодня считают, во сколько им обойдется по новым ценам поездка к своим точкам на машине или в поезде, клянут вздорожание кровельного железа, кирпича, досок и гвоздей, но берут и огородные и садовые участки, готовы выложить последнее за землю под дачу или купить развалюху в деревне. Пусть от нужды! Но копать-то будут в земле, да еще как. Куда ни поедешь, мордуются в сырых низинах, мешками тащат землю на мертвый камень карьеров, и через год-два тут уже ничего не узнаешь. Это ли не пробуждение?

Сложнее с теми, кто вроде бы первым должен был вцепиться в землю, и не в бросовую, а в ту, на которой жили и трудились и отцы и деды их. Вроде дано право беспрепятственно выйти из колхоза со своим земельным и имущественным паем,

чтобы организовать свое крестьянское (фермерское) хозяйство. Все это можно заложить в банке, передать по наследству, продать... Чего же больше, какого еще рожна нужно? Двери на волю открыты. Ан нет!

В постановлении правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», принятом буквально за два дня до еказа президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», черным по белому записано:

«Для приватизации земли и реорганизации хозяйств в каждом колхозе и совхозе создаются комиссии. В их состав включаются представители местных органов власти, администрации хозяйств, трудовых коллективов, районных управлений сельского хозяйства, комитетов по земельной реформе, кредиторов. Руководство указанными комиссиями возложить на председателей колхозов и директоров совхозов, которые несут персональную ответственность за исполнение настоящего постановления...»

Вчитавшись в этот пункт, задаешься вопросом: допустим, забурлила деревня, разных подходов к указу много, створиться не могут, и нужен третейский судья, но какой агроном, юрист из райсельхозуправления или член районного комитета по земельной реформе сможет даже физически побывать в каждом колхозе и совхозе? Кто же станет править бал? Конечно же, «красные председатели и красные директора!» Тем более, что на них возложено руководство комиссиями. Нашли все-таки лазейку, протащили хитрый пункт «в развитие указа». Ну а как подзаконные акты и инструкции сводят на нет сами законы, давно известно.

Нет нужды перечислять все варианты препон, вставших на пути к фермерству. Ими полны и газетные публикации и телевизионные передачи. Скажу только, что своим постановлением правительство России поставило земельную реформу под угрозу полного провала.

Так, на поддержку будущим фермерам отпущались помянутые выше 6,5 миллиарда, которые на фоне обвальной инфляции теперь ничего не способны решить. Но то лишь для фермеров. Всему же сельскому хозяйству с его колхозами, совхозами, агрокомбинатами и объединениями в канун уборки, чтобы хлеба убрали и осенью не угрожал голод, выделили немногим более 100 миллиардов рублей вместо запрошенных 150 миллиардов. Чтобы не стояли комбайны и грузовики, хозяйствам компенсируют подскочившие цены на горючее, может, даже подкинут кое-что за обман в обещании платить за качественное зерно прошлого года валютой. Конечно, приходится по одежке протягивать ножки. Но все это не больше, чем латать тришкин кафтан.

Сопоставьте: в экономику бывшей Германской Демократической Республики, чтобы вытащить ее из провала, вчерашняя ФРГ вынуждена вливать в год 180 миллиардов марок. Не 105 наших «деревянных», теперь уже «соломенных», а повторяю: 180 миллиардов своих полноценных марок. Это на германские земли, где живет всего 16 миллионов населения. А сколько в российском селе?..

Несопоставимо!

Естественно, указ должен быть кратким и не обязан содержать образец заявления на выход из колхоза. А вот подзаконные документы уж должны содержать тактику земельной реформы куда более полно. Если и не всю, то хотя бы в главном. Как сказал Ельцин, те 105 миллиардов селу рассчитывали более ста специалистов. Но на кардинальный вопрос «как?» разъяснения так и не последовало.

А это «как?» должно было бы состоять в предложениях вовлечь в сферу деятельности как можно большее число мелких производителей. На садовом участке, в сельском подворье малыш пасет гусей, малыш добывает траву кролику, согбенная старуха стонет, но с порога своим «цып-цып» созывает цыплят. Здесь все участвуют в «сфере материального производства». Здесь потерянное зернышко не пропадет, будет склонуто.

От такой печки в свое время и танцевал Николай Верещагин, заключая договор с крестьянами «сносить молоко со своих дворов в одно место», чтобы потом перерабатывать в масло не у лавочника, а на артельном заводе. Таких дворов теперь меньше, но с садовыми участками, дачами, колхозными подворьями этих мелких производителей и сегодня миллионы! Ну дай им не когда-то — теперь разобыкновенные стеклянные банки, крышки, резинки, машинки для закатки, и миллиарды тех же банок заполнятся огурцами, помидорами, перцами, тушеными кроликами, копчеными курами... Пусть немного, но очереди-то станут у магазинов чуть короче.

Куда же дальше ехать? Отдать завтра всю землю по кускам значило бы умереть с голоду. Так, с налету, ликвидировать колхозы и совхозы было бы преступно. Упомянутые выше комиссии должны стать не ликвидационными. Нет! Равно как не должны быть и органами консервации колхозного строя. Им скорее подходит роль штабов по преобразованию тех же колхозов во всякого рода ассоциации фермерских

хозяйств и кооперативов, товарищества, объединения. Такой опыт уже есть. Задача должна состоять не в том, чтобы отпустить или вытолкнуть семьи, пожелавшие вести дело самостоятельно, на отруб и бросить на произвол судьбы, а помочь встать им на ноги. И не только это.

Богатая федоровская фирма микрохирургии глаза отвалила гигантский куш, чтобы образовать неподалеку от Москвы оазис сельского процветания. И что же? Святослав Федоров пришел к горькому выводу, сказав, что в окружении рабов в одиночку свободным не станешь. И это так! У трудовой крестьянской семьи времен Верещагина была надежная горизонталь: сельский двор — артельный завод — инвентарный склад, торговое предприятие — ссудная касса. Была и вертикаль: уездное объединение — губернское и наконец Маслоцентр в Москве. Но и горизонталь и вертикаль служили сельскому двору.

Чиновники из нынешней потребительской кооперации об этом теоретизируют лишь в общих чертах. Им все дай! И транспорт, и склад, и завод. Привезли им яблоки или помидоры — могут принять, а можешь получить и от ворот поворот, если план по заготовкам уже закрыт или у приемщика опохмел и на дверях висит: «Ушел на базу». Оттого-то молодые ассоциации и не могут иметь дела с кооперацией — она никого не кооперирует, только барышничает. Правда, мельче и хуже, чем лавочники, которые одно время перехватили инициативу у Верещагина, еще только создавшего горизонталь.

Вот и теперь, прежде чем податься в фермеры, колхозный механизатор терзается вопросами: ну достанется мне трактор без колеса, допустим, сниму с книжки последнее и куплю то колесо, а поломался — где чинить? Земля землей, но не будешь на ней из года в год сажать картошку по картошке или сеять рожь по ржи. Подсолнух, тот на исходное место можно вернуть только через восемь лет, иначе будет болеть. Значит, надо резать землю на клочки и вводить севооборот. А это особый набор техники под каждую культуру. За какие шиши купишь? А снабжение семенами, горючим, кому и по каким ценам продавать зерно, молоко, мясо?..

Многие председатели, не из «красных», а из тех, что смотрят вперед, еще до земельной реформы на все это ответили. Они оставляют те же севообороты, но пять-шесть вчерашних главных агрономов, инженеров или механиков, став фермерами, объединяются в растениеводческий кооператив и с той же техникой возделывают те же культуры, какие растили и прежде. Их паев, конечно, не хватает, чтобы все это приобрести при дележе. Поэтому в банке своей ассоциации берут кредит и выкупают технику в полную частную собственность. А это уже другое отношение к машине. Ее берегут, сами ведут простой ремонт. Сложный же делают в другом специализированном кооперативе. И высокосортные семена прямо к сеялке доставят кооператоры еще одного кооператива. Как видите, и здесь горизонталь. Далее она идет к транспортникам, переработчикам, реализаторам продукции...

По вертикали же над ними находятся правление банка и районный союз кооператоров. Дальше вертикаль пока не идет.

И тем не менее не сегодня, так завтра Закон о частной собственности будет принят. Конечно, противники его опять пустят в ход главные свои козыри — фермеры страну не кормят, новые кулаки во имя наживы лишь истощат землю и будут эксплуатировать чужой труд. Эти карты биты еще в 1925 году на XIV партконференции, где председатель Совнаркома А. И. Рыков говорил:

«...нет никакой надобности ставить административные препоны развитию производительных сил деревни в отношении найма труда в сельском хозяйстве и земельной аренды... Административными мерами с частным капиталом мы теперь не должны бороться. Взаимоотношения между государством и частным капиталом складываются на основе экономического соревнования, конкуренции».

От наемного труда в деревне и нам не уйти. Им широко пользуются и фермеры Запада. Но те «батраки» работают по восемь часов в день, у них два выходных при очень высокой зарплате. И если кто-то вкалывает от зари до зари, так это их «эксплуататор».

И не фермеры, а огосударственные хозяйства истощили, отравили и обратили в прах достославный русский чернозем. Приусадебный же частный огород ухожен и плодоносит куда лучше поля, которое за ним. Так будет и с фермерскими наделами, если они станут не «нашими», а своими. Второе за одну лопату собственники держаться не будут. Это позволительно лишь в колхозе.

Зачастую пугают хаосом, рыночной стихией в том случае, если частнику дадут волю и отменят госзаказ. И это надуманные страхи. Бурное развитие деревни в годы нэпа как раз и вызвано было полной отменой удушающей продажной закупки. Кооперация заменила ее другим инструментом — контракцией продукции. Государственные, кооперативные органы или промышленные предприятия брали обязательства по снабжению крестьянских хозяйств торговыми семенами, машинами, промтоварами,

оказанию услуг специалистов. Для этого и выдавали денежные ссуды, крестьяне в свою очередь обязались засеять определенную площадь определенными культурами и продать производственную продукцию в договорные сроки по заранее обусловленным условиям и ценам.

В 1928—1929 годах в контрактации участвовала треть всех крестьянских хозяйств. В целом по стране по всем культурам посевные площади под урожай 1930 года были законтрактованы более чем на 70 процентов, удельный вес полученной по контрактации продукции поднялся в том году с 40 до 77,8 процента. Контрактация 1929—1930 годов обеспечила поступление государству в планоно-организационном порядке до 85 процентов всей заготовливавшейся в деревне продукции.

В постановлении Совнаркома СССР от 7 октября 1929 года «О контрактации продуктов сельского хозяйства» отмечалось: «Контрактация продуктов сельского хозяйства: за последние два года росла чрезвычайно быстро и распространилась почти на все сельскохозяйственные культуры. Контрактация вызывает подъем сельского хозяйства: рост посевных площадей, расширение посевов технических культур, рост урожайности и т. д.»

Так почему бы такую тактику и стратегию не заложить в земельную реформу? Не нравится? Давайте искать лучшие ходы, а не срезать зеленые побеги на засыхающем древе.

Если верить статистике, то к лету 1992 года 100 тысяч семей объявили о своем желании стать фермерами. Больше для начала, думалось мне, и не надо. Но вот пишу эти строки, а по телевидению в «Новостях» сообщают, что 50 тысяч офицеров и прапорщиков решили заняться сельским хозяйством, что на обзаведение им выделяется 1,5 миллиарда рублей...

А нет ли среди них флотского офицера по фамилии Верещагин? Впрочем, фамилия может быть и другой...

ЕЛИЗАВЕТА ЧЕН

*

ДОМ СВОИМИ РУКАМИ

...земля должна привлечь интеллигентных людей, потому что земля дает свободу, независимость, а это такое благо, которое выкупает все тягости тяжелого земледельческого труда.

Александр Энгельгардт.

Именно в Прибалтике люди интеллектуальных профессий издавна научились уединяться на хутора, чтобы саккумулироваться для творчества и спастись от погибельного быта и стрессов, коими так изобильны наши города.

Вот и мы с мужем полтора десятка лет назад решили эмигрировать от российского абсурда, да и от любимого дела, журналистики, тоже. Как и всякое любимое, оно лишало покоя, сна, здоровья, между тем все более сводясь к холуйскому «чего изволите-с?». Опустошала суета, а хотелось сберечь живой душу и то, что М. Пришвин называл «хорошее отношение к хорошим людям».

Немалую роль в нашем решении сыграло и активное неприятие отцом моего замужества. Родители задали Виталию всего три-четыре вопроса, и отец пришел в ярость. Я-то полагала, что домариновала их, протянув чуть не до своего тридцатилетия с замужеством, — увы. Отважившись на смешанный брак, корейки, как правило, живут вдали от родственников. Что делать, малые по численности народы, каковы, кстати, и латыши (а корейцев по последней переписи в стране меньше полумиллиона), рьяно блюдут «чистоту крови», ничуть не присматриваясь к опыту евреев, которые давно для себя открыли, что сильные, красивые, не обделенные интеллектом люди (а именно таково большинство метисов) — это завтрашний день человечества. Да и два, допустим, эгоиста в одной семье многовато, а смешанные, то есть межнациональные браки больше гарантированы от сходных недостатков супругов. Опять же, замуж выходишь ведь не за нацию, а за конкретного человека. А взаимопроникновение культур, традиций и обычаев только обогащает обе стороны. А всего-то и заботы у каждого человека — найти себе дело по душе да друга по сердцу, чтобы быть вполне счастливым на отпущенном тебе небольшом отрезке времени.

Мои далекие соплеменники давным-давно догадались уединяться в леса и горы на родине моих прадедов, порой отказываясь от чинов и богатств в случае несогласия с общепринятыми нормами жизни. Корчевали небольшие участки земли, чтобы как-то независимо прокормиться, а то писали неторопливо от руки книги, вкладывая в них свое представление о добре и истине. Ну а всю не востребованную обществом энергию вкладывали в строительство храмов высоко в горах, чтобы поближе к небу, Богу...

Уединялись, конечно, не только в Корее. Вот танка неизвестного японского автора средневековья:

В холодном мире я страдать устал.
В жестоком мире лишь печаль да стоны.
Уйду в теснины гор, —
Пусть жизнь растает там,
Как тает снег на листьях горных кленов.

Вот и нам пришла в голову мысль, что если все дело в кусочке резиновой колбасы, который под нетерпеливыми взглядами из городской очереди вырывает себе на пропитание, так не проще ли самому добывать его, поселившись на земле?

Но почему избрали именно Латвию?

Трудная земля. Трудные люди.

Почти восемь веков чужеземного гнета. Почти восемь веков нечеловеческих усилий, чтобы небольшому народу мирных земледельцев сохранить землю и язык отцов и дедов, — где уж тут найти силы быть ласковым к себе и другим?

Как же нам, сугубым горожанам по рождению и профессии, удалось довольно скоро и органично вписаться в эту землю и в жизнь этих людей?

У народного поэта Латвии Иманта Зиедониса в книге прозы «Курземите» есть наблюдение, что, прежде чем впустить в свое сердце инородца, латыши к нему присматриваются и приглядываются шесть лет. Разве этот выверенный веками срок не самодостаточен для того, чтобы наделить человека правами гражданина? Но крутят народом те, кто больше печется о своих корыстных интересах, а не о республике или народе. Им-то как раз важно при проведении приватизации заткнуть недовольство одних за счет обделенности ваучерами других. Жадность — один из смертных грехов...

Но мы-то поселились на земле, среди латышских крестьян, приехав не за длинным рублем (его и по сей день не имеет земледелец), а чтобы обихаживать землю и кормиться непрестижными трудами на ней. Потому так скоро породнили нас общие труды и общие понятия о земле-кормилице. Земля, этот Божий дар, во все времена помогала латышам выстаивать в лихолетье и воплощать на ней свое представление о красоте. Согласно статистике больше половины населения Латвии до войны проживало на земле. Именно земледелец сохранил лучшие черты народа и во все времена был и есть опора нации, даже если он не осознает этого.

Оттого именно в Латвии первое, что сделали, — отдали землю хозяину ее: ведь собственность — это способ наискорейше принести пользу жизни. А если в России до сих пор играют в потягушки с землей, то только потому, что отдай ее в собственность — семерым с ложкой нечего станет делать. Сердобольные россияне никак не решатся дать по шею своим нахлебникам.

Полуразвалившийся хуторок, который приехавшая на первую зиму мама обозвала фанзой, а окрестности — тундрой, мы купили из-за доступности цены и дивного хоровода из столетних кленов, дубов и берез. Сейчас начало октября, и ярит глаза разноцветье красок — ржаво-золотистые и багряные, открытые золотые тона и прозелень: прощальный гимн перед долгой белой зимой. Именно над нашим хутором пролегает великий путь гусей-лебедей в теплые края. Вот как раз позавчера, 1 октября, мы увидели поистине редчайшее явление: за день (а мы как раз весь день были на улице, перетаскивали в подвал картошку, сколачивали стропилины на въезд в гараж) пролетели двадцать пять косяков. Это только то, что мы засекли. Щемяще грустно, что такое не видит с нами Настенька. В школьные каникулы мать привозила ее на «трудовое воспитание», и не забыть, как в первое же лето она прибежала со слезами на глазах: «Там... там двадцать два аиста за трактором идут. Целых двадцать два! Ну кто в школе поверит, что столько видела за один раз?!» «Ну давай, — говорю, — справку напишу, что видела»...

Первое время мы не уставали, вот как Настена, поражаться лосю, который, не обращая внимания на возмущенный лай овчарки Джеры, подходил к самому хутору; по сей день на наших лугах расхаживают оранжевые грациозные косули, а то в

нескольких шагах от тебя, оправдывая само название нашего места «Вец-Лапсас» («Старый Лис»), застынет огненная лисица. Несколько лет к нам во двор приходил чуть не каждый день небольшой русачок, съедая оставляемый ему кусочек хлеба и однажды подпустил меня на расстояние вытянутой руки. Потом спугнули его, видимо, овчарки, которыми нас щедро одаривала плодовитая Альфа (Джера к тому времени от дряхлости «не вытерпела больше жить»).

Огромный мир природы со своими законами и своим ритмом жизни навалился на нас, и нужно было постигать его в самые краткие сроки — иначе не выжить.

С первой же осени латышский Бог (а Бог имеет ли национальность?) оказал нам помощь и содействие: осень выдалась погожая, ласковая и простояла почти до декабря. Несколько человек во главе с сыном каменщика Янкой перед самыми морозами закончили каменный этаж дома в земле. Мы-то строили из камня в силу денежных затруднений: камень валялся по обочинам совхозных полей, напоминая о сползании ледника со Скандинавии по северной части России и Балтии, и был прекрасным и бесплатным строительным материалом.

Как только Янка с помощниками закончил подземный этаж, три шабашника в три дня из газоблоков и силикатного кирпича воздвигли наземный этаж. Но зимовать пришлось в «фанзе», печь которой отчаянно дымила. Приходилось протапливать ее с открытыми дверями, пережидая на снегу, когда она протопится, после короткого сна снова набрасывались на строительство дома, отвоевывая метр за метром. Когда мы вдвоем закончили утеплять рубероидом, шлаком и стекловатой крышу дома, вернее, потолок, мама взяла в свои руки мои в кровавых подтеках, разбухшие ладони и заплакала:

— Что ты сделала со своими руками?

— Ну, с маникюром еще успеется, а вот без крыши над головой человеку не выжить.

Вторую зиму перемогли в комнатке без окон подземного этажа дома. С нами зимовала курочка, слегка отморозившая лапку. По утрам я принималась за уборку, а ей, зная, пришлось по душе мой репертуар, она подпевала мне, расхаживая по комнатке, если я затевала свою любимую «Среди долины ровныя...». Замолкала я — она тоже. Весной мы выпустили певунью в куриное семейство, но она долго еще принавивалась к моему шагу в саду или во дворе, намекая: хорошо бы попеть.

Новый дом строить на месте старого мы не стали: у корейцев не принято строить там, где был покойник, а в «фанзе» умер дед, дети его подались в города, наведываясь к старой матери лишь за парным молочком да картошкой. И, конечно, все обветшало донельзя, так что какая-нибудь жердинка прибита к изгороди двадцатью гвоздями: и держать не держит, и оторвать трудов немалых стоит. Временщики да поденщики так и живут век на тычках, кривь и вкось. А ведь закладывал хутор латыш Силиньш, кузнец по специальности, основательно. За свою рачительность и остался лежать в Сибири. На каждом шагу добром мы поминали дела его рук. И через сто с лишним лет бревна, заложенные в дом, звенят от удара, что тебе металл. Знал человек, когда дерево спилить, сколько ему сохнуть, как положить его, чтобы на дольше. Да и строился он толково. Дом поставил на взгорке, откуда открывается красивейший вид окрест, каменный кут (так по-сибирски в Латвии называют хлев) поместил в низину — от ветров и холодов спас. После его вынужденного отъезда в Сибирь в доме стали хозяевами его же батраки. Сад и дом пришли в упадок, но за название и красоту мы на это место как раз и позарились. Одно дело, когда строишь на новом месте, другое — когда место надо расчистить. Виталий соорудил из старых тележных колес массивную телегу, и я, впрягшись в нее, возила трухлявые бревна и доски строения, которое мы развалили, приглядев место для дома. Этот бревенчатый сарай не смог взять трактор «Беларусь» и шестеро мужиков в придачу. Тогда мы сами, вооружившись ломом, по бревнышку разобрали его. С тех пор мы поняли, что крыть крышу, чистить колодец, сложить камин или провести свет, равно как и справиться с кладкой печи, — все надо суметь самим. Уж столько лет изводили на корню умельцев и мастеров, что извели их. Теперь не одно столетие заново их растить. Как заново припоминать приметы. Заново копить народную мудрость. Да вот хотя бы, как говаривали латыши в старину: согласие питает, раздор разоряет. Напрочь забыто, а надо бы вспомнить.

Каждый метр дома давался нам на земле куршей и латгалов трудно, не хватало стройматериалов и строителей, на другого выхода не было как отвоевывать перед очередной зимой комнату, кухню или веранду. И вот настал день, когда надо было проводить водяное отопление. Решили на два этажа закольцевать его, но что мы знали о нем? Что нужны трубы и батареи? На куске оргалита Вит нарисовал схему, и мы приступили к делу. Почти два месяца заняло это. Я держала многокилограммовый

гаечный ключ, а Вит свинчивал, развинчивал, гнул профили, добывал контргайки, муфты, переходники... Наконец настал день, когда мы залили в систему воду, и она.. побегала изо всех щелей. Кинулся муж к местным слесарям, оказалось, надо на каждый стык наматывать пакли и прихватить масляной краской. Опять залили воду и со страхом стали ждать, где она побегит. Нет, как ни странно, не бежит! С тех пор лет десять уже служит нам отопительная система, и даже соседи приходили: не возьмемся ли мы переделать у них сделанное слесарями...

Ну а бицепсы на моих руках так округлились, что хоть одним ударом семерых.

«Дашь пятаю полярную зиму!» — на этом лозунге, написанном на двери второй комнаты, мы и остановились.

В самую первую осень мы начали с того, что заготовили тридцать шесть березовых веников и повесили их на видном месте. Но баньку начали строить года. через два, когда стало вырисовываться хоть какое-то подобие крыши над головой. Делали ее только в выходные и праздники. Получилась настоящая сибирская каменка, куда мы стали ходить по выходным, все остальные дни — рабочие.

Как раз к тому времени совхозный пасечник Элмар вышел на пенсию и уговорил нас разрешить поставить с десяток-другой ульев у нас в саду — наши три липы-вековухи в хороший год дают по 50 килограммов отличного меда, да и нам Элмар дал рой и стал потихонечку обучать нас этому интереснейшему делу. Ну, две пчелосемьи у нас и сегодня копошатся, давая немного медку. Плеснешь, бывало, на камни кипятку с разведенным в нем медом, и такой дух пойдет, что вся хвороба куда делась. Или кваску добавишь, тоже малость, а как дышится хлебным духом! Как в домашнюю молеблю, из последних сил ползла в конце недели в ту баню, а выходила из нее словно купанные в живой воде, хоть сейчас снова за работу!

Научились веники вязать до Янова дня, тогда листья крепче сидят на ветках, веник мягче хлещет. А чтобы сохранить их пахучими, научились при сушке переслаивать молодым сеном. Вынешь такой веник, а он прямо зеленый, как вчера сорванный!

Банька — тоже могучее средство очеловечивания, если подходить к ней не как к месту для мытья, а как к способу отпустить душу, размягчить ее.

...Бог ты мой, как вмиг она сгорела, потрескивая, словно из автомата, свежепрестеленным шифером крыши. Дотла. А мы только-только настелили взамен старых новые полы, купили по этому случаю новые шайки, сладили дубовые скамейки, провели свет... Не уследил за угольками восемнадцатилетний обалдуй, как зовет москвичка родная мать. Нипочем не захотел ждать выходного: дай ему сейчас испопить, в субботу. Сбежал в городскую квартиру, утешив нас, что рано или поздно она бы и так сгорела. Ну скажите на милость! Ему небрежно похвастать среди сверстников, что, мол, мылся в настоящей деревенской баньке с каменкой, а нам на долгие три года без нашей целительницы. В прошлом году пенсионер Алфред помогал нам сложить бревенчатый сруб, но вот только сейчас мы замочили глину, да надо приладить окна двери. Ведь это не так просто — строиться на отшибе; это вдвое больше расходов все надо привезти, да кран подогнать, да там и тут приплатить... Так трудно силы восстанавливаются без нее, так не хватает этой радости душе и телу в конце недели.

У таланта нет иного выхода как быть его жертвой. Правда, можно предать свой талант. И насколько же богаче выбор у людей нормальных — бери и иди в любом направлении. Вот втянулись в строительство и начали одно за другим осваивать, ведь при социализме человек должен все уметь сам. Три теплицы смастерили, пока до тонкостей поняли, что это такое. Когда поставили первую пробу пера — у Анны и Ивара, у которых мы снимали в первый месяц летний коттеджик, — Ивар сказал «Да, ребята, вы все построите, и дом, и все что захотите». Сам он из Латгалии. Фашисты в войну завербовали насильно в эсэсовцы, потом за это десять лет сибирских лагерей. Потом поставил дом матери, второй дом — сестре старшей и себе, третий — племяннику. Так и недосуг было ему семью завести. Пьет втихую, не теряя при этом головы. «А что еще у меня за радости?» — горестно спрашивает Ивар переживающую за него старшую сестру, с которой вместе старость встретил.

В награду за наши труды да за то, что два месяца помогала им по хозяйству (Анну цепью зацепила и уронила корова, и она с ногой пролежала два месяца), прописали они нас у себя и помогли купить хутор. И так случилось, что тот самый, который им пришелся по душе, да не сыскался тогда второй хозяин дома. Анна с лица сошла от такого совпадения, не разговаривала с нами поначалу, потом все же поняла, что нет в таком обороте нашей вины, приехала к нам и даже в старый дом не зашла: встала перед осенними кленами и так очарованно простояла почти с час. Могучей аурой

столетий никак не могла налюбоваться-надышаться. А если бы видела, как аист ежедневно делает над нашим хутором облет, как небо все черно от улетающих на юг косяков... Как оглушительно поет соловей на майском рассвете, роня влажные звуки гимна в ночную прохладу.

...Чего только не сделаешь, если всего-то и надежды что на свои руки. Вот вынули только что закопченные в домашней копильне, по своему проекту и разумению построенной, окорока собственного засола — тоже новое дело освоили. А уж гены моей бабушки и мамы с их приверженностью к специям подсказали технологию засола и обработки.

Сделать каменный подвал для заготовок впрок или обустроить мастерскую для ремонта техники, до которой муж великий охотник, — все это заполняет нас без остатка, и о какой такой скуке может идти речь, если ты живешь так, как себе спланируешь?

Не забыть, как пришла к нам соседка Хелена. Со слезами на глазах она обошла наш молодой вишневый сад, нашими руками построенный дом и хозяйственные строения, огород и никак не могла понять, почему это дочь и зять с внуками не хотят получить все это готовым из ее рук. После смерти мужа Карла нечего ей было и думать выстоять на земле в одиночку, пришлось переезжать к дочери в город. Мы утешали ее как могли: с чего это горожанам, привыкшим к комфорту и превыше жизни ставящим удобства, предпочесть то, что Карл Маркс назвал идиотизмом сельской жизни? Без особой нужды и смысла это никто из них не станет делать. Вот и мы до сих пор не смогли никому из родни пояснить, за что мы так держимся на земле. Разве что Настеньке слегка приоткрылся богатый и интереснейший мир природы, но и ее ведь заберет и смолотит цивилизация, город, урбанизация... Все первое лето она с жадностью пыталась понять огромный мир диких и домашних животных и все твердила: «А жабу я видела только в мультике... Столько грибов зараз я видела только в мультике про ежика...» К концу лета она научилась делать ремонт в квартире и поить телят, готовить клубнику для следующего года и полоть картошку, парить хлеб и ухаживать за щенками, вязать веники для бани и слушать тишину вечернего озера Асари с парным молочком его вод. Разгруженность от всего ненужного — переход ли это улиц или очереди в магазинах, толчея в транспорте или десятки трений меж людей больших городов — вот что слегка открылось ей. Да ведь просто научиться водить трактор — и то какая радость для двенадцатилетнего человечка!

И что понялось нами: на земле не вырастают лентяи, неумехи или какие-нибудь там наркоманы и извращенцы, которыми переполнены города. Только полная бездуховность да обязанка не занимающих человека работ плодят всю нечисть, которая не без помощи нашего брата журналиста претендует, видите ли, на то, чтобы признать за норму попрание человеческого начала.

...Когда наша соседка Хелена в последний раз перед отъездом пришла к нам на хутор и принесла полные руки даров: огромный куст садовой ромашки, сделанные по спецзаказу веерные грабли и тяпку для борьбы с сорняками, — она сказала, быть может, самые дорогие для нас слова: «Теперь я спокойна за своих птиц. Каждую зиму я носила им зернышки и семечки, подвешивала в стужу сало и все думала: кто будет их так беречь без меня? Особенно в снегопады и холодные зимы. Теперь я вижу — все они будут ваши».

Три года назад я пришла к директору совхоза и спросила, будет ли он против, если мы в четыре руки возьмемся обихаживать порядком запущенный кусочек латвийской земли вокруг нашего хутора. Все, до чего не доходили руки временщиков и поденщиков, что замшелое, заболотилось, заросло чертополохом. В конце концов, эта земля всегда будет в Латвии, мы ее откуда не переставим. Молодой, не забюрократченный Янис Балтгалвс, конечно, не возражал. Но прежде чем золотыми буквами записали наше право на бессрочное владение 15,7 гектарами земли, прошло немало времени. Трудно дозревали тогда еще союзные власти до простой мысли, что только хозяин земли будет по-хозяйски относиться к ней. Что разумно иметь разные виды собственности. Ну а потом и обычной тянучки с оформлением документов хватало. Какое-то время занял и вызов комиссии из Риги для уточнения земельного кадастра. Когда они чуть не утонули на заболоченном лугу, сомнения, что это не пашня, отпали сами собой. Записали как залежи. Ну пусть так, раз сорок семь лет этот луг не обихаживали руки человека. Во всей этой долгой истории было приятно только одно: что все двадцать человек трудового совета совхоза проголосовали за то, чтобы дать нам землю. А ведь интересы нескольких ведущих специалистов напрямую пересекались с нашими: на двух клочках около самого нашего хутора они культивировали хрен, который при сдаче приносил им немалые доходы. Ох и помучились мы с этой культурой, выводя его посадками кукурузы, пока не извели до конца, и в этом году на одном из этих клочков вырос ячмень, ну а другой полностью истощен и надо его еще не один год удобрять. Вот так отвоевали один гектар пашни! Понимают латыши,

что земля республики остро нуждается в лечении и бережном отношении к ней, и ревниво оберегают ее от рвачей, людей разовой выгоды. И даже приняв довольно казусное решение о возврате земли и домов бывшим владельцам, оговорили: если те будут жить и работать на ней.

В первый год латыши шли в фермеры с опаской: а не повторится ли горький опыт истории, не загонят ли самых работающих в Сибирь? Правительство Годманиса — Горбунова (кстати, оба правителя вызывали у меня лично доверие искренностью своих замыслов) подталкивало первых беспроцентными кредитами от 4 до 10 тысяч рублей.

В зависимости от степени запущенности земли и наличия готовой пашни, правительство обещало первым ста новым хозяевам района трактора в течение года по госцене, бесплатно известковало земли, помогал в приобретении техники и стройматериалов. Бог ты мой, как мы поверили, что жизнь в стране повернула к здравому смыслу!

Как только в воздухе запахло кредитами, позвонила родне, чтобы (да, первым делом мы не без сложностей провели телефон) прислали не мешка две-три тысячи на скорую раскрутку. В ночной разработке стратегии и тактики фермерства пришли к тому, что раз Латвия до социализма была сильна животноводством, вывозила мясо-молочную продукцию и шла второй, после Эстонии, по вывозу сливочного масла в Европу, значит, и победит первым делом в этом направлении. А значит, и законодательные акты учтут это. Надо скупать телочек до того, как мгновенно возникший спрос взвинтит на них цены. Так и вышло потом с получением крестьянами кредитов.

Латышский дом со дня своего рождения имеет имя собственное — «У кленов», «Журавли», «Березняки»... «Струйки» — так назывался хутор, где наш совхозный главный зоотехник Вия Силине посоветовала купить телочку. Соседи наши рассказывали, как она приехала помочь корове отелиться, но было поздно, и она, зоотехник со стажем, села в сторонке и, видя муки животного, заплакала. Не сами хозяйва, а она. Ну отправились в тот же день в «Струйки». Крохотульке шел всего двадцать третий день, а она подошла и взяла из моих рук кусочек зачерствевшего хлеба. Ну, стало быть, моя! Не торгуясь мы выложили всю имеющуюся наличность и погрузили малышку в коляску мотоцикла, И какая ладная корова вышла из Апрельки! Молоко такой жирности, что в сметане ложка стоит, не провернуть. И вот уже второй раз как приносит телочек. Дайна и Козетта в мать — высокие, красивые. Правда, полугодовалая Дайна признает матерью добродушную Вечорку, которая только потому и лидер, что за всех переживает и всех любит: Овчар Мика, видя, как мы часами массировали ее туое вымя во время первого в ее и в нашей жизни раздоя, подошел и встал около нее, словно утешая. Она его всего облизала. Вот с тех пор и повелось: мы доить, а она его изо всех сил облизывает, а язык у нее что наждак. И если Мики нет рядом, нам терпеть ее «наждачные» излияния.

Совхоз уже в то время затруднялся давать даже бычков на откорм, но начальник участка Улдис все же продал нам двух элитных телочек.

С этим Улдисом нам вообще повезло. Работающий, дотошный и требовательный в работе и вникающий в разумные доводы, он, где только мог, был полезен: вывезти ли совхозной техникой вирзу (жидкий навоз) или выделить прицеп, который опускается до земли, чтобы легче было погрузить бычков или свиней для сдачи на мясокомбинат.

Удалось еще одно хозяйство уговорить продать нам телочек. Но каких плешивых, худых. Одну так и прозвали Худанкой. Оказалась неизлечимо больной. Как она просяще заглядывала в глаза, как лизала нам руки! Что только мы не делали, чтобы спасти ее...

Подрастали восемь оставшихся телочек, и с каждым днем все труднее становилось накашивать вручную ежедневную норму травы. И тогда, посмотрев, что из себя представляет механическая сенокосилка, мой Вит смастерил за месяц из всяких узлов и деталей такую же. А тут как раз подоспела и сенокосная пора. Месяц на самом солнцепеке длился сенокос. И мы впервые поняли до самого доньшка, какой это тяжкий труд для сельчан. Бывало, придет муж с покоса после многочасовой тряски на тракторе по кочкам и запущенным лугам, где то и дело слезай — иначе косу разнесет вдребезги, аж рубаха дымится. И все лето, считай, не просыхает от пота.

Только-только завершили последний стожок во втором часу ночи (наутр пообещали дожди), как уж и лето на убыль пошло, а стало быть, подпирает всюю строительство кута. Ни опыта, ни стройматериалов, лишь развалины сто десять лет назад построенного кузнецом каменного сарая. Вспомнить страшно, какие горы навозной земли перебросали, освобождая первый отсек, как пилили рухнувшую крышу этого отсека, чтобы по частям оттащить в сторону тяжеленные стропилины,

бревна, камни. Лом, лопата да тачка — вот и все орудия труда. И тогда поняли, что второй год фермерства надо посвятить добыванию техники, без которой крестьянский двор так и останется двором дедовских времен.

В сентябре начались первые заморозки, а наши тёлки продолжали месить днем холодную грязь в заплоте, а на ночь мы их загоняли в летнюю сараюшку, из размеров которой они за лето явно выросли. В октябре пришлось Виту ночами жечь костры, чтобы согреть топтавшихся возле них наших доверчивых питомиц. Счет шел сначала по дням, потом по часам, потом по минутам... Тяжелее всего далась крыша. Ее мы решили делать возможно выше, чтобы помещалось как можно больше сена. Собрали на земле пять А-образных тяжеленнейших стропилин и стали думать, как водрузить эти махины на каменный короб сарая. «Большой вес берут головой, а не руками», — утешал Виталий сам себя, придумывая очередное приспособление. И когда мы ставили очередную стропилину, проезжавшие мимо водители притормаживали машины, снимали головные уборы, почтительно и восхищенно улыбались. Умеют все же латыши оценить чужой труд!..

Бросая каждый день все силы на стройку, мы ничуть не сомневались: построим! Вот этот оголтелый оптимизм да опора в жуткие минуты на шутку, к которой у мужа генная тяга (по отцу он украинец), и есть, пожалуй, горючее победы. Помню, как переползал он через конек крыши с двадцатикилограммовым рулоном рубероида на одиннадцатиметровой высоте, а я придерживала его за другой конец и прибивала. Двухмесячный щенок Мика на земле не сводил с меня отчаянных глаз и тихо скулил. «Переживает за свои обеды-ужины», — надолго заряжал нас хорошим настроением Вит. Зато когда 20 октября приехала полная машина совхозного начальства, он на покачивание головами отрубил: «Раз не можете помочь, уезжайте!» А ровно через пять дней мы загоняли в тепло всюю упиравшихся, должно, от радости телок!

Так дался нам навоз, это «ночное золото» для полей, первого года фермерствования. По количеству голов крупного рогатого скота нарезали всем землю. Опять же можно было выбирать лучших из телок, чтобы заложить основу будущего стада. Двух ладных первотелок, Кармен и Ласоньку, мы продали таким же, как мы, крестьянам. Ну а не осемененных сдали на комбинат, чтобы собрать денежку на технику.

Конечно, много чего пообещали первым фермерам Латвии: провести бесплатно свет, дороги, мелиорацию... Но, как говорит М. Жванецкий, пообещают хорошее — не верим, плохое — верим! Не стали ждать, когда преподнесут нам на блюдечке с голубой каемочкой все это, в том числе новенький трактор, начали скупать где только можно старые, списанные, добывать недостающие детали, менять одни рабочие узлы на другие. А из всего этого наш хороший знакомый из Риги Людвиг, вышедший как раз весной на пенсию, за два месяца вчерне собрал один. Потом мы добыли и поставили колеса, помыли, покрасили, пригласили специалиста запустить, и в тот же день издалека прибыл покупатель и сборный «Т-40» самоходом пошел со двора на такой же фермерский двор выручать такого же, как мы, бедолагу.

Ну а мы, подбив воедино все суммы, смогли в конце года заплатить за новенький «Т-40», положенный нам как первым из ста новых хозяев района, по госцене.

Но покупка трактора совпала еще с одним неожиданным приобретением.

Однажды приехал познакомиться с единственной в Прибалтике корейкой-фермершей сородич из России. День для нас выдался чудовищно драматичный. Ночью, видимо шарахнувшись от вышедшей погулять курицы, обмоталась цепью за столб и задохнулась вожак среди телок Чубарка. Как-то сыпались и сыпались на нас беды в тот период одна за другой — от чрезмерной усталости и напряжения. Начало всегда трудно, особенно если хоть на полшажка опережаешь время. Так и стоит перед глазами гордая и умная Чубарка, прозванная так за ковбойский нрав и независимость. Бывало, все тёлки толпятся у большой кормушки с сухим комбикормом, но если кто из них сунется в отсек к Чубарке или просто нечаянно заденет ее корпусом, отставит все и наведет порядок. А как-то утром рано, взмыленная, с пеной у рта и красными глазами, она подошла к самому крыльцу и не давалась погладить, всем своим видом показывая, что случился непорядок. Оказалось, все восемь телок, прорвав электропастуха, ушли за несколько километров от дома. И вот она одна вернулась, чтобы сообщить мне об этом.

Наш гость как-то быстро вник во все наши сложности и заботы, похвалил, что не забыла, как варится настоящая рисовая каша, что сама вырастила корейский салат и угостила гостя традиционной корейской едой паби-кимччи-тя, и, прощаясь, скупно пообещал, что поможет купить самосвал: он генеральный директор одного экспортного объединения.

Через месяц Виталий, невзирая на температуру (под сорок, простыл в дороге), по российскому бездорожью трое суток практически без сна и еды гнал обещанную автомашину. И встал новенький «газончик», правда, тогда еще без кузова, во дворе!..

Да, в тот раз на этом все не кончилось.

Только Вит ступил на порог, мечтая рассыпаться на множество деталек и встать поболеть, не тут-то было. Надо ехать в район оплачивать доильный аппарат и искать «КамАЗ»: везти за триста километров новенький трактор. Выбила!

Так рывком произошла техническая революция в нашем скромном хозяйстве из века прошлого в век настоящий.

Итога три года фермерствования, могу без ложной скромности сказать, да, позади горы работы. Каждый шаг давался ценой полной концентрации не только сил физических, но и духовных, творческих, всех, какие есть у человека. Порой казалось: ну все, это выше человеческих возможностей. Но официальный прогноз считает нормой, если треть фермеров обанкротится. Сцепишь зубы и идешь дальше.

Особенно крутым на лихо был год второй.

Мы, конечно, знали, что только деньги рожают деньги, но 10 тысяч взятого нами долгосрочного кредита на технику проблемы не решали. Тогда, поверив обещаниям правительства повысить до осени закупочные цены на мясо (разве два рубля за килограмм мяса окупали хоть часть затрат на его производство, особенно если все налаживаешь с нуля), воодушевившись статьями Капитолины Кожевниковой в «Литературке» о том, что венгерская пенсионерка на своем подворье безо всяких сверхусилий за год выращивает и сдает государству тысяч десять цыплят, мы взяли ну не десять, конечно, учитывая нашу реальность, но пару тысяч бройлеров. В три дня и три ночи соорудили летний птичник в отстроенном отсеке кута, выгнав коров пастись на луг. На ходу сварили из бросового металлолома кормушки и поилки. Загодя, до повышения цен, запаслись комбикормом, заложив его в два трехтонных бункера, и на ходу листали горы книг по птицеводству, пока не наткнулись у американских авторов на очень нас порадовавшую мысль: оказывается, смесь из люцерны, овса, гороха и трав — лучшая витаминная добавка к корму. Срочно сделали корморезку и сочную смесь из всего этого стали пересыпать комбикормом: огромная экономия кормов и доступно: весной, когда районный землемер Марис спрямлял углы нашего участка, нам достался кусочек совхозной пашни с засаженной кормосмесью. К августу наши бройлеры были готовы, а обещанного повышения цен не произошло. Стали ждать. С наступлением сентября каждого нового дня ждали с ужасом: наши подросшие куры съедали уже до 200 килограммов кормов ежедневно, и цифра эта все время росла. А тут еще сбежал, не выдержав напряжения, наш молодой помощник, и предельная нагрузка на троих пала на нас двоих. К тому же кормосмесь явно погрубела и пожухла и больше не выручала. До 2 октября мы каким-то чудом продержались, но так и так повышения мы бы не дождались (оно произошло аж 16 ноября).

Ну а 2-го числа, раздобыв за двойную плату специально оборудованную контейнерами машину, мы до обеда грузили наших упитанных трехкилограммовых бройлеров. Поездили за сотню с лишним километров на мясокомбинат, ведь недосуг фермеру, у которого полный хлев скота, стоять за прилавком. Буквально за двадцать минут до нашего приезда цех выключил котлы и бригада разошлась, хотя с ними была предварительная договоренность. Вот где минуты тихого отчаяния. До утра стояла птица в контейнерах под холодным осенним небом непоеной-некормленной, как положено по технологии. По гороскопу я родилась в год Змеи и терпеть не могу неудач. Не знаю, как удалось убедить мне директора комбината отдать мясо, чего у них в практике до сих пор не было, и не просто отдать, но и закопченным, хотя комбинат не выполнял план по копчению. Ну еще бы быть неуверительной, если 300 бройлеров сразу пошли в отходы после такой вот ночи на более чем свежем воздухе, 300 пошли вторым сортом, а около сотни в свою пользу забраковала санэпидстанция. Ну ладно, вернули не только копчеными кур, но и обработанными перо и потрошки.

Но разве на этом кончились наши муки? Я даже не берусь описать, что такое наша мафиозно-олигозная торговля. Какие типажи! Порой на твоих глазах воруют, а ты потерял самый дар речи. Да, магазины и рынки с черного хода, с которыми я столкнулась впервые в своей жизни, меня потрясли своей живописностью.

Так уж устроена наша система, что ничего невозможно сколько-нибудь рентабельно продать, но невозможно и купить. Всю прибыль знай собирают без остатка всякого рода посредники в белых перчатках. Прав сахалинский Федоров: реформы начинают не с финансов, а с экономики, с производителя и производства. И «железная леди» сказала дело, что богатой страна может стать и не имея ресурсов — за счет разумной организации производства и структур управления.

Это штришками одна из страниц нашей эпопеи, а ведь именно в этот год мы решали задачу технической оснащенности всего будущего производства. До самого Рождества носились мы на третьей скорости, пытаюсь не дать нас сокрушить грядущему повышению цен. И когда проснулись наутро праздника и никуда уже не надо было спешить — все закрыто, все не работает, — то в доме не обнаружилось ни кусочка хлеба, ничего съестного. И это у нас, только что сдавших 6,5 тонны мяса всех видов...

Каждый шаг на земле в качестве фермеров был для нас эпопеей.

Лежали, допустим, полстолетия у самой дороги громадные валуны, поросшие всякой дурниной вперемежку с землей: остатки порушенного кута, — и никакие бульдозеры, сколько мы ни подступались, не могли сдвинуть их с места. И только когда начали строить дороги, пришел огромный бульдозер, он сдвинул валуны в болото за кутом, отрезал часть горы и полностью засыпал заболоченные топи. Одну дорогу проложили прямо к дому, именно на ней в слякоть застревают все машины подряд. Вторая — объездная, для вывоза навоза на поля. Дольше, наверное, было не само проведение дорог, а вызов комиссии, составление сметы, документации. Но спасибо и проектировщику Юрису К., который так тщательно все выверил и с таким откровенным уважением отнесся к нашим нуждам и заботам. Восхитившись открывшимся перед кутом и за ним пространством, мы начали планировку на всей территории. А на самом кончике осени пришли из района грейдер, бульдозер, каток, с пяток «КамАЗов», и до пяти вечера бригада дорожников асфальтировала площадку перед кутом, парадную дорогу и зерноток. Восемь месяцев длились наши труды, связанные с дорогой, а завершились в один день. Отважились на кредит, посчитав, что 15 центов за один квадратный метр асфальта еще не мировая цена. Тут же на асфальт выпал снег, и только в марте его увидели поселок и район. Сначала шок (цены выросли в десятки раз), потом зависть, потом уважение... Все это по-человечески понять можно.

Телефон, дороги и свет — это то, с чего американцы начинают любое дело. Вот и мы к концу года провели вместо однофазного трехфазный, то есть промышленный вет, а на сегодня и трансформаторная будка стоит у нас, другими словами, мы первые руки, берущие электроэнергию. Правда, не стали тратить время на выбивание положенной оплаты за свет; как говорит старый друг нашего кузнеца Яков Зиле: «Не тоните в мелочах. Беритесь за главное, а мелочи отбрасывайте». Оттого мы смотрим на наших молодых соседей Арманда и Лигиту, которые ведут одновременно примерно одиннадцать-двенадцать отраслей, и не уверены, что это верный путь. Все же в мире пришли к необходимости специализации не зря.

Последнее, что успели до того, как схватится земля, — электрифицировали двор, и самый вид усадьбы могуче приблизился к нашему представлению о ферме.

...Вернемся к навозу.

Я так думаю: может, навоз моих любимых коровок — это та опора, которая помогла нам продержаться все эти трудные годы на ровном месте созданного лихолетья? Может, он как раз спасительный? Недаром Федор Абрамов о домашних животных сказал, что это тот самый резервуар, из которого человек черпает человечность.

Конечно, если на тебя, подпирающей мужа (а иначе как ему выдержать?) в столь непрестижных трудах, будут смотреть как на жилетку, куда выплут жалобы на трудности, а жалеть и любить при этом забудут, плохо дело. Это поражение. В такие минуты сложного борения чувств я вытаскиваю нечаянно как-то оброненную мужем фразу, когда одна наша знакомая горожанка давай воротить нос в куте: «Да, мать, без твоих двух высших нельзя чистить навоз — невозможно абстрагироваться»...

Ну хорошо. Все это так. Но к кому и для чего я пытаюсь достучаться этими своими мыслями вразброс? Если мне их излагать сколько-нибудь стройно — и то труд. Кому ж читать? Как концепция фермерской жизни — явно недостаточна. О становлении фермерства в Латвии? — широкому читателю не это подавай. Ему желательны примерчики, и чем больше, тем лучше: как там ущемляют русскоязычных в республиках, да еще в таком остроинтересном регионе, как Балтия. Нет, скажу я, обобщая вышеизложенное, мы должны делиться человеческим мужеством, как наказывал Олег Волков, даря нам свое «Погружение во тьму».

А мужество каждого человека, который к кровью и болью срывается с места проживания только в силу того, что он оказался некоренным, в том, я думаю, чтобы через свои конкретные страдания и лишения увидеть в великом исходе, который уже вовсю начался из всех (кроме Казахстана) регионов и еще начнется, я думаю, из Балтии. начало великого возрождения России и россиян.

Хотят того или нет сами русские, но мне, кореянке, сидящей на маленькой веточке большого дерева, не на кого больше надеяться кроме как на вас. Каждая нация одержима собственным возрождением и величием. Стали людей делить по сортам. В любую самую лихую годину мы, малые народы и народности, притыкались к вам, русские. Чем могли, вы делились, в основном лишениями, бесправностью, терпеливостью и терпимостью. И сейчас смотрю на вас с надеждой. Возродится могущество Руси — всем будет надежно и хорошо. Нет, не всем. Но не может нация, родившая в ответ на Петровы реформы как выплеск национального самосознания гений Пушкина, не родить и в наши дни своего Илью Муромца, который встанет со своей лежанки, где сиднем просидел тридцать и еще три года, и скажет себе: «Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, не будет гражданин достойный к отчизне холоден душой...»

Ноябрь 1992.

В 1993 ГОДУ

«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ДОРА ШТУРМАН

У края бездны

Корниловский мятеж глазами историка и современников

«Среди множества стереотипов советского исторического мышления, которые бессознательно воспринимались нами еще в детстве и затем сопровождали нас всю жизнь, представление о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове как о белогвардейце-монархисте, реакционере и потенциальном диктаторе было одним из самых устойчивых. Оно долго не вызывало у большей части моего поколения никаких сомнений (разумеется, я говорю о тех, кого знала). Мелкий эпизод эпохи керенщины, одно из доказательств правоты Ленина и большевиков, свергнувших Временное правительство, не более. Между тем не только за рубежом с начала 20-х годов выходили объемистые тома недоступных для нас материалов и документов, но даже в СССР конца 20-х и начала 30-х годов еще публиковались документы и материалы, опровергавшие стереотипные советские представления о так называемой корниловщине, октябрьском перевороте и гражданской войне...»

***Не забудьте вовремя продлить
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!***

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ПРОКЛЯТИЯ КРЕСТЬЯН ПАДУТ НА ВАШУ ГОЛОВУ...»

Секретные обзоры крестьянских писем в газету
«Правда» в 1928—1930 годах

События современной жизни как бы притушили общественный интерес к «ближней» отечественной истории, в том числе и к коллективизации. Опубликованные в последние годы документы как официального, так и личного характера, выполнив роль эмоционального катализатора гражданской оценки большевизма, оказались не востребованными в серьезном разговоре о судьбе России сегодня. Однако, как это ни странно и парадоксально, современная ситуация подозрительным образом напоминает «времена великого перелома».

Исчерпав временной промежуток в семь десятилетий, равный средней продолжительности человеческой жизни, страна опять стоит перед трагическим выбором новых ориентиров, новых психологических и идеологических установок, опять мечтает о «новых рельсах» и «новом мире». И одним из главных вопросов этой «революции сверху», как и во все времена российской политики, остается вопрос о крестьянстве. От того, получит ли сейчас крестьянин бесплатно землю в наследственное пользование, сможет ли он свободно хозяйствовать на этой земле, все еще зависит не только благосостояние каждого человека, а существование нации, самобытной русской культуры, языка, этических и трудовых традиций.

Предлагаемые вниманию читателей секретные обзоры крестьянских писем в газету «Правда» 1928—1930 годов продолжают трагическую летопись событий того времени. Скорбный пафос этих материалов созвучен многим предыдущим публикациям. Вместе с тем нельзя не заметить и весьма существенное отличие. В этих письмах, особенно 1928—1929 годов, отражается «высокий момент» крестьянской жизни, связанный с размышлениями о политическом и государственном устройстве страны, о формах и методах хозяйствования на земле, о судьбе крестьянства и социализма в России. Простой мужик предстает в этих документах не только озлобленным, обиженным существом, способным лишь заливать горе вином, а мудрецом, философом, экономистом, задумывающимся о том, как обустроить свою жизнь. В письмах содержится положительная крестьянская программа, многие положения которой весьма актуальны и сегодня.

Пережив гражданскую войну, голод и разруху «военного коммунизма», чуть-чуть вздохнув в годы нэпа, крестьяне в канун десятилетнего юбилея советской власти были вновь ввергнуты в страшную катастрофу. Непомерные и многочисленные налоги ограничивали всякую инициативу, разорjali крепкие хозяйства, погружая деревню в глухую нищету. Каждый труженик, обладавший определенным здравым смыслом, начинал понимать антинародную сущность власти, ее лживость, цинизм и жестокость.

«Царизм за 300 лет не надоел и не опротивел так, как опротивел коммунизм за 10 лет. Каждый почти крестьянин ожидает рокового часа, как бы скорей избавиться от наглости коммунистов», — писал один из корреспондентов. «Гнет царизма бледнеет перед гнетом большевизма», — вторил ему другой...

Крестьянские письма той поры поражают не только ясным пониманием реальности, интуитивным ощущением ситуации, практическим смыслом, но и наивностью, многовековой верой в высокие инстанции (часть писем адресована просто «товарищу Сталину»). Любопытно, что Сталин и его окружение порой тактично, а порой очень резко критикуются. Иногда эта критика поразительно похожа на современную публицистику, однако к Ленину отношение авторов уважительное. И это понятно, ибо в понимании пишущих в «Правду» Ленин связывался с лучшей жизнью в материальном отношении, нэпом, относительной свободой.

Среди большой массы документов есть письма, словно предвосхищающие литературу с ее то платоновской, то леоновской, то зощенковской интонацией. Своеобразный, точный, насыщенный пословицами и рифмами, афористическими замечаниями, язык

этих писем почти лишен той официозности, которая была присуща тогдашней сталинской прессе. И это помогает нам услышать голос ушедших поколений в его первозданной чистоте и человеческой уникальности.

Секретные обзоры крестьянских писем были обнаружены в архиве Российской академии наук в фонде академика М.А. Савельева (ф. 520, оп. 1, № 205—207).

Максимилиан Александрович Савельев (1884—1939) — известный партийный и государственный деятель. Будучи видным экономистом, академиком, возглавляя Институт экономики АН СССР, он занимал одно из ведущих мест и в партийной стр. С XVI съезда партии он — кандидат в члены ЦК ВКП(б), заведующий Истпартом, многие годы — член редколлегии газеты «Правда», а в 1930 году и ее главный редактор. Именно ему адресованы для ознакомления папки с цитатами из писем читателей, на которых стоял гриф «Совершенно секретно».

Каждый документ имел нечто вроде аннотации, именуемой по установленному образцу «основная мысль письма». Интересно, что чем резче был материал, тем более обтекаемой и индифферентной была эта «основная мысль», сформулированная работниками редакции. Создается впечатление, что рядовые сотрудники «Правды» испытывали страх, читая откровенные, полные боли, тревоги и ненависти письма мужиков, и пытались сгладить их резкость расплывчатыми или сугубо практическими заголовками.

Для данной публикации отобраны письма, наиболее яркие по содержанию, глубокие и своеобразные по обобщенному осмыслению событий, отражающие разные точки зрения на процессы, происходившие в то время в деревне.

Хотя письма публикуются не по автографам, а по машинописным сводкам работников редакции и зачастую приведены в отдельных извлечениях, они представляют несомненный интерес для понимания духовной и политической ситуации времени, но более всего — для понимания конкретного живого человека, на долю которого выпали такие непомерные бедствия...

1 9 2 8

Сводка № 2 по письмам из поступивших до 24 августа 1928 г.

1

Почему такая партия, как ВКП(б), обижает крестьянское население, отбирает насильно хлеб. Верно, крестьяне должны вывозить хлеб на рынок, но не по тем ценам, которые диктует государство — 40 коп. за пуд, а хотя бы по 1 руб.¹ Вы знаете, каково достается крестьянам, вы нашего брата заездили верхом, как помещик раньше. Почему партия так ухаживает за рабочими, чуть что не в люльке качает и работают по 7—8 часов и даже 9 часов и хорошее жалованье², а крестьянин — 28 часов, да еще из него последние соки выжимают. Берегись партия! Если вы так с крестьянами будете жестоко обращаться, они хотят поднять восстание, только бы им вожака.

Партия, вы самая могучая в нашем государстве, почему вы так делаете, что жить крестьянам сейчас хуже стало, чем при царе...

Плеад, крестьянин, дер. Дмитриево, Мос. Губ.
(Ф. 520, оп. 1, № 205, л. 6)

¹ Из-за низких закупочных цен на хлеб произошел хлебозаготовительный кризис 1927—1928 годов. В январе 1928 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об административном нажиме на тех крестьян, кто придерживал продажу «излишков» зерна. В 1928—1929 годах был также повышен сельскохозяйственный налог.

² Рабочие в те времена тоже бедствовали. См. письмо № 25 о рабочем бюджете.

2

Товарищи! Не ошибаетесь ли вы в том, что поощряете бедняков, у которых нет ни коровы, ни лошади, и налегаете на середняка. Сделаете вы всех бедняками и лентяями. Вы говорите — крестьянин, поднимай хозяйство, проводи механизацию, а потом все это облаживаете невыносимым налогом. Товарищи, если вы устроите всех поровну, т. е. не будете облаживать за коров и лошадей, и за землю и подходящий, а делаете понародный налог и не особо большой, то вы за два года увидите, как подыметесь хозяйство у крестьян. Появится больше скота, будет больше сырья промышленности, будет больше доходу государству. Если вы этого не сделаете, то есть много возгласов, что бросим крестьянство и будем пролетариаты, будем просить работы, то вам будет труднее справиться с народом. Товарищи, заслужите хоть вечную память от крестьянства, которое живет как под гнетом вечных сборов и

службы. Разве тов. Ленина такая программа была? Его программа была хорошая, а вы ее сменили и что дальше, то становится труднее. Разве это возможно платить середняку, который имеет 2 десятины пахотной, 1 овцу, 1 поросенка, 2 коровы — 300 руб. подоходного, который насчитала налоговая комиссия, волостная. Окажите нам помощь, вы, центральная власть, а местная, я знаю, делает, что ей хочется. Ради Ленина, товарищи, примите во внимание жизнь крестьянина.

ГРАЖДАНИН. Дер. Устиново. Шленов. Тверской губ.
(Ф. 520, оп. 1, № 205, л. 8)

3

Рабочий получает минимум 60 руб. в месяц. Не платит никаких налогов, пошлин, кроме союза. В итоге за год зарабатывает 720 руб. и никто у него ничего не берет и не тратится он на приобретение с/х орудий. Я же крестьянин целый год работаю, имею в год 600 руб.: должен внести налоги, справиться с/х инвентарь, накормить свою семью и скот, т. к. при изъятии хлебных излишков для прокорма скота и птиц не оставляется ничего.

Крестьянин Печоркин. Дер. Мостовая. Урал.
(Ф. 520, оп. 1, № 205, л. 16)

Сводка № 18 по письмам из поступивших до 15 декабря 1928 г.

4

...Очень рано поторопился М. И. Калинин с надбавкой 80 млн. с/х налога на крестьян¹. Не успел крестьянин хорошо опомниться от перенесенных им лишений, как то — войны империалистической и классовой и разных ревизий, от постигшего голода в минувшие годы, а тов. Калинину уже завидно стало, чтобы крестьянин не зажил лучше его — Калинина, а давай-ка под предлогом урезать крестьянские верхушки и надбавил 80 млн. руб. с/х налога. Но, урезая крестьянские верхушки, он задел середняков и поскреб по макушке так, что те нескоро образумятся. Вместо того, чтобы ежегодно снижать налог и заслуживать к власти уважение от крестьян, они заслужили лишь одно проклятье. Невольно вспомнишь пословицу: «Из дурного пнища вылетает сыч или совища (а не сокол)», так и с коммунизмом в СССР — ничего хорошего ожидать нельзя, никому: ни крестьянам, ни рабочим, ни кому прочим, — так говорят крестьяне. Коммунисты натравили крестьян на купцов и помещиков, на попов и архиереев и вообще на весь образованный класс, крестьянин слушался и помогал им во всем, пока не понял, наконец, что крестьянина стравливают с крестьянином, грызутся они как собаки в деревне, разделяя на группы: кулаки, середняки, бедняки, давая одним поблажку, других угнетая разными налогами. Теперь почти все крестьяне поняли, что их коммунисты завели в тупик, из которого надо выбраться на справедливую и прямую дорогу. И недалек час — тупик взорвется и народ выйдет на свободу.

Я, со своей стороны, несколько раз писал в ЦК, чтобы увеличить необлагаемый минимум, как насущную потребность каждого гражданина без исключения, в деревне до 50 руб., а в городе до 60 руб. и облагать доход свыше 50 руб. всех без исключения, хотя бы и избранных лиц — комиссаров, губкомов, уездкомов, волисполкомов, предсельсоветов и прочих. А то, согласно закону, вся тяжесть налога ложится на крестьянина-труженика, который своим трудом кормит весь народ и весь нахальный коммунистический сброд.

Не налагать того, чего не следует, т. е. не брать цифры с потолка, а на все должен быть определенный закон, чтобы не в ущерб государству и не в убыток торговцу — тогда пользы будет больше всем и ропота в народе было бы меньше, так что бедняки и лодыри останутся бедняками, а старательные могли бы расширить свое хозяйство.

Когда коммунисты крестьян на помещиков и буржуев травили, тогда горы золотые сулили и говорили — все будет ваше — а делают наоборот, — кроме земли ничего не дали, да за землю чуть шкуру не содрали, и теперь крестьяне разочаровались в коммунистических посулах и обещаниях и даже частенько вспоминают помещиков, буржуев и Николая II, говоря, что гораздо лучше жилось с буржуазией и Николаем, что такого голода никто не видал при Николае, какой видим и испытываем сейчас при советской и коммунистической власти. «Был Николай хоть дурачок, да фунтовая французская булка была пятак, а когда стал Совет, то ни черта нет». Царизм за 300 лет так не надоел и не опротивел, как опротивел коммунизм за 10 лет. Каждый почти крестьянин ожидает рокового часа, как бы скорей избавиться от наглости коммунистов.

Что касается затем о коллективах и коммуне, то крестьяне и слышать не хотят и заем 2-ой индустриализации² никто из крестьян не берет, говорят — лучше пропьем эти деньги, но коммунистам не дадим.

Крестьянин Дудусов М. Землероб-каменщик. Дер. Иловец, Любунской волости, Спас-Деминского уезда, Калужской губ.

8 октября 1928 г.

(Ф. 520, оп. 1, № 205, л. 22)

¹ По сведениям, опубликованным в газете «Правда» (9.9.28), сельхозналог в 1928—1929 годах был увеличен не на 80, а на 90 миллионов рублей.

² 2-й заем индустриализации проводился с 1 сентября по 1 декабря 1928 года. Это был первый государственный заем, в котором должны были принимать участие и крестьяне. Впоследствии займы проводились ежегодно, в принудительном порядке.

1929

Сводка № 37 по письмам из поступивших до 20 марта 1929 г.

5

Основная мысль письма: «Не верят новому закону о сельхозналоге».

...Прочитав в «Крестьянской газете» основные положения о сельхозналоге на 1929—1930 г.¹ и вполне сознавая, что новый закон имеет ряд льгот, облегчающих от тяжести сельхозналога крестьянское хозяйство середняков, я счел необходимым разъяснить и порадовать хлеборобов этим законом. С этой целью я зашел в потребительскую кооперацию, наполненную битком мужчинами и женщинами-хлеборобами, когорых попросил внимательно выслушать передовую статью о новом законе о сельхозналоге, каковую все присутствовавшие и выслушали, после чего попросили меня разъяснить им этот закон так, чтобы был он понятнее. Разъясняя пункт, в котором говорится, что на 2 года освобождается от сельхозналога весь прирост посевных площадей, я сказал им, что это значит. Едва я успел закончить последние слова¹ этого пункта, как вдруг сразу все крикнули в один голос: «Брешут, брешут они, все эти народные комиссары. Это с целью написали, чтобы завлечь хлеборобов на расширение посевов, а потом назовут нас кулаками и будут беспощадно облагать в индивидуальном порядке, да еще мало того, так морды поковыряют — и правы будут... — Кому б за них говорить... а тебе, как хорошему человеку, мы не советуем за них много говорить, они уже давно избрехались, и верить им нельзя...»

Степанишев А. Г. Ст. Воздвиженская. Армавирский округ.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 24)

¹ Постановление ЦИК и Совета Народных Комиссаров о сельхозналоге на 1929—1930 годы было опубликовано в «Крестьянской газете» 9 февраля 1929 года. В нем сообщалось, что общая сумма сельхозналога понижается до 375 миллионов рублей и середняку предоставляются новые льготы.

6

Основная мысль письма: «Сельхозналог нужно уничтожить совсем».

Сельхозналог в государственном бюджете занимает незначительное место. Без всякого ущерба для бюджета сельхозналог можно сократить процентов на 80, если не совсем его уничтожить. А этот недобор налогом в два же ближайших года окупился бы с избытком, благодаря выброшенному на рынок зерну, от экспорта которого выручили бы гораздо больше, нежели бы государство потерпело на полном освобождении от налога. Злоупотребления на почве сельхозналога кому не известны? Особенно в истекшем году, благодаря ст. 28¹. Жалобы сами за себя говорят. И эти злоупотребления всегда будут неизбежны и лишь только потому, что большая сумма сельхозналога идет в местный бюджет, а потому местные работники низового аппарата заинтересованы в большем извлечении средств, а на это и злоупотребления, отсутствие чуткости к нуждам крестьянства.

А теперь выходит так. Средняки и зажиточная часть старается обеспечить хлебом только свою семью, а денежные средства уже извлекает не за счет реализации излишков своего хозяйства, а от побочного заработка. Бедняки же не заинтересованы в поднятии своего хозяйства потому лишь, что они лишились бы ряда льгот и на

примере зажиточных убеждаются в бесполезности этих стремлений к поднятию. Чем, как не этим, объясняется слабый рост бедняцких хозяйств?

Что можно ожидать от освобождения от налога? Очень большие возможности. Прежде всего, раз не будет нажима, то каждый крестьянин возьмется за увеличение посевной площади, а с этим связываются и развитие животноводства, отсюда масло, учет выгоду и от дополнительных культур — садоводство, огородничество и пр. Бедняки, сознавая, что им помощи ждать не приходится, также приложат старания к усовершенствованию своих хозяйств или, еще лучше, это быстрее побудит их организовываться в колхозы. Нужно ли бояться окулачивания? Нет! Кулаков самих по себе теперь не может быть, так как земельных излишков нет. Каждое хозяйство обрабатывается своими силами. Исключения редки. Подобные колхозы и групповые хозяйства, как добровольно создавшиеся, а не из необходимости, будут более жизнеспособны и прибыльны, и это даст нам экспортный товар...

Антонов. Дер. Мал. Прод. Холмского р-на, Псковского окр.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, лл. 28—29)

¹ Имеется в виду ст. 28 «Положения о едином сельскохозяйственном налоге»: «В отношении одиночных хозяйств, особо выделяющихся из общей крестьянской массы в данной местности своей доходностью и притом нетрудовым характером своих доходов, волостные и районные налоговые комиссии исчисляют не по нормам, а на основании общих имеющихся у них сведений, сумму облагаемого дохода этих хозяйств от всех источников в соответствии с их действительной доходностью. Порядок применения настоящей статьи устанавливается особыми правилами Народного Комиссариата финансов Союза ССР» («Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР», 1928, № 24, стр. 474).

Именно эта статья служила оправданием произвола местной власти. Бесчинства администрации на селе были столь значительны, что даже газете «Правда» пришлось признать ошибки, допущенные при индивидуальном обложении («Правда», 8.2.29).

7

Основная мысль письма: «Машины и скот не облагать».

...Крестьяне поняли, что культурное ведение хозяйства, поднятие его — никак не мыслимо без машин, без хороших орудий производства, без них высоких урожаев не достигнуть. Это положение крестьяне села Минковцы Словутского района, Шепетовского округа прекрасно учли, и нашлось десять таких смельчаков, которые решили приобрести машины, но, увы, тут случилось целое несчастье — их выделили в экспортное хозяйство и обложили как «сидорову козу». Машины пришлось, вместо того чтобы ими пользоваться, глубоко запрятать в солому, чтобы их сам черт не нашел. Теперь вы дайте даром середняку-крестьянину соломорезку или конную молотилку, то он ее не возьмет, а о рядовой сеялке или косилке и говорить не приходится.

Крестьянин стал лучше обрабатывать землю, приезжал к нам на завод за золой, мы ему охотно разрешили собирать золу, даже рады были этому случаю, каковую он посыпал на свой луг, и луг его дал сена в три-четыре раза больше, и пшеничка недуренькая уродилась. Несомненно, что такое хозяйство позволило крестьянину оставить лишнюю телочку на зиму, а также и жеребенка, вывезти на рынок для продажи 50 пудов зерна, ну наконец, и лишний бычок оказался в хозяйстве — тоже на рынок, коровки от хорошего сена стали больше удойными, лошадки от лучшего корма стали лучше бегать, стали лучше ходить в плуге, земля еще лучше стала рожать. Но ведь это делается собственными руками самого крестьянина на тех же четырех десятинах без никакой посторонней помощи. Наконец дядька хорошо оделся, сбросил лапти и стал похожим на городского джентльмена. Приобрел подникелированную кровать, в жилом доме создал соответствующий уют, даже гирлянда завел. Душа радуется, глядя на такой дворик, но, увы, ту-ту тебе несчастье: комиссия, сельсовет, обложение. Тебя в экспортное хозяйство за то, что ты обрабатывал лучше землю, достиг лучшего урожая, привел свой двор в порядок, благодаря чему вывез 50 пудов зерна на рынок, за то, что у тебя появилась соломорезка и ты срезал своему соседу фуру соломы и взял за это пятьдесят копеек — ну и плати, голубчик, сто пятьдесят рублей больше обычного налога. Несомненно, что за соломорезку, за конную молотилку, за лишнюю пятьдесят пудов зерна, вывезенных на рынок, за никелевую кровать, за жирную лошадь, за проданную телку, за новые ворота выделять в экспортное хозяйство нельзя. Предо мной висит плакатик, изданный АХРР¹, на котором изображено: крестьянский двор, на котором возвратившийся из Красной Армии сын пристроил динамо-машину, то есть электродвигатель, посредством которого семья с соседями производит молотьбу при помощи молотилки. Воображаю, если у нас в Минковцах появилось бы такое хозяйство. Я уж не знаю, как бы его товарищи обложили, ведь это электромотор — механическая двигательная сила, стало быть, целый помещик, ибо только у помещика такие вещи могли быть.

Другой пример, не менее яркий, можно привести из личной жизни. Я сам — не меньше, не больше, как рабочий токарь по специальности, но у меня имеется мотоцикл, который сейчас расценивается до полторы тысячи рублей, имеется фотографический аппарат, который расценивается не меньше как в 500 рублей, имеется и пишущая машинка, которая сто рублей стоит. Вот вам у рабочего, который стоит у токарного станка, имеется ценностей на 2100 рублей. Если сравнить все это с крестьянским хозяйством, то ведь будет крупный кулак. Один только мотоцикл составит 15 крестьянских лошадей, но ведь меня никто не думает облагать какими бы то ни было налогами. И как бы мы были рады, если бы у каждого рабочего имелся мотоцикл, фотографический аппарат, пишущая машинка и т. п., ведь более или менее культурный человек без подобных предметов обойтись не может. Обладание подобными вещами является только признаками культурного и экономического роста рабочего класса. И я воображаю, если бы меня за это стали выкидывать из партии, лишили меня права голоса, исключили из членов союза, каково в таком случае мое настроение было бы? После этого стал ли бы я защищать советскую власть? Конечно, нет. То же самое, такая же картина получается и с тем середняком, который благодаря культурной политике обработки земли попадает в кулаки и лишается гражданских прав.

А вы попробуйте покажите, что вы хорошо сделали, что культурного середняка зачислили в кулаки. Это очень трудно доказать.

Резолюцию также ведь мы единогласно вынесли, что классовая линия на селе Минковцы взята правильно. А ведь наш протокол читали и райпартком и окружком и на основании наших протоколов составили информационную сводку для ЦК о ходе классовой борьбы на селе и о классовом соблюдении налоговой политики. А товарищ Сталин или товарищ Рыков очень радовались, что так великолепно соблюдается классовая линия в налоговой политике на селе. Тов. Сталин доложил об этом на Политбюро и на Пленуме ЦК. А не исключена возможность, что тов. Сталин доложит об этой радостной весточке и на партконференции и получит полное одобрение в области этой работы. А это, пожалуй, будет немного хуже правого уклона. Это есть обман, неправильная информация вышестоящих органов партии об истинных вещах. Меньше всего было бы беды, если бы такие штуки случались только с нашей ячейкой, но явления эти в нашей ячейке — это не первые и не последние во многих местах нашего необъятного Советского Союза.

Вообще обложение машин, какковые они бы ни были, обложение скота, а в особенности мелкого, как свиной, совершенно не должно быть, нужно облагать, хоть больше, но только одну землю¹. Ведь в царское время эти предметы, как машины и животные, не облагались. Теперь, когда мы должны пока ставить курс на индустриального крестьянина, эти вопросы политики на селе в области определения кулака приобретают огромное значение. Разве это наблюдается только в этом хозяйственном году? Нет. Это наблюдается уже подряд несколько лет. Это явление не новое, но мы только сейчас стали усматривать и очень хорошо сделали. За это спасибо товарищу Рыкову...

Бортников И.И. Романинский кирпичный завод Слоутского р-на Шепетовского округа.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, лл. 29—33)

¹ АХРР — Ассоциация художников революционной России.

² Подчеркнуто в рукописи.

8

Основная мысль письма: «Троцкий прав».

...Троцкий говорит, что советская власть правит народом возмущенным. Это все правда. Скажите, что вы сделали за 11 лет? Безработица, миллионы людей гибнут на биржах, голодные, выброшены из заводов и учреждений, весь народ за исключением коммунистов стонет под гнетом большевиков, ни писать, ни говорить правды нельзя — посадят в тюрьму, а потом еще и расстреляют. Это факт. Гнет царизма бледнеет перед гнетом большевизма, так говорят все крестьяне и рабочие.

Анонимно.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 56)

Сводка № 41 по письмам из поступивших до 4 апреля 1929 г.

9

Основная мысль письма: «Дерут 100% самообложения».

...Я прочитал в № 41 «Правды» о том, что в Германии женщины ищут работы¹, долго проставая у биржи в ожидании, чтобы их кто-нибудь нанял. Почему вы не

описываете, сколько у нас безработных по всему СССР? Этого вы не видите, как будто у нас безработицы нет. В том же номере читаю: «Голод в Бессарабии, пограничники бегут в СССР». В Одесском округе, в Витебской губ. и в других губерниях получают только по полфунта на едока и налог по самообложению платят. Есть инструкция, чтобы по самообложению не выше 25% с налогового рубля, а в Омском округе уже свои инструкции — и по 100% дерут и объявляют в 3-дневный срок, а у не уплативших в срок описывали имущество и сразу же продавали. Разве это свобода? Это — каторга. И хотят еще, чтобы все слились в коммуны. Пусть служащие и организаторы сами пример покажут и из общего котла кушают. А то сами не хотят, а крестьян толкают, сами же думают только о том, чтобы больше жалованья получить, лучше погулять и легче пожить. Есть еще в номере 45 воззвание о том, что за миролюбивыми разговорами и договорами буржуазии скрывается война между рабочими и крестьянами. «Будьте готовы к защите Советского Союза»². Защищайтесь вы сами, коммунары, довольно, обманули вы нас, крестьян и батраков, довольно с нас шкуру драть. Долой шкуродерскую власть, особенно Омский округ.

Семенов Григорий Васильевич.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 90)

¹ Автор письма упоминает статью «Женщины идут на работу» и подборку «Голод в Бессарабии», состоящую из трех статей: «Румынские пограничники бегут в СССР», «Приезд делегации в СССР», «Пленум Всесоюзного Совета бессарабцев» («Правда», 19.2.29).

² Автор неточно цитирует лозунг, посвященный годовщине образования Красной Армии. Было напечатано: «За миролюбивыми разговорами и договорами буржуазии скрывается война. Рабочие и крестьяне, будьте готовы к защите Советского Союза» («Правда», 23.2.29).

10

...Искусственно созданное классовое обострение до перевыборов во многих селах почти улеглось. Фактически... классовым разьединением явились не сами выборы (за исключением в некоторых местах), а дальнейшие последствия от других причин чисто материального характера: дележ травы, леса, выдача премий за племенной скот и пр., которые ударили по карманам зажиточное население. Споры доходили чуть не до кулаков. Потом на сцену выплыл вопрос о поднятии урожая, который (как ни странно) в связи с новым законом о продналоге разлил бедноту и успокоил зажиточных. Для иллюстрации расскажу об одном собрании в нашей слободе. Общее и довольно многолюдное по слободе собрание. Делаю доклад о поднятии урожая. Кончаю. Поднялся шум, крик, и чего-чего только не слышалось: «Ишь, учить вздумали, как сеять, как пахать!»; «Скажи, зачем хлеба нет?»; «Отчего купленный хлеб у нас отбирают?»; «Куда хлеб девается?»; «Долго ли нас будут мучить?»; «В урожайный год голодовку делают?» Едва-едва успокоились, кричали все: и середняки, и зажиточные. Но что меня удивило, так это то, что бедняки возмущались распоряжением правительства об отобрании излишков хлеба у зажиточных.

«Я хоть десять рублей за мешок заплачу, да не сдохну с голода. Смотри, из нашей слободы 12 дворов в Ташкент уходят от этих порядков... Мне за сто верст за хлебом ехать не на чем! Ишь, коммунисты, сыты и в меховых пальто приезжают, а мы в рваных зипунах с голоду сдыхаем... Подними урожай! Ты дай мне скотину и семян, так, может, я и подниму. А то разводят брехню... Бегай за хлебом или продавай последнюю коровенку». «Мы будем сеять, бери у нас хлеб, но и продай, когда нужда. А то хлеб отбирают, а купить негде»...

Замечается в поступках селян что-то странное: стали скрытнее, не обсуждают в общественных местах ранее их волновавшие газетные слухи о войне. Иногда по ночам в некоторых домах подолгу горит огонь. Спросишь: «Свадьба, что ли?» — «Нет, так собрались, балакают кой о чем».

Без подписи.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 92)

11

...Троцкизм, говорящий открыто об идущих вразрез с интересами рабочего класса (мизерного по своему количеству, но проводящего свою диктатуру) интересах крестьянства (которых в России насчитывается десятки миллионов), троцкизм, говорящий о неизбежности их столкновения, о невозможности прочного и продолжительного союза рабочих с крестьянами, прав на 100%¹. Конечно, признать это, говорить открыто — значило бы отказаться от программы теперешнего «коммунизма» в России — и поэтому наряду с существованием большевистского грабежа, мы видим существование настоящей репрессии против троцкистов. Грабеж существует, все его ощущают, но говорить во всеуслышание про это нельзя, это всякого влечет к опасности.

Крестьянин стонет, но молчит, он не организован. Их организаторов большевики искусно прощупывают и подавляют в самом зародыше до основания. И все это делается в интересах 2-3 миллионов, в жертву которым принесены интересы больше чем ста миллионов действительных тружеников. Крестьянство не может сплотиться, организовать для защиты своих интересов. Несмотря на свою многочисленность, оно стонет и дает грызть себя до самой смерти со стороны горстки большевиков, начавших строить социализм за их счет. Выход из такого положения лишь один — международная война. Лишь она может перевернуть все вверх дном и лишь при войне с оружием в руках крестьянство сможет организовать и сделать то, что ему нужно.

Опять-таки, не выйдет дело так, как это было в семнадцатом году — завоевать революцию и покинуть ее, разойтись по домам. Нужно завоевать, не торопиться, охранять, добиться своего, не уступить власть кучке фантазеров, которые способны иногда приводить к гибели целое поколение, целую нацию. Россия не будет колонией других держав — в этом нужно быть уверенным.

...Особо обсуждая вопрос о союзе бедняков и батраков со средним крестьянством и особенно рабочего класса с крестьянством, то по этому вопросу нужно сказать следующее.

Неоспоримый факт эксплуатации деревни городом. Как раньше надрывался один класс над другим, так и теперь в нашем государстве, так называемом СССР (громкий титул!) один мизерный класс беспощадно издевается над другим, тиранит, используя все достижения европейской «цивилизации», другой класс, насчитывающий более ста миллионов крестьян, ничем не защищенных, забытых, которые не в состоянии пока еще дать должный отпор. Большевизм против них использует все методы фашистской диктатуры и поэтому сто раз прав председатель международного кооперативного объединения «Альянс»², сказавший в одно время: «Большевизм — есть фашизм, самый крайний, левый».

Вернее — это не класс, а шайка, опирающаяся на класс, производит такие бесчинства.

Монополизм большевиков во всех областях жизни приводит к тому, что воля — не воля, течет крестьянская кровь и пот по жилам большевиков. Самый большой грабеж — посредством монополии торговли и монополии цен и на производство города, и на производство деревни. И т. п. И еще не меньший грабеж посредством прямых налогов. И для прикрытия всего этого, искуснее своих предшественников, они вносят раздор между отдельными слоями деревни, которые в самом деле ни в малейшей степени не виновны в происходящих в настоящее время событиях, благодаря чему становятся слепой жертвой большевистского бесчинства тысячи и миллионы.

Сколько вы ни агитируйте, сколько вы ни угрожайте и ни маневрируйте, посевная площадь будет сокращаться, скот ухудшаться и вообще, жизнь и без того скудная, еще больше будет скудеть.

Зенченко.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, лл. 95—97)

¹ Троцкий не отрицал союза беднейших слоев крестьянства с пролетариатом, однако его взгляды на роль крестьянства в процессе социалистического строительства были весьма противоречивыми.

² Международный кооперативный альянс (МКА) — организация, объединяющая национальные, региональные союзы и федерации кооперативов, главным образом потребительских, кредитных и сельскохозяйственных. Основан в 1895 году. Московский центральный союз потребительских обществ вступил в МКА в 1903 году. В 20-е годы представители советской кооперации нередко подвергались критике за отход от нейтралитета и вмешательство во внутренние дела других организаций.

12

Основная мысль письма: «Несчастных крестьян разделили на три класса».

...Что творится в селах и деревнях! До чего мы дожили? До полного, позорного безумия. Нас, несчастных крестьян, разделили на три класса, как бывало в столичных городах — в Москве и Ленинграде разделяли граждан на помещиков, дворян и господ, а у нас, в деревне, делят на бедняков, середняков и кулаков. Посмотрели бы вы на зажиточных, несчастных крестьян и вы бы невольно тяжело вздохнули и сказали бы: «Несчастные, несчастные люди, мозолистые труженики. За что же это над вами издеваются и разделили вас на разные категории — вы ведь все несчастные труженики, пропитанные соленым, кровавым потом, и питаетесь от трудов своих свиной пищей — картошкой и черным, как кизяк, хлебом и ходите все в лохмотьях, как индусы — вечные рабы. За что мы, солдаты, сердечно вам поверили и с радостью

пошли за вами, не щадя свою жизнь, прошли кровавые пути, шагали через трупы, и через нас шагали, когда мы истекали кровью, перенесли мучительный голод, а теперь мы вам не нужны...

Анонимно.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, лл. 98—99)

13

Основная мысль письма: «Кулаков в селах нет».

...Кулаков в селах нет, а если и есть, то это в общем богатые хозяйства (3%) и те, которые сами в партии или служат какими-нибудь спецами на заводе, или в госторге ответственными работниками. Это, так сказать, красные кулаки. А если бы посмотрели или захотели бы присмотреться руководители и партия, то они увидели бы то, что и крестьянину видно: кулаки есть и в городах, и на заводах, как, например, на Днепрострое, где живут роскошно на выжатые от крестьян средства.

Крестьяне с. Михайловки Запорожского окр.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, лл. 99—100)

Сводка № 44 по письмам из поступивших до 11 апреля 1929 г.

14

Основная мысль письма: «Собрать агрономов для обсуждения того, какие новые нам нужны машины».

..Я, как опытный агроном-петровец¹, производственник с 35-летним стажем, должен заявить нашему правительству, что тут есть доля недоразумения, а именно: земледелие не есть ремесло, а есть искусство, которое дается талантом, а талант создается большим опытом, исходя из этого основания нельзя думать, что сортовые семена, очистка их, протравливание и даже рядовой посев могут создать и даже поднять урожай хлебов. Почему? Да потому, что урожай зависит, главным образом, от целого ряда приемов обработки земли, которые у нас ведутся в корне неправильно, и от орудий производства, которые делаются у нас совершенно нецелесообразно и не создают тех условий для роста, которые требуются для культурных растений. Необходимо советскому нашему правительству собрать всех старых, опытных агрономов, производственников-петровцев, вытащить их за ухо (так как сами они по лености не явятся, говорю по опыту) и предложить им совместно со старым нашим проф. полеводства Вас. Роб. Вильямсом изложить подробно все приемы обработки и особенности ухода за хлебами.

Залесский В. Ст. Аполонская.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 150)

Агрономы-петровцы — выпускники Петровской земледельческой и лесной академии в Москве ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева.

15

Основная мысль письма: «Правительство не заботится о деревне».

...Кому теперь живется весело, вольготно на Руси — середняку, рабочему завода да коммунисту из Кремля. Рабочие кричат на собраниях, чтобы гнать крестьянина из завода, и этим усиливается ненависть крестьянина к рабочему классу. И так уже крестьянину недоступно никуда поступить. В профсоюз не попадешь, а где взять без подсобного заработка, как увеличить свое хозяйство? Агрономы читают лекции, как вести сельское хозяйство, а мы им говорим, что нам прежде всего есть нечего. Правительство закрывает глаза на голод деревни. Да оно и понятно, ведь там в правительстве сидят рабочие заводские, им какое дело до деревни, а которые из крестьян, те или не знают деревенской жизни в настоящее время, или обуржуазились, или засиделись в Совнаркоме. Как бы ни сбылись предсказания одного известного буржуа, что костлявая рука голода задушит революцию. Провокация на почве голода пышно развивается и ползет черным кошмаром по стране. Жизнь стала ненужной и тяжелой

Светозаров, г. Рыбинск.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 163)

16

Основная мысль письма: «Кулацкая программа».

...В деревне способный, физически сильный крестьянин быстро развивает свое хозяйство, и хозяйство у него становится доходным, хотя он и не имеет наемной силы или имеет работницу сезонно, но он попадает в кулаки, и к нему, как зажиточному, начинают применять все меры к тому, чтобы он почувствовал и догадался, что ломать себя и надирать семью, так как он надирывает, не следует, а следует жить поспокойнее и вперед не высовываться. Сосед его — тоже способный, живет себе недурно и нос ставит по ветру и, где удастся, проезжает за счет государства и живет так: сам в люди не ходи и людей к себе не пускай, следуя мудрой старинной пословице: на дураках целую жизнь пашут, а где удалось, выдает себя за бедноту. Беднота деревенская, как принято называть у нас всех без исключения неимущих и малоимущих, под общее определение не подходит. Беднотой могут быть следующие лица: сироты, вдовы с детьми, больные, старые, нетрудоспособные... и временно ослабленные хозяйства, и только. Но как можно причислять целый век к беднякам людей физически сильных, но нерасторопных и не способных ни к чему кроме того, чтобы указывать — вы богатые, а я — бедный. Таких людей ни в коммуны, ни в коллектив, и на фабрике им тоже грош цена, а если и пойдут в коммуны или коллектив, то скоро оттуда удерут, а если из одних таких соберется — то скоро коммуна лопнет.

Кто двигает деревенскую общественность, пробивает ту брешь и несет все тяжести великой, но неблагоприятной работы? Старательный, культурно-развитой перед остальными, заботливый, способный, энергичный крестьянин, и дело двигается до тех пор, пока он не износится совсем и будет не нужен общественности и выкинут его, замазав грязью, или прилепят марку «кулака», и дело, начатое блестяще, начинает хиреть, если не найдется такое же ответственное и способное лицо. Способные же, ценные люди зачастую не по нутру вышестоящим организациям, которые чувствуют, что сами неумны и в работе слабы, а чтобы диктовать так, как хочется им, они подыскивают человека поглупей, а потому и поподатливей, а чтобы изжить человека, имеются десятки способов — вплоть до уклонов меньшевизма и эсеровщины, кулачества и т. д. Несмотря на то, что такие трудящиеся старательны, хозяйства, и постановления правительства, и сама жизнь диктуют — их следует поощрять и давать возможность развиваться, на деле же получается как раз наоборот, а от этого как раз страдают сильно широкие рабоче-крестьянские массы, а значит, и в целом государство, а в выгоде остаются лишь спекулянты и пройдохи.

Боязнь, что мелкокрестьянское единодушное хозяйство может пойти по пути капиталистического развития и стать тормозом на пути развития социализма, преувеличена и не совсем может быть оправдана, а лишь создает такое затруднение, как хлебозаготовки, а в современных условиях эта боязнь должна отпасть совсем. Крестьянин, прочитав то или иное постановление, увидев ту или иную ошибку или местные безобразия, сейчас же прислушался и начал наматывать себе на ус — а отсюда часть тех трудностей с хлебозаготовками и будущие их последствия. Низовые работники, отбив охоту к производительному труду у крестьянина своим неумелым подходом, заставляют рабочего сидеть без хлеба, масла, яиц и крупы. Рабочий с семьей принужден покупать у спекулянта втихомолку съестные припасы по невероятно взвинченным ценам. Организации, торгующие хлебом и всеми продуктами, продают с надбавкой 150% к цене, уплаченной производителю. И рабочий с крестьянином себе никак не может уяснить, откуда же идет такая разница между ценами.

Чтобы раз навсегда покончить с бестоварностью сельского хозяйства, следует:

- 1) Дать полную возможность развиваться сельскому хозяйству как по пути коллективизации, так и индустриальных, крестьянских хозяйств, вести борьбу не с признаками окулачивания, а с действительным кулаком, могущим возродиться на основе полного свободного развития крестьянского хозяйства,
- 2) Пересмотреть налоговый закон, заставляющий крестьянина все время маневрировать и тем самым ослаблять хозяйство,
- 3) Поменьше делать опекунства над крестьянскими организациями, дав им свободно развиваться, и не подсаживать платных работников, которые начинают быть чиновниками, а не деловыми работниками, оставив лишь пролетарский строгий контроль в политическом отношении,
- 4) Установить цены на крестьянский продукт, дающий полный стимул заинтересованности и развитию сельского хозяйства,
- 5) Никаких принуждений и поборов, а вести систематическую и культурную работу среди крестьянства, помогая вместо одного вырастить два колоса...

Никулин Д. Кольчугинский литейный завод.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, лл. 163—166)

17

Основная мысль письма: «Налоги задушили нас».

Налоги задушили нас, за налоги берут все, что есть — лошадей, коров, самовары, швейные машины, одежду, обувь, мебель. Народ расстроен, недоволен советской властью. Воззвание о поднятии урожая не имеет никакого успеха, каждый сеет только для себя, потому что советская власть не раз надувала хлебороба — на бумаге пишут так, а делают по-другому. Правительство вышло из доверия, на глазах народа партия отправляет в тюрьму, а вора и грабителям дали полную свободу, в городе грабежи производятся днем, а милиция не оказывает никакого содействия. Весной грабежи доходят до крайних пределов. Дальше. Кустарей душат налогом и заставляют объединиться в коллективы, хлеборобов тоже, не учитывая, что если хлеборобы будут работать 8 часов, то так будет хватать продуктов и хлеба, как сейчас мануфактуры. В некоторых местах сейчас идет голодовка.

Почему сделали расслоение между нами? Тот партийный, тот батрак, тот кулак, середняк и бедняк. По моему мнению, без расслоения не может существовать власти, а на партию мой взгляд как на царскую опричнину. Для партийного все, а для беспартийного и несоюзного — хоть сдыхай. Советская власть одной рукой гладит по голове, а другой — сдирает шкуру. Больше писать нечего, потому что вся кровь вылита нашей рабоче-крестьянской властью. Вам там хорошо говорить, а посмотрели бы, как мы живем...

Труханов П. Н. Кубанская обл., г. Краснодар, ст. Новодмитровская.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 169)

18

Основная мысль письма: «Возмутительные методы хлебозаготовок».

В селе Чистом, Шучанского района, Челябинского округа некто Быков Лукьян Федорович, середняк, имеет хозяйство такое: 2-х лошадей, 2-х коров, 4-х овец, и 6 человек семьи. В 1929 году запахивал 11 десятин посева разных культур. Комиссия по урожайности определила его обмолот по 50 пудов с десятины, всего намолочено с 11 десятин 550 пудов, вывезено в государственные сыпные пункты 340 пудов, на которые он имеет сыпные талоны. Из 550 пудов, от 210 из оставшегося хлеба нужно посеять 8 десятин и надо что-то на еду 6 человекам, а также рабочему скоту. И из этого количества пудов по плану хлебозаготовок вывез 23 пуда, да еще добавили 127 пудов. Он, конечно, не согласен нарушать плана о расширении посевной площади, т. к. излишков хлеба у него нет, он категорически отказывается вывезти и выполнить план хлебозаготовок. Уполномоченные местного сельсовета, а также уполномоченные райисполкома по хлебозаготовкам вызывают его в сельсовет, и тут-то и начинается. Сажают его и многих на позорный стул и начинают: ты, дескать, мать твою перемать, почему задерживаешь хлеб. Бедные крестьяне не знают, что им отвечать, и думают, кто они — или государственные преступники, или активисты по хлебозаготовкам, или же какая-то шайка бандитов. Они видят, что он молчит, и начинают: ты — вор, подлец, и начинается со всех сторон харканье и плевание в глаза. Потом надевают на него грязные рогожи и садят обратно на позорный стул для новых операций. В то время, когда он сидит здесь, собирается шайка хулиганов под руководством приказчика винной лавки Дмитрия Соколова и по приказанию представителя райисполкома заходят в дом этого несчастного хлебороба и начинают делать погром. Огонь в печи заливают, воду выливают по полу, она идет в голубец, там мочит картофель. Спички, керосин, соль отбирают и приказывают огня не зажигать во время вечерней поры, чтобы дети будущего социализма сидели впотымах.

Ильсов. Челябинский окр., Шученский р-н, Читинский сельсовет,
село Тихоновка.
(Ф. 520, оп. 1, № 206, л. 233)

1930

Сводка № 80 по письмам, поступившим до марта 1930 г.

19

Основная мысль письма: «Нэп нужен еще на 50 лет».

Тов. Сталин!

Если Вы продались капиталистам и сознательно разлагаете Россию или губите ее для того, чтобы она, бессильная, издыхающая, попала в руки империалистов, тогда

не читайте и бросьте это письмо, ибо всякие доводы напрасны. Но если Вы честный человек, то прочтите до конца и подумайте. Когда в 1918—19 гг. большевики сделали попытку ввести в России социализм, то это привело тотчас же к голоду и холоду. Вводя тогда эту систему, Вы ведь думали, конечно, что это сейчас привыется и начнется «светлое царство социализма»? Было у нас такое большое дитя — Ленин, который, желая поскорее пересадить социализм, так дернул за голову, что чуть было не оторвал ее, но будучи умным, сразу увидел, что это губительно для дерева, что дерево живое и уже начало хиреть, что так нельзя, и пригласил опытных садовников, энзиманов, — спасать Россию. И они спасли; и завещал тогда Ленин: «Нэп — прочно и надолго». А для этого нужно лет 50¹.

Вы же, товарищи, не поняли этого. Мы уже подходим к голоду, а местами уже голодаем... Разве этого не достаточно, чтобы образумиться? Чем упрямее Вы пытаетесь дергать, тем быстрее все исчезает: мясо, масло, молоко, рыба, овощи, одежда, обувь, стройматериалы. А Вы все твердите одно: «Потерпите, товарищи, годика через 3 будет все». И вот, уже пятые «три годика», а жизнь страны, как высыхающий пруд, начинает издавать зловоние смерти.

Народ будет терпеть до поры до времени, а там он раскачается, и польются потоки крови.

Выводы делайте сами. Помните только, товарищи, что те проклятия и отчаянные вопли погибающих, проклятия, вырывающиеся из миллионов сердец насилуемых крестьян, обратятся на Вашу голову, если Вы не остановите безумные приемы насаждения социализма...

Анонимно.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, лл. 19—20)

¹ «Если мы придерживаемся нэпа, — говорил И. В. Сталин на Конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 года, — то потому, что она служит делу социализма. А когда она перестает служить делу социализма, мы ее отбросим к черту. Ленин говорил, что нэп введена всерьез и надолго. Но он не говорил, что нэп введена навсегда» (Сталин И. В. Сочинения, М. 1949, т. 12, стр. 171).

20

Основная мысль письма: «Приветствуем правых уклонистов».

...Но знайте, что мы так ничего хорошего не сделаем, потому что являемся в коллективе рабами, службистами... Это не свобода, а рабство... Горе ожидает вас — рабов сталинских и всего управляющего аппарата тиранов, кровожадных сосков-вампиров, которые ничего не делают, а сосут только кровь из крестьян и рабочих. Как вам не стыдно, что вы хвалите сами себя, а старое государство хулите! Разве мы не знаем, что тогда была жизнь и свобода, а теперь рабство и голодная смерть. Мы все это понимаем отлично и ждем войны. Тогда ожидает горе не только черный люд, но и вас, гадов ползучих. Мы поищем белоручек, кто бы он ни был — хороший, плохой, — все равно: как белые руки — нужно их отрубить и отрезать язык, выколоть глаза, исключая правых уклонистов: Рыкова, Бухарина, Томского¹. Передайте им почтение от всего крестьянства и рабочего класса, пусть они не спят — массы поддержат их. Но не Сталина-тирана и всех его товарищей. Это жулики и разбойники, а бухаринцы — хорошие люди и пусть надеются, что массы их поддержат в случае чего...

Анонимно.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 22)

¹ По-видимому, письмо было составлено для дискредитации группы Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и М. П. Томского, о чем свидетельствует тон приведенного отрывка.

21

Товарищ Бухарин!

Нельзя утерпеть, видя, что по Вашему адресу, по адресу русского ученого-экономиста, борца за трудящихся, сыплются и публикуются прессой протесты против Вашей теории¹, вполне правильной, которой ждут применения на практике трудящиеся Советского Союза.

Именуемое себя центром основное ядро партии, вокруг которого идут шатания вправо и влево, само пошатнулось влево и крепко нажало на трудящихся города и деревни. Партия сбилась с пути и пошла по дороге суровой диктатуры, несколько

прислушиваясь к голосу пролетариата, а крестьянство... Крестьянство терроризировано, и его не слышит партия. Вы — второй Ленин, — пошли по вешкам, ведущим к социализму.

Я сын крестьянина-средняка, платящего 9 руб. налога, кончаю школу II ступени и стараюсь и нахожусь как нельзя близко к трудящимся города и деревни, и что я вижу, то могу уверить Вас, что Вы правы.

Колхоз — дело хорошее, но крестьянство не осознало этой важности и главным образом потому, что оно не имеет доверия к партии, смотря на нее как на хищника, щиплющего их со всех сторон. Это дело требует десятилетий, а не 5 лет, и не экономическим принуждением можно построить хороший, крепкий, не дефицитный колхоз. Только на основе полной добровольности образования колхозов они могут оправдать себя.

Мужики клянутся, что если политика партии останется такой же еще на несколько лет, то Советский Союз помрет от голода: продавать (не продавать, а везти под ружьем) за такую цену хлеб нет никакого смысла. Крестьянство недовольно, середняк отошел от партии, середняк не находит поддержки.

Г. Иваново-Вознесенск. Александр Андреев.
(Ф. 520, оп. 1, л. 18—19)

¹ По мысли Бухарина, развитие сельского хозяйства заключалось в сочетании колхозно-совхозного строительства с подъемом индивидуального хозяйства при систематическом его кооперировании.

Сводка № 70, составленная отделом чистки и расследования по 16 письмам, полученным редакцией

Редакция газеты «Правда».

14 марта 1930 г., тов. Савельеву.

В сводку включаются не помещенные корреспонденции, главным образом отрицательного свойства. Сводка, конечно, не характеризует полностью настроения рабочих и крестьян.

22

...Вы печатаете, что китайцы-крестьяне идут в армию из-за того, что у них нет земли, хлеба и работы, а почему вы не пишете о своих крестьянах, которых советская власть или ваша свобода разорила? Хлеб отняли, налоги большие, пай в кооперации большие, на чужестранцев хлеб собирают, а своих, русских, голодом морят. Кругом рабочих и крестьян обманули, вся власть держится на штыках. Николая зовут кровопийцем, а вот самая свобода, т. е. кровопийство хуже крепостного права пришло. Царь насильно ничего не просил, а теперь на насильии вся власть держится.

Даже красноармейцы и те сознают, что кругом обмануты. Лес, хлеб, пушнину и золото гонят за границу. Над нашей Россией смеются, хуже теперь стало, чем в крепостное право. Дали волю и разврат бабам, сифилис развели, кругом насилие. За свои собственные деньги крестьянин, и служащий, и чернорабочий должны стоять в очереди: что дают, то и бери. Та ли жизнь была при частной торговле?

Рабочие, крестьяне и служащие просят Англию, Америку и Японию выручить нас из этой пропасти и от подлых коммунистов.

Кологривов.
(Ф. 520, оп. 1, лл. 22—23)

23

От лишенцев-евреев.

Мы, евреи, пережившие много тысячелетних гонений, инквизиций, фараоновское уничтожение детей и т. д., а впоследствии — царского союза русского народа, отказавшиеся от воинской повинности службы при царизме, послали своих детей и сами пошли на баррикады, на фронт гражданской войны и т. д. Как бесправные, мы вынуждены были заниматься не земледелием и фабричным трудом, а мелким ремеслом и торговлей. Декрет Ленина о Нэпе был понят нами как приказ помочь Советской власти устранить хаос, которого существовать на рынках не должно, а также падающая валюта была общими усилиями устранена, потом, когда мы поняли, что кооперация немного научилась обслуживать население (хотя уж очень много они крадут), мы бросили торговлю и своими последними грошами бросились устраивать кустарные производства группами и артелями. Казалось бы, что Советская власть

должна была это приветствовать и поддерживать, так как бывшие торгаши научились быть полезными государству и стали рабочими и помогали государству отказаться от импортного товара — примусов, горелок, фотобумаги, разных вещей для радиоустановок и т. д.

Результат — выкидка из артелей под новым лозунгом лишенцев.

Создайте опять хоть черту оседлости в Сибири, в глуши, на Сахалине, на Дальнем Востоке, но определенно дайте жить, т. е. право трудиться, или, в крайнем случае, разрешите работать как в исправительных колониях для уголовных, ведь им-то лучше: они имеют право на труд, хлеб.

Мы думаем, что государство должно смотреть с точки зрения полезности, а не мести. И за что: потому что поверили Ленину и Нэпу? Полагаем, что это ошибка — такой прием: выселение из квартир, из артелей и т. п. Это антисоветский прием. Еще НЭП нужен для советской власти.

Анонимно. Ленинград.
(Ф. 520, оп. 1, л. 22)

24

Во времена злой татарщины преследование религии не достигало таких размеров, как сейчас. Только вы с видом невинной проститутки, вербуя кучку оголтелых дураков, обращаете их на бумаге в массу и именем ее требуете закрытия церквей, ограбив их в начале революции. Конечно, религия-то вас в конце концов и погубит, убить вы ее не можете, людей вы убьете, а ее не в силах, ибо идею, да еще такую, как христианство, убить нельзя.

Ваша газета «Правда» звучит так же злой насмешкой своим названием. Наша «Саратовская правда» так же врет, как и ваша, и уж никто не верит ничему, зная, что все равно опровергнуть ничего нельзя, т. к. кроме советских газет в СССР других нет.

Правдин. Саратов.
(Ф. 520, оп. 1, л. 27)

25

Основная мысль письма: «О рабочем бюджете».

Моя тарифная ставка ныне 96 руб., но по плану пятилетки они, т. е. 96 руб., возрастут на 50%, это выразится в сумме 144 руб. в месяц, а по реалии это нужно понимать очевидно, что продукция подешевеет, а эти 144 руб. номинальных возрастут еще на 20% реальных. Значит, что мой реальный заработок в конце пятилетки будет составлять 163 руб. 20 коп. Ну разве это не отрадно! В пятилетке говорится: «1928—29 принес нам в этом отношении ряд неудач. Вследствие недостатка сельхозпродуктов и спекулятивных вылазок кулачества цены сельхозпродуктов значительно поднялись вверх. И это ударило по реальной зарплате».

Да, ударило. В этом вопросе я совершенно солидарен, ибо сальдо рабочего бюджета получилось активным с минусом.

К примеру, приведу свои две бюджетные статьи — приходную и расходную. В доходную статью входит моя зарплата в сумме 110 руб. в месяц, да еще плюс 20 руб. зарплаты сынишки — ученика ФЗУ. Эта доходная статья распределяется на 5 душ семейства.

Расходная статья:

1. На продукты питания 5 душ по 3 раза в сутки — 90 руб. в месяц.
 2. На 3-й заем Индустриализации лично из моего заработка — 12 руб. 50 коп. в месяц; с заработка сынишки — 5 руб. в месяц, и с жены, как с домашней хозяйки — 1 руб. в месяц. Итого 18 руб. 50 коп.
 3. Квартилата, вода, освещение, источник центрального отопления — 20 руб. в месяц.
 4. Топливо для центрального отопления — 5 руб. в месяц.
 5. Топливо для варки пищи — 3 руб. 30 коп. в месяц.
 6. В профсоюз — членские взносы — 2 руб. 70 коп. в месяц.
 7. Газеты-журналы — 2 руб. 50 коп. в месяц.
 8. На курение — 4 руб. 50 коп. в месяц.
 9. На содержание матери-старушки — 5 руб. в месяц.
 10. На учебу дочурки — 1 руб. 80 коп. в месяц.
- Итого: расходная статья — 153 руб. 80 коп.
Итого: приходная статья — 130 руб. 00 коп.
Пассив (сальдо) бюджета — 23 руб. 80 коп.

В расходной статье не участвуют элементы расхода: на верхнюю зимнюю и летнюю одежду, на верхнее и нижнее белье, на головные уборы и прочее. Они, эти перечисленные элементы, не только не участвуют в месячном бюджете рабочего, но и, очевидно, во всей пятилетке нельзя будет истратить ни одной мезолистой копейки, а будешь ходить, как Робинзон с индустриальных островов.

Кто же виноват в таком безобразном несоответствии? Разве посчитать виновным в этом т. Рыкова, или т. Калинина, или т. Орджоникидзе, да и то будет неверно, ибо эти товарищи тоже такие же, как и я, рабочие, такие же, как и я, хозяева нашей страны, живут на своем жалованье, и очевидно, сердечные, такие же терпят недостатки в своем бюджете, как и всякий рабочий? Очевидно, что когда утверждали опорные контрольные цифры, то с легкой душой произнесли слова: «Вопрос зарплаты рабочих в первый год пятилетки сорвался».

Помимо робинзоновского внешнего вида должен за квартиру за 3 месяца, ЖИЛКООП обещает по-пролетарски привлечь к суду как злостного неплательщика, а топливо для центрального отопления тоже не в состоянии внести вовремя, обещают закрыть отопление...

Животов. Днепропетровск.
(Ф. 520, оп. 1, лл. 28—30)

26

...Дорогой редактор, к тебе великая просьба, мы все партизаны Верхотеченского района, деревни Анрюгово. Спаси Россию пока не поздно, у нас не хватает больше терпения. Я везде слышал от крестьян одно проклятие Советской власти. Говорят: «когдаждемся свободы, и когда будет война». Вы пишете про Польшу, папу Римского и Китай — они все не страшны нам. Вы стомиллионное крестьянство опозорили — далее некуда. Во время хлебозаготовок что ни проделывали: плевали в глаза, бороду дергали — все не опишешь. Вот уже некое стало грабить, вы набросились на трудового крестьянина. Весь народ отошел не от Советской власти, а от дурных поступков. Кто не шел в коммуну, отобрали книжки общепотребительские¹, налагали по 200—300 руб. целевые. Социализм и коммунизм затеяли еще рано, когда настроите машин, тогда, может, поскорее все будет.

Пишете: «закрепить колхозы», что это за слово такое — «закрепить»? Это разве времена Екатерины Великой, которая писала, чтобы люди не переходили от помещика к помещику?

...Вы с намерением делаете все это, чтобы подорвать Советскую власть? Еще предупреждаем, будем воевать другой раз, но уже не так, как воевали...

...ни мануфактуры, ни сахара, ни чаю, ни табаку, ну, словом, ничего нет. Вы сделайте по всей России машинные товарищества, они самые подходящие для крестьян и для государства. Весь народ в машинные товарищества пойдет охотно, и весь секрет: народ забудет скоро все обиды. Еще проект — взять власть у несознательного элемента и дать ее честным середнякам, тогда Россия будет спасена от страшной беды, которая уже над головой. Мы все партизаны, да здравствует трудовая крестьянская советская власть, да здравствует свободный народ!

Уральская обл. Щадринский округ. Верхотеченский район,
деревня Анрюгово.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 55)

¹ Потребительское общество — сеть кооперативных магазинов и лавок по заготовке и продаже товаров, охватывавшая всю страну. Лишение «общепотребительской книжки» обрекало единоличника на голод.

27

С 15 апреля запугивают все население: «Если 20-го апреля¹ будете в церкви, исключим из союза, снимем с биржи труда и работы».

Учителя приказывали: «кто из учеников не придет в школу 20-го апреля — выключим из школы». Крестьянам говорят: «Кто из колхозников не выйдет в степь работать 20 апреля, отберем землю в колхоз. А из колхозников, кто не выйдет на работу 20 апреля, исключим из колхоза с лишним голоса».

Партизан с 1918 г. Майкоп.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 56)

¹ В 1930 году Пасха приходилась на 20 апреля.

28

После речи т. Сталина¹ начался массовый выход из колхозов. Увеличилась значительно подписка на все газеты. Крестьянин стал форменным образом издеваться над своими коммунистами. Только и слышишь: «головотяп».

Теперь стали путать с землеустройством, говорят, что была какая-то инструкция, но ее аннулировали и велели руководствоваться статьями газет.

...Крестьяне требуют, чтобы землеустроитель показал декрет (о землеустройстве). Последний отвечает: «Не таскать же мне с собой все законы, я официальный представитель, вы должны мне верить».

...Все, о чем пишет Центральный Комитет, — нетвердое слово. Были предписания Центрального Комитета возвратить не желающим быть в коллективе лошадей и инвентарь. Этого нет абсолютно; а наоборот, придет Скандеевский ГПУ тов. Поляков, да вынет наган, позовет в кабинет и говорит: «Поди сейчас, возьми заявление назад о выходе из колхоза, не возьмешь — загоню, как кота».

Мы видим, все середняки, что в советском строительстве, все занимаются грабежом и живут на чужой труд. Поотнимали у хлеборобов все абсолютно и говорят: «Мы обобществили».

Я, теряя последнюю каплю крови, ходил босой и голый, а стянулся на лошаденку, ее забрали.

Превратили всех в батраков. На огороды ходим пешком версты за четыре, и поливать капусту лошадей не дают. Да будь она проклята, и бросим ее на произвол. Писали о головокружении, наверное, у наших вождей головокружение. Теперь мы видим, только — брехня и кругом брехня.

Станция Чебласская. Белоцерковский.
(Ф. 520, оп. 1, № 507, лл. 56—57)

¹ Имеется в виду статья Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в «Правде» 2 марта 1930 года, где вся ответственность за допущенные искривления перекладывалась на местных работников, обвиненных автором в «головотяпстве».

29

Обычный разговор с крестьянами — это показ на дуло револьвера, и в тюрьму. Как только узнали, что насиловать крестьян никто не имеет права, то свыше 700 дворов вышло из колхоза.

Ардкон. Сев.-Осетинской Автономной обл.
Темирболот Алборов.
(Ф. 520, оп. 1, № 507, л. 62)

Совершенно секретно

2 июля 1930 г.

*Сводка № 83. Составлено отделом читки и расследования
«Правды». Перегибы и исправления*

30

У нас семьи 7 человек. Имеем один дом, крытый железом, одну лошадь и жеребенка полтора года, теленка двух лет, 5 овец и посеvu 3 десятины.

Сельхоз налогу платим 7 руб. Пришли и взяли все: жеребенка, теленка, самовар, сепаратор, овец 3 головы, картофель, свеклу кормовую, сено, солому и хотели выгнать из дому, да еще взяли теленка 4-х месяцев, который был хвор.

Мы остались жить в своем селе, мне 15 лет, братишке — 7; 2 сестренки, 1-й — 5 лет, второй — 9 месяцев и матери — 48 лет. Сестренка живет в людях, чтобы не сдохнуть с голода, братишка бегаёт, где его приютят, там и кормят.

Прошу у Советской власти защиты.

Нашу корову дали одному активисту за 15 рубл., а он ее через неделю продал за 75 рубл. к нам в Шабры.

Н. А. Епанешников. С. Амонак. Бугурусланский окр.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 108)

31

Селяне, увидевши, что в списке стоят такие середняки, каких раскулачивать ни в коем случае нельзя, за исключением нескольких человек, «за» не голосовали. Тогда т. Гудзь «против» вовсе не предлагал голосовать, говоря, между прочим: «Здесь середины быть не может, если резать, так резать, а кто хочет быть посередине, того мы наденем на штыки и погоним вместе с кулаками!»

Председателю собрания предложили взять на заметку всех не голосующих как подкулачников, которых необходимо раскулачить.

Телигуло-Березанский район. Одесский окр., ст. Суворово.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 110)

32

Раскулачивание без всякого разбору — кто попадется под руку, кто, на кого зуб имел кто-нибудь из активистов. В холодную дождливую ночь выгоняли в степь с больными и детьми (Попеннакский с/совет Ново-Троицкого района), обливали водой на морозе, водили по селу с гиканьем, криками, свистом, причем сам водимый должен был кричать: «Я кулак, куркуль, враг Советской власти».

Ивановский сельсовет Чаплышского района.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 115)

33

В Благовещенском районе остались коллективизированными 10 проц. Статью т. Сталина кулаки толковали против колхозов. Партийные и советские организации это проморгали. Были случаи, когда кулаки читали статью т. Сталина в бане ночью. Когда стали разваливаться колхозы, в 24 часа стали выселять кулаков.

Попали под выселение середняки.

Подпись.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 117)

*Сводка № 90. 18 июля 1930 г.
О продовольственном снабжении деревни*

34

Ткнулись в кооператив мужички, спрашивают: «Мне бы табачку осьмушку».

— А яйца у тебя есть? — спрашивает продавец.

— Какие яйца? — спрашивает ошеломленный мужичок.

— Известно, куриные. Махорку мы даем только на яйца. Принеси десяток, дадим тебе осьмушки две.

— Вот бы ниток катушку...

— Яйца неси, — твердил неумолимый продавец. — Картошку вези.

— Фу, пропасть, да я сам меру купил. Ну, свешай селедочек фунтик или другой какой рыбешки киличко.

— Даем только на яйца, да на контрактацию колхозникам тоже даем, а единоличникам РАЙПО не велело отпустить.

Н. Г. Фомин. Ряжский район.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 125)

35

Когда станешь говорить риковцам, что постановка так вопроса неверна и неправильна, то они отвечают: «Директива Окрисполкома и Окружкома, надо выполнять», к тому же добавляют, что не нужно заниматься «правым уклоном». А если спросить окружных работников, то они отвечают: «Директива Облесполкома». А Облесполком уже ответит, что директива ВЦИКа и ЦК и должны ее выполнять. Вот так и протекала вся политика, которая сбила с правильного пути деревенских работников. А когда получилась у всех работников, начиная с РИКа и кончая ЦК ВКП(б), несправедливость в политике, то всю вину постарались свалить на низовых деревенских работников: начали привлекать вплоть до судебной ответственности низовых работников. А когда началось брожение среди крестьянства, то тогда т. Сталин написал статью «Головокружение от успехов». А где же он реально был до этого? Теперь некоторые шкурники и карьеристы из среды низовых работников начинают признавать якобы свои ошибки и оправдывают ЦК...

Член ВКП(б) Пикалов И. И.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 130)

36

Лозунг — пятилетка в четыре года сам по себе хорош, но для того, чтобы его осуществить, надо накормить рабочих, чтобы за тарелкой борща и картошкой не стояли по 300 чел. На воде и на хлебе далеко не уедешь. Ни сахару, ни табаку, ничего совершенно нет, кругом голые полки в рабкоопах, и перспективы на улучшение положения рабочего класса пока не видать. А на коллективное хозяйство можем рассчитывать через 5—10 лет, и то они полностью не могут снабдить сырьем и хлебом; что касается зарплаты рабочих, то на бумаге она все растет, а на деле падает, возьмите, что делается на рынке: сало — 4 р. за фунт, масло — 4 руб., мука — 20 руб. пуд, в 1927 г. это все было нипочем.

...Что касается 25-тысячников, которые посланы ЦК в колхозы, то кроме вреда ничего хорошего они не принесут, ввиду того, что они рабочие, некоторые совсем не знакомы с сельским хозяйством, то какую пользу они могут дать колхозу, а когда ЦК думал послать, надо было подготовить как следует, чтобы массу не вводить в заблуждение.

Ну еще хочу остановиться на воспитании детей в городе и на селе. Не каждый ребенок может посещать школу ввиду бедности родных, а в городе, особо дети служащих, все учатся, и заполняют учебные заведения бывшими людьми. Ну еще многие сотрудники учреждений собирают своих детей и отправляют на курорты, когда в селе на 1000 дворов нет даже врача.

Еще в нашей партии существует большой зажим, особо в ЦК. Если какой-либо член партии думает высказать свое мнение по какому-либо вопросу, оно сразу приравнивается к правым или левым, а то просто считают контрреволюционным... Ввиду этого зажима многие члены партии, дабы не остаться выброшенными из партии и не быть снятыми с работы, до поры до времени молчат, но придет время, когда все сразу скажут, что мы пошли не по той дороге, по которой вел Ленин. На сегодняшний день, вы бы послушали, каково настроение масс рабочих на производстве и бедняков на селе. Тогда вы говорили бы по-иному. И если приходится на съездах слышать приветствия от колхозов, то как будто все хорошо, но это они льют слезы о тяжелой жизни всего Союза.

Бридько. Политгрупповод окротдела ГПУ. Донбасс. Сталино.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 137)

37

ЦК сам был пьян от лучших успехов... тов. Яковлев не прав: сельское хозяйство не растет и назад идет. Смотрите цифры животноводства и других продуктов сельского хозяйства, как то масло, яйца. Ведь безвыходное положение. Третье — падение курса червонца, рост спекуляции, это показывает, что страна переживает кризис. Четвертое — лозунг «Пятилетку — в четыре года» толкает страну к краху и разрыву смычки и ухудшает настроение масс. Пятое — внутрипартийной демократии теперь нет. Нельзя критиковать линию партии, нельзя указать ошибки партии, нет выборности руководящего состава — все по назначению, это доказывает, что в партии существует диктаторство... По-моему, Сталина надо исключить из партии за неправильное руководство и зажим самокритики, за замазывание фактов, за гонения на искренних ленинцев, как то Бухарин, Рыков, Томский, Зиновьев, Калинин и т. д.

Член ВКП(б) с 1924 г. АТ ССР, Буинский Вар. Низамов Гаяз.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, лл. 132—133)

38

В Вологде в одну церковь запихали кулаков с детьми и двери заколотили и поставили милиционера с ружьем и не дают есть и пить, и те люди стонут и молят: дайте хлеба и воды. Милиционер не пускает к ним, и граждане не могут около жить от их стонов и плача. Товарищи на съезде, обратите на это внимание. Либо убить их надо, либо давать хлеба и пить.

Пронин С. Л.
(Ф. 520, оп. 1, № 207, л. 271)

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

*

ГЕББЕЛЬС. ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ДНЕВНИКА

Часть третья

«Нам пора прийти. Иначе воспользуются другие»

4 января 1930. Скандал с Гинденбургом... мы его намылим. Старому козлу пора убираться: не вечно же стоять на дороге у молодежи. Коммунист, подстреленный нашими людьми, умер. Это снова вызовет много шума.

6 января. Был в Кюнстлертеатре. Палленберг. Замечательный артист. Но еврей. Может, именно поэтому.

15 января. Коммунисты напали на нашего штурмфюрера Хорста Весселя в его квартире. Он тяжело ранен. Так продолжаться не может. Близка последняя битва.

16 января. Во всем рейхе волнения безработных. Много убитых и раненых. Так и должно быть.

17 января. Юриспруденция — продажная девка политики, — варьирует Геббельс высказывания Гитлера о ненавистных ему юристах.

19 января. Мать Хорста Весселя рассказала мне всю его жизнь. Словно из романа Достоевского: Идиот, рабочие, падшая женщина, буржуазная семья, вечные укору совести, вечная мука. Вот жизнь этого 22-летнего мечтателя... Красные газеты поносят этого чистого юношу как сутенера. Убийца его — вот кто сутенер. Что можно сказать? Собрать силы? Смолоть в порошок? Беседа с фрл. Видеманн по поводу шпионажа. Я думаю, мы это одолеем... Слушал омерзительное радио (негритянство, искусство недочеловеков).

Гитлер «больше не фюрерствует»

20 января. Госпожа Потемпа дает и дает на газету. К тому же у нее парочка прелестных внушек. Геринг очень ругает Мюнхен. И Гитлера ругает, кое в чем справедливо. Он мало работает. И женщины, женщины!... — В предвоенные годы в западной прессе за пределами Германии появлялись высказывания о том, что Гитлер настойчиво появляется в публичных местах в обществе женщин, чтобы противостоят муссированным слухам о его мужской несостоятельности. Акт анатомирования Гитлера зафиксировал имевшуюся аномалию¹, не дающую основания для этого утверждения, но не безразличную для психоаналитиков. — Но зато масса способностей и достоинств... Будем радоваться тому, что он у нас есть, и примиримся с его слабостями.

21 января. Нам пора прийти. Иначе воспользуются другие.

29 января. Как всегда, от Гитлера никакого решения. Терпения на него не напасешься!.. У него нет мужества принять решение. Он больше не фюрерствует.

30 января. Меня вызывают в Мюнхен. Шеф снова хочет сомной поговорить. Надоело!

2 февраля. Я организую отдел шпионажа. — Склонность Геббельса к внутренним службам шпионажа не ослабевает до конца. — Мы должны знать, что происходит у других. Но наши люди неохотно склоняются к шпионажу. Надо привлечь женщин. — Геббельсу уже удалось одну фройляйн привлечь.

Перевод фрагментов дневника Й. Геббельса — Л. СУММ.

О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 2, 3 с. г.

¹Ее медицинское наименование — монорхизм (криптовхизм).

3 февраля. Муссолини мне ближе, чем все наши сегодняшние. — Но это в пику Гитлеру и до первых неудач Муссолини.

4 февраля. Если б у немцев раньше было бы столько же политической воли, сколько культуры, мы были бы сегодня господами Европы, а то и мира.

16 февраля. Анархия в партии. Вся вина на Гитлере, который не использует свой авторитет... Смотрел «Битву за землю» («Старое и новое»). Советский фильм Эйзенштейна. Хорошо сделано, но утрировано... Фильм опасный, и мы должны на этом учиться.

19 февраля. Вчера наши партайгеноссе сбросили саксонское правительство. Bravo!

2 марта. Гитлер открыто капитулировал перед этим мелким и хитрым нижнеба-варцем... Геринг и Липперт этой ночью поедут в Мюнхен, чтобы завтра в последний раз поговорить с Гитлером. Я настроен скептически: он, как всегда, вывернется, но я на все решился, не на борьбу с ним, но на уход. Пусть поищет себе других марионеток.

Это всего лишь защитная жестикюляция слабого, несамостоятельного Геббельса. «Я свободен и остаюсь свободным» (3.10.24) — давнее его заблуждение на свой счет. Но и тогда, как и сейчас, он всего лишь фразер. Человек клетки, он не только не нуждался в свободе, он страшился ее, был угнетен ею независимо от того, сознавал это или нет. Оказаться в разомкнутом пространстве свободы и сейчас катастрофично для него. И те прежние стенания о жажде веры, поиски Бога и поиски сильной личности, что, по сути, смыкаются для него, это поиски чужой воли над собой, спасения от свободы.

«Наше время близко»

4 марта. Гитлер хочет теперь все перевернуть и выставить меня козлом отпущения. Это ему не удастся. Я не позволю себя одурачить.

5 марта. Гитлер обозлен моим ультиматумом. Перед Липпертом разыгрывал дуче, страшные угрозы против Штрассера, меня выставлял мелким гауляйтером. Затем Герингу хвалил мои способности, словом, шеф, каким он бывает, когда перед ним неприятное, но необходимое дело... Гитлер ревнив... Политическое положение отчаянное. Кабинет при последнем издыхании. Завтра сессия рейхстага. Траурное заседание? КПГ вновь планирует революцию? Наше время близко. Если б у нас было целенаправленное, строгое руководство! А так? Бедный Гитлер!

В дневнике унылое препирательство за глаза с Гитлером, поношение его как негодного фюрера. Преследование Геббельсом Штрассера. Интриги, доносы, подсиживание. Геббельс бьется не просто за изгнание Штрассера — за его голову. И не отступится, пока тот не будет убит в «Ночь длинных ножей».

12 марта. Как много у нас уже приверженцев в шупо²!

14 марта. Гинденбург подписал план Юнга³. Судьба Германии решена. Мы будем беспощадно продолжать борьбу, теперь перед нами новый враг: Гинденбург.

16 марта. Мюнхен, включая шефа, потерял мое доверие. Я больше ни в чем им не верю... Гитлер колеблется, он не принимает решения, он больше не фюрерствует...

24 марта. Фрау Вессель отдала мне политический дневник Хорста. И как он пишет обо мне, сколько юношеского воодушевления. Мы опубликуем его в «Ангрифф».

28 марта. Гитлер 4 раза нарушал свое слово. Я больше ему совершенно не верю. Он не решается идти против Штрассера. Как же будет, когда он станет диктатором в Германии?

5 апреля. Кабинет еле держится... Возможно, дойдет до роспуска парламента. Дай-то бог! Наверное, меня тут же арестуют, но это нам на пользу. Беспокійство, натиск, принуждение и преследование — от этого мы расцветаем.

6 апреля. Муссолини, кажется, еще не распознал еврейский вопрос. И в Италии не все золото, что блестит. Но там есть фюрер, а у фюрера есть власть.

13 апреля. Гитлер должен очистить партию, иначе рано или поздно кончится расколом... Гитлер это понимает, но от понимания до дела у него всегда далеко.

28 апреля. Я крепко поспорил с Р., который утверждает, что мы должны в открытую проводить борьбу мнений. Это же безумие.

² Сокращение от немецкого Schutzpolizei — полиция.

³ По плану американского банкира О. Юнга, изменялся порядок уплаты Германией репараций. Освобождались от уплаты промышленность и банки. Ремонтные платежи взымались от доходов железных дорог и госбюджета. План Юнга утвержден на Гаагской конференции в 1930 году.

«Наша новая машина — просто поэма»

28 апреля. Гитлер снова фюрерствует!.. После своей речи Гитлер еще раз поднялся и в бездыханной тишине объявил о моем назначении шефом пропаганды... Штрассер бледен как мел. Мы победили по всем линиям. Оппозиция в осколках. Штрассер уничтожен, и вся его трусливая креатура толпится теперь вокруг меня. Да, таков человек... Вечером еще совещание с моим новым секретарем Гиммлером. Мы очень быстро объединились. Он не чересчур умен, но усерден и честен... Замечательный день!.. Геббельс — триумфатор!.. Я достаточно долго этого ждал... Самое существенное — Гитлер снова берет поводья в свои руки.

И благодать изливается на Геббельса.

30 апреля. Мы ведем переговоры с Мюнхеном о новом автомобиле. Возможно, мы получим новехонький, с иголки «мерседес». Гитлер постарается. Вот будет радость. Геринг очень помогает. Звонили: куплен «мерседес»... Вот он уже стоит у ворот. Прекрасное, породистое животное. Семиместный! Замечательно сделан, элегантные линии и формы. Тут же пришел шеф и все мюнхенцы. Он радуется как ребенок. Я полон счастья и благодарности. Он славный малый!

2 мая. Наша новая машина просто замечательна... Будут ли все эти свиньи мне верны? Главная, не заноситься. — Еще бы, «мерседес», да с шофером, — это привилегия берлинских богачей. — **«Наша новая машина — просто поэма».**

Но эйфория проходит, а ревность, задетость Геббельса, сдвинутого на периферию от Гитлера, остается. Никакие импульсы не доходят. Ни к чему существенному не приложим. Хотел было взбодрить нацистское женское движение, оно «должно стать самым современным в Германии». Но вскоре взмолился: «Всю эту женскую чепуху нужно отправить туда, где ей место. Ради Бога, уберите женщин из политики». «Мы должны так или иначе покончить с этой кутерьмой». Женщины «не могут логически мыслить».

26 июня. Гитлер хочет, чтобы я тут воевал по мелочи, а сам никак не займется крупным. Типичный Гитлер... Гитлер хотел, чтобы я приехал, но это бесполезно, он обещает и не держит слова.

29 июня. Во всем виноват Гитлер с его нерешительностью, а вину сваливает на меня, называет вероломным фразером.

16 июля. Штрассер получил министерства в Саксонии: внутренних дел и труда. Вот Гитлер. Он делает это из страха. Он даже в мелочах не свободен принять решение...

Укрепись Штрассер при Гитлере или, более того, возобладай он в руководстве партией — это приговор Геббельсу. Они смертельные враги. И Геббельс неустанно отележивает каждый шаг Штрассера, интригует, пугает им Гитлера, толкает на разрыв со Штрассером и обвиняет Гитлера в нерешительности. Но другие действующие лица из партийной верхушки, оставившие мемуарные страницы, в том числе те, что написаны уже в заключении, характеризуют поведение Гитлера, похоже, проницательнее. По их словам, «нерешительность» — прикрытие тактики Гитлера, предпочитавшего обычно оставаться неразгаданным в своих намерениях, ускользающего. На деле же Гитлер был заинтересован в этих распрях, сам разжигал их и правил в партии, переключая благосклонность с одной враждующей группы на другую, растравляя ревность, конкуренцию, непримиримость между ними, не давая им сомкнуться и тем контролируя их и пресекая возможность сговора.

Возможно также, что, лавируя, Гитлер долго не шел на разрыв со Штрассером, чтобы не нажить активных недругов среди немалого числа приверженцев Штрассера, второго человека в партии.

«Еще два года — и мы наверху!»

23 июня 1930. (Успех на выборах.) **Еще два года — и мы наверху!**

11 июля. Состояние сельского хозяйства ужасно. Зимой будет катастрофа.

15 июля. Поля, поля, колосья стоят высоко. Благословенный урожай! И вымирающее крестьянство.

18 июля. Рейхстаг распушен. Ура!.. Коммунисты поют «Интернационал».

Великий кризис достиг Германии, навалился на страну. Сокрушена экономика, оправившаяся было от последствий войны и поражения. Жестокая, неудержимо растущая безработица. Беспросветность, страх будущего.

Немецкий народ, одаренный великим трудолюбием, ничем нельзя унижить больше, чем лишением работы. Эти неизменные черты устойчивости, постоянства и насущную в них потребность я наблюдала в другой период сотрясения германской истории, другого ее слома — вслед за поражением во второй мировой войне. Сошлось на свои наблюдения.

До тех пор мы видели немцев только в военной форме и только в пейзаже войны. В той или иной степени такой немец был нам знаком, понятен. Но в Германии, сразу же за пределами войны, ее «мирный» народ был совсем незнакомым и в своих проявлениях, в своем быту, складе непознаваем. С тех пор эти первые впечатления стерлись, прибавилось понимания, сближения, но тогда они были острыми. Так, меня очень удивило, когда в самые первые дни падения Берлина (а в городе еще догорали пожары, рушились выгоревшие дома, повсюду завалы, смятые танками баррикады, на улицах — все еще сдача оружия, сдача в плен берлинского гарнизона) хозяин квартиры, где мы заночевали, спросил меня, сможет ли он пройти на такую-то улицу к зубному врачу. Я посочувствовала ему, страдающему зубной болью. Оказалось, что нет, не страдает, но условился более двух недель назад (то есть до начала штурма Берлина) прийти в этот день на прием.

И вот так же на каждом шагу я видела, с какой неукоснительностью немцы в этих чудовищных обстоятельствах выполняют свои обязательства, казавшиеся мне «незначительными», сметенными катастрофичностью событий.

И уже немного позже, в другом городе. Как ни сурова, скудна и тревожна была жизнь, люди не снижали, стойко соблюдали свой привычный уклад. Вели свои дела, посиживали в кафе, прогуливались вечерами на бульваре, отправлялись в воскресенье на пляж. Мне порой казалось даже кощунственным, что все это так происходит, ведь страна переживает крах, бесчисленны жертвы, разрушения, и солдаты уведены в плен, расплачиваясь за поражение. Как же не изойти всем миром в общем несчастье. А уж если стойкость при таких-то обстоятельствах, так ради общего дела, а не себялюбивых, житейских, нам казалось — «местанских» интересов.

Они д р у г и е — чуждые.

Примерно так я записала тогда. Не удавалось воспринять это противостояние бедствиям, которое начинается с обязательств перед самим собой — живым, телесным, перед всем житейским, не испаряющимся в духовном изживании катастрофы. Эту непрременность в осуществлении своих нужд, в поддержании повседневных навыков, привычек, чтобы не поддаться хаосу, выстоять. Только со временем, с расстояния я смогла оценить этот властный инстинкт самосохранения. Этот труд другой культуры.

Но еще я поняла, что в своей массе немецкий народ, тот, каким он был тогда, скорее готов подпасть под насилие, чем выносить хаос или угрозу его⁴.

Недаром же в дневнике Геббельс печется о политической дестабилизации, об упадке экономики, о развале в стране — о хаосе, который должен сделать страну добычей нацизма. Нацизм, рвущийся к власти, — это апология хаоса.

9 сентября. *Вся избирательная кампания в Берлине нацелена против меня. Восхитительно знать, что тебя так ненавидят...*

СА выходят из-под контроля, грозят стать неуправляемыми. Их берлинский предводитель Штеннес восстает против Геббельса. Одна из причин — требование участия в политических органах, чему решительно противостоит Геббельс. «Они потребуют у нас мандатов и, если не получат, уйдут. Деньги, политическая власть. Беспремерная наглость. Штеннес приставил мне пистолет к груди. Я позвонил в Мюнхен: притворно уступить. Отомстим 15 сентября (день выборов)».

Командный состав штурмовиков ждет кровавая расправа Гитлера после его прихода к власти. Но откуда именно эти численно возросшие военизированные отряды, наводящие страх на население, но и импонирующие своей наглой силой, — решающая опора нацистов.

После совместного выступления с Гитлером Геббельс записывает:

11 сентября. *Люди снова обезумели. Из этого фанатизма возродится народ.*

С каждым новым витком безработицы растет влияние нацистов, все легче их лидерам возбуждать до неистовства против правительства измученную недовольством толпу. А толпа, которую разжигают яростью националистических темных страстей, в свою очередь развращает тех, кто развратил ее, делая их заложниками ее неуправляемых инстинктов.

15 сентября. *У нас уже 103 мандата... В Берлине 360 000 голосов. Такого я не ожидал!*

Этот рост голосов уже не только за счет мелкой буржуазии, которую принято было считать опорой национал-социализма. Теперь обиды за надругательство, загнанность безработицей толкают и рабочего искать моральные компенсации и прибежище в угаре шовинистических посулов нацистов, хвататься за химеру расовой исключительности.

⁴ Сейчас читаю в подтверждение этому: «Фундамент, на котором Гитлер воздвиг свою власть, был наш глубоко спрятанный страх перед любым беспорядком», — считает известный немецкий юрист и политик Клаус фон Донами.

«Воля к власти превращается в путь к пирогу...»

А в эту же пору жестоких бедствий народа партия национал-социалистов и те, кто в руководстве ее, обогащаются. В баварских горах у Гитлера теперь собственная вилла, в Мюнхене — роскошные апартаменты.

«Гитлер планирует построить в Мюнхене новое партийное здание в 700 тыс. марок», — записывает Геббельс 24 мая 1930-го.

Геббельс поднимает уровень своих материальных притязаний, настаивает, чтобы были изысканы средства на покрытие его возросших расходов, в том числе на «мерседес» и шофера, на сто марок в месяц овдовевшей любящей матери, на приемы и прочее.

Он покупает квартиру. И хотя бюджет его гау в критическом состоянии — крупные долги из-за упавшей подписки на органы печати округа, — он покупает новый «мерседес» на партийные деньги, получает от Гитлера крупную сумму на «обзаведение». С ходу коррумпируется на почве устройства своей квартиры: художник, обратившийся к нему с предложением издавать газету по искусству, «обещал устроить мою квартиру, что меня очень радует. Будет настоящая бонбоньерочка». Он полон сладких мыслей о «замечательной мебели» и тут же ханжески «дискутирует» в кафе с неким В. и тремя дамами «об экономии и готовности нации к жертвам».

9 октября. Гитлер показал мне новое здание... Оно будет красивым и величественным. Гитлер отвел мне самую красивую комнату и подыскал роскошный письменный стол. Он очень расположен ко мне... Гитлер развивает фантастические идеи о новой архитектуре. Он молодец!

13 октября. ...вступление в рейхстаг 107 коричневых рубашек (штурмовиков).

14 октября. Полные страха часы до 3 ч. Дикие, тревожные слухи. (Он едет в рейхстаг.) Зал переполнен. Снаружи неистовствуют массы. Заседание фракции. Фрик лидер фракции. Штрассер и Геринг заместители. Я сохраняю свое влияние и пилюли для усмирения Штрассера.

15 октября. Боюсь, как бы жирный Грегор (Штрассер) и жирный Геринг не стакнулись.

17 октября. На заседании фракции невыносимые поиски компромисса. Надо восстать против этого. Воля к власти превращается в путь к пирогу.

Он мог бы это сказать применительно к себе самому... Когда же Геббельс дорвется до власти, он приохотится к «красивой» жизни буржуа, представляя при этом апологетом классовой борьбы. А впереди — большие ожидания. Верные соратники фюрера готовятся делить заманчивую Россию, которую Гитлер без обиняков назовет «огромным пирогом».

Формулу «воля к власти» Геббельс, не ссылаясь на Ницше, заимствовал у него. Корыстолюбием власти овладевал на собственной практике.

«Мы уже вплотную подступаем к власти»

18 октября. Первый успех умной политики Геринга с господами... из банкирского мира.

22 ноября. Удивительно, как ясно некоторые предприниматели, в противоположность правительству, видят положение... Гитлер был в Дортмунде и говорил с угольными баронами.

«Когда вас заинтересовало сотрудничество с Гитлером? — был спрошен на Нюрнбергском процессе подсудимый — знаменитый немецкий банкир Яльмар Шахт. «Я бы сказал, с 1931, 1932».

Точнее было бы назвать 1930-й, когда окрепшую экономику Германии сотряс жесточайший мировой кризис. Веймарская республика, расшатываемая экстремистскими силами справа и слева, не имея достаточной поддержки в стране, не знавшая и в лучшие годы сочувствия и ошутимой поддержки во внешнем мире, была на грани хаоса, не могла гарантировать банкирам и промышленникам стабильности и надежности. Уже пройдя и переступив искушение демократией, они склоняются к «альтернативному» варианту — к «сильной власти», хотя еще недавно часть из них опасалась прихода к власти диктатора.

«— Вы видели, что Гитлер возглавляет массовое движение, которое может прийти к власти?»

— Да, это движение безостановочно росло».

Его активно финансировали промышленные круги, где у Геринга имелись прочные связи. Без этих средств невозможно было бы осуществлять все то, что способствовало росту движения, укреплению партии, — эти дорогостоящие предвыборные кампании, содержание военизированных отрядов, технически вооруженная

пропаганда, «коричневый дом» в Мюнхене, загородная резиденция Гитлера в горах в Берхтсгадене, щедрая поддержка Гитлером партийных функционеров и т. д. Не преуспел бы в своем возрастающем благосостоянии и Геббельс.

Талантливый финансист Шахт, признанный и в стране и за границей, открыто выступивший на стороне Гитлера, поставив на службу ему свой авторитет и свои кредиты, позвал за собой держателей капитала и промышленников. Их мощное материальное обеспечение гитлеровской партии было одним из решающих условий ее прихода к власти.

2 декабря. *Мы уже вплотную подступаем к власти. Но потом? Трудный вопрос.*

Фильм «На Западном фронте без перемен»

5 декабря должна была состояться премьера американского фильма по роману Ремарка «На Западном фронте без перемен». На следующий день Геббельс, как обычно, записывает в дневнике события предыдущего дня.

6 декабря. *В рейхстаге вчера было очень вяло... Вечером в кино. Уже через 10 минут начинается сумасшедший дом. Полиция бессильна. Разъяренные толпы накидываются на евреев. Первый взрыв в западе. «Евреи прочь», «Гитлер у ворот!» Полиция симпатизирует нам. Евреи маленькие и безобразные. Снаружи атакуют кассы. Звенят оконные стекла. Тысячи людей наслаждаются этим спектаклем. Демонстрация фильма отменена и следующая тоже. Мы выиграли... Нация на нашей стороне. Итак: победа! В рейхстаге после обеда состоится решение. (Ждут назначения правительства.)*

8 декабря. *Вчера: обсуждал с фрау Штерн обстановку квартиры. Квартира сама не устроится. Был у Нимансов на чае, слушал хорошую музыку. На Ноллендорфплац большая демонстрация против фильма Ремарка. Сегодня вечером все снова начнется. Мы не допустим слабости.*

Это проба сил. Или скорее — демонстрация силы. Пока Геббельс — в значительной мере дирижер событий — лакомится в гостях слушанием музыки, на улице наращивается наступление нацистов на демократию.

9 декабря. *Сегодня в 9 ч. вечера демонстрация. С быстротой молнии весть о ней распространилась по городу... Я выезжаю в половине девятого. Под большой охраной. Площадь Ноллендорф перекрыта. Пароль: площадь Виттенберг. 20—30 000 стоят в упорном ожидании. Внутренне. Машина с громкоговорителем гремит: «Поднять знамя!» Кавалерийскую атаку полиции переждали в полном спокойствии. Я выступаю. Площадь Виттенберг сплошь черная от людей. Перед 20 000. Со всех улиц без конца стекаются колонны демонстрантов. Затем формируется шествие протеста. Бесконечное... Более часа. Рядами по шесть. Фантастично! Такое берлинский запад еще не видывал. И воодушевление! Вперед, вперед!.. выступаю в последний раз перед тысячами. Завтра вечером продолжение... В 2 часа ночи возвращение домой. Ноллендорфплац все еще перекрыта шупо. Шупо планирует обширные заграждения. Своей тонкой тактикой мы их сломим. Посмотрим, у кого хватит выдержки? Речь идет о престиже: Зеверинг или я? Я буду сдерживать нервы.*

10 декабря. *...в 9 ч. я должен быть на площади Виттенберг. Наконец! Толпы загрохотали площадь. Небозримо, голова к голове... Я выступаю. Поразительное воодушевление. Затем марш. В заключение ужасные полицейские дубинки. Шупо беснуется как одержимая... Но о нашу гранитную дисциплину разбиваются все провокации. Наши люди побелели от ярости. Это начало революции... Сегодня утром запрет на демонстрацию фильма. Завтра фильм падет. Если так, то мы достигли победы, о грандиозности которой можно только мечтать. Нацсоц. улица диктует правительству его действия. Это было испытанием нервов. Но мы его выдержали. Сегодня затишье.*

Срыв демонстрации фильма «На Западном фронте без перемен» — это не очередной эпизод подстрекания нацистами толпы к насилию. Это чрезвычайное событие — целенаправленный разгул насилия: наступление на демократию.

Кто — кого? И хотя в ход будут пушены полицейские дубинки, оцепление, слабое веймарское правительство не выстоит перед напором массового нацистского уличного выступления, отступится, запретит фильм.

11 декабря. *В рейхстаге мы террором и угрозой принудили тотчас освободить Фабрициуса (сотрудника отдела пропаганды).*

12 декабря. *Вчера в рейхстаге большое волнение. Меня подпалили. Наши люди как одержимые. В 4 ч. поступил запрет фильма за «искажение облика немцев перед миром». Это наш триумф. Сыплются поздравления со всех сторон.*

Роковая для демократии победа нацистов. Такой мне видится эта вежа, за которой отсчет и ускорение дальнейших событий. Хотя и последуют те или иные ограничения, препятствия деятельности нацистов, но это скорее уже имитация волеизъявлений государственной республиканской власти, чем ее подлинная дееспособность. Что-то коренное произошло. Слом. Сама формулировка запрета фильма уж очень близка по духу и смыслу национал-социалистам.

13 декабря. Фильм за ночь стал мировой сенсацией. Большое возбуждение в мировой прессе. Мы снова в эпицентре общественного внимания.

14 декабря. Республика беснуется из-за нашей победы над фильмом. В Берлине сильно протестует рейхсбаннер⁵. Им это нужно! Но это бесполезно. Мы в глазах общественности — сила.

Ночная пресса доставляет известие: Конрад, брат Йозефа Геббельса, арестован в Рейдте. «Кем-то из его группы застрелен коммунист».

17 декабря. Конрад все еще сидит... Мать в большом страхе... Я нашел замечательное определение социализации, Гитлер восхищен. «Социализация означает превосходство народной идеи над индивидуальной». Это войдет в программу... Мой авторитет в Мюнхене, в связи с делом Ремарка, сильно возрос.

1 9 3 1

Сложная, напряженная политическая жизнь в Германии. В широких либеральных слоях общества в последние годы произошло наконец осознание фашистской угрозы. Также и среди элитарной интеллигенции, художественной, научной, не без высокомерия до поры отстранявшейся от вникания в происходивший в стране процесс формирования нацистских сил.

В это же время в вышедшем в 1930 году в СССР очередном томе БСЭ сказано с причудливой дальновидностью: «Национал-социалистическое движение... пошло сильно на убыль... Гитлер перестал играть заметную роль».

Московская печать тогда же выступила против немецких социал-демократов, называя их социал-предателями. Москва потребовала, чтобы немецкие коммунисты не объединялись с ними на выборах, сделав этим лучший из возможных подарков Гитлеру.

Дневник Геббельса все больше оскудевает. Читать изнурительно: пусто, мелко, плоско. Портрет его, можно сказать, завершен. Замкнутая конструкция. Никакого движения не прибавит, если не считать постепенной деградации.

Если в давние годы в риторике Геббельса врывались вопрошающие возгласы, оглядка на незнание чего-то простертого в вечности, на таинственное назначение человека, то теперь этого нет и в помине. Итак, все ясно. Уже давно нет нужды в Достоевском, Толстом, «божественном» Гёте. Этот старый мир он отряхнул бесследно. Все прежние клятвы, заявки отшелушились, не выболев. Он удручающе самоуверен, самовлюблен, выхолощен, гол. Зато полон энергии. Хотя Геббельсу давно пошел четвертый десяток, устойчива подростковая незрелость, так пошло, надругательски замахнувшаяся на мир, осудивший и отвергший в эти же годы агрессивные войны.

Напомню, что четыре тома дневников, которые здесь рассматриваются, содержат более 4 тысяч рукописных страниц. Вынужденно кратко извлечения из них невольно придают им, как мне кажется, больше живости. На самом деле записи рыжые, однообразные — ни фразы, ни находчивости. Есть сколок информации в преломлении автора дневника. Но и это немало, поскольку автор занимает одну из самых ключевых позиций в нацистской партии, и его возраставшая с годами близость к Гитлеру, их беседы тоже отражаются в записях. И если отдельные записи далеко не всегда захватывающе интересны, сенсационны, зато дневник дает редчайшую возможность проследить, как в человеке накапливается фашизм и маниакальные идеи «искажают человеческую природу» (Бердяев). Это же накопление национал-социализма просматривается по дневнику и в отношении самой Германии, что и привело к захвату нацистами власти со всеми обусловленными этим роковыми последствиями для страны и мира.

«Мы готовы к борьбе: к маршу в третий рейх»

1931-й. Еще один год, приближающий историческую катастрофу. Существенные знаки тому тонут в обычном многословии Геббельса, проеденном политическим и житейским мешанством и неизменно клоакой внутрипартийных дряг: «Утверждаю, что я сказал: в Берлине голова, а в Мюнхене задница движения. Неправда, я этого не говорил», «В Мюнхене все против меня. Это безумие, потому что я всегда буду верен Гитлеру», «И тут я вступаю в действие. Я подпалил предателей так, что только затрещало», «Меня хотят сбросить силой. Но я удержу пост, чего бы это ни стоило», «Я чищу канализацию партии. Дерьмовая работа!», «Они все завидуют мне. Никто меня не любит. Почему?».

⁵ Рейхсбаннер — боевая организация социалистов Веймарской республики.

Геринг, направленный Гитлером в Берлин осуществлять контакты с влиятельными монополистами, сначала вполне ладил с гауляйтером, ввел его в берлинские салоны, возил гостить к родственникам жены в Швецию, оказывал ему разного рода услуги («мерседес» и прочее). Но поняв, что полномочия Геринга означают: Гитлер не считается с ним как с политиком и он нужен ему лишь как пропагандист, — Геббельс ополчился против Геринга. «Подставил мне ножку, чтобы захватить генеральные полномочия. Этого я Герингу не забуду... Человек просто куча замерзшего дерьма». Постоянно возбуждающий в Геббельсе ревность, Геринг, опора Гитлера, становится объектом смачного поношения в дневнике: «У Геринга мания величия. Последствия морфинизма. Ему уже мерещится, что он рейхсканцлер. Сперва его надо вылечить», «Геринг постоянно интригует против меня. Все из болезненной зависти. Он готов залезти в задницу Гитлеру. Будь он не так толст, ему бы это удалось».

«Партия на переломе. Социалисты должны держать ухо востро. Мы же не зря назвались социалистами. Повсюду скепсис. Гитлер совершенно не чувствует настроения масс», «...скрытый кризис в СА — спор о социализме».

Социальное начало в партии, «классовое противостояние» — это то, за что Геббельс еще цепляется. В остальном только и поспевай поворачиваться за неограниченными кренами Гитлера в сторону ли армии, промышленников или церкви.

18 января 1931. *Мы готовы к борьбе: к маршу в третий рейх. Мы должны привлечь на свою сторону армию. Промышленники: мы все больше сближаемся. Они приходят к нам от отчаяния. Они должны лишить эту систему кредита.*

Но одобрительный запал обрывается.

28 января. *Так называемым промышленникам можно понравиться, только стукнув их кулаком промеж глаз. Они меня ненавидят, потому что я был и остаюсь социалистом.*

И «социалист» диктует церкви: «Церковь должна выйти из спячки и стать знаменосцем борьбы против марксизма...» Но: «Епископы выступают против нас. Сильные нападки из Рима. Предстоит тяжелейшая борьба».

Свойственные Геббельсу неустойчивость, непоследовательность отражают специфику гитлеровской программы действий. Ее отличает выгодная Гитлеру «безразмерность», беспринципность и эластичность, когда с легкостью и с лезвием обещано всем сестрам по серьгам — антикапитализм: «Вы — аристократия третьей империи». Крестьянам — многие льготы: «Вы являетесь основой народа». Финансовым и промышленным предпринимателям за закрытыми дверями совещаний: «Вы доказали свою более высокую расу, вы имеете право быть вождями».

Так он вербовал сторонников и голоса.

«Я безмерно счастлив»

Этими словами Геббельс начал 1931 год. Можно его понять. Он провел ночь в собственной кровати, в собственной квартире. «Это начало Нового года. Пусть дальше идет так же, тогда я возблагодарю Бога». Дальше пойдет еще лучше.

15 февраля. *Вечером пришла Магда Квандт, сидела очень долго, цвела сводящей с ума белокурой красой. Будешь ли ты моей королевой? Прекрасная, прекрасная женщина! Я очень люблю ее. Сегодня я хожу как во сне. Пресыщенный счастьем. Как замечательно любить красивую женщину и быть ею любимым. Ездили с Тонаком (шофером) в зоопарк. Отвратительные обезьяны! Какой путь от этих животных до нордического человека!... А львы, а царственный тигр... Мы мелки по сравнению с этими фюрерами.*

«Мне недостает только красивой женщины», — записал он давно (4.8.28). Теперь все в порядке. Красивая, богатая Магда, с сыном-подростком, была замужем за крупным промышленником, но разведена, свободна. К тому же горячая поклонница Гитлера. Все сошлось в ней для Геббельса.

С Магдой он посещает автомобильную выставку, она присматривает себе новую машину. И он тоже не прочь. Он полюбил красивые машины. Завел большого дога.

10 марта. *Дурные вести: мой «опель» вчера украли. Вот жизнь! Собачья жизнь!*

И Магда перестала звонить.

12 апреля. *Магда наконец позвонила. Человек, которого она любила до меня, тяжело ранил ее пулей, в ее квартире. Теперь ей совсем плохо. По ее голосу я понял, что, наверное, потеряю ее. Я впал в глубочайшее отчаяние. По этому я понял, как глубоко люблю Магду... Возможно, эта потеря нужна, чтобы вновь вернуть меня к делу. Кто знает. Неисповедимы пути судьбы... Что такое наша жалкая жизнь!.. И эта горсть дерьма называется человеком!*

История с покушением, может быть, и мнимым, — в духе тех мелодрам, какие украшали его юношеские романы. Но через день состоялось «примирение с Магдой».

18 мая. *Магда рассказала мне загадочную историю о незнакомце, который остерегал ее выходить за меня замуж, потому что я — еврей. Он предъявил мое подлинное письмо директору Конену, который, стало быть, мой еврейский предок... Лопнуть можно со смеху.*

Конен, приятель родителей, помогал бедному студенту (об этом уже упоминалось). В «счастливейшее время моей жизни» (время его первой юношеской любви) — «Анка, тысячу раз Анка... Блаженные дни. Только любовь. Семестр закончен, — вспоминал Геббельс, — я плачу от отчаяния из-за своей нужды». Он шлет «безнадежное письмо домой». И одновременно — «письмо дяде Конену». Незамедлительно получает в ответ от Конена Geldtelegramm — телеграфный денежный перевод. Спасительный. В его студенческо-богемной жизни за словом «Geldsorgen» (материальные заботы) следует иногда в записи: «...дядя Конен прислал 200 марок». Так и обращался к нему в компрометирующих его теперь письмах: Onkel — дядя.

Вспоминая, как это было, «лопнуть можно со смеху». И Магде тоже. Ей от рождения уготована была весьма скромная участь незаконнорожденной дочери прислуги. Но на ее матери женился еврей-коммерсант, и Магда выросла в зажиточном доме. Отчим не жалел средств на ее образование, на дорогие заграничные интернаты.

14 июня. *Магда очень добра ко мне. Я взял ее сына Харальда на выучку. Я сделаю из него настоящего паренька.*

«Мы обручились: когда мы получим рейх, мы станем мужем и женой». Но беременность Магды вынудила их спешно сочетаться браком в декорациях Веймарской республики.

«Мы окажемся у власти раньше, чем мы думаем»

21 марта 1931. *Собрания запрещены, плакаты и листовки подцензурны. Мы совершили много ошибок. Особенно в том, что слишком распустили врага и сегодня он нас обводит. Надо записать это на счет Геринга. Мы должны были оставаться угрожающим злом, загадочным сфинксом. Теперь мы демаскированы. Оказывается, и мы всего лишь люди. Полный поворот руля! Вновь в глухую оппозицию.*

Геббельс периодически лишается иммунитета, по суду подлежит штрафу за правонарушения и другие агрессивные действия. Полицией-президент запретил ему выступать.

28 апреля. *Партия должна быть более прусской, более активной и социалистической. Он (Гитлер) понимает меня, но все время думает о тактике... (Сидели в ресторане.) Тут меня арестовали трое полицейских. В поезде в Берлин. Ужасная ситуация. У моей постели всю ночь полицейский, это они называют неприкосновенностью... Я должен оставить свои вещи и под смех воров и надсмотрщиков идти в камеру.*

Наутро суд освободил его.

10 мая. (Читая «Майн кампф».) ...*Стиль часто непрезентабельный. Надо быть очень великодушным, чтобы это принять. Он пишет как рассказывает. Это действует непосредственно, но часто выглядит беспомощно.*

Оценки Геббельса варьируются в зависимости от того, каковы в данный момент отношения с Гитлером.

Гитлер выступает в Берлине перед «политической элитой» — «Неудачно, — не без удовлетворения записывает Геббельс, — перекричал самого себя... Он слишком редко выезжает в Берлин. Это должно было ему отомстить. Адьо, дорогой Гитлер... В 12 ночи на часок к Магде. Она очень любит меня. Бесконечно разочарована в Гитлере».

12 июня. *Политика на мази. Мы окажемся у власти раньше, чем мы думаем.*

13 июня. *Брюнинг (рейхсканцлер) сражается за свое место. Когда Брюнинг падет, мы у цели. Катастрофа у дверей.*

16 июня. *Двухмесячный план выполнен на 50%. В Берлине теперь больше 20 000 членов.*

28 июня. *Народный праздник с фейерверком... Толкотня, которая не доставляет мне удовольствия. Но народ хочет на что-то поглазеть. Народ так примитивен.*

30 июня. *Я напал на след большого заговора. СС (Гиммлер) держит здесь в Берлине бюро шпионажа, которое следит за мной. Оно запускает в свет дикие выдумки. В четверг в Мюнхене я разоблачу эту клоаку. Или я располагаю доверием Гитлера, или нет. Так я работать не стану. Гиммлер меня ненавидит. Это льстивое животное должно исчезнуть. В этом и Геринг со мной заодно. Рем очень дружелюбен. Но кто этому поверит?*

С конца августа и до конца года дневник обрывается.

1932 — 1933

Рукопись дневника за эти годы сохранилась лишь частично. Пробел восполняет опубликованный Геббельсом в 1934 году дневник этого же периода под названием «От «Кайзергофа» до рейхсканцелярии». «Кайзергоф», отель, в котором обычно, приезжая в Берлин, останавливался Гитлер, находился метрах в ста от имперской канцелярии.

«От «Кайзергофа» до рейхсканцелярии» — это сквозной сюжет книги-дневника. Из своей берлинской штаб-квартиры Гитлер переходит хозяином в имперскую канцелярию рейхсканцлером.

Книжный вариант дневника издатель публикует полностью и параллельно под теми же датами — рукописный текст в отрывках, какими располагает. До последнего времени рукописные фрагменты не были известны, и тексты «Кайзергофа» (как в дальнейшем сокращенно издатель называет книгу) воспринимались как дословные ежедневные записи в дневнике. Сейчас, сопоставляя оба варианта (книжный и рукописный оригинал из найденных нами тетрадей), видишь, что это не так. Геббельс перерабатывал дневник, пользуясь его материалом уже в обстановке 1934 года, когда власть у нацистов. И в хронике, трактовке событий, в акцентах усилен наступательный, торжествующий, наглый тон. Появилось лицемерное восхваление нацистских деятелей, чтобы партия предстала в глазах публики монолитной, в «благородном товариществе», с образцовыми, надежными лидерами. Здесь Геббельс впервые преклоненно называет Гитлера фюрером. В рукописных записях Гитлер по-прежнему «шеф» и не избегнул колкостей на свой счет. Так, застав Гитлера в кафе в компании с неким В. и его дочерью, Геббельс записывает: «Это и есть страсть Гитлера. Дурной вкус. Некрасивая девчонка. Влажные руки. Бр-р» (5.10.32). В книжном варианте подобное, разумеется, опущено. Поносимому в оригинале Герингу в книжном изложении воздано как борцу, не сломленному ни на час даже смертью горячо любимой жены, не замешкавшемуся в обстоятельствах, решавших успех дела. Чтоб не уступить в мужестве Герингу, преодолевавшему личное горе во имя интересов партии, Геббельс пыгается представить себя в сколько-то схожей ситуации. Если в рукописном дневнике о заболевшей жене сказано: «Магде гораздо лучше», — то в «Кайзергофе» под той же датой: «Если потребуется операция, положение безнадежно». И на следующий день в рукописном уверенно повторено: «Магде гораздо лучше». А в «Кайзергофе»: «...сохраняется серьезная опасность для жизни». Таких передедргиваний немало.

Когда книга вышла, партийная верхушка (кроме Гитлера) отнеслась к ней враждебно, усмотрев в книге лишь повод для самовосхвалений автора. Но книга имела большой успех у читателей, приобщенных к святой святых — к «политической кухне».

«Бедное правительство...»

10 января 1932. *Кнопка у нас в руках. Фюрер добьется роспуска парламента... Народ должен выбрать. Мы уверены в победе...*

Неотступна задача нацистов — не давать правительству справиться с политическим кризисом, возбуждать массы против правительства, сбрасывать один за другим неустойчивый кабинет, добиваться роспуска ослабленного рейхстага, наращивать голоса в предвыборной кампании. Разваливать республиканскую политическую систему.

12 января. *Эта система понимает, только когда ее бьют кулаком в нос.*

13 января. *Господин фон Бонин бесстыдно обругал Гитлера в «8-мичасовом листке». Парой сфабрикованных телефонных звонков... — Угрозами, шантажом довели его до того, что он дал опровержение своим высказываниям.*

14 января. *Весь Берлин смеется над Дон Кихотом фон Бонином, к тому же некоторые люди теперь знают, как у нас из героев делают клоунов. А скоро будут делать покойников из тех, кто осмелится критиковать. — Эта угроза стала осуществляться после захвата нацистами власти.*

22 января. *Обсуждали с фюрером... министерство народного образования, в котором соединится кино, радио, новые центры образования, искусство, культура и пропаганда. Революционная должность, которая будет исполняться централизованно (в лице Геббельса)... Великий проект, в мире не было еще ничего подобного... Берлинская пресса невыносима. Теперь она марает в грязи нашу семейную жизнь... В Хемнице почти вся полиция националистична. Бедное правительство, на каких слабых ногах оно стоит!*

3 февраля. *В часы досуга фюрер занимается проектами нового здания партии и грандиозной перестройкой столицы рейха.*

8 февраля. *Вечером я говорил в отеле «Принц Альберт» перед избранным кругом... Они там не понимают... что мы в самом деле стремимся к тоталитарности государства и должны иметь всю власть.*

10 февраля. *СА были и остаются элитой партии. Они стоят надо всем. Неколебимы в верности фюреру и движению... Полицией-президент Гжешинский в речи, произнесенной в Лейпциге, требовал кнутом изгнать фюрера из Германии. Это они называют рыцарской борьбой... Увидим, кого прогонят кнутом из Германчи!*

«Внештатный профессор»

Подшел к концу срок полномочий президента Гинденбурга. Гитлер решил выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

В дни падения Берлина в опустевшем бункере Гитлера оставалось немало бумаг, в основном они относились именно к этому периоду 1932 года, когда Гитлер готовился потягаться с Гинденбургом за власть. Я перевела их. Среди бумаг мне попалась директива о проведении собраний, на которых выступит с речью Гитлер. Директива из мюнхенской «частной канцелярии Адольфа Гитлера» рассылалась по стране руководителям местных нацистских групп. Было строго регламентировано все: церемония встречи Гитлера, поведение председательствующего, размер платы за входные билеты и прочее. «Адольф Гитлер не говорит с кафедры. Кафедра поэтому убирается...», «...во время речи держать наготове лед, который, в случае нужды, Адольф Гитлер употребляет для охлаждения рук» — это предписание живо передает, как истерически накалялся фюрер, взвинчивая зал, заражая его истерией.

Но была тут и особая папка. Материалы, в ней собранные, отражают подготовку Гитлера к предстоящим выборам и меры, предпринятые им на последующих, уже последних, этапах борьбы за власть. Каждый лист в этой папке помечен: «Личный документ фюрера». К этим материалам у Гитлера, по-видимому, было какое-то особое пристрастие. Он хранил их и до последнего держал при себе.

Открывает папку выписка из «Ежемесячного вестника», издававшегося в Вене геральдическо-генеалогическим обществом «Адлер», 1932 год. Именно в этом году, когда так активизировался Гитлер, общество публикует «строго объективное исследование о предках Гитлера», предпринятое «в связи с разнообразными сведениями о его происхождении и установившее, что гитлеровская родословная состоит исключительно из немецких элементов». Гитлеру в политических целях позарез нужно было отсечь свое австрийское происхождение, предать «чистокровным» немцем.

Следующий в папке «личный документ фюрера» — его письмо сестре от 13 февраля 1932 года: «я посылаю к тебе своего личного секретаря Гесса» с заданием раздобыть «через какое-либо компетентное австрийское правительственное учреждение» документ, отводящий от Гитлера обвинение в дезертирстве из австрийской армии.

Но было препятствие, не преодолев которое Гитлер и вообще-то никак не мог баллотироваться: он не имел штаатсбюргершафта — гражданства. Это улаживается, как пишет Геббельс, фиктивным назначением Гитлера «внештатным профессором в Брауншвейге».

А пока курсируют разные предсказания о шансах соперников.

16 февраля. *Я говорил с одним известным немецким националом. У него дикие идеи об исходе выборов. Дает Тельману больше шансов, чем Гинденбургу. (Кандидаты на президентский пост: Гинденбург, Гитлер, Тельман.)*

29 февраля. *Избирательная война будет вестись в основном плакатами и речами... Будет выпущено 50 000 экземпляров граммофонных пластинок. Эта пластинка так мала, что ее можно послать в обычном конверте... 500 000 плакатов будет распространено по стране.*

В марте же Гитлер пишет письмо Гинденбургу. Гитлер—Гинденбург и Гинденбург—Гитлер — это важнейшие нити событий. В упомянутой заветной папке (где каждый лист — «личный документ фюрера») — два письма Гинденбургу. Первое написано ранее, когда Гитлер стремился получить аудиенцию у президента, и письмо отмечено изъявлением преданности и благоговения перед заслугами Гинденбурга в первую мировую войну. «В то время, господин генерал-фельдмаршал, на мое счастье, судьба дозволила мне в качестве простого мушкетера принять участие в сражении в строю моих братьев и товарищей...» И дальше в послании — апология большой войны: «Независимо от того, как бы ни заканчивались круги Германии, великая война всегда сообщает нашему народу чувство гордости, и он однажды снова принесет неисчислимые жертвы ради свободы и жизни отечества». Так заявил он откровенно о своих милитаристских устремлениях.

Второе письмо написано в марте 1932-го — сопернику на выборах. В папке три черновика со множеством помарок. Тут и лесть, и жалобы, и угрозы:

«Социал-демократическая партия, которая в своем партийном воззвании от 27 февраля выставляет Вас, господин имперский президент, кандидатом, пишет в своей прокламации следующее: «Г и т л е р вместо Г и н д е н б у р г а — это означает хаос в Германии и во всей Европе... величайшую опасность и кровавый раскол как в среде собственного народа, так и конфликт с заграницей». Господин президент, я с негодованием отклоняю попытку вызвать реакцию других государств с помощью подобных методов и ссылок на Ваше имя... В том же воззвании, в котором Вы, господин президент, выставляетесь социал-демократической партией в качестве

ее кандидата, имеется следующее место: «Гитлер вместо Гинденбурга — это означает уничтожение всех гражданских свобод в государстве...»

Разве по-рыцарски дать возможность наложить запрет на мою печать человеку, который сам оскорбил тягчайшим образом Вашего соперника, господин генерал-фельдмаршал? Помимо того, что господин Гжешинский в своей публичной, полной оскорблений речи выражал изумление, что меня еще не выгнали кнутом из Германии, этот господин распространял обо мне клевету, будто я был когда-то австрийским дезертиром и в силу этого лишился подданства. Я пересылаю Вам при этом, господин имперский президент, копию выданного по моей просьбе официального удостоверения компетентнейшего австрийского военного учреждения, земского бюро учета областного города Линца...»

К письму приложена доставленная ему Гессом справка.

13 марта. *Пришел решительный день... Все настроены победно. Я скептически... В 10 часов получил сводку. Мы побиты, никакой перспективы. Мы просчитались не столько в оценке наших голосов, сколько в оценке шансов противников. Им не хватило только 100 000 голосов до полного большинства. КПГ совершенно провалилась. С сентября 1930 мы прибавили 86%, но что толку? Наша партия в депрессии и утратила мужество. — Второй тур выборов состоится 10 апреля.*

18 марта. *Решающая новость: фюрер использует для ближайшей предвыборной кампании самолет и будет выступать по три-четыре раза в день по возможности на открытых площадках, на стадионах. Так он сможет, несмотря на краткость оставшегося времени, охватить около 11 1/2 миллиона человек.*

29 марта. *Фюрер развивает совсем новые мысли о нашем отношении к женщине. Для предстоящих выборов это чрезвычайно важно... Мужчина организатор жизни, женщина его помощница и исполнительный орган (?). Эта точка зрения современна и высоко поднимает нас над сентиментализмом немецких народников.*

5 апреля. *Вся наша жизнь теперь — гонка за успехом и властью. — Но и действующие покуда власти принимают кое-какие пресекающие меры. Запрещены военные организации нацистов СА и СС.*

Старый Гинденбург прошел во втором туре, удержал свой пост.

«Надо искать другие пути»

28 мая. *Пленум ландтага. Один из нас был обвинен коммунистами в убийстве. Вождь фракции большевиков Пик бесконечно провоцирует с трибуны. Какой-то коммунист ударил по лицу партайгеноссе. Это сигнал — рассчитаться. Расправа коротка, но суматошная, дерутся стульями и чернильницами. Мы поем «Хорст Вессель». 8 тяжело-раненых из разных партий. Это пример и предупреждение. Только так можно добиться уважения к себе.*

30 мая. *Бомба взорвалась. В 12 часов Брюнинг объявил президенту об отставке своего кабинета. Система разваливается. Рейхспрезидент принял отставку. — В этот же день Гинденбург принял Гитлера. — Разговор с рейхспрезидентом прошел хорошо. Отменяется запрет СА. Униформы снова разрешены. Рейхстаг будет распушен. Это главное.*

Перманентность выборов — предстояли четвертые за полугодие 1932-го — наращивала нацистам голоса. Беспорядки — это то, чего так страшились и «простые» люди, и весомые промышленники, что зывало любой ценой к «сильной власти» Крупные промышленники и те из них, которые еще недавно не готовы были принять диктаторскую власть, теперь, в условиях, когда Германия падала в углубляющийся экономический кризис, грозивший беспорядками, бунтами, разрушением, склонялись предпочесть «партию порядка», какой себя объявила гитлеровская партия, передать ей власть в Германии. Это определило итог выборов.

Эти вновь состоявшиеся 31 июля 1932-го выборы в рейхстаг были чрезвычайно успешны для национал-социалистов. Но при всем значительном приросте поданных за нее голосов партия не обеспечивала себе в рейхстаге абсолютного большинства, чтобы прийти к власти. И Геббельс скептически фиксирует в рукописном дневнике: «Абсолютного большинства мы не получим. Надо искать другие пути» (1.8.32). «Другие» — это все те же пути и средства, испытанные нацистами на всем протяжении борьбы за власть. Всячески препятствовать укреплению республиканской формы правления и стабилизации в расшатанной экономическим кризисом, безработицей, отчаянием стране. Провоцировать уличные беспорядки, насилие, политические убийства тем легче, что военизированные отряды штурмовиков — СА, — еще недавно запрещенные, вновь разрешены и активно действуют.

2 августа (в рукописном дневнике). *Двое из КПГ убито. Пошло дело. Может быть весело.* (В «Кайзергофе» это же подается на публику с обратным знаком, как зверское убийство коммунистами нациста.)

5 августа. *Что-то наконец должно произойти. Террор на терроре. Рейху угрожает развал.*

В связи с успехом Гитлера на выборах с ним вступают в переговоры.

Гитлер требует пост канцлера и президент-министра Пруссии. Штрассеру — имперское и прусское министерства внутренних дел. Геббельсу — вновь образуемое министерство воспитания и пропаганды... Шахту — госбанк... «Если рейхстаг отклонит требования фюрера, его надо распустить по домам. Когда власть будет у нас, мы ее не отдадим, пусть нас трупами вынесут из наших кабинетов».

8 августа. Мы размышляли с фюрером до зари. Обсуждали проблемы взятия власти. Мы должны быть теперь умны, как змеи... Подробно рассмотрели и новый план народного образования. Речь идет о том, чтобы сосредоточить в одних руках все средства духовного воздействия на нацию... Это работа для меня... Фюрер мастер упрощения, сложнейшие проблемы он видит в их лапидарной примитивности.

«Нам надо к власти!...»

8 августа. Важнейшее решение фюрера: все партайгеноссен, вступающие на государственную службу, должны сохранять связь со своей партийной должностью. Он сам, разумеется, сохранит в своих руках руководство партией. Государство и партия должны перейти одно в другое и образовать нечто третье, на чем будет отпечаток нашей сущности.

13 августа. Днем фюрер был у Шлейхера и Папена. Его уговаривали удовлетвориться постом вице-канцлера. Это попытка использовать его и партию. Невозможно. Если фюрер на это пойдет, он погиб. Он наотрез отказался... Противная сторона объявила, что теперь она передаст решение рейхспрезиденту... «Господин рейхспрезидент хочет сперва с ним поговорить»... Фюрер едет с д-ром Фриком и шефом штаба Ремом на разговор с рейхспрезидентом... Через полчаса он возвращается. Неудача. Все отклонено, Папен остается канцлером. Фюрера пытаются удовлетворить вице-канцлерством. Решение, которое ни к чему не ведет. Предложение даже не может рассматриваться... Ничего не оставалось как отказаться. Фюрер сделал это немедленно... Правительство сообщило о решающем разговоре лживо утверждают, будто фюрер потребовал всю власть. На самом деле он всего лишь — и с полным правом — требовал поста канцлера. Раз ему отказали, мы снова уходим в оппозицию.

22 августа. В Беутене несколько человек из СА присуждены к смертной казни за то, что они ухлюпали польского инсургента.

23 августа. По всей стране буря протеста против смертных приговоров в Беутене... Я написал острую статью под заголовком «Виноваты евреи!». — Всегда под рукой этот универсальный виновник, что бы ни случилось, как и наставлял Гитлер в «Майн кампф».

28 августа. Нам надо к власти!.. нужна всеобщая стачка, саботаж, восстание.

Тогда их призовут отвести угрозу бунта, разрушений, установить сильную власть, навести порядок в стране.

4 сентября. Если мы хотим сохранить партию в целостности, мы должны теперь обратиться к примитивным инстинктам масс.

В эти дни в рукописном дневнике он жалуется: «Магда плачет, потому что меня раздражает младенец».

20 сентября. Мы должны быть готовы к тому, что позже или раньше, может быть, за ночь, мы придем к власти.

28 сентября. Во всем рейхе вспыхивают частичные забастовки, правительство против этого совершенно бессильно.

30 сентября. В столице будет распространен миллион листовок против буржуазной прессы.

2 октября. Потсдам!.. Шесть часов подряд марширует перед фюрером немецкая молодежь. Это наша гордость и наше счастье. Это все те же юноши с одними и теми же лицами. Движение уже сформировало свой собственный тип. Он проявляется не только в мыслях и поступках, но в лице и в фигуре.

Какое торжество нивелировки! А ведь в неблагоприятные годы своей молодости Геббельс, считая себя кокуда что «нулем», бунтовал в дневнике против того, чтобы ради карьеры «стать каким-то числом» ценой отказа от своей индивидуальности. С тех пор каток нацистской нивелировки прошелся по нему. Теперь он пламенеет от восторга при виде этой унифицированной массы молодежи с «одними и теми же лицами», ее единения в фашистской обезличенности.

9 октября. Мы уже готовы составить список новых сотрудников на радио, если за ночь придем к власти.

10 октября. Редактор бульварного листка постыднейшим образом задел честь моей жены. Человек из СС явился к нему и бил его плетью, пока тот, обливаясь кровью, не рхнул на пол.

11 октября. Правительство должно подавлять нас так, чтобы это было видно и маленькому человеку, тем скорее и лучше нам удастся объяснить народу наши глубочайшие разногласия с правительством.

Выборы в ноябре 1932-го

6 ноября. *Против всех ожиданий, очень высокая активность на этих выборах... День проходит в неслыханном напряжении... Каждое новое сообщение означает новое поражение. В результате мы потеряли тридцать четыре мандата. «Центр» также понес некоторые потери, несколько прибавили немецкие националы, немного потеряли социал-демократы... КПП сильно прибавила: этого следовало ожидать.*

Это были пятые по счету выборы в рейхстаг в тот лихорадящий, роковой год, решавший судьбу Германии и всего мира. Миллионы листовок, самолет для стремительного пропагандистского курсирования Гитлера; демонстрация силы — многотысячные марши штурмовиков и нацистской молодежи; невиданная по массивности пропаганда, «лучшие в мире пропагандисты» — ничто на этот раз не смогло сдержать начавшегося спада популярности нацистов. НСДАП потеряла ощутимое поражение. Потеряла два миллиона голосов, 34 места в рейхстаге. Коммунисты получили дополнительно 200 тысяч голосов избирателей, а всего — около 6 миллионов.

После выборов в рукописном дневнике за 8 ноября: «Вчера в округе скверное настроение. Я собираюсь с силами после падения... Призыв Гитлера: борьба продолжается. Долой Папена!.. изучал прессу. Повсюду наше поражение. Только без самообольщений!»

Через шесть дней после неудачи на выборах, которую газеты дружно называют поражением, Гитлер получает от влиятельнейшего банкира Шахта ободряющее письмо: «Я не сомневаюсь, что настоящее развитие событий может привести только к назначению Вас канцлером... По всей вероятности, наши попытки собрать для этой цели целый ряд подписей со стороны промышленных кругов не оказались бесплодными».

Этот документ был предъявлен на Нюрнбергском процессе американским обвинителем. Подписанное Шахтом, Шредером, Круппом и другими послание было направлено президенту Гинденбургу, чтобы оказать на него давление в пользу Гитлера.

В заветной папке Гитлера, где собраны документы — свидетельства его неотложных дел и последних шагов на пути к власти, один лист не помечен, как прочие, «личный документ фюрера». Вместо этой пометки крупно, размашисто чернилами: «Конфиденциально». Это копия письма Гитлера от 14 ноября 1932-го фон Папену, еще номинально канцлеру, но уже зашатавшемуся и, по словам Шахта, не оказывавшему уже никакого влияния на дела. Но он близок к Гинденбургу и пользуется его доверием. В эти дни, поддержанный многими из тех, кто вместе с Шахтом представлял реальную власть в расшатанной, безвластной республике, Гитлер в ультимативной форме отвечает фон Папену на его предложение обсудить ситуацию в стране: «Я соглашусь начать такой письменный обмен мнениями о положении Германии и об устранении наших нужд только в том случае, если Вы, господин рейхсканцлер, будете готовы сначала безусловно принять на себя исключительную ответственность за будущее». Угрожающе дает понять, что он-то готов принять ее на себя. Крикливость, самоуверенность Гитлера подавляли таких его противников, как Папен, внушали ощущение силы, стоящей за ним. Заявляя, что его искажают, «будто бы я в свое время потребовал всю полноту власти, между тем как я претендовал только на руководство», Гитлер — конфиденциально — бросает фон Папену нить сговора: «Вы сами, как предполагалось, заняли бы в новом кабинете пост министра иностранных дел...»

Предстоит встреча Гитлера с Гинденбургом.

18 ноября. *Его разговор с президентом может иметь решающее значение. Когда эти двое протянут друг другу руки, немецкая революция обеспечена.*

Но покуда этого не происходит, Гинденбург не поддается давлению, хотя фон Папен со своим кабинетом пал.

2 декабря. *Канцлером объявлен генерал Шлейхер. Это последний выход, когда он падет, придет наша очередь.*

8 декабря дневник взрывается возгласами: «Измена! Измена! Измена!» Новый канцлер Шлейхер вступил в переговоры со Штрассером, предложил ему пост вице-канцлера. Об этом Штрассер сообщил письмом Гитлеру. Это предложение означало, что Шлейхер при помощи Штрассера намеревается осуществить раскол национал-социалистической партии и создать большинство в рейхстаге. Гитлер отреагировал припадком истерии, катался по полу, в неистовстве кусая ковер. Геббельс об этом не пишет, но это широко разошлось, как и приписываемая очевидцу этой сцены Герингу фраза: «Что фюрер вегетарианец, мы знали, но вот что он употребляет в пищу ковер...» Кое-кто из противников Гитлера назвал его тогда в прессе пожирателем ковра. Чарли Чаплин в роли диктатора в исступлении кусает ковер.

«Штрассер пытается расколоть партию в свою пользу, — пишет дальше Геббельс. — Гитлер: Если партия расколется, я застрелюсь в три минуты».

Подошел к концу 1932 год с вакханалией перманентных выборов в рейхстаг, с камнепадом канцлеров, кабинетов, с нерешительностью ослабленной власти, с серией уступок президента Гитлеру, ему с его массовой партией и сотнями тысяч штурмовиков.

Однако продолжается падение популярности национал-социалистов на местных выборах. Парад СА в память Хорста Весселя не поднял настроения, а несносность его матери, фрау Вессель, и вовсе отрава для Гитлера, да и для Геббельса тоже.

Среди нацистов брожение, зреет раскол. «Надо выжечь пораженцев из партии. Больше нет пощады. Фюрер превыше всего! И без компромиссов к власти!» — записывает Геббельс 15 января 1933-го. Все те же боевые призывы, но в партии общая депрессия, усугубленная еще и истощившейся кассой. Жгучая борьба Гитлера против соперника в партии Грегора Штрассера (он будет убит в «Ночь длинных ножей», 30 июня 1934-го, и Шлейхер тоже). И главное — угроза Гитлера в этих провальных обстоятельствах покончить с собой.

Такая вот выморочная ситуация с парадоксальным завершением.

29 января 1933. *Завтра фюрер получит пост канцлера. Одна из главных наших задач — роспуск рейхстага, с его нынешним составом фюрер работать не сможет.*

«Теперь пойдет врукопашную»

У нас бытует ошибочное представление, будто Гитлер в результате победы на всенародных выборах 30 января 1933 года стал канцлером. Это не так. Он был главой самой массовой партии, получившей преимущественное по сравнению с другими партиями число голосов, но это не означало, что тем самым он становится канцлером. Он получил этот пост из рук Гинденбурга в критический момент, когда выявился спад популярности его партии и кризис внутри нее.

Из кризиса НСДАП Гитлера выводят усилия сплотившихся крупных промышленников, аграриев, военных и приближенных к Гинденбургу политиков, озабоченных этой ситуацией и посчитавших, что нельзя больше медлить с передачей Гитлеру власти, и оказавших решающее давление на Гинденбурга. Активно содействовал Гитлеру и фон Папен. Лишившись поста канцлера, он остался в близком к Гинденбургу окружении. «30 января я был избран милостивой судьбой для того, чтобы соединить руки нашего канцлера и фюрера и нашего любимого фельдмаршала», — заявил он в своей речи 2 ноября 1933-го.

30 января не было очередной сменой рейхсканцлера. Хотя не все тогда отчетливо сознавали, но назначение на этот пост Гитлера было началом государственного переворота, установления фашистской диктатуры. Процесс этот имел этапы, ускоренно чередовавшиеся. Ни книга-дневник, ни рукописный подлинник дневника не отражают в достаточной мере того явного, скрытого и закулисного натиска, который мгновенно был предпринят Гитлером и его сообщниками для достижения поставленной цели. Но «Кайзергоф» последовательно фиксирует основные факты, хроника событий, их чередование.

За 30 января тотчас последовали со стороны Гитлера меры по ликвидации парламентской структуры Веймарской республики.

31 января. *Вместе с рейхстагом будет распущено большинство земельных и городских самоуправлений.*

Это первый шаг. Гитлеру необходимо было добиться от Гинденбурга согласия на роспуск рейхстага. В этом его составе нацистская партия не имела большинства голосов и не могла в парламентском режиме осуществлять свою политику.

1 февраля. *Мы должны еще вести интенсивную борьбу. Положение в стране еще не настолько определилось, чтобы говорить об абсолютной прочности нашего положения. Вчера у нас четверо погибли за день... У фюрера уже на руках мандат на роспуск рейхстага. Новые выборы состоятся 5 марта. Удар на этот раз будет определенно направлен против марксизма с различными его оттенками... Мы слышали по радио обращение фюрера к немецкому народу. Лозунг: «Против ноября 1918».*

2 февраля. *Подготовка к выборам идет хорошо. Теперь пойдет врукопашную. Мы не дадим пощады и будем прорываться всеми средствами...*

В рукописном дневнике за этот же день: «Магда очень несчастлива. Так как я не продвинулся. Меня обошли ледяным бойкотом. (Он не введен в состав правительства.) Культуру получает Руст... Поздно — домой. Магда все еще беспрерывно плачет. Она так добра ко мне».

3 февраля. *Я подробно обсудил с фюрером начинающуюся предвыборную кампанию. Теперь легко вести борьбу, поскольку все средства государства в нашем распоряжении. Радио и пресса подчиняются нам... Радио меня немного тревожит. На всех решающих*

постах по-прежнему сидят бонзы старой системы. Надо их как можно скорее выкурить, во всяком случае до 5 марта, чтобы они не мешали концу нашей предвыборной борьбы.

5 февраля. (Рукописный дневник.) Дома Функ. Хочет стать госсекретарем по прессе и пропаганде. Этого еще не доставало. Я должен ему помочь. А Руст будет министром культуры. Вот так-то. Я очень угнетен... Меня размазывают по стенке. Гитлер мне почти не помогает. Я потерял мужество. Реакция диктует. Третий рейх!

«Нация отдастся нам почти без борьбы»

10 февраля. Я произношу по передатчику двадцатиминутное вводное слово из Дворца спорта... Фюрер был принят неустовой овацией. Он произнес изумительную речь с резкими нападками на марксизм. В конце он впал в редкий, неправдоподобный ораторский пафос и закончил словом «аминь»!.. Эта речь воодушевила всю Германию. Нация отдастся нам почти без борьбы. Массы во Дворце спорта — в безумном упоении. Только теперь начинается немецкая революция... Громкоговоритель — инструмент массовой пропаганды, который сегодня еще не вполне оценен в своем действии. Наши противники совершенно его не используют.

14 февраля. (Рукописный дневник.) Ханке доложил, что денег на выборы ждать неоткуда. Придется толстому Герингу обойтись без икры.

15 февраля. Был на автомобильной выставке, какие замечательные машины! Новый «мерседес»! Хотел бы я иметь такой.

Будет, будет ему новый «мерседес», а толстому Герингу икра. Тот сам об этом позаботится. Сохранился и был предьявлен в Нюрнберге протокол совещания банкиров и промышленников (Шахт, Крупп, Шнидлер, Фоглер и другие) с призывом Геринга к ним обеспечить материально предвыборную борьбу Гитлера, чтобы соотношение политических сил в рейхстаге дало Гитлеру полномочия. «Жертвы, которые требуются от промышленности, гораздо легче будет перенести, если промышленники смогут быть уверены в том, что выборы 5 марта будут последними на протяжении следующих десяти лет и, может быть, даже на протяжении ста лет» — то есть Геринг заверял, что с парламентской демократией будет покончено и наступит диктатура сильной власти, с ее милитаристской программой собравшихся ознакомили. В кассу нацистов полились деньги.

«...теперь мы господа страны»

Следующий за роспуском рейхстага акт: органы коммунистической и социал-демократической прессы, «которые доставляли нам столько неприятностей, одним ударом сметены с берлинских улиц. Это успокаивает и проливает бальзам на душу» (15.2.33).

Годом ранее Гитлер в приводимом мной письме жаловался Гинденбургу, что президент берлинской полиции запретил на первый период предвыборной кампании одну из газет его партии (геббельсовский «Ангрифф»), называя это «огласным, с одной стороны, и, по моему убеждению, противозаконным — с другой». И призывал Гинденбурга противостоять нарушению демократических норм проведения выборов. Но вот прошел всего год. И Гитлер, теперь уже рейхсканцлер, в связи с предстоящими выборами в рейхстаг обращается с публичным воззванием к национал-социалистам (машиннописный текст воззвания, правленный карандашом и подписанный Гитлером 22 февраля 1933 года, сохранился все в той же заветной папке фюрера): «Враг, который 5 марта должен быть низвержен, — это марксизм! На нем должна сосредоточиться вся наша пропаганда и вся наша предвыборная борьба. Если «Центр»⁶ в этой борьбе своими нападками на наше движение будет поддерживать марксизм, тогда я лично сам при случае расправлюсь с «Центром», отражу его и положу ему конец!»

Как разительен язык обоих документов. В них запечатлен путь, пройденный между двумя точками. Прямая — от борьбы за власть к захвату ее. «Теперь дует другой ветер, раньше нас били дубинками, теперь мы господа страны», — записывает Геббельс.

Листая историю германского фашизма, со всей печальной наглядностью и тревогой убеждаешься, что воинственный антикоммунизм, антимакизм несколько не страхуют общество от заблуждений, от нетерпимости, фанатизма, не оберегают от возможного возникновения тоталитарных структур, режимов.

⁶ Католическая партия.

«Рейхстаг горит!.. Теперь мы можем пойти на все...»

27 февраля. В 9 часов фюрер приехал к нам на ужин. Мы предавались слушанию музыки и разговорам. Внезапно звонок: **«Рейхстаг горит!..»** Поджог! Я тут же сообщил фюреру, и мы на 100-км скорости помчались по Шарлоттенбургшоссе к рейхстагу... Все здание в огне. Поверх толстой пожарной кишки мы попали в портал... Навстречу нам вышел Геринг, а вскоре приехал и фон Папен. Уже во многих местах установили поджог... Теперь надо действовать. Геринг немедленно запрещает всю коммунистическую и социал-демократическую прессу. Коммунистические функционеры будут ночью арестованы. СА будут подняты по тревоге... Поджигатель уже схвачен, молодой голландский коммунист по имени ван дер Люббе. Посреди ночи появляется оберрежиссёр Дильс (начальник прусского гестапо) и сообщает мне о принятых мерах. Аресты прошли без помех. Вся коммунистическая и социал-демократическая пресса уже запрещена. Если окажут сопротивление, открыт путь для СА. **Теперь мы можем пойти на все...**

Поджог рейхстага — зловещая провокация, подавшая сигнал к развязанному за неделю до выборов террору, преследованию нацистами своих противников и инакомыслящих.

Буквально на следующий день после поджога Гинденбург по настоянию Гитлера подписал указ: «Для борьбы с антигосударственными и антинародными действиями, начало которым положил поджог рейхстага 27 февраля 1933 года, временно отменить гражданские гарантии Веймарской конституции, включая свободу личности...»

Но отменённые «временно» гражданские гарантии были возвращены немцам только после падения фашистского режима.

28 февраля. Во всем рейхе больше не выходят марксистские газеты. Геринг начал в Пруссии большой поход против красных партий, он кончится их полным уничтожением. Кабинет принял очень суровое постановление против КПГ. Это постановление предусматривает смертную казнь. Это необходимо. Народ теперь желает этого. Аресты следуют за арестами... Сопротивления нет нигде. Противники поражены нашим внезапным и сильным контрударом... Теперь работа пойдет сама собой... Мы сможем отпраздновать наш великий триумф еще парадней. Жизнь снова радует.

4 марта. СА маршируют длинными колоннами по Берлину. Последние приготовления к выборам... Борьба достигает кульминации... В Гамбурге все на острие ножа. После выборов надо будет принять там решительные меры.

5 марта. Первые результаты... Но что значат теперь цифры. Мы господа в рейхе и в Пруссии, все остальные разбиты и пали наземь... Это тем более приятно, что у нас теперь есть возможность выступить против сепаратистского федерализма.

«Враги разбиты и повергнуты наземь»

Гebbельс отстоял свое монопольное положение от всех поползновений делить с ним власть в министерстве: «Министерство должно объединить в одну широкомасштабную организацию прессу, радио, кино, театр и пропаганду».

В отведенном под министерство здании «я быстренько взял несколько строителей из СА и велел за ночь сбить весь гипс и деревянную отделку, древние газеты и акты, которые сохранились в шкафах с незапамятных времен, были с грохотом выброшены на лестницу. — Таков первый жест министра просвещения и культуры. Новая власть порывает с историей, памятью, культурой. — Когда достойные господа — я их выгоню в ближайшие дни — явились на следующее утро, они были страшно потрясены. Один всплеснул руками над головой и еще пробормотал с ужасом: «Господин министр, знаете ли, ведь вы можете за это попасть в тюрьму?» Извини подвисься, мой дорогой старичок! И если ты до сих пор об этом не слышал, то позволь тебе сообщить, что в Германии революция и эта революция не пощадит ваши акты».

7 марта. Ситуация в Баварии созрела. В Гамбург уже в вечер выборов направлен рейхскомиссар. Почему нельзя сделать это повсюду теперь, когда враги разбиты и повергнуты наземь... Мы должны действовать решительно и пользоваться ситуацией. Следующей землей будет Баден на Рейне.

8 марта. Вечером мы все у фюрера, там решено, что теперь очередь Баварии.

9 марта. В Баварии все решено. Генерал Эпп принял власть как комиссар рейхсреспублики... Клерикальная федералистская клика пыталась еще сопротивляться, но была сметена силой событий.

11 марта. Днем я был у фюрера. Рейхспрезидент только что подписал указ, по которому черно-бело-красный флаг и свастика превращаются в знамя рейха. Какой немислимый триумф! Наш презираемый, обруганный и осмеянный флаг становится символом рейха.

Такого не ожидал даже Геббельс. Все более порабощаемый Гитлером президент объявляет партийный флаг нацистов государственным знаменем Германии. Ставя знак равенства: партия равна государству. Но, выходя из не предполагая на будущее возможность новых выборов, победы иной партии. Вот шаг — один из тех роковых, что укрепляли власть нацистской партии в сознании немцев.

14 марта. *Теперь перестройка в министерстве идет с поразительной быстротой, только по углам еще едва внятнo визжит вымирающая чиновничья плесень.*

17 марта. *Кто только не предоставляет теперь себя в распоряжение нового государства... Опасны те, кто только сейчас украшает себя свастикой... Радио теперь исключительно в руках государства... Я предпринял уже серию увольнений...*

Как ни успешно для национал-социалистов прошли выборы, но их итог — 17 миллионов голосов — был недостаточен, чтобы получить в рейхстаге большинство и утвердиться в своем единовластии. Их противники социал-демократы оказались даже популярнее, чем на предшествующих выборах в ноябре 1932-го. Католическая партия «Центр» тоже укрепилась большим, чем прежде, доверием избирателей. И разгромленная компартия — ее активные функционеры были либо расстреляны, либо брошены в тюрьму и в концлагеря, спешно сооруженные Герингом, — удержала за собой около 5 миллионов голосов. По-прежнему Москва запретила немецкой компартии объединяться в предвыборной борьбе с социал-демократами — «социал-предателями».

Опрометчиво заявил Геббельс: «Нация отдастся нам почти без борьбы». Прав он был, когда записал в дневнике: в рейхстаге «абсолютного большинства мы никогда не получим.» Надо искать другие пути». Другие пути теперь — это насильственный захват власти Гитлером, чтобы, разгромив все, что стоит на его пути, воплотиться в диктатора. Ближайшей задачей стало: получить чрезвычайные полномочия.

«У нас есть грандиозный план праздничного открытия нового рейхстага в Потсдаме. Там будет символическое представление нового государства». Эта торжественная церемония призвана была укрепить власть Гитлера.

И вот первое после пожара заседание рейхстага — в Потсдаме, в Гарнизонной церкви, где покоится прах Фридриха Вильгельма I и Фридриха Великого. Открытие рейхстага 21 марта означало связь этого события с первым канцлером немецкой империи, создателем могущественной Германии — Бисмарком, открывшим первый в истории Германии рейхстаг в этот день в 1871 году. Словом, помпезное мероприятие призвано было демонстрировать преемственность власти Гитлера.

Торжественность заседания укрепляла фигура старого фельдмаршала Гинденбурга. Еще недавно «враг», «старый козел», который должен убраться с дороги, он теперь, заласканный почестями, стал политической куклой в руках нацистских заправил. «Все встают с мест и радостно приветствуют сего фельдмаршала, который протягивает руку молодому канцлеру. Исторический момент... Гинденбург возлагает лавровые венки на могилы великих прусских королей. Штандарты с нашими орлами высоко вздымаются. Снаружи гремят пушки. Теперь звучат барабаны. Президент поднимается на трибуну с фельдмаршалским жезлом в руке и приветствует рейхсвер, отряды штурмовиков, СС и «Стального шлема»...»

Гитлер — «он в замечательной форме» после укрепившего его власть потсдамского торжества — тотчас затребовал чрезвычайных полномочий для правительства. Получить нужный Гитлеру процент голосов в парламенте не составляло теперь большого труда. Ведь декрет, который по настоянию Гитлера подписал Гинденбург на следующий день после поджога рейхстага, отменял гражданские гарантии конституции, включая свободу личности. И можно было расправиться с депутатами от коммунистов, засадив всех их в тюрьмы и концлагеря. И также обеспечить отсутствие на заседании рейхстага тех депутатов из фракции социал-демократов, которые были наиболее неуютны Гитлеру.

24 марта. *«Центр» и даже государственная партия принимают закон о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству. Он рассчитан на четыре года и дает правительству полную свободу действий.*

Только депутаты социал-демократической партии проголосовали против. Подавляющее большинство депутатов, поддержавших требование Гитлера, сознавая это или нет, по существу, согласились на самоуничтожение парламента. И как социал-демократическая партия, так и те партии, что поддержали Гитлера, оказались обречены на самороспуск или терроризировались и подверглись запрету. Их имущество было присвоено нацистами.

(В марте же 1933-го, когда запрещена и объявлена вне закона коммунистическая партия, а коммунисты брошены в тюрьмы и лагеря, Москва заключает с правительством Гитлера торговый договор.)

«Теперь мы конституционно господа рейха», — пишет Геббельс. Но чтобы быть на деле «господами», им как раз и нужен статус, сводящий конституцию на нет. Покуда требовалось формальное принятие указов Гитлера кабинетом министров. Это

препятствие к неограниченной власти оказалось достаточно быстро преодолимым: «В кабинете авторитет фюрера теперь полностью признан. Голосование проводится больше не будет. Решает фюрер. Все идет много быстрее, чем мы отваживались надеяться... Наконец-то мы у власти...»

Рейхстаг утратил свое назначение — законодателя. Не был возвращен в свое мощное, символическое здание, выгоревшее внутри. Оно оставалось невосстановленным. Не было на то нужды у правителей. Рейхстаг стал декоративным органом, его малозначащие заседания проходили в здании оперы Кролля.

Казалось бы, ведь был еще президент — высшая власть. Но призвавший Гитлера к руководству дряхлеющий, недееспособный восьмидесятишестилетний Гинденбург не был ощутимым препятствием рвущемуся к диктаторской власти Гитлеру. Он был использован нацистами, пока был жив, до его кончины оставался год с небольшим⁷.

«Нам предстоит духовный захватнический поход...»

Насыщенный событиями март 1933-го еще не исчерпался. В последние дни месяца — первая антисемитская массовая акция нового правительства. Гитлер поручил ее осуществление Геббельсу. И тот, включив жанр погрома в свою компетенцию министра просвещения, культуры и искусства — «всего, что относится к вдохновению», — принялся за дело.

По решению фюрера он призвал население к бойкоту всех предприятий, магазинов, лавчонок, врачебных кабинетов, контор адвокатов, принадлежащих евреям. В тот же день: «Я выступил вечером в «Кайзергофе» перед работниками кино и с большим успехом развил новую программу киноискусства... Вечером я по телефону сообщил фюреру об успехе призыва к бойкоту».

31 марта. *Многие приуныли... Они думают, что бойкот приведет к войне.* — Это то, чего все время боится Геббельс.

Под маркой бойкота прокатились организованные СА и СС бесчинства.

1 апреля. *Замечательный спектакль!* — цинично восклицает Геббельс. — *Нам еще предстоит трудная борьба против бюрократии, с ней нам придется драться ближайшие два года...* — «Лабораторией террора» был поименован антисемитский погром.

2 апреля. *Нам предстоит духовный захватнический поход* — *надо провести его в мире, как мы провели его в Германии. В конце концов мир научится нас понимать.*

6 апреля. *Вечером в министерстве пропаганды собралась иностранная пресса вместе с дипломатическим корпусом и всем кабинетом. Выступали фюрер и я, мы впервые открыто выступили против представления о так называемой свободе печати... Теперь уже речь идет не о том, чтобы партия встроилась в государство: скорее партия должна стать государством.*

Преображение республики в тоталитарное государство идет быстрым темпом. Гитлер завоевывает популярность и среди тех, кто еще сравнительно недавно относился к нему если не враждебно, то, во всяком случае, скептически, иронично, а теперь готов связать с ним надежды на спасение Германии, видеть в нем вождя.

Как происходило это преобразование в душах — впрочем, чаще вполне механически, — описал на собственном опыте, находясь в плену в Советском Союзе, генерал Раттенхубер. Я уже говорила, что мне посчастливилось обнаружить в архиве эту ценную рукопись начальника личной охраны фюрера. Прочитываю ее и на этот раз.

Напомню, что Раттенхубер в бытность свою мюнхенским полицейским осуществлял слежку за Гитлером, входил в охрану тюрьмы, куда после пугча был водворен Гитлер. Но теперь, в 1933-м, его вызвал Гиммлер, знавший Раттенхубера по учебе на офицерских курсах в 1918 году, и сделал его своим адъютантом, а вскоре назначил начальником личной охраны Гитлера. «В апреле 1933-го я впервые входил в отель «Кайзергоф», чтобы представиться Гитлеру». Предстояло пикантное свидание бывшего арестанта с бывшим тюремщиком. Но теперь Раттенхубер поджидал не Гитлера, каким знал его, а фюрера, и, конечно же, опасался, «что фюреру будут неприятны те воспоминания, на которые я невольно буду наталкивать его своим присутствием». Но приветливо поздоровавшись, Гитлер сказал: «Я уверен, что вы теперь будете так же верно служить мне, как раньше служили баварскому правительству» — и снял все опасения.

Гитлер знал, что делал, избрав главным телохранителем не кого-либо из своих «молодцов» — их надо держать в узде, постоянно внушать им восхищение и страх, — а этого полицейского, благонамеренного служаку, всегда преданного власти, отождествляемой им с отечеством. И не ошибся.

⁷ У. Ширер, автор известного историко-документального труда «Взлет и падение третьего рейха», пишет по этому поводу: «Контроль над ресурсами великого государства, по выражению Алана Буллока, захватили уличные банды. К власти пришли отбросы общества».

Пока Раттенхубер взирал на Гитлера глазами прежней власти, он видел в нем демагога, возмутителя спокойствия, опасного политического авантюриста, от которого только и жди беды. Теперь же в «Кайзергоф» входила сама власть, и мигом отступило все, что могло порочить или умалять ее.

«Беседа была бессодержательной — о новостях берлинской жизни, о театре... Совместный чай был знаком благосклонности и доверия ко мне фюрера. Говорят, он так располагал многих и, не скрою, расположил и меня». Прежде не вызывавший доверия, Гитлер вызывал теперь у Раттенхубера благоговение. «Гитлер был для меня теперь тем «сверхчеловеком», каким рисовала его нацистская пропаганда... Это был «мой фюрер», и я был горд тем, что он оценил меня и приблизил к себе».

«Через год вся Германия будет в наших руках»

7 апреля 1933. *За шесть часов заседания кабинета был принят ряд решающих законов. Закон о правах чиновников с параграфом об арийстве. В конце заседания 1 мая было официально признано национальным праздником... Можно сказать, что сегодня в Германии история делается заново. Наша цель — абсолютное единообразие рейха... В конце этого процесса будет единый народ в едином рейхе.*

Ein Volk, ein Reich, ein Führer! («Один народ, одна империя, один фюрер!») Этот известный фашистский девиз я увидела в Освенциме в последнем бараке, замыкавшем бесчисленный их ряд. Здесь камеры пыток, отсюда выход к установленной рядом стене расстрела. Так неотвратимо связаны этот девиз и этот барак.

«1 мая мы организуем грандиозную демонстрацию народной воли». Смысл этой демонстрации в том, чтобы перекрасить традиционный день международной солидарности трудящихся в сугубо национальные — коричневые — цвета, одолеть его интернациональный пафос. На волне этой демонстрации «2 мая будут заняты здания профсоюзов. Унификация и в этом отношении. Возможно, пару дней будет возмущение, но затем они в наших руках. Нельзя больше оглядываться... Когда профсоюзы будут в наших руках, другие партии уже не смогут долго сопротивляться... Через год вся Германия будет в наших руках» (17.4.33).

1 мая. (Парад молодежи.) *Буря восторга: в машине показались, сидя рядом друг с другом, рейхспрезидент и фюрер... Удивительный символ новой Германии... Харальд протягивает президенту большой букет роз. — Геббельс и тут поспевает, выдвинув вперед пасынка. — Завтра мы захватим дома профсоюзов. Сопротивления ждать неоткуда. Борьба продолжается!*

Полный запрет на критику. «Я с ней покончу. Последний пережиток из демократических времен. Долой его!»

3 мая. *Продолжаем подпаливать профсоюзников. Бонзы капитулируют. Мы господа Германии.*

11 мая. *Вчера... Поздно вечером произношу речь на площади Оперы. Перед костром сжигаемых студентами грязных бульварных книг. Я в наилучшей форме. Гигантская толпа...*

Геббельс — организатор этого зловещего аутодафе, символа торжествующего в Германии фашизма.

Горят по предписанию д-ра Геббельса в этом чудовишном костре книги немецкого классика Лессинга, автора «Натана Мудрого», горят книги Ремарка, Стефана Цвейга, «немецкоязычного» Гейне, любимого поэта дней молодости д-ра Геббельса, донатицкой поры. «Wer die Bücher verbrennt, irgentwann die Menschen verbrennen wird» — «Кто сжигает книги, когда-нибудь будет сжигать и людей» — это предвидел Гейне.

«Путь к тотальному государству»

10 июня. *Обсуждали запрет на прессу. Мы едины. Скоро будет закон о прессе. Обсуждали с Гитлером реакцию. Как только не станет Старого господина (Гинденбурга), горе интриганам. Реакция прокралась в церковь. Долгий спор с фрау Вессель. Она хочет частное право на песню Хорста Весселя. Я отклонил это. Песня принадлежит нации. Эта мать нестерпима.*

20 июня. *Мы покидаем Женевскую конференцию. Она стала невыносимой.*

28 июня. *Путь к тотальному государству. У нашей революции невероятная динамичность. Мы начинаем благоговеть перед событиями.*

1 июля. *Хлопоты с церковью. Попы бунтуют...*

«Мы сами станем церковью»

Уже позднее, когда становление национал-социализма в Германии, можно сказать, завершилось, Гитлер снова и снова возвращается к своей программе, изложенной в «Майн кампф», к навязчивой идее завоевания для немцев Lebensraum — «жизненного пространства» за счет захвата земель на Востоке, в первую очередь земель России.

«Фюрер предвидит конфликт на Дальнем Востоке. Япония разгромит Россию. Этот колосс рухнет. Тогда и настанет великий час. Тогда мы запасаемся землей на сто лет вперед».

В Германии воцарился безудержный, бесконтрольный нацистский режим. «Это не просто отрезок немецкой истории, это ужасающий урок, как недооценка крайнего зла может ввести народ в заблуждение и подвести человечество к уничтожению» (Вилли Брандт).

Западный мир до сих пор не оправился от потрясения фашизмом. «Можно забыть деяния Гитлера, но плата за это — потеря нравственного самосознания и политического понимания мира» (М.Штюрмер). И в последние годы интеллектуалы вновь и вновь обращаются к исследованию феномена фашизма, отождествляя его в первую очередь с Гитлером. В их исканиях все еще не окаменевшее, все еще разрыхленное месиво личной памяти и анализа, прозрения и заблуждений, зыбких ответов на неисчерпанные вопросы и обретенных постулатов.

В своих работах они обращаются к теории Макса Вебера, предсказавшего (до Гитлера) явление харизматического лидера со всеми его особенностями и возможностью его господства над массами.

К диагнозу Карла Ясперса — «духовной ситуации нашего времени», времени, когда стал возможен распад государства, гражданская война, террор и уничтожение и вместе с надвигающейся гибелью Веймарской республики крах буржуазно-либеральной системы ценностей, породившей республику, соединявшей ее с прежними эпохами немецкой истории. Повисшее над пустотой время созрело для адского мессии.

Обращаются к Э. Фромму, к его анализу личности Гитлера в свете некрофилии последнего, страсти к гибели и уничтожению. К убежденности Ницше: будущее принадлежит политикам-художникам, которые полагаются на волю и интуицию и уверены, что им принадлежит мир.

Андре Глюксман, представитель «новой философии» во Франции, писал: «Проблема Гитлера не в том, что он совершил то, чего хотел, а в том, что ему позволили это сделать. Тайну следует искать не в его безумии, а в его современниках, которые наделили его безумие властью. Спрашивать, как был возможен Гитлер, значит спрашивать Европу, как она его допустила, — то есть спрашивать нас самих. В конечном счете приходишь к убеждению, которое не терпит лжи: я — возможность Гитлера, я и есть Гитлер». Эти строки о нравственной и политической ответственности, начинающейся с себя, принадлежат человеку, которому в год падения гитлеровского рейха было восемь лет от роду. Тем благороднее они звучат.

Конечно, в Германии, в современном обществе, есть и совсем другие настроения и намерения: отместы, вынести за скобки истории страны и немецкого народа период фашистского господства со всем чинимым им злом. Подобное встречается и у нас по отношению к прожитому страной семидесятилетию. Но есть у нас и другая крайность: травля собственной истории с изъятием фактов из контекста времени, из исторического потока, из исторической судьбы, а это неизбежно ведет к иной, но опасной мифологизации. В обоих (нашем и нацистском) тоталитарных режимах наглядно проступают схожие черты и возможные заимствования. И сейчас, когда мы хотим обрести разумное миропонимание, для нас насущно увидеть общность родимых пятен тоталитаризма и тем непреклоннее отторгнуть их. Но соблазн лишь механического сопоставления-сличения — это наша болезнь упрощенности, это плоско и бесплодно. Германский фашизм — это свой опрокинутый мир. У него своя природа, свои истоки, свои задачи и цели. И наконец — свой абсурд.

Я. С. ДРУСКИН

*

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОБОДА

Философские эссе. Дневник

Жизнь в присутствии Бога

Несчастье пишущего о судьбе россиянина XX века состоит в почти неодолимом соблазне во всем полагать след фатального влияния исторических обстоятельств. Печальные причины этого настолько очевидны, что лишь в жестоком сердце такая мера человеческой судьбы не найдет соболезнующего понимания. Между тем обольщение тотальными возможностями в рационально-логических категориях толковать причины и закономерности событий и судеб ведет к самонадеянному убеждению, что метод исторического детерминизма — не извинительная слабость издерганного бурями XX века путника, но единственно верный способ объяснения всего, что ему довелось испытать.

Таким самообольщением не только устанавливаются ложные причинно-следственные связи и деформируется подлинный смысл конкретных человеческих судеб, но те из них, которые не поддаются уразумению в качестве производного каких-либо исторических обстоятельств, изымаются из рассмотрения, как если бы они вовсе не существовали. Напрасно. Иманно в таких судьбах Господь всего яснее, непосредственнее, чем сквозь череду и нагромождение временных событий, являет Себя, дает понятие о жизни вечной и мгновенности земной.

Неисповедимы пути Господни. Якову Друскину Бог дал знать Себя в мае 1911 года — мальчику было девять лет. Он навсегда запомнит этот миг и назовет его началом «бесконечной заинтересованности Богом», которая отныне никогда уже его не покинет. То была весть о чудесной, не постижимой рассудком тайне смерти — загадочной стадии человеческого существования. В январе 1922 года на похоронах одной из своих бывших соучениц Я. Друскин разговорится об этой великой тайне — чуде смерти с А. Введенским. С тех пор на протяжении почти полутора десятков лет их общения станет длиться эта беседа. В ней будут участвовать еще Л. Липавский, соученик Я. Друскина и А. Введенского по гимназии Л. Лентовской. В 1925 году они найдут заинтересованного собеседника в Д. Хармсе, подобно им пораженном чудом сотворения человека и дарования ему вечной жизни. Они назовут себя чинарями, как бы намекая на особый сан (чин) приближенных к великой тайне. К тому времени Я. Друскин окончил в 1919 году гимназию (после Октября семнадцатого — Единая трудовая школа № 190) и поступил на исторический факультет Педагогического института имени А. И. Герцена. Но Л. Липавский увлек его на философское отделение факультета общественных наук университета, которое Я. Друскин окончил в 1923 году. Это был лишь его первый диплом, затем последовала консерватория по классу фортепиано (1929), а когда преподавание русского языка и литературы в школе оказалось обременительным для его совести — математический факультет университета (1938). Форму, внешние очертания, которые приобретала его жизнь, несправедливо было бы назвать невыразительными. Его всерьез занимала музыка; он не был лишен интереса ко многому из того, что составляет повседневную — будничную и праздничную — пестроту жизни. Что касается более широкого контекста государственной, политической, идеологической форм, в которые оказалась вмещенной жизнь Я. Друскина, их свойства настолько общеизвестны, что, кажется, неуместно здесь даже перечислять. Нет нужды делать это хотя бы потому, что, несмотря на самое непосредственное и искреннее переживание повседневной череды явлений и ясное сознание смысла совершавшихся исторических событий, не это составляло подлинное содержание его жизни.

Составление, публикация и примечания Л. С. ДРУСКИНОЙ. Вступительная статья В. Н. САЖИНА. Послесловие А. Г. МАШЕВСКОГО.

Все работы публикуются по рукописям из архива Л. С. Друскиной.

Я. Друскин сознавал жизнь как дарованную ему форму, в которой и независимо от которой он должен был успеть проникнуться Божьей волей, воплотив Его замысел и «воплотиться вполне в задуманное, предназначенное Богом» («О молитве»). Так понятие содержание жизни ставило на подобающее им второстепенное место внешние атрибуты существования — какими бы соблазнительными, навязчивыми или обременительными ни были их претензии. На первом месте оказывалась — мысль. Это было сознание вины перед всем миром за собственное несовершенство и несоответствие образу и подобию Божьему и вины за весь мир, который мыслился греховным исключительно в той степени, в какой «замаран» его, Якова Друскина, грехом. Это было сознание всеобъемлющей и всепроникающей Божьей воли — универсальной меры всего сущего, постижение невероятной для рационального ума истины, что в с ё — образ и подобие Его, что Господь в с е вмещает в Себя. Поэтому следовало пережить и ту мысль, что земное существование человека сопряжено с тайной, чудом, иррациональным, которые не выразимы в логических понятиях и категориях, но заключают в себе самое главное для человека и его будущей вечной жизни, а где они — тайна, чудо, умом непостижимое — там Он. В таком образе жизни-мысли не оставалось места рефлексии по поводу буйных политических или литературных событий — в многочисленных трактатах и эссе Я. Друскина едва ли найдется о них девять фразы, — поскольку все совершившееся вонне сознавалось происходящим (или не происходящим) не по злой или доброй воле отдельных личностей, но Божиим соизволением. Когда будут напечатаны сочинения Я. Друскина и Л. Липавского, когда будет понято, что все они, и Д. Хармс, и А. Введенский, и Л. Липавский, и Я. Друскин, о котором здесь речь, не занимались литературными экспериментами или выработкой философской системы, а потому не были сколько-нибудь серьезно озабочены тем, чтобы написанное ими стало доступно стороннему глазу, — тогда станет ясно: все, что они написали или проговорили в длившихся годами беседах, было — в отпущенной каждому форме — способом личного постижения воли Господа, присутствие которого каждый из них по-своему ощущал.

Когда Я. Друскин узнал о смерти Д. Хармса, ему приснился пучок переломленных прутьев: погибли и Н. Олейников, и А. Введенский, и Л. Липавский. Единственным, кого уберечь Господь, осталась Я. Друскин, до самой кончины в 1980 году ведший неустанную жизнь-размышление о великой тайне, имя которой — Бог.

ГРЕХОПАДЕНИЕ

«И сказал Бог: да будет свет; и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1,3).

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо, весьма хорошо» (Быт. 1, 31).

И Адаму, сотворенному Богом по Его образу и как Его подобие, было хорошо, весьма хорошо, но он этого не знал и не знал, что ему хорошо. Адам не только первый человек, но образец и пример каждого человека. Каждый человек сотворен Богом по Его образу и как Его подобие. Поэтому каждому человеку, и мне и тебе, хорошо, весьма хорошо, но, как и Адам, мы этого не знаем. Я буду говорить об Адаме, но говоря об Адаме, я говорю о себе, о тебе, о каждом человеке. Потому что Адам пример и образец каждого человека.

Адаму было хорошо, но он не знал, что ему хорошо, потому что он не был Богом, но тварью, то есть сотворенным, значит, ограниченным. Познание духовно. Только Бог чистый Дух, всякая тварь фактична, фактичность — это ограниченность или телесность. Дух — сила или мощь. Так как Бог не ограничен телом, то Он всемогущ. Всемогущество включает в себя и всеведение, вернее, всемогущество и есть всеведение, то есть полное совершенное познание. Но познание твари ограничено ее фактичностью, то есть телесностью. Телесность, фактичность, ограниченность — это и есть тварность, то есть сотворенность. Не сотворен один только Бог. Поэтому Адам и не мог знать, что ему хорошо, хотя ему и было хорошо.

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; потому что в день, в который ты вкусишь от него, умрешь». Во-первых, здесь сказано, что полное познание включает в себе познание добра и зла. Но что такое зло и откуда оно? Ведь все, что сотворил Бог, хорошо, весьма хорошо, то есть добро, Бог не сотворил и не творит ничего злого. По-видимому, само познание для твари, то есть сотворенного, есть зло. Поэтому для твари знание того, что ей хорошо, есть зло. Тварь не может познать добро, поэтому уже само желание твари познать добро есть зло, и древо познания. — стало древом познания добра и зла, стало древом зла. Во-вторых, Бог заповедует человеку не есть от древа познания добра и зла, чтобы не умереть. Мне кажется, это добавление: «потому что в день, в который ты вкусишь от него (от древа познания. — Я. Д.) ты умрешь» — очень важно. Это не абсолютное запрещение, а условное: если не вкусишь от древа познания, тебе будет хорошо, ты будешь иметь жизнь вечную, но

ты не будешь знать, что тебе хорошо; если захочешь узнать, станет плохо, и ты потеряешь вечную жизнь, ведь сказано: в день, в который ты вкусишь, ты умрешь, то есть само вкушение познания и есть потеря вечной жизни для твари. Мне кажется, Бог здесь не абсолютно запрещает вкушение от древа познания, а скорее заманивает человека:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья, —
Бессмертья, может быть, залог.

Бог как бы предлагает человеку броситься в пропасть. Он говорит: если хочешь получить все, то раньше надо все потерять, всего лишиться, и тогда получишь все и еще больше, чем все. Правда, второй половины — получишь все — Бог прямо не говорит, но если бы Он сказал это прямо, то не было бы никакого риска, не было бы чистого, бескорыстного отречения и потери всего, чтобы получить все и еще больше, чем все. Это был бы простой человеческий расчет, но человеческий расчет ничего не дает, тем более счастья и вечной жизни. Поэтому Бог и не говорит прямо, Его непрямая речь и есть духовность.

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене (Еве. — Я. Д.): «Подлинно ли сказал Бог: Не ешьте ни от какого дерева в саду?» И сказала жена змею: «Плоды с деревьев в саду мы можем есть; но от плодов дерева, которое среди сада, сказал Бог: Не ешьте, и не прикасайтесь, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете; потому что знает Бог, что когда вы вкусите от них, то *откроются глаза ваши*, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз, и *вожделенно для созерцания*; и взяла плодов его, и ела; и дала мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги» (Быт. 3, 1—7)*.

Бог все знает, что было, есть и будет, и без Его воли не упадет и волос с головы нашей. Он знал, что змей будет соблазнять Еву, что Ева падет и соблазнит и Адама, и Он допустил это. Значит, это входило в Его намерение, и Он хотел, чтобы Адам и Ева пали и все потеряли. Потому что иначе у них не открылись бы глаза и они никогда не узнали бы, что им хорошо. Но Он не мог сказать им это Сам, прямо — тогда бы у них появился расчет — небескорыстное, то есть не духовное отношение к духовному. Тогда бы они уже несомненно потеряли все, не получив и не имея никакой уже надежды получить все и даже больше, чем все. Поэтому Бог допустил войти в мир соблазну — это была Его непрямая, косвенная речь.

Когда Адам и Ева вкусили от древа познания и у них открылись глаза, чтобы узнать, что им хорошо, весьма хорошо, им стало плохо, весьма плохо. Потому что, чтобы получить все и больше, чем все, надо раньше все потерять. Человек — тварь, то есть фактичен, ограничен; чтобы стать причастным к бесконечной вечной жизни, надо прорвать свою ограниченность, это — боль бытия: многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье (Деян. 14, 22). Поэтому, когда у Адама и Евы открылись глаза, чтобы увидеть, что им хорошо, им стало плохо, весьма плохо.

Нарушение Божьей заповеди грех. Адам и Ева нарушили Божью заповедь. Тогда вслед за соблазном вошли в мир грех и зло. Кто виноват за зло? Никто. Бог не виноват за него: Он запретил вкушать от древа познания. Змей не виноват: Бог не запретил ему соблазнять. Адам и Ева тоже не виноваты: они не знали, что змей обманщик, и они хотели, чтобы у них открылись глаза, ведь и Бог хотел этого. Адам — пример и образец мне. Поэтому и меня соблазнил змей, и я вкусил от древа познания, и я пал. Формально я нарушил заповедь Божью: Он сказал мне: не вкушай от древа познания, а я вкусил. Но по существу я не нарушил, я именно исполнил то, что Бог хотел: Он хотел, чтобы у меня открылись глаза, чтобы я узнал, что мне хорошо. И все же грех на мне, вина за мой грех на мне, хотя я и не виноват. Я не говорю здесь о том, что я виноват за каждый мой определенный поступок, за каждую мою мысль. Здесь грех явный, и в каждом определенном случае я могу сказать, в чем мой грех. Но я говорю о моем первоначальном грехе, о моей первоначальной вине за грех, которая и есть сауса finalis всякого моего прегрешения, ведь я уже рождаюсь грешником, и здесь неправильно сваливать вину на Адама или змея. Мой первоначальный грех реализуется в каждом моем грехе, в каждом отдельно грехе я вижу свою вину, и я виноват, но в то же время за сам грех я не отвечаю, я виноват за него, так как, во-первых, я не могу не грешить и, во-вторых, грех открывает мне глаза, то есть через грех я совершаю именно то, что Бог и желает.

Я не могу не грешить. Но из этого не следует, что я должен грешить. И вина за каждый определенный грех лежит на мне, только на мне, и даже вина за грехи моих ближних — тоже на мне. Это я ясно чувствую, ощущаю, сознаю и каюсь. Я говорю

*Курсив в цитатах автора. — Ред.

о другом: грех входит в мир через меня, Адам здесь только пример и образец меня. Каждое мгновение через меня входит грех в мир. Поэтому я отвечаю не только за свой грех, но и за грех моего ближнего. Но этот грех и зло к добру: чтобы у меня и моего ближнего открылись глаза. Тогда я не виноват за грех — не за определенный, за него я отвечаю, — но за самую мою греховность. Но нельзя отделить греха, который через меня вошел в мир, от конкретного греховного поступка, через который грех вошел и входит в мир. Грех не вообще вошел в мир, а сейчас через меня, через мой греховный поступок, через мою греховную мысль. Поэтому и последняя вина на мне, хотя я и не виноват. Я всегда виноват: и когда виноват, и когда не виноват. Я виноват уже тем, что я есть, что я сотворен, хотя и не я сам себя сотворил, а Бог меня сотворил. Это тайна греха: ни Бог, ни змей, ни я не виноваты за грех. И все же вина за грех на мне. Я это ясно чувствую и сознаю, в этом сознании своей вины, даже когда я не виноват, у меня открываются глаза, чтобы и я увидел, что мне хорошо, все весьма хорошо.

Когда у Адама и Евы открылись глаза, они увидели, что они наги. Как и в рассказе о Хаме, подсмотревшем наготу своего отца, и здесь имеется в виду нагота духовная. Это подтверждается словами Бога к Адаму: откуда ты *знаешь*, что ты наг? Нагота связывается здесь со *знанием* наготы. Адам и до грехопадения был наг, но он не знал, что он наг, поэтому нагота и не ставилась ему в вину. Но теперь, когда он знает, что он наг, нагота — его грех, хотя он и не виноват, что он наг, таким сотворил его Бог.

Творение мира и человека — один простой акт Бога, я называю его естественно-сверхъестественным, потому что, во-первых, это сверхъестественный акт, ни один человек, ни одна тварь не может сотворить мир из ничто, во-вторых, это естественно-сверхъестественный акт, потому что для Бога сверхъестественное естественно. Я ввожу этот термин, потому что теологи приписывают акту творения еще второй момент — благодать (то есть сверхъестественное), которой Бог наделил Адама, а потом убрал ее от него, отчего он и пал. Но введение лишних сил в научное объяснение нецелесообразно. То же и в теологии. Я не понимаю, зачем надо вводить в творение мира благодать: до грехопадения не было различия царства природы и царства Благодати: все было естественно-сверхъестественным. Вводить же Благодать только для того, чтобы объяснить грехопадение, все равно ничего не объясняет, переносит непонятное в другую инстанцию и только усложняет, вызывая новые вопросы: почему Бог вдруг убрал от Адама Свою благодать?

Но с падением Адама та же естественно-сверхъестественная сила Бога как бы разделилась, вернее, для нас разделилась: так как Адам вышел из естественно-сверхъестественного состояния, то сам Адам разделился: естественное, что он может или как будто бы может сделать своими силами, и то, чего он сам своими силами уже не может сделать и для чего требуется помощь и сила Бога, которая для Адама, то есть для всякого человека, изгнанного из Рая — естественно-сверхъестественного состояния, — будет уже чисто сверхъестественной силой, то есть благодатью.

Возвращаюсь к наготы. Нагота — это отсутствие благодати, которое стало возможным только после грехопадения. Не лишение благодати вызывает грехопадение, наоборот: грехопадение вызывает — и есть — потеря благодати, то есть разделение из-за греха естественно-сверхъестественного на естественное и сверхъестественное и потеря последнего. Это и есть нагота — грех и противодействие или восстание против Бога. Это действительно нагота — опустошенность человека, порвавшего с Богом. И снова повторяю: в каждом греховном акте вина за грех полностью на мне. Но то, что я грешу, что я не могу не грешить, — это другое, хотя проявляется всегда в конкретном грехе, это его *causa finalis*, и хотя в этом я не виноват, вина все равно на мне. Практически *causa finalis* греха не отличается от конкретного греха, то есть от греховного поступка, греховной мысли, это как бы цель греха. Но ее нельзя смешивать с самосознанием греха в самооправдывании, здесь не только вина на мне, но я и действительно виноват.

С грехопадения начинается история рода человеческого. И здесь вследствие внутреннего разделения Адама, моего внутреннего разделения, разделения естественного и сверхъестественного, во-первых, и единая история рода человеческого разделяется на светскую и священную историю. На самом деле это одна и та же история. И, во-вторых, моя жизнь отделяется от жизни других людей, и моя история от истории рода человеческого. Но цель и той и другой истории одна: открыть глаза, чтобы увидеть, что мне хорошо, что все весьма хорошо. Но первое, что я увидел, когда у меня открылись глаза, — это свою наготу: я увидел, что мне плохо, весьма плохо.

1. Все, что сотворил и творит Бог, хорошо, весьма хорошо. Бог сотворил меня по Своему образу и как Свое подобие, поэтому и я хорош и мне хорошо, весьма хорошо. Но я этого не знаю.

2. Чтобы у меня открылись глаза и я увидел бы, что мне хорошо, то есть *узнал* бы это, я должен вкусить от древа *познания*.

3. Но я сотворен, то есть фактичен и ограничен. Познание прорывает мои фактические границы, это боль бытия. Значит, это страшно, и я боюсь этого.

4. Если бы Бог сказал мне прямо, что эта боль относительная и временная, но, пройдя через нее, я получу вечное блаженство — знание того, что мне хорошо, то у меня появился бы расчет, корыстное отношение к вечному блаженству: мое отношение к нему и мое поведение были бы детерминированы. Но детерминизм определяет именно фактическое ограничение: абсолютное не детерминировано. Поэтому при корыстном, то есть детерминированном, отношении к вечному блаженству я не смог бы прорвать свою ограниченность.

5. Поэтому Бог и не говорит мне прямо, чтобы я вкусил от древа познания, но косвенно, с одной стороны, запрещая есть от древа познания, с другой стороны, заманивает меня, допуская войти в мир соблазну через змея. Соблазн — непрямая речь Бога.

6. С соблазном в мир входит грех и зло. Ни в зле, ни в грехе, входящих в мир через меня, никто не виноват: ни Бог, ни змей, ни я. Этот грех называют первородным грехом.

7. И в то же время вина за первородный грех, в котором я не виноват, лежит только на мне. Бог возложил вину за этот грех, в котором я не виноват, на меня. Теперь я виноват в этом грехе, я виноват без вины или, вернее, несу вину, хотя и не виноват. — Так объясняется грех Божий: Бог возложил на меня вину за грех, в котором я не виноват, и тогда гневается на меня, так как теперь вина на мне.

8. Вину, которую Бог возложил на меня, Христос взял на Себя. Тогда грех Божий обрушился на Христа. Христос, взяв на Себя вину за мой первородный грех — вину, возложенную Богом на меня, перенес на Себя и гнев Божий, освободил меня от Его гнева.

9. Бог возложил на меня вину за первородный грех, в котором я не виноват, чтобы у меня открылись глаза. Но для этого и я сам должен принять на себя эту вину, то есть нуменально почувствовать, что, хотя я и не виноват, я виноват, вина на мне.

10. Первородный грех — сущность и цель всякого греха, греховного поступка, греховной мысли. Через мой греховный поступок, через мою греховную мысль, то есть через меня, грех входит в мир. То, что через меня грех входит в мир, то и есть первородный грех, то есть заразительность моего греха.

11. За определенный греховный поступок, греховную мысль я не только несу вину, но и действительно виноват. Так как первородный грех не абстрактное понятие, то фактически в каждом греховном поступке, в каждой греховной мысли заключен и первородный грех. Так что практически вина за грех, в котором я не виноват, и вина за конкретный грех, в котором я виноват, совпадают. Так что и свой первородный грех я сознаю и ощущаю как свой грех, в котором я виноват, хотя и не виноват.

12. Вкусив от древа познания, чтобы узнать, что мне хорошо, я пал: первое, что я увидел и узнал, когда у меня открылись глаза, это то, что я наг, то есть фактически ограничен. Знание этого оторвало меня от Бога, опустошило. Бог не прямо, но косвенно, через соблазн, восстановил меня против Себя. Это и есть гнев Божий: Он заставил меня восстать на Него. Первым был не мой бунт против Бога, но Его гнев. Его гнев и есть мой бунт против Бога. *Causa finalis* здесь не я, а Он. Он спровоцировал мой бунт: не в том смысле, что я ответил бунтом на Его гнев: я мог даже не сознавать Его гнева, — но Его гнев и есть мой бунт.

13. Бог желает, чтобы у меня открылись глаза, это Его воля, но Он не может сказать это сразу прямо, чтобы не детерминировать меня, чтобы я добровольно открыл глаза. Поэтому Он допустил войти в мир соблазну, и поэтому же Он возложил вину за первородный грех, в котором я не виноват, на меня; возложение вины на меня, гнев Божий и мой бунт против Бога — эти три акта или состояния — одно и то же. Бог желает, чтобы я восстал на Него, это Его воля, иначе мои глаза не откроются. Поэтому Он оправдал Иова, восставшего на Него, и осудил друзей Иова: они не понимали ни сущности, ни цели грехопадения, ни смысла Божьего гнева.

14. Но едва я открыл свои глаза, увидел свою тварность, то есть фактичность, ограниченность, наготу, как я испугался и глаза мои снова закрылись, ибо «глаза мои отяжелели» (Мф. 26, 43) — это слабость духа твари. Бог через Своих пророков и, когда исполнились времена, через Сына Своего единородного говорит нам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна <...> вы все еще спите и поживаете? вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников» (Мф. 26, 41, 45).

15. К первому пробуждению — открыванию глаз — Бог призывает не прямо, а косвенно, допустив соблазну войти в мир. Когда же с первым пробуждением вошли в мир грех и зло, я получил и так называемую свободу воли — то есть возможность бороться с Богом. Теперь уже нет опасности, что я не добровольно, а из расчета приму на себя тяжесть и боль бытия — они уже пришли на меня, вся моя жизнь — страдание,

тяжесть и боль бытия. После первого пробуждения — грехопадения, — когда я восстал на Бога, Он может уже и прямо говорить, призывать к бодрствованию — к последнему пробуждению.

16. Эти два пробуждения — первое, в грехопадении, и последнее, в прямом обращении Бога ко мне, — не только исторические, то есть временные события. Ведь я уже рождаюсь грешником, своего первоначального невинного состояния я и не знаю. Я только чувствую, что создан я не таким, каким являюсь себе и другим, что предназначил меня Бог не к тому, что я делаю постоянно и как живу. Я помню не свое невинное состояние, а свое грехопадение; я падаю каждый день, каждый час. Поэтому сейчас для меня это различие не только временное, историческое, но онтологическое — мое внутреннее раздвоение.

17. Поэтому же и сейчас Бог говорит мне и непрямо, косвенно, и прямо; и отталкивает, и притягивает; и заставляет меня в страхе бежать от Него, и бесконечно стремиться к Нему. И сейчас я не раз впервые открываю глаза, и вижу свою наготу, и вижу, что мне не хорошо, а плохо, весьма плохо; и также не раз наступало и наступает второе пробуждение, когда Бог берет на Себя вину за мой первородный грех, и я вижу, что мне хорошо, весьма хорошо.

18. Но эти личные смены первого пробуждения, и снова засыпания, когда «глаза отяжелели», и снова пробуждения и последнего пробуждения не отменяют исторических библейских сообщений об Адаме, о его пробуждении, о священной истории рода человеческого. Без библейского откровения не было бы и личного, оно стало бы неопределенным самочувствием и выродилось бы в деизм и в конце концов в неверие — я потерял бы Бога.

19. В разные времена человек различно понимал или толковал откровение Бога в Старом и Новом завете. Но сущность этого откровения всегда одна и та же: Бог прорывает мои фактические границы, то есть мою ограниченность, индивидуально и соборно, то есть не только в направлении к Себе, но и к моему ближнему. «И так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником, и поиди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди, и принеси дар твой» (Мф. 5, 23—24). Ближний мой всегда имеет что-нибудь против меня, потому что я всегда виноват перед ним. Поэтому Христос здесь говорит: когда идешь к Богу, захвати с собой и ближнего своего, иначе Он не примет тебя. И еще говорит Христос: «где двое или трое собраны во имя Мое, там буду и Я» (Мф. 18, 20).

20. Но если я принимаю только библейское, общее откровение Бога всем людям и не переношу его экзистенциально, ноуменально на себя самого, то есть не слышу голоса Бога именно мне, то и общее откровение уже не откровение, а собрание исторических документов, часто неточных и противоречивых. Тогда и моя вера теряет свою радикальность, становится суеверием. Поэтому и рассказ о грехопадении Адама не только историческое сообщение, но обращение Бога ко мне, именно ко мне: мне Он запрещает вкушать от древа познания и одновременно меня же соблазняет вкусить; меня же спрашивает «где ты?» и мне же говорит «откуда ты знаешь, что ты наг?»; на меня же обращает Свой гнев и проклинает не только меня, но всю землю за мой грех; на меня Он возлагает вину за первородный грех и с меня же снимает эту вину, берет ее на Себя, если только я, смилив свою гордыню, соглашусь отдать ее Ему для того, чтобы у меня открылись глаза и я увидел, что мне хорошо, весьма хорошо.

В этом рассуждении меня интересовал не мой грех, а именно моя греховность. Практически она всегда реализуется в конкретном греховном акте: я ясно ощущаю и чувствую, что каждый *мой* поступок, каждая *моя* мысль именно как *моя* или *мой* — греховны, и также я ощущаю свою греховность, потому что я не вообще грешен, а в каждом конкретном поступке или мысли, и здесь мой грех практически неотделим от моей греховности. Но дальше я перехожу к вине за грех и к вине за мою греховность; тогда они разделяются. За свой грех я отвечаю: я виноват и я несу вину и за свой грех. Но с моей греховностью дело обстоит иначе: я несу вину и за свою греховность, но я не виноват — не я сам сотворил себя, Бог сотворил меня. И вот мне кажется, что так же, как я не могу оправдаться своими силами, но только одной верой получаю не свою, а Божью праведность, так же и вину за мою греховность, в которой я не виноват, Бог возложил на меня, чтобы открылись у меня глаза. Поэтому практически сознание моего греха совпадает с сознанием моей греховности и также вина за мой грех и вина за мою греховность. Возложение вины за мою греховность, в которой я не виноват, и есть гнев Божий, и это же мой бунт против Бога. В гневе Божием обнаруживается Его милосердие, если я в сокрушении духа и смирении сердца (Исайя) сознаю свою вину и за мой грех, и за мою греховность, то есть беру на себя добровольно и ту вину, в которой я не виноват, то Он берет на Себя мою вину, и глаза у меня открываются — это уже второе пробуждение — вера. Это и значит, что Христос взял на Себя грех мира,

то есть вину за греховность, в том числе и мою, и так как обе вины — и за мою греховность, и за определенный грех — практически отождествились, то Христос берет на себя вину за каждый мой грех, это ноуменальный акт: Христос берет на Себя мою вину, если я отдам ее, то есть поверю Ему: «Бог так возлюбил мир... дабы всякий верующий в Него (в Христа. — Я. Д.) не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 15—16).

Бог возложил на меня вину за мою греховность и Он же, когда у меня откроются глаза, по моей вере берет на Себя эту вину. Здесь различие Лиц Троицы.

Бог Отец — святость; строго говоря, нельзя сказать, что Бог свят, потому что в Боге нет разделения на реальное и идеальное, субстанцию и атрибут и др. Поэтому Бог — сама святость, но не как абстрактное понятие или абстрактное свойство, а как Лицо. Бог — святость, я — грех. Святость не терпит и малейшего греха. Поэтому Бог как святость полностью отвергает меня как грешника. Но Бог и любовь, как любовь Он отказывается от Своей святости, то есть от Себя самого, чтобы принять меня, грешника. В этом смысл вочеловечения Бога и Его жертвы. Как отказывающийся ради меня от Себя Самого, Он, то есть тот же Самый Бог, — Бог Сын. Отношение Бога как святости ко мне, грешнику, — гнев Божий. Отношение Бога как любви ко мне, грешнику, поверившему Ему, — Его милосердие. Поэтому в Его гневе обнаруживается Его милосердие: вину за мою греховность, в которой я не виноват, Он возложил на меня как святость и взял на Себя как любовь. Но только так у меня могут полностью открыться глаза: в Его гневе я обнаруживаю свою наготу, Своей любовью Он покрывает ее. Бог Святой Дух. Дух — сила, мощь. Моя сила ограничена фактичностью — телесностью. Бог не ограничен телом — это Его всемогущество. И снова не как Его свойство, но Лицо. Бог есть Сама Святость, и тот же Бог — Сама Любовь, и тот же Бог — Само Всемогущество. Но не три Бога, а один Бог: Сама Святость — Бог, и Сама Любовь — тот же Бог, и Сам Дух, или Само Всемогущество, — тот же Бог (Символ веры Афанасия). По отношению к грешнику Святость — гнев Божий, Любовь — Его Милосердие, Святой Дух — Его Всемогущество.

Отношение ограниченной величины к бесконечной стремится к нулю: моя сила в сравнении с Божьим всемогуществом — бесконечной силой — бесконечно мала. В связи с этим новое понимание моего протеста или бунта против Бога — вина за мой грех — это ответственность за каждый мой поступок, за каждую мою мысль: «Говорю же вам, что за каждое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36). Каждое мое слово, сказанное от себя, то есть от себя самого, — праздное слово, поэтому грех, а ответственность за него — моя вина, вина моего греха. Но вина за мою греховность — это ответственность за всю мою жизнь, за все мое существование, за то, что я есть. Эта ответственность и эта вина бесконечны, и я, конечная тварь, не могу своими силами взять эту ответственность на себя, она бесконечно превосходит мои силы. Но не взяв на себя эту ответственность, я не смогу открыть глаза. «Невозможное для человеков возможно для Бога» (Лк. 18, 27). Бог требует от меня совершения невозможного и совершает его во мне: Он возлагает на меня ответственность за все мое существование, вызванное к бытию не мною, а Им, Его всемогуществом. Это бремя слишком тяжело для меня, это бремя и есть тяжесть и боль бытия. Но Бог не хочет смерти грешника (Иез. 33, 11). Когда у меня под невыносимой тяжестью этого бремени открываются глаза, Бог обращается ко мне и, чтобы освободить меня от бремени, предлагает мне взять на Себя Его бремя: «Прийдите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя <...> и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28—30). Онтологическая последовательность грехопадения:

I. Мое грехопадение: виновника нет, то есть никто не виноват, что я пал. Когда это случилось со мною или со всем родом человеческим, никто сказать не может, так как до грехопадения нет ни истории, ни времени. Но я знаю, что пал, из смутного воспоминания того, что я забыл, то есть я помню, что я забыл, но что я забыл — я уже не помню. Я помню Dass своего грехопадения, но не помню его Was. Проявляется же мое грехопадение в каждом моем греховном поступке и мысли.

II. Бог возлагает вину за мое грехопадение, в котором я не виноват, на меня = гневу Божьему = моему бунту против Бога. У меня открываются глаза на мою наготу.

III. Я добровольно принимаю вину, которую Бог возложил на меня. Это можно назвать вторым пробуждением: у меня открываются глаза на смысл моей наготы, и я продолжаю дальнейшее мое обнажение.

IV. Когда я дохожу до полного своего обнажения, полного сокрушения духа, до сознания полного своего банкротства во всем, что касается моей жизни, моих мыслей, моих собственных сил, Бог обращается ко мне и предлагает мне, даже просит меня отдать Ему мое непосильное бремя — вину, возложенную Им на меня, — чтобы у меня полностью и окончательно открылись глаза; Он берет на Себя эту вину, если я согласен отдать ее Ему, то есть поверю Ему. И здесь две возможности:

1. Я гордо отказываюсь от Его помощи, возложенную Им на меня вину я не соглашаюсь передать Ему и беру на себя всю ответственность и все последствия ее — вечная смерть, ничто: Кириллов, Ставрогин.

2. В сокрушении духа и смиреннии сердца я отдаю Ему свою вину, которую Он берет на Себя. Я отдаю Ему свою вину и свое бремя, принимая на себя Его бремя и иго. Симеон сказал Деве Марии: и Твою душу пронзит меч (Лк. 2, 35). Я думаю, это сказано не только Богоматери, но каждому человеку, и относится это не только к человеку, но и к Богу — к Богу, ставшему человеком. Вся моя жизнь — пронзение мечом моей души, и не только моей, но и Богочеловека. Принимая на себя Его бремя и иго, я отождествляюсь с Ним в общем пронзении моей и Его души и через Него освобождаюсь от своего бремени — это вечная жизнь.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОБОДА. ОБЛОМОВ*

Аллегория

Автор написал драму и он же режиссер и ставит ее, актер играет. Чтобы хорошо сыграть свою роль, актер должен правильно понять пьесу и свою роль. Он не должен вносить *свой* смысл, чуждый автору пьесы и заданию режиссера, в этом отношении его игра вполне предопределена замыслом автора и режиссера. Он должен найти внутренний смысл, скрытый за внешним смыслом слов текста. Но замысел автора скрыт за внешним логическим смыслом слов текста. Актер должен вскрыть неявный смысл или замысел пьесы и своей роли. В этом отношении он абсолютно свободен. Ясно, кто автор и режиссер и кто актер. «Высокое у людей мерзость перед Богом» (Лк. 16, 15). Роли, которые для людей кажутся маленькими, с точки зрения Бога могут быть велики, и наоборот. Актер не должен считать свою роль маленькой и завидовать другим актерам, роли которых по человеческим представлениям велики, он должен считать свою роль, как бы она ни была мала по человеческим понятиям, великой, так как исполнить ее поручил ему Сам Бог. Ошибки или грехи актера:

1. Актер вносит *свой* смысл в пьесу, берет на себя функции режиссера и даже автора: вносит *свои* поправки в текст своей роли. Ясно, для чего это делается: он стремится к успеху у людей, он хочет возвеличить свою роль в глазах людей, не понимая, что «высокое у людей мерзость перед Богом». Он хочет возвеличить себя самого, а не автора пьесы. Он злоупотребляет своей свободой.

2. Актер — ленивый раб, закопавший свой талант в землю. Он исполняет свою роль кое-как, не стараясь понять скрытый смысл своей роли, замысла автора, он думает, что полагающееся ему жалованье он все равно получит, как бы ни сыграл свою роль. Но он его не получит, если будет играть, говоря словами Кьеркегора, без *Liedenschaft*** (ревность о доме Твоем), без бесконечной заинтересованности. В этом случае актер пренебрегает своей свободой, данной ему от Бога (а не своей собственной).

Гончаров. Обломов.

Ольга и немец Штольц (Штольц по-немецки — гордый) — это актеры, которым показалось мало с бесконечной заинтересованностью исполнять порученную им роль, они решили еще внести свои поправки в текст порученных им ролей, быть не только актерами, но и режиссерами и соавторами.

Обломов. До встречи с Ольгой у Обломова нет никакой скуки, о скуке в романе и слова нет. Скука — *Langweile*, то есть *Lange Weile* — длинное время. Обломов вообще не замечает времени: он несколько часов пыгается встать с постели, но не может, потому что произвольно уходит от действительности в полусознательную мечту. О чем? О райском состоянии Адама до грехопадения. И вдруг с ужасом замечает, что уже прошло полдня, — где же здесь длинное время? Наоборот, он — до времени.

Если время — функция свободы выбора, то до грехопадения не было времени. И также не было пространства. Пространственность — внеположность: на одном месте не могут находиться два тела, я и ты не можем находиться на одном месте, каждый из нас ограничен своим местом — самим собою. Познание и грех замкнули нас, теперь мы не можем уже сами, своими силами выйти из себя, прорвать свою ограниченность. Я своими силами не могу прорвать границу, отделяющую меня от тебя. Но «невозможное для человека возможно для Бога» (Мф. 19, 26). Он прорывает эту границу: «где двое или трое собраны во имя Мое, там буду и Я» (Мф. 18, 20). Обломов не из лени и не от скуки не поехал на екатерингофское гуляние и никуда не ходил, а просто потому, что ему это и не надо было, и он не понимал вообще, зачем

* Впервые было опубликовано в книге Г. Орлова «Вблизи вестников» (Washington. 1988).

** Страдание, страдательность, страсть (нем.).

это надо. Люди едут на гуляния, ходят в гости, потому что им скучно: они потеряли райское блаженство и не дошли до второго блаженства, когда Бог прорывает ограниченность людей и соединяет их во имя Свое. Обломов же еще не потерял память о райском блаженстве, он еще не пал, поэтому для него нет ни временности, ни пространственности, он не знает скуки и ему не надо гуляний, то есть воображаемых мнимых прорываний своей ограниченности: он еще не ограничен, ограничивает знание, грех и падение, а он еще не пал. Ольга была Евой для Обломова. Она протянула ему яблоко с древа познания добра и зла и сказала: «Посмотри, как оно вожделенно для созерцания» (Быт. 3, 6). И он увидел, что оно действительно вожделенно. Но он все же не пал. Почему? Не от лени, не потому, что халат для него вожделеннее, нет, яблоко было для него более вожделенным. Он не пал, потому что боялся свободы выбора, боялся действия — совершения поступка. Каждое действие, каждое совершение поступка рискованно и страшно: оно грозит мне потерей всего, что я имею, и, потеряв все, я или ничего не получу — «у имеющего мало отнимется и то, что он имеет» (Мф. 13, 12), — или получу все и больше, чем все: «имеющему много — прибавится» (Мф. 13, 12) и он получит и то, чего не имел. Вот этого риска, этого Entscheidung*, говоря словами Кьеркегора, и боялся Обломов, и не только за себя, но и за Ольгу. Поэтому он и «опустился», говоря человеческими словами. Он не опустился, а убоился совершить некоторый акт, действие, поступок, побоялся съесть яблоко с древа познания, нарушить первую Божественную заповедь, он даже понимал, вернее чувствовал, что Бог, запрещая вкусить от древа познания, грозя за это проклятием и смертью, на самом деле требовал вкушения, требовал, чтобы человек шел на риск, бесконечный риск, но он убоился риска, страшно всякое Entscheidung, всякое совершение поступка. В этом его ошибка и грех, он не был усердным и верным рабом, побоялся пустить в рост, рисковать талантом, полученным от Бога. Его грех — от страха Божьего, может, он, убоившись свершения, все потерял — этого я не знаю, но грех Штольца больше, он, как судья неправедный, не боялся ни людей, ни Бога, у него уже не было страха Божьего, а у Обломова был. Штолец хотел быть не только участником Царствия Небесного, но быть его автором и режиссером, а Обломов не осмелился стать участником Царствия Небесного. Потому что для этого требуется смелость и «неотступность»: «Со времен Иоанна Крестителя Царствие Небесное силой берется и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

1965—1966.

ПЕРЕД ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ЧЕГО-ЛИБО

(фрагменты дневниковых записей)

«Моя жизнь — высказывание моего существования, то есть экзистенциальное фиксирование».

«Перед принадлежностями чего-либо» (сокращенно «Принадлежности») — дневниковые записи, о которых автор пишет: «Это вся моя жизнь, принадлежащая не мне, а Богу, зафиксированная в записях на отдельных листках и в тетрадях с 1928 года. <...> Что-либо — некоторый храм. Вступая туда, я чувствую свою ничтожность. Но я создал его. И всякий читающий, если поймет, будет его творцом. Верно ли, что я создал его? Он создан для меня. Я только вступаю в него. Перед принадлежностями чего-либо — это преддверие храма».

Среди огромного творческого наследия Якова Семеновича Друскина «Принадлежности» занимают особое место. В течение полувека им было написано более шестидесяти авторских листов. Содержание необычно, оно почти исключительно посвящено интенсивной духовной жизни. Автор одновременно и субъект и объект своих исследований. «Я жизнь свою продумал, а мысли пережил». Пережитые мысли и продуманная жизнь являются основой его творчества, осуществившегося в виде философских и богословских трактатов и эссе. Почти все его работы отражены в дневниковых записях. Часто это предварительные размышления, наводящие его на решение той или иной задачи. В одних случаях это спор с самим собой, в других обсуждается уже написанная работа.

Предлагаемый отрывок писался в самый тяжелый период блокады Ленинграда. Чтобы оценить силу духа автора, упомяну, что до марта 1942-го мы жили на три изживенческих карточки, в холодной коммунальной квартире, без электричества и без воды. Главное же, Яков Семенович почти одновременно потерял трех своих друзей

* Решение (нем.).

(Олейников погиб в 1937-м), с которыми был тесно связан более пятнадцати лет. Однако гибель друзей, война, разруха, голод приводят к удивительному всплеску его творческой энергии. Надеюсь, это почувствует и читатель «Принадлежностей».

Л. С. Друскина.

С сентября 1941*

Лк. 2, 52. «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и любви у Бога и человеков».

Раньше, когда смерть непосредственно не угрожала, думал о ней и боялся больше, чем сейчас, когда она реально угрожает.

Во время воздушной тревоги я стоял в парадной и смотрел, как немецкий самолет сбросил две бомбы. Вначале они летели горизонтально и каждая казалась не длиннее спички. Я не беспокоился за маму и Лиду, за М. и Н.¹, вероятность попадания была не велика, мне казалось, они упадут в Выборгском районе.

Раньше, если я опаздывал на час, два, дома волновались больше, чем сейчас, когда меня нет дома и я задерживаюсь из-за воздушной тревоги.

[№ 1]²

Я пишу о поисках души, о том, что душа должна покинуть себя, но сам избегаю этого, отвлекаясь то к «Логическому трактату», то к книгам, то к теориям. В результате — мерзости, которые были сегодня. Я сам — мерзость, даже когда прав. Но кроме того были мерзости, в которых я не прав. Но и когда я прав — я мерзок, и это первородный грех. Даже если человек прав, но сталкивается с любимыми людьми, которые не правы, и столкновение большое, все равно он, вернее, я, потому что я о себе говорю, я даже если и прав — не прав и мерзок, а неправые не мерзки.

Я представляю себе некоторую паутину с узлами. Индивидуальность — пересечение нитей этой паутины в узле. Индивидуальность, во-первых, сама эта точка пересечения нитей, во-вторых, и те нити, которые тянутся к ней от других точек. Я был прав как изолированная точка, но не прав, так как изолировал себя от других точек, оборвал нити, идущие ко мне. Остальные же точки не были изолированы, у них было согласие, согласие освящало их. Я был мерзок как изолированная и недовольная своей изоляцией точка. Был же недоволен не потому, что мне надо было что-то, а потому, что я считал, что им будет лучше так, как я считал это. Вот это «я считаю, что так лучше», и сделало меня мерзким, это мой первородный грех, именно мой. Я мог то же сделать не мерзко, фактически же не мог. Это фарисейское ощущение справедливости и своей правоты — вот что противно: я судил и осуждал. Мерзок тот, кто судит. Когда сидят друг против друга правый и неправый и спорят и осуждают друг друга, противен и мерзок правый.

Вот чего у меня не было и отчего я был мерзок: я не понимал, что блаженны те, кого поносят и всячески несправедливо злословят за Меня: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. А я, вместо того чтобы радоваться и веселиться, возмущался, был недоволен несправедливостью.

Мне казалось, что этого чувства — ощущения несправедливости в отношении себя — у меня уже совсем нет, но вот где-то в глубине оно сохранилось. Справедливость и правота требуют совершенно особого такта, чтобы справедливый и правый не был противен, требуется столько такта, что это принадлежит к вещам невозможным для людей, но возможным для Бога. Это благодать, которая дается даром. Дело не в обиде, у меня, кажется, ее нет, скорее я обижаю людей своей уверенностью.

Правый и справедливый, если он даже не кичится, как фарисей перед мытарем, исполняя все повеленное ему, если не имеет чего-то положительного сверх должного, противен. Это сверхдолжное — любовь. Но ведь все происходило с любимыми людьми, почему же я оказался мерзким? Была только потенциальная любовь, а не актуальная, не в самом акте, помешало ощущение справедливости.

Вот в чем первородный грех: человеку даны достаточно точные нормы и законы поведения. Кто следует им — справедлив и все же не становится от этого хорошим. Даже наоборот. Неправого жалко, и в этом его искупление, а правый получил достаточно от сознания своей правоты: «в Царствии Небесном больше радуются одному грешнику кающемуся (а не покаявшемуся), чем девяноста девяти праведникам...»

Человек, сам по себе, не может быть правым и справедливым, не становясь при этом хоть немного мерзким. Я имею в виду недоразумения и столкновения, которые бывают в каждой семье; и еще — враги человеку домашние его. И все же без помощи Бога справедливый и праведный хуже домашних его.

* Начинаю переписывать записную книжку III. В скобки (квадратные. — Ред.) ставлю добавления и возражения. II.III.67. (Здесь и далее прим. Я. Друскина.)

[№ 1]

Несколько дней какая-то муть, сегодня разразился кризис. Стало уж совсем плохо, хуже, казалось, не могло быть. Я лег спать. Проснулся и сразу понял: поиски души. Муть была потому, что я потерял свою душу. А сейчас — рождение души: душа оставила свою душу, то есть нашла ее. Я отдалял от себя мгновение — оно могло и не наступить. Все же еще не было полной радости. Я взял Евангелие, и она пришла.

Фрейд поймет каждое состояние души и объяснит научно. Опыты и эксперименты подтвердят. Потом придет другой и опять объяснит научно, и опять опыты и эксперименты подтвердят. Но ведь и до Фрейда Месмер, Мэри Беккер, Шарко тоже объясняли, и лечили, и подтверждали опытом. И у Мэри Беккер подтверждений больше, чем у Фрейда, у него одно преимущество — он позже Мэри Беккер. И так в науке всегда: прав последний. Но так как самого последнего нет, то где достоверность? Но вот Евангелие первое и не требует последующего. Не Фрейд, а Евангелие излечило меня от муты.

Множественность причин нарушает необходимость выводов науки. Множественность оснований (из ложного следует и истинное) и ложное; истинное следует не только из истинного, но и из ложного) нарушает достоверность всякого вывода от своего ума.

Джемс: «Прагматизм обращается к конкретному, к доступному, к фактам, к действию, к власти»³.

Евангелие: «довлеет гнев и злоба его»; бездействие, непрактичность, слабость: «когда я немощен, я силен». В сравнении с Евангелием прагматизм — плебейство. Да и вне сравнения — плебейство. Я и сейчас еще помню это состояние после чтения Джемса. Стало так же противно и тоскливо, как весной 1917 года после чтения Бебеля «Женщина и социализм» — о коммунизме и о фаланстерах Фурье. То же самое: «своею собственной рукой» [№ 2].

Я вышел в коридор курить (после чтения Джемса). Заиграло радио, и внезапно я ощутил неимоверную тяжесть, тоску, скорбь бытия. Подобные ощущения бывали, когда я летом ночевал в чужой комнате на даче, и в детстве по вечерам, когда я не мог заснуть от страха смерти. Но сейчас это было сильнее, обнаженнее — сама боль опустошенного бытия. Это — ощущение точки, затерянной в бесконечном пространстве; эта точка — я сам. Ощущение шло волнами: и на вершине волны оно было совсем невыносимым, и если бы волны не спадали, не знаю, что стало бы со мною. Это уже не состояние души, а состояние мира, другого мира, в который я проник, в этом состоянии все живое умирает, опустошаясь в абсолютном одиночестве. Как совместить его со вчерашней радостью очищения и рождения души? Оно — это состояние точки, затерянной в бесконечном пространстве, — осталось еще в глубине меня, я отвернулся от него, чтобы не видеть, оно мучительно притягивает и убивает. Это не «Логический трактат», не мысль, не теория, а сама реальность, как и вчерашнее состояние рождения души, это я сам, проникший в глубину мира, в его тайну, слившийся с нею. И вчера в рождении души — это был я, переставший быть собою, я в Боге. Может, и это какая-то глубина в Боге, в которую страшно заглянуть? Вот уже я пытаюсь строить теорию, оправдывать бытие, доказывать, что все к лучшему, но к чему это — тогда теряю то, что было. И отчего такая боль на вершине волны, ощущение полной несовместимости со всяким другим состоянием, уничтожение всего, страшное ничто? Может, всякое состояние автономно и, когда есть, не допускает другого? Но если рождение души — завершение, то это в некоторой иерархии состояний в глубине, в основе, болезненность бытия, разъедающая и разрушающая всякое состояние; еще сейчас остались его следы. Если же я располагаю оба состояния в каком-то пространственном порядке, то не результат ли это привычки отводить злу нижнее место, а добру верхнее?

Состояние № 2 — разрушительная система болезненности бытия. Это не соблазн, смотреть на это страшно, но что? Может, этот вопрос — уже соблазн, как вкушение от древа познания? Тогда это соблазн ума, а состояние № 1 может стать соблазном чувства, и третий соблазн — соблазн схемы, соединения двух состояний системы. [Я думаю, каждое из этих двух состояний не соблазн, а реальность, может быть, даже автономные реальности, соблазном же становятся, когда я хочу разделить — Е соблазн, или соединить их — I соблазн⁴. При этом Е — соблазн именно как экстенсивный — раздваивается: соблазн отделить № 1 от № 2, и второй соблазн — отделить № 2 от № 1. Потому что отделение — тоже соединение: соединение отделением. Может быть, оба состояния автономны, как два замкнутых мира на одном месте, — они и не знают о существовании друг друга. Когда же я отделяю один от другого, одно состояние уже знает другое, нарушается их автономность. Тогда

возникает соблазн, само состояние становится соблазном. Это рассуждение о двух автономных состояниях правильно, но в применении к состояниям № 1 и № 2 — не знаю, правильно ли: чтобы не стало манихейского дуализма, состояние № 2 надо как-то углубить и понять.] Я постараюсь воздерживаться от своих суждений, от схем; вчерашнее состояние, которое часто поддерживало меня уже около 15 лет, я буду обозначать № 1, сегодняшнее, которое тоже и раньше бывало, — № 2. Я боюсь его, боюсь даже взглянуть на него, оно сжигает и уничтожает меня.

Есть некоторые мировые константы, к ним принадлежит и слово «душа» [№ 1]. Исторические эпохи определяются отношением к этой константе: Платон, Евангелие, Августин, Декарт — вот некоторые вехи.

Вторая константа [№ 2] не имеет таких определенных разделов и совершенных выражений, как первая. Может быть, полное и совершенное выражение этого состояния уничтожило бы того, кто попытался бы выразить его. Может, это некоторая глубина в Боге, в которую не дозволено даже заглянуть. Только намеки на него возможны, и они есть в Евангелии. Может, еще в «Тимее» или «Законах» Платона, у Гоголя и Достоевского. Это как смерть души. Но если нет души, нет и смерти души.

Я люблю быть один и боюсь быть один. Я люблю быть один, если в соседней комнате кто-то есть, и лучше всего, если мама. Я боюсь встреч с людьми и не хочу встреч, кроме четырех⁵. И еще Т⁶. Сейчас Т. — дверь в мир.

Лк. 5, 39. «И никто пив старое вино, не захочет тотчас молодое, ибо говорит: старое лучше». Это ведь о Евангелии. Евангелие — молодое вино.

Лк. 9, 24. «Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». — № 1.

Лк. 11, 17. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». — Это о состоянии № 2 и некоторое указание на онтологическое преимущество состояния № 1, некоторое благоприятствование, потому что есть какая-то противоречивость в утверждении зла и разрушения. Но это благоприятствование как бы беспредметно, и именно беспредметность благоприятствования дает некоторую надежду.

Может, состояние № 1 — ответ на состояние № 2? Каждое состояние простое, как всякое состояние души, но при каждом воспоминании обнаруживаются различные направления и линии. Каждое воспоминание состояния — один из прошедших через мысль вариантов одного инварианта, и № 2 — смерть или одно из ее окружений.

[№ 3]

Вялость и уныние, желание деятельности и отсутствие соответствующей деятельности. Ввели меня в это состояние или поводом были Джозии Ройс⁷, Джемс и прочее.

Главная деятельность сейчас — «Логический трактат». К нему же боюсь притронуться — хочу и боюсь. Боюсь же потому, что требует усилия. Чувство жизни: интерес и усилие, и второго боюсь. В первом — в интересе — тоже усилие, но исходит не из меня, и я не могу не подчиниться ему, когда оно есть. Во втором — я сам создаю себе своим усилием интерес, и это только дело рук человеческих.

Интуиции души. Я наблюдаю некоторые состояния души, начинаю с одного, перехожу к другому: оно ведет к другому. В каждой интуиции души несколько состояний. Закончив список состояний души в определенной интуиции, я перехожу к другой интуиции души, составляю новый список состояний, новую классификацию. Какую из них предпочесть? Совместны ли они? Я думаю, несовместны и именно в несовместности совместны. Сейчас я подумал о списке или классификации, которая будет начинаться с телесного состояния, хотя бы вкусового, и дойдет до высшего, как это бывало у Д. И.⁸

Нормально человек не ощущает своих органов. В общем ощущении тела и здоровья каждый орган имеет одинаковый вес. Пусть он будет принят за нуль. Тогда болезнь не только то, что выше нуля, как, например, боль, но и то, что ниже. Сейчас у меня в левой половине груди отрицательный вес.

Обычно Евангелие морализируют, но нравственность, сама по себе, эгоистична: цель — «я»; так же эгоистичен категорический императив Канта. Категорический императив — высшая идеализированная форма безнравственности.

Сегодня, 25 ноября, начинаю новую жизнь. [Сколько раз я начинал ее, пока 16.X.63 не я, а Ты заставил меня начать новую жизнь и дал мне два устоя: в страдании и в радости страдания⁹.]

Во-первых, я постараюсь отбросить все мысли и разговоры, связанные с удовлетворением голода, который я ощущаю сейчас, и нередко очень сильно.

Во-вторых, постараюсь подавить в себе само ощущение голода. Для этого просто надо до и после еды думать не о ней, но или о других людях, заботиться о них, или думать о «Логическом трактате», или о Боге. Но когда я буду есть, я ведь могу ощущать вкус пищи?

В-третьих, постараюсь всегда быть радостным, не возвышать голоса, не сердиться.

В-четвертых, не обижаться и не считать несправедливым в отношении себя, если другие будут говорить и поступать не так, как мне бы казалось правильным. Тем более что они могут быть правы и могут понять мои мысли лучше меня. Я буду соглашаться с ними, когда они будут осуждать меня, даже если вначале мне покажется это неправильным и несправедливым. Но это трудно.

В-пятых, если же это не удастся, или меня будут несправедливо осуждать, или мне покажется, что меня несправедливо осуждают, то я постараюсь найти в этом радость и радоваться. Ведь это одно из блаженств.

В-шестых, я постараюсь понять мысли и чувства близких мне людей, с которыми я сталкиваюсь, чтобы не говорить и не делать того, что им неприятно, если только это не противоречит моей совести. Я буду стараться развивать в себе деликатность и такт.

В-седьмых, если мне вообще чего-либо захочется или придет в голову какая-либо прихоть, то я не буду огорчаться, если придется отказаться от нее, в особенности если это делается ради других.

Это значит: во-первых, понять, что все хорошо — и прихоть, и отказ от нее; во-вторых, понять радость жертвы. Это только начало. Здесь ничего не сказано о других людях, и не надо мне уходить из дома, если я и дома могу сделать так много и избавиться от стольких мерзостей. Мысли об уходе из дома часто вызываются отсутствием смирения и непониманием, что это хорошо, если меня несправедливо осуждают: начинаешь с Евангелия, а кончаешь собою; начинаешь сердиться и возмущаться не потому, что другие люди не понимают и не следуют Евангелию, но потому что они не хотят понять *меня* и следовать *мне*, проповедующему Евангелие. И здесь они правы. Как они могут поверить Евангелию, когда я сам, проповедующий Его, поступаю не по Евангелию. И этого во мне очень много. В таких случаях я постараюсь искать ошибки не у других, а у себя. Если же я почувствую, что не могу найти правильного выхода, или стану обижаться, или находить несправедливости в отношении себя, то лучше буду молчать, чем оправдываться, разъяснять, спорить. Вообще постараюсь: когда твердо не знаю, как или что сказать, — молчать; когда чувствую, что начинаю сердиться или обижаться, или мне кажется, что меня несправедливо осуждают, или знаю, что разговор будет все равно напрасным, и вообще когда нет обязательной необходимости говорить — молчать. [Могу ли я сказать, что сейчас хотя бы приблизился к исполнению этих правил? Нет, только одно: Бог поставил меня в такое положение, что мне редко приходится нарушать их.] Вчера были безобразные сцены, виноват я и вот записал 7 правил — это и вылечило меня.

Хлебников: «Я, тать небесных прав для человека,
Запирал мысль под слов туманных веко...»

Три чуда:

1. Бессмысленные звуки или знаки получают значение: день, голубой, медведи.
2. Затемнение первого смысла, обнаруживающее тайный смысл: в этот день голубых медведей. Но в словах: в этот день я увидел голубых медведей — нет ни затемнения первого смысла, ни обнаружения тайного. И так же в музыке: мелодия, о которой можно сказать только — печальная она или радостная, не имеет еще тайного смысла.
3. Рациональный смысл настолько затемнен, что появляется тайнопись. — Это третье чудо. В музыке: Бах — пересечение линий, прямолинейное и круговое движение, препятствия, пианиссимо и т. д.¹⁰

Второе чудо — только затемнение первого смысла и смысла первого чуда, то есть обозначения, третье чудо — нарушение первого. Все три чуда — тайнопись, магия, но подлинная только в третьем. Здесь сразу возникает подозрение: загадка, тайна — ее надо раскрыть, разгадать. Разгадывая, приходишь к чистым, ничего не обозначающим знакам. Смысл их соединений интуитивно понятен, но выражается снова ничего не обозначающими знаками. Так получают порядки ничего не обозначающих знаков и система этих знаков и порядков. Это тайнопись. Два пути: от

конкретных знаков в их бессмысленности к абстрактной бессмысленной формуле и вниз от формулы к конкретному выражению знаков.

В первый же день сегодня нарушил 1, 4 и 7 правила. Поэтому возникло некоторое уныние: от омерзения к себе. Может, это главный источник уныния. Как излечиться от него?

Нагнуться в глубину золотистым или темно-синим глазом и понять: я тот*.

Пять или шесть лет у меня было сомнение (с августа 1934 года). Я знал, надо немного слицемерить, сказать себе: я верю, — и вера вернулась бы. Но вера, основанная на лицемерии и лжи, хуже неверия. Надо было ждать или стараться что-то делать. Я старался, но, по-видимому, не так, как надо, и мало, я больше ждал. И она вернулась, пришла сама.

[Скорее так: как Гоголь, я мог сказать: в Христе такая мудрость, что умом я понимаю, так мог говорить только Богочеловек, но веры нет. И еще: в ночь на 17. III. 34 вестники¹¹ улетели, через 7 лет вернулись. Были ли эти 7 лет не верующим? Во всяком случае, неверующим я не был. Я искал, ждал и иногда чувствовал: как бы скрытый от меня или за моей спиной, но Он есть. По-настоящему, то есть для Бога, человек или верит, или не верит. Но так как бывает, что человек воображает, что верит, хотя и не верит, а только желает желать верить, или желает не верить, или думает, что не верит, хотя верит, то есть верит, но не знает, что верит, то у людей есть четыре категории: верующий, не верующий, не верующий, неверующий. До некоторой степени эта классификация совпадает со следующей: активно верующий, пассивно верующий, адиафора в отношении веры или пассивно неверующий, активно неверующий. Самая худшая категория, может, даже не четвертая, а третья; активно неверующий может стать активно верующим, а пассивно неверующий ничем не станет. Так вот, к последним двум категориям я никогда не принадлежал, во всяком случае, с весны 1911 года¹². Различие же первой и второй категорий можно определить так: чувствую я или не чувствую присутствие вестников. В ночь на 17 августа 1934 года вестники меня покинули, через 7 лет вернулись.

Затем второе: и у активно и у пассивно верующего бывают состояния актуальной и неактуальной веры. Но и в неактуальной и в пассивной вере сохраняется ощущение моей абсолютной инвариантности, но в основе ее, и дает ее — Бог. У пассивно верующего бывают актуальные состояния веры, но реже, чем у активно верующего. Они были у меня, хотя и не часто, и после того, как вестники меня покинули. И последнее: в наиболее актуальном состоянии веры часто кажется, что уже давно, может, никогда еще не было такой сильной веры; может даже показаться, что я вообще впервые узнал, что такое вера. В то время — в самом конце ноября или в декабре — у меня было актуальное состояние веры. Поэтому я и написал: вернулась вера¹³.]

Почему я не крещусь? Потому что мне нравятся храмы, обряды, традиции. Крестившись, я бы потерял чистоту веры. Было бы больше радости и молитвы, но к истине затесалась бы фальшь.

Положивший руку на плуг и оглядывающийся назад не благонадежен для Царствия Божия. Я не могу не оглядываться назад и не представляю себе, что когда-либо смогу не оглядываться назад. Я могу день, месяц, год не оглядываться назад, но на всю жизнь отказать себе не могу. Это последняя степень, и Евангелие не говорит, что она обязательна. Все, что сотворил Бог, хорошо: и еда, и питье, и водка, и празднотворие. Но если бы я достиг и предпоследней степени, но подумал: вот, есть для меня еще последняя степень, — и не постарался бы достичь ее, то в этом уже был бы грех. Греха нет в том, чтобы любить поесть и выпить, даже напиться, если это не делается непреодолимой страстью. Грех состоит в том, что, подумав: в этом нет греха, и это даже хорошо, но еще лучше было бы не делать этого, — и подумав так, не постараться исполнить. Я не знаю, большой ли это грех или нет, но если в чем-либо хорошем явилась мысль о лучшем, то не последовать этому все же будет грехом, и, по-моему, большим. Потому что в этой мысли я и есть я, и здесь я не хочу отдать себя самому Богу. Я согласен отдать все: и работу, и душу, и мысли, — но не себя самого — это большой грех. Причем я знаю и верю, что это и есть высшее блаженство, вернее, не верю, а как сказано в Символе веры: чаю. Потому что если бы я точно знал и верил, а не только чаял, то это был бы простой расчет и, следовательно, не имело цены. Всякая другая религия устанавливает только обряды и требует часть души. Только Евангелие требует всю душу и, я чаю, дает больше всего. Оно уже и сейчас дает, не как залог будущего, но даром, по благодати.

Если бы я сейчас отказался навсегда или на время от водки, от некоторых удовольствий, но не отказался бы от «Логического трактата», я получил бы некоторые неприятности, но приобрел бы очень мало, может быть, даже ничего. Возможно даже,

* Цитата из Хлебникова. — *Ред.*

что потерял бы, так как появились бы соблазны. Но отказ от «Трактата» во славу Божию — это было бы и отказом от удовольствий, то есть при этом удовольствия стали бы греховными — этот отказ от Бога ради Бога я не могу сейчас совершить — это значит не оглядываться назад.

Вообще отказ от менее дорогого ради того, чтобы сохранить себе самое дорогое, иногда может быть полезен как предварительное упражнение, вообще же есть некоторое лицемерие: на Тебе, Боже, что мне негоже. Мне кажется, к этому очень часто сводится аскетизм.

Вообще грех не в удовольствии и не в том, что мне доставляет удовольствие или наслаждение, но в самом большем наслаждении. Если расположить все блага по силе удовольствия их для меня, то ни в одном нет греха, кроме того, которое будет для меня высшим. Если составить абсолютную шкалу благ: А — В — С — ..., то для одного грехом будет А, для другого В, для третьего С и т. д., если они соответственно высшие. И даже не это грех. Если я наслаждаюсь всеми благами вплоть до того, которое высшее для меня, то в этом еще нет греха. Но если я подумал: вот у меня пусть будет семь благ, все они невинны и хороши, но вот есть восьмое благо, и оно еще лучше, но ради него надо отказаться от всех других и, главное, от седьмого, которое казалось мне высшим, — подумать это и не сделать сразу же — это грех.

Совместим ли категорический императив и теория Д. Скотта, что добро потому добро, что Бог так велел? Можно предположить, что человек поступает по категорическому императиву, то есть следует норме, не одобряемой Богом. Тогда Бог не будет постулатом, и только. Или Богом называлось бы другое существо, может быть, дьявол. Постулат требует только авторитета для категорического императива, то есть для нормы. Если же норма, следующая из категорического императива, и норма, установленная Богом, совпадают, то это случайность.

Т. Н. З.¹⁴ Из двух различных направлений исходят две системы. Вероятность, что они встретятся и совпадут, ничтожна. Тем не менее они совпали. Это случайность. Эта трансцендентальная случайность — небольшая погрешность в бесконечном несуществовании — есть начало жизни.

Случайное совпадение как закон реализации — Т. Н. З.

Случайное совпадение предохраняет от неразличимости; может, это принцип индивидуализации. Случайное совпадение, в результате которого возникло существование, будет случайным несовпадением для несуществующего.

№ 4. Бог ночного одения.

Когда говорят: Бог, — то имеют в виду не одно и то же, и это можно назвать состояниями Бога. Например, Бог моральный, Бог своей души, Бог ночного бдения.

Состояние № 4 — это Бог ночного бдения.

Для некоторых состояний существуют некоторые координаты, например сон и время суток. Тогда для этого: вечерний сон — пробуждение ночью и ночное бдение. В этом состоянии Бог лишен уже всех человеческих свойств, и такие слова, как — отдать себя Богу, излишни здесь — уже отдано все Богу, и все человеческое, что у меня было, уничтожено в Боге. При этом совершенно теряется некоторый неприятный моральный привкус слова *Бог*. Это и есть настоящее возвышение к Богу.

Бог моральный.

Бог своей души.

Бог норма.

Бог ничто.

Бог ночного бдения.

Бог всеобщего определения.

У Хармса — Бог смеха.

1 9 4 2

10 февраля.

3-го или 4-го умер Д. И. Так мне сказали вчера¹⁵, и если это правда, то ушла часть жизни, часть мира. Ночью несколько раз снилось. Сны ищут оправдания смерти, и этой ночью смерть Д. И. была как-то объяснена, но я не помню как, помню только переломленный пучок прутьев.

В последнее время Д. И. говорил о жертве. Если его смерть — жертва, то слишком большая. Сейчас она обясняется.

Первым ушел Д. Д.¹⁶ в конце декабря. Его смерть была такой же несуразной, как и он сам и вся его жизнь. Но в этой несуразности был стиль. Нелепой была вторая женитьба, кошки, которых он ел, разговоры о силе, которую он чувствовал и все же

не работал, и внезапная смерть. Эта нелепость была и в прошлой его жизни, и в совращении его Леной, и в жизни его в Крыму. Эта нелепость не была надуманной, она была естественной — это как бы трансцендентальный характер Д. Д., и в этом была некоторая красота и приятность. Эту стильную нелепость Д. Д. довел до конца. Смерть его не успокоила, не было обычного для мертвых благообозразия, скорее — недоумение. Затем — большой кадык. Смерть ему не сказала:

зачем он шел долиной чудной слез,
страдал, рыдал, терпел, исчез.

То, что к нему так легко подходит цитата, немного смешно, но тоже естественно: Д. Д. — тема для рассказа или повести.

Со смертью Д. Д. совпало начало моего растянувшегося отдыха и провал наступления. Затем — холод, истощение. Казалось, что уже конец всему. Ходить, во всяком случае далеко, я уже не могу почти два месяца. Евангелие не читал или очень редко. Но все же я начал работать, хотя еще не по-настоящему. «Логический трактат». Когда я его писал, было так холодно и я так слаб, что больше получаса писать трудно было. Затем мы¹⁷ переехали в одну комнату. Становилось все хуже, писать перестал.

Большое мгновение: утро, полутьма, грязь. Лида встает, я еще лежу, трудно встать, хотя хочется — от лежания болят кости, но страшно холода и движений. Это уже не жизнь, а полужизнь — двигаются тени в подземном царстве. Неделю или полторы тому назад стало совсем плохо, и я думал, что близок конец. Меня стали еще усиленнее подкармливать¹⁸.

Самое сильное ощущение голода было перед моим отдыхом, то есть в декабре. Когда перестал работать и писать, стало хуже, росла жадность. Я чувствовал, как сохнут желания и чувства. Снова осложнения: возможен Лидин, может быть, и мамин отъезд. Наконец, смерть Д. И. Это уже незаменимая жертва. Чтобы она не была такой бессмысленной и ужасной; я снова должен начать писать. Но я надеюсь, может, все же Д. И. жив?

[«О состояниях души» я закончил в последних числах декабря. В январе, а может, и в феврале 1942 — Т. Н. 3. и «Царство». Тогда же «Тайнопись, дважды сокрытая». В апреле или мае — «Формула чего-либо». С 14.III до 6.IV — стационар¹⁹. Немного поправился, стал ходить. Что писал там (в стационаре), не помню, в записной книжке до 3.V — ничего. В стационар меня привезла Л. на санях. А, кажется, через несколько дней я пешком — трамвай не ходили — пришел к вечеру домой и дома переночевал. Не стационар, а только желание видеть маму дало мне силы.]

3.V. Физиологический период после стационара прошел. Я как-то почувствовал святость пищи, например: грех катать шарики из хлеба. Январь—февраль: умирание, полусмерть, подземные тени, как в аду у Гомера. Категории-соблазны философии — тоже неуловимый мир теней. Царство.

Об ощущении голода. Три периода: нисходящая линия — все чаще произвольные мысли о еде, которые трудно подавить. Но до января все же как-то держался. В 10—11 часов вечера мама и Лида ложились спать, а я, выпив несколько чашек кофе, после чего во мне что-то как бы проваливалось, ложился на полчаса-час отдохнуть, а потом писал часов до четырех. Эти четыре часа совершенно не чувствовал голода. В январе падение — плоть победила, но победив, пала — потеряла силу. Это второй период, ощущение голода слабеет, даже не хочется вставать, чтобы поесть, иногда только вдруг отвратительная вспышка жадности, а потом снова безразличие. И в философии какие-то тени, и вдруг подъем — «Царство». [Уже потом мне казалось: если бы не поехал в стационар, может быть, и закончил бы «Царство» и умер. Смысл «Царства» — кеносис — Флп. 4, 12.] Третий период. Ощущения голода при выздоровлении снова возрастают, но их можно подавить настолько, что не чувствуешь голода. Голод в первом периоде — ослабление духа из-за ослабления плоти. Аскетизм — в третьем периоде — подавление плоти. Настоящий аскетизм возможен только тогда, когда поймешь святость пищи, а для этого надо пройти первый и второй периоды. Надо почти умереть физически, чтобы понять, что нет греха в том, чтобы есть, но что лучше — не есть. [Насколько верно это — не знаю, во всяком случае, слишком схематично: сентябрь — декабрь написано очень много — не упадок, а подъем; январь — февраль: «Царство» и, по-видимому, начаты «Соблазны».

По-видимому, и до мая читал снова Евангелие от Ин., Мф., Мк., Лк., потому что следующая запись — Лука.]

Лк. 4, 4—12. Дьяволу передана *власть* над всеми царствами. — Кесарю кесарево — высокое у людей мерзость перед Богом. Христос говорил, как *власть* имущий. Он говорит: Ему одному служи, а кесарю — работай.

Можно работать в Госиздате, а служить Ему одному.

18.V. На подоконнике против заколоченной квартиры Д. И.²⁰. Подоконник против заколоченной квартиры, и все, что с ней связано, — целый мир: распадение, разрушение, обнажение — тела, чувств, мира. Помогите, Господи.

19.V. Лк. 11, 24—26.

За эти четыре месяца что-то вышло из меня, из всех нас, С. Н. права и теперь, когда дом выметен и убран, возвращается. «И бывает для человека того последнее хуже первого». Вышла некоторая конкретность, конкретность связи людей; мы заглянули по ту сторону жизни и, вернувшись в эту, не можем забыть ту, тени с того света уже здесь. Помогите, Господи.

15.VI. Закончил дневник, доведенный до этой записной книжки. Он все же неприятен (кроме конца), как и первый, который, может, еще неприятнее. Но в этой записной книжке, кажется, нет этой неприятности. Потому что вернулись вестники. Вернулся Бог.

19.VI. Лк. 11, 8, — неотступность. Д. И. говорил об одержимости. Это было у меня с начала войны до января 1942 года. А сейчас — неотступность.

Лк. 12, 21. «...кто собирает сокровища для себя, а не в Бога, богатеет».

Лк. 12, 35. «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи».

Лк. 12, 37. «Блаженны рабы те, которых господин, пришедши, найдет бодрствующими».

27.VI. Вот чресла уже препоясаны. Мы эвакуируемся. Вышло это совсем неожиданно. Т. осталась. Я должен был уехать — мама, Лида. А уезжать не хотел не только из-за Т.

Лк. 12, 49. «Огонь пришел Я низвести на землю: и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен Я креститься: и как Я томлюсь, пока сие совершится». Вот почему не хочу уезжать из Ленинграда.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Д р у с к и н Михаил Семенович (1905—1991) — брат Я. С. Друскина, известный музыковед, профессор консерватории, и его жена Д р у с к и н а Надежда Александровна (1903—1962).

² Здесь и далее номерами (1, 2, 3, 4) автор обозначает состояния своей души.

³ Д ж е м с У и л ь я м. Многообразие религиозного опыта. М. 1910.

⁴ Буквами греческого алфавита автор обозначает экстенсивное (Е) и интенсивное (I) состояния.

⁵ Автор имеет в виду содружество чинарей, состоявшее из трех поэтов: Александра Введенского (1904—1941), Даниила Хармса (1905—1942) и Николая Олейникова (1898—1937), — и двух философов: Леонида Липавского (1903—1941) и Друскина.

⁶ Л и п а в с к а я Тамара Александровна (1903—1982) — жена Л. Липавского.

⁷ Р о й с Джозю — философ начала XX в., называвший свою доктрину «абсолютным прагматизмом».

⁸ Имеется в виду Даниил Хармс.

⁹ 16 октября 1963 г. умерла мать Я. Друскина.

¹⁰ Я. Друскин написал ряд работ, посвященных анализу музыки Баха (см. ниже библиографию Я. С. Друскина, 1, 2).

¹¹ См.: Д р у с к и н Я. Разговоры вестников. 1932 (рукописный отдел ГПБ, ф. 1232).

¹² «Некоторые события, решения, поступки были в моей жизни решающими, — пишет Я. Друскин в дневнике, — они изменили мою жизнь. <...> В мае 1911 года на прогулке с отцом и младшим братом <...> у меня внезапно открылись глаза, я увидел тайну, не помещающуюся в моей душе. <...> Я почувствовал, что что-то изменилось, вернее, все стало другим <...>, но что случилось, не понимал. <...> Это я теперь понимаю: меня призвал Бог».

¹³ В ноябре — декабре 1941 г. автором написана первая часть работы «Симфония, или О состояниях души и пространствах мысли».

¹⁴ Работа Я. Друскина «Теория нормальной законности философской системы» (написана в октябре — декабре 1941 г.).

¹⁵ Друскин узнал о смерти Хармса от его жены М. Малич.

¹⁶ М и х а й л о в Дмитрий Дмитриевич (? — 1941) — преподаватель немецкого языка в университете. Принимал участие в беседах чинарей, но не являлся членом их содружества. Я. Друскин надеялся, что пропавший без вести Липавский жив. Поэтому он пишет, что Михайлов ушел первым.

¹⁷ Друскин с матерью и сестрой.

¹⁸ «Подкармливание» состояло из одной-двух ложек муки, из которых приготавливался кисель (или, вернее, клей).

¹⁹ В гостинице «Астория» был открыт стационар для дистрофиков.

²⁰ Последний раз на квартире Хармса Друскин был в октябре 1941-го, когда в дом попала бомба. Вместе с женой Хармса они собрали все рукописи, которые смогли найти, и сложили их в чемоданчик. Малич передала его на хранение Я. Друскину. При аресте Хармса (в августе 1941-го) обыска в квартире не было... В мае 1942-го Друскин пришел к дому Хармса без определенной цели, чтобы вновь ощутить атмосферу довоенных лет, частых встреч с наиболее близким ему другом.

БИБЛИОГРАФИЯ ЯКОВА СЕМЕНОВИЧА ДРУСКИНА

Книги, брошюры

1. [В соавт. с М. С. Друскиным] «Страсти по Матфею» И. С. Баха. [Л.] Ленинградская государственная орден Трудового Красного Знамени филармония. 1941. 48 стр. с нотами.
2. «Про риторичні прийоми в музиці Й. С. Баха» [«О риторических приемах в музыке И. С. Баха»]. К. «Музична Україна». 1972. 109 стр. з нот. (в переводе на болгарский — София, 1987).
3. «Вблизи вестников». Составление, редакция и предисловие — Г. Орлов. Washington: H. A. Frager & Co. 1988. 325 стр.

Публикации в книгах и периодических изданиях

4. Комментарии к текстам А. И. Введенского. В кн.: Александр Введенский. Полное собрание сочинений. Т. 2. Анн Арбор. «Ардис». 1984.
5. «Чинари. Стадии понимания». — «Wiener Slawistischer Almanach». Bd 15. Wien. 1985.
6. «Разговоры вестников» (фрагмент). Предисловие и публикация И. Г. Вишневецкого. — «Равноденствие», М., 1989, № 1(2).
7. «Чинари». Предисловие и публикация Лидии Друскиной. «Аврора», Л., 1989, № 6.
8. «Сны». Предисловие и публикация Л. Друскиной. «Даугава», Рига, 1990, № 3.
9. «О конце света». Публикация Л. С. Друскиной. «Равноденствие», М., 1990, № 4.
10. «Учитель из фабзавуча». Предисловие и публикация Л. Друскиной. «Gnosis», New York, Fall 1990, № 9.
11. Записка о стихотворении «ПолоТЕРА^М и ОНА^{штА}». В приложении к «Еще один текст Герентьева?». Предисловие, публикация и примечания А. Г. Герасимовой и А. Т. Никитаева. «Русский литературный авангард. Материалы и исследования». Под ред. Марцио Марцалурит, Даниелы Рицци и Михаила Евзлиня. Тренто. Университет Тренто. 1990.
12. «Перед принадлежностями чего-либо». Из дневника 1932—1935 гг. Приложение. «Учитель из фабзавуча. О конце света». Предисловие, публикация и примечания Л. С. Друскиной. «Незамеченная земля». М. Пб. 1991.
13. «On Daniil Kharms» («О Данииле Хармсе») (Translated by Neil Cornwell). «Daniil Kharms and the Poetics of the Absurd». Ed. by N. Cornwell. 1991.
14. «Коммуникативность в творчестве Александра Введенского». Из книги «Звезда бессмыслицы». «Театр», М., 1991, № 11.
15. «Религиозно-философские эссе». Предисловие и публикация Л. С. Друскиной. «Искусство Ленинграда», Л., 1991, № 8.
16. «Дьявол в виде ничто — μη όν». Публикация Л. С. Друскиной. «Арс», СПб, 1992, № 1—12.

Составил И. Г. ВИШНЕВЕЦКИЙ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

У Пьера Буля, довольно известного и в меру занудливого французского фантаста, есть рассказ «Когда не вышло у змея»: на одной из трех миллиардов обитаемых планет вселенной местная Ева вопреки ожиданиям не поддавалась соблазну и отказалась сорвать плод с дерева, «приятного для глаз и вожделенного». Поскольку сразу же выяснилось, что безгрешные, не знающие добра и зла люди, безудержно размножающиеся (согласно Божьему наказу), в скором будущем заполняют все миры, вытесняя своих надших собратьев по разуму, Господу срочно пришлось взять проблему искушения в свои руки. Детали этой истории к дальнейшему изложению не имеют отношения, отмечу лишь, что идея об активной, необычной роли Всевышнего в грехопадении высказана тут в форме анекдота, завуалированной под шутку антиномии: невинный опаснее надшего.

Я уверен, что Яков Семенович Друскин не читал описанного выше рассказа, но его, привыкшего видеть в абсурде, в антиномии не бесплодную игру ума, а реальную основу для экзистенциальной философии, подобная постановка вопроса могла бы заинтересовать. Утверждение двух несовместных положений как способ удержания действительных связей и отношений (по образу канонической христианской формулы о богочеловеческой природе Спасителя — неслиянно и нераздельно), некоторое сомнение и воздержание от суждения, глубокая вера, но не застылая, а живая (самая сильная, по его собственному определению, вера, которая не верит), — вот основы религиозно-философского учения Якова Друскина, глубокого, оригинального мыслителя, чьи работы, созданные в 30 — 70-х годах, лишь теперь становятся доступными читателю.

Вынужденный заниматься творчеством в условиях искусственной изоляции, налаженной советской системой, философ независимо пришел ко многим положениям религиозного экзистенциализма, а в ряде случаев и опередил своих западных коллег. «Кьеркегор мне сейчас так интересен, — пишет он в дневнике, — потому что я нахожу много общего между его и моей философией еще до 1954 года, когда я впервые познакомился с ним. Даже не общее, а иногда то же самое, только на разных языках. <...> Он идет от теологии к философии, я — от философии к теологии, хотя общая основа — Благая весть — та же».

Подлинным философским открытием Якова Друскина явилось формулирование им принципа одностороннего синтетического тождества. Он сам так оценивает свое достижение в дневнике: «По-видимому, это действительно большое открытие: моя жизнь сейчас есть жизнь и мысль о ней, но мысль о жизни — не жизнь. <...> Я живу сейчас и сразу же знаю, что живу: если сейчас имею что-либо, то знаю, что имею. Я могу ошибаться в содержании моего знания и имени, но не в самом имени. Это знание есть некоторая мысль, значит, моя жизнь сейчас есть жизнь и сразу же мысль о ней. Я не могу ни найти, ни представить себе ни одного состояния моей жизни, когда бы жизнь сейчас не была бы сразу и мыслью о жизни сейчас, простое обращение внимания на что-либо будет уже констатированием чего-либо мыслью, и это уже мысль <...> Но мысль о жизни не есть жизнь: сейчас я думаю о своей жизни, значит, жизнь — другое: то, о чем я думаю. <...>

Формулой это выражается так: А есть А, тождественно В; само В не тождественно А. Это тождество синтетическое, так как само В не тождественно А; оно одностороннее, так как А тождественно В. <...> ОСТ — принцип и жизни, и философии, и искусства: то же самое в различном и различное в том же самом».

Согласно Канту сущность и явление распадаются, вещь оказывается вещью в себе, и поскольку помимо наших органов чувств (в достоверности свидетельств которых нет уверенности) мы ничем не располагаем, надежда пробиться к лежащему за пределами я миру напрасна. Друскин ставит проблему иначе: граница между миром и мной не изначальна, она результат деятельности сознания, выделяющего определенный объект в момент, когда я обращаю на него внимание, из единого мирового континуума и, хуже того, в этом же познавательном акте выделяющего из этого континуума меня, мое я, распадающееся в рефлексии на «я» и «я сам». Был единый целостный мир, но пришел грех — неустранимый грех моего искушенного разумом, и вот уже нет целостности, но есть объект и субъект, сущность и явление, я и я сам, точнее, меня нет, потому что я сам — не я (той я, который до знания был в большем, был в Боге, был связан со всем). Так одной из важнейших проблем философии становится библейская тема грехопадения.

Каноническое воззрение на то, что источником греха было своеволие и само грехопадение есть лишь акт нарушения Божьей заповеди, подверг сомнению еще Кьеркегор. Невинный человек не мог обладать своеволием, полагал он, грех не в послушании, а в познании, самом знании добра и зла. Вот что пишет по этому поводу Лев Шестов, комментируя Кьеркегора: «Грех не в бытии, не в том, что вышло из рук Творца, грех, порок, недостаток в нашем «знании». Первый человек испугался ничем не ограниченной воли Творца, увидел в ней столь страшный для нас «произвол» и стал искать защиты от Бога в познании, которое, как ему внушил искуситель, равняло его с Богом, т. е. ставило его и Бога в равную зависимость от внешних, несотворенных истин, раскрывая единство человеческой и божественной природы. И это «знание» расплощило, раздавило его сознание, вбил его в плоскость ограниченных возможностей, которыми теперь для него определяется и его земная, и его вечная судьба» (Шестов Л. Кьеркегор и экзистенциальная философия. М. 1992, стр. 24—25). Шестов радикализировал воззрения датского философа, который, отдавая предпочтение вере, тем не менее никогда не видел в знании сатанинской силы. Напротив, Кьеркегор полагал, что в невинности человек еще слит с природной средой, дух его дремлет, глаза закрыты. Знание открывает глаза, и тут антиномия — открывание глаз — приводит к греху.

Кьеркегор признавал, что роль змея в истории с грехопадением ему совершенно не ясна. Он искал внутреннюю причину. Так родилась формула: невинность есть в то же время и страх — страх перед Ничто. Страх толкнул человека на нарушение заповедей.

Шестов отвергает такую мотивировку, и небезосновательно: до грехопадения нет греха, не может быть и страха. Но дальше, увлеченный обличением познания («...умение различать добро от зла есть падение, и притом самое страшное и пагубное» — там же, стр. 186), русский философ начинает фантазировать. Оказываясь, в невинности человек был абсолютно свободен, совершенен, силен. Но тогда грехопадение выступает как акт внешней катастрофы, тогда змей — враждебная человеку сила — просто загниотизировал его при попустительстве Бога, бросившего на произвол собственной творение. Шестов и обмолвится: «По воле Бога человек поддался соблазну и утерял свободу» (там же, стр. 229). Но осмыслить значение своей обмолвки не станет.

Сам загниотизированный, как библейским змеем, философией Ницше, Шестов предпочитает рассуждать о божественном произволе, о том, что Бог выше добра и зла, что Бог стоит над всякой моралью. В пафосе этих высказываний об «аморальном» Боге чудится что-то от ужаса мальчика, подглядывшего совокупление взрослых и на этом основании теперь не верящего в любовь. Бог не выше добра и зла, Он сам есть добро — жизнь и «свет человек». Друскин, исходя из той же посылки, из утверждения, что грехопадение фактически совершилось по воле Бога, приходит к глубокому пониманию связи между греховностью и познанием: не знание само по себе грех, но знание, возложенное на сотворенного, бесконечная ответственность в видении, возложенная на конечного (и его несоответствие, его уклонение от этой непосильной ноши), — вот источники греха. Если хотите, грех — наше неумение, нежелание и фактическая невозможность в знании идти до конца и при этом самовозвеличивание, абсолютизация способностей интеллекта. Здесь узловый момент гносеологии религиозного экзистенциализма.

Где же выход для человека, обреченного знанию, которое является препятствием своего же собственного совершенного развертывания и осуществления? Ведь первое, к чему стремится разум — обнаружение всеобщей необходимой мировой связи, — наталкивается на разрушительную работу того же самого разума по раздроблению мира на объект и субъект познания, по обособлению предметов исследования, по разделению в рефлексии «я» на «я» и «я сам». Где же выход? Ответ евангельский: человеку это невозможно, Богу же все возможно. Именно на это и указывает Друскин как на экзистенциальный выход, точнее, даже не выход — возможность, надежду, упование: сначала вера, потом разум. Причем вера в то, что логике, умозрению представляется абсурдом; на все времена тут действует формула Тертуллиана: «Сын Божий был распят; этого не надо стыдиться, ибо это постыдно. И умер Сын Божий; это достойно веры, ибо это нелепо. И погребенный, он воскрес; это несомненно, ибо невозможно». Не столь уж экстравагантные заявления, ведь верим же мы в свою способность перемещаться по комнате, хотя Зенон еще две тысячи лет назад доказал (никем до сих пор не опровергнутую) логическую невозможность движения.

Философия Кьеркегора, с которой перекликаются воззрения Друскина, явилась реакцией на кризис рационалистической метафизики, господствовавшей в Европе с XVII века. Последователи датского мыслителя в своем антирационалистическом порыве готовы были вообще предать знание и разум проклятию. «Экзистенциальная философия выходит за пределы «объяснений», экзистенциальная философия в «объяснениях» видит своего злейшего врага», — пишет Шестов в книге, специально посвященной о б ъ я с н е н и ю его неадекватного отношения к ratio. Антирационализм в итоге вырождается в антиинтеллектуализм, в наивную попытку «не думая» вернуться в невинное состояние. Друскин отлично видел и показал в своих работах, что это ложный, лукавый выход — выбор невыбора, который тоже по своей форме есть выбор (то есть реализация свободы воли, порожденной все тем же навязанным человеку знанием добра и зла). Не случайно Друскин ценил Гуссерля, главу феноменологической школы, учение которого проникнуто строго научным подходом, преданностью идеям Декарта и Канта; признанных лидеров рационалистической философии. Сложные же отношения веры и знания, их связь могут быть проиллюстрированы в терминах открытого Друскиным одностороннего синтетического тождества: вера есть вера, тождественная знанию; само знание не тождественно вере. Оставленный же сам на себя разум способен дойти разве что до горьких строк из «Мифа о Сизифе» Камю: «Кроме профессиональных рационалистов, все знают сегодня о том, что истинное познание безнадежно утрачено. Единственной осмысленной историей человеческого мышления является история следовавших друг за другом покаяний и признаний в собственном бессилии» (К а м ю у А. Бунтующий человек. М. 1990, стр. 33). Экзистенциализм отверг претензии разума служить единственным основанием метафизики. Но антирационализм, не соединенный с верой, превращается в философию безнадежности: не «безумное Божье» апостола Павла, не кьеркегоровский абсурд соединения несоединимого, а бессмысленность заброшенности в непознаваемый мир, сартровская тошнота. «Абсурд — это грех без Бога», — скажет Камю, обвинив Кьеркегора, Шестова, Гуссерля в философии примирения. Между тем продемонстрировать свою непримиримость можно лишь перед лицом К о г о - т о . С ч е м - т о , с равнодушным природного процесса приходится если не мириться, то

сообразовываться. Философия принятия условий, чья стихийная игра представляется сознанию чудовищной и иррациональной, может, конечно, кого-то вдохновать, но вообще-то выглядит ущербной. И не по каким-то там моральным, психологическим или социальным причинам, а прежде всего, так сказать, в жанровом отношении. В конце концов, просто скучно, однообразно скучно жить и напоминать себе, что «жизнь пустая и глупая шутка». Это как последний плацдарм, с которого некуда уже отступить и нет сил предпринять наступление.

Может быть, поэтому так вдохновляют, так откликаются в сердце строки Якова Семеновича Друскина, которыми я и хотел бы кончить мое сбивчивое рассуждение: «Вера — не теология и не догмат, а экзистенциальное и поэтому противоречивое состояние. Теология и философия пытаются только анализировать это состояние и иногда, если это поэтическая теология и философия, дать некоторый намек на неизвестный ответ, на неизвестный вопрос, ограничить область, где лежит неизвестный ответ на неизвестный вопрос. Одна из окрестностей неизвестного ответа — трансцендентность и имманентность Бога, и обе должны быть радикализированы до последней степени: самое далекое, абсолютно не мое — самое близкое, абсолютно мое».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР

*

НЕСБЫВШЕЕСЯ

Альтернативы истории в зеркале словесности

Вопрос об «истории в сослагательном наклонении» («что было бы, если бы...») в последние годы стал весьма популярным, обсуждающимся едва ли не повсеместно, волнующим не только историков и политиков. Прошлое (реальное или мистифицированное) оказалось призмой, сквозь которую можно рассматривать неустойчивое настоящее и смутное будущее. Найденная или угаданная логика исторического процесса сулит, по мнению многих мало в чем другом схожих интеллектуалов, верное понимание дня сегодняшнего, помогает кому-то «управлять» историей, а кому-то — выживать на ее ветру. Обращение к «точкам поворота», к тем моментам, последствием которых мы привыкли числить все случившееся в дальнейшем, может породить как минимум два эмоциональных состояния: либо забубенное «опять сорвалось!», либо умудренное «иначе и быть не могло».

Оба эмоциональных комплекса в свою очередь способны подтолкнуть к разным выводам. Так, тоскуя по утраченной альтернативе, можно предполагать возможность ее возрождения на новом историческом витке и исполняться духом надежды, а можно и воспринимать катастрофу как знак будущих бед, свидетельство национальной обреченности. Сходное суждение еще легче дается фаталисту, но сам по себе фатализм вовсе не обязававшими, вычеркнуть их из общественной памяти. Историк, удовлетворен всем случившимся. В таком случае естественно его раздражение и теми, кто некогда искал альтернатив, и теми, кто ищет их сегодня.

Во избежание недоразумений оговорюсь. Внимание к событиям не состоявшимся, но «стучавшимся в дверь», выраставшим из реального расклада исторических сил, наконец, самим своим «не-свершением» повлиявшим на потомков (не мы первые рассуждаем о том, чего не было, не могло быть), не подразумевает желанья «иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Верность истории позволяет увидеть ее «домашним делом», а стало быть, чувствовать личную ответственность за грехи предков. Именно включенность в историю страшит от прекрасного ее притягивания. И уж тем более не позволяет забывать об утраченных путях, о том, чего не было.

Находя «поворотные» точки в истории и реконструируя (изобретая) альтернативные победившему сюжету версии, мы, кроме прочего, воздаем должное побежденным. Строго говоря, мы делаем следующий шаг по пути, что определен любому ответственному историку. Идеолог победившей группировки заинтересован не в объемной и многосоставной истине, но в торжестве единственно верной («своей») тенденции. В пределе он стремится даже не опорочить поверженных, но представить их не существовавшими, вычеркнуть их из общественной памяти. Историк, обращающийся к давнему конфликту и стремящийся воссоздать его во всем смысловом богатстве, уже тем самым реабилитирует потерпевших поражение. Рассуждая о возможном торжестве Твери над Москвой (начало XIV века), Новгорода — над Москвой (конец XV века), группировки Софьи Алексеевны и В. В. Голицына — над Петром (конец XVII), верховников — над сторонниками «самодержавства» (1731), неудаче государственного переворота, вознесшего в 1762 году Екатерину II на российский престол, срыве заговора, низвергнувшего Павла I (1801), победе декабристов, продолжении реформ Александра II, избежавшего народовольческих бомб, и т. д. и т. д., мы выявляем значимые духовные и культурные тенденции, договариваем то, что не дозволил договорить когда-то рок или случай. Фантазия коренится в реальности и разрешает увидеть ее в непредсказуемости истинной свободы.

Здесь, казалось бы, беллетрист должен чувствовать себя увереннее, чем исследователь. Должен бы... Но, как увидим, так случается совсем не часто¹.

В 1985 году (что само по себе знаменательно) Вячеслав Пьецух закончил сочинение под названием «Роммат», что означает «романтический материализм». В 1989 году (интервал особых комментариев не требует) сочинение было опубликовано в журнале «Волга» (№ 5—6). Анонсируя опыт прозаика, входившего в ту пору в заслуженный фавор, журнал поместил в одном из предшествующих номеров великолепную цитату. Суть ее сводилась к тому, что 14 декабря 1825 года «все могло выйти совсем иначе...». За многообещающим многоточием следовало сообщение редакции о том, что Пьецух в «Роммате» как раз и рассматривает увлекательную гипотезу.

Редакция «Волги» лукавила. Точнее, говорила не всю правду. Пьецух и впрямь центральный фрагмент своего трехчастного сочинения посвятил обсуждению фантастической гипотезы. Зато эпизодами первым (о предыстории восстания декабристов) и третьим (объясняющим, почему все было так, как было) начисто разбил фантазии центрального сюжета. Альтернативная история в «Роммате» — приманка для читателя, интеллектуальный фокус, чарующий простакот и разоблачаемый сразу по исполнению. Более того, сама обрисовка победоносного бунта подводит к любимой мысли Пьецуха — мысли о бессмысленности и невозможности победы декабристов.

В фантастическом эпизоде Пьецух не форсирует, но и не приглушает свою обычную повествовательную интонацию. Та же дурашливая велеречивость, временами соскальзывающая на прибалтыванность, та же нотка удивления, свидетельствующая о том, что прозаик устал удивляться ужимкам и прыжкам разномастных персонажей и обреченно повторять любимое присловье «во дают!». «Во дают» или «выдают» все без исключения индивиды, попадающие в поле зрения Пьецуха. Каждый из них вправе рассчитывать на титул «человека исторического», хотя далеко не все похожи на Ноздрева. Кстати, Гоголь, характеризуя своего героя, намекал на семантическую сложность, едва ли не глумливости слова «история», готового существовать и в высоком контексте, и в контексте низменно-скандальном. (Предвещьем такого взгляда можно назвать сцену из фонвизинского «Недоросля», где серьезная для Правдина наука контрастирует с теми историями, которые рассказывает Митрофанушке и Вральману скотница Хавронья.) Гоголевский намек был рассыпан Булгаковым: «Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!» Опуская анализ реплики Воланда (на мой взгляд — ключевой в романе «Мастер и Маргарита»), замечу, что, вероятно, у Булгакова Пьецух учился лавировать между Историей (тайнственным ходом событий, управляемым анонимной и могучей силой) и историей (чередой банальных скандалов и разборок). У Пьецуха анекдот громоздится на анекдот, персонажи толкаются, дерутся, куролесят и бузотерят, автор подсмеивается, зная, что между тем свершается «нечто», требующее чрезвычайно длинных и муторных описаний, но в итоге сводящееся к непреложному: все идет по плану.

Читая в «Роммате» о гипотетическом перевороте 14 декабря, поражаешься, во-первых, «кровожадности» повествователя, а во-вторых, ошеломительному комизму происходящего. «Пивоваров (унтер-офицер, на которого «значительно посмотрел» князь Щепин-Ростовский, ставший у Пьецуха ключевой фигурой мятежа. — А. Н.) гакнул, напустил в глаза несколько искусственную, а потому особо страшную лютость и, резко взмахнув ружьем, всадил штык в грудь Николаю Павловичу, — император покачнулся и обомлел». Это не страшно, а смешно. Не человека убили — куклу насадили на штык: «тело стало медленно оползать и, произведя какой-то вещевой стук, рухнуло на паркет», — будь прежде перед нами живой человек, можно было бы говорить об «остраненном» изображении убийства, но и прежде была кукла, правда, дергавшаяся иначе. Убил тоже не человек, автомат, заведенный взглядом князя Щепина-Ростовского. И князь — автомат, не размышляющий, но действующий словно в опьянении. Думается, что и выбран Пьецухом на роль вершителя судеб России этот горячий декабрист потому, что в реальности вел он себя 14 декабря на редкость театрально и достаточно бестолково. Впрочем, и рефлектирующие персонажи Пьецуха (например, Рылеев) похожи на автоматы: просто они настроены на другую программу.

В кукольном мире кровь (клоквенный сок) должна бить фонтаном. «Уже была заколота штыками старушка Мария Федоровна, уже до такой степени затоптали великого князя Михаила, что он представлял собою ворох кровавых тряпок, и молодая императрица Александра Федоровна, как ни бегала от москвитцев по дворцовым покоем с большой подушкой в руках, которой она норовила загородиться, была застрелена возле дверей Петровского зала и валялась у стены, как пестрый мешок».

¹ Далее речь пойдет в основном о книгах, уже прочно вошедших в читательский оборот: Часть из них — «Роммат», «Душа патриота...», «Остров Крым» — обсуждалась и на страницах «Нового мира».

Все это не слишком похоже на «практику» российских переворотов и тем более на возможные действия декабристов. Различие между ними и теми, кто убивал Павла I, многократно обсуждалось историками. Пьецух, однако, оперирует некоторыми деталями этого и впрямь наиболее театрально-безобразного покушения, точнее даже, с набором знаков, привычных после пьесы Д. С. Мережковского (ср. у Мандельштама: «Здесь Арлекин мечтал о славе яркой»). Впрочем, ни Мережковский, ни Мандельштам не сводили историю к балаганной потасовке. Такой взгляд присущ некоторым булгаковским персонажам. Пьецух улавливает интонацию Мышлаевского, рассуждающего в подпитии: «...разве это народ! Ведь это бандиты. Профессиональный союз царевичей. Петр Третий... Ну что он им сделал? Что? Орут: «Войны не надо!» Отлично... Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя по морде бутылкой — хлоп! Где царь? Нет царя! Нет царя! Павла Петровича князь портсигаром по уху... А этот... Забыл, как его. С бакенбардами, симпатичный, дай, думаю, мужикам приятное сделаю, освобожу их, чертей полосатых. Так его бомбой за это?»

Буффонность декабристского торжества (напор ироничного слога не дает воспринимать всерьез многочисленные убийства, разрушения и кошуинства, предполагаемые и живописуемые Пьецухом) неотличима от буффонной природы российской истории «по Пьецуху». Эксцесс не отменяет ее логики; следствия из победы дворянской революции отнюдь не гадательны: гражданская война, крестьянские восстания, реставрация или бонапартизм. «...и в случае реставрации самодержавия русская общественная и личная жизнь претерпела бы значительные изменения к лучшему, то есть не к лучшему, а по западноевропейскому образцу, что, в свою очередь, также повлекло бы разнообразные, но преимущественно странные перемены». Далее пускаются в ход ученые словеса («своевременная капитализация», «идеалы спроса и предложения»), дабы автор мог постулировать: мы бы обуржуазились, утратив по дороге «трогательно-героический послух народовольцев» и «подвижничество пролетарских революционеров», и «не имели бы многого из того, что сегодня пронзительно дорого нашему сердцу, и не справили бы свою мировую духовную миссию». А раз нынче «справляем» (Пьецуху это ясно), то и надо было декабристам провалиться. Что они, впрочем, и сделали.

Неостановимое рассказывание анекдотов — занятие скучное. Это известно из опыта застолий. Пьецуховская история есть длинная цепь анекдотов, дурацких кулбитов, возникающих с удручающей неизбежностью. Существоно не то, что Пьецух положительно оценивает все свершившееся (вольному воля), а то, что, рассматривая альтернативный вариант, он измеряет его все той же стандартной меркой. Курьезность декабристской победы и непреложность ее следствий взаимобусловлены. Эксперимент не приносит в систему новизны. Да и откуда ей взяться, если действуют у Пьецуха марионетки да «субстанциальные силы». Здесь нет места неповторимой личности с ее тайной и непредсказуемостью — признать права за субъектом значит, по Пьецуху, признать «фантазмагорию случайностей, конструкция которых зависит от логических поступков и прихотей частных лиц, словом, историю ради истории». А такого безобразия писатель, твердо знаящий, что «человечество движется от худшего к лучшему», никак признать не может. Куда проще воспринимать все прошедшее как предысторию (несколько бестолковую, да что поделаешь) грядущих радостных времен, ибо «историческая необходимость в конечном итоге есть необходимость превращения человека по форме в человека по существу». Ради этого «человека по существу» можно и посмеяться над «человеками по форме», забыв, что были они обладателями бессмертных душ и свободной воли, а не материалом для «естественного отбора».

В мире Пьецуха альтернативы неуместны. Поэтому мастер впечатляющего анекдота и не может выстроить сюжета, очертить эволюции героя, запечатлеть характер (при редком умении схватить «маску», обыграть впечатляющую деталь). Поэтому так просто Пьецуху сочинять «Историю города Глухова в новые и новейшие времена», полегоньку эксплуатируя щедринские приемы. Поэтому так любит он рассматривать российскую историю как некое обаятельное и страшноватое единство, нарочито брезгуя неповторимостью того или иного ее этапа. «У нас еще при Николашке Кровавом общественное было выше личного. Про борьбу Ивана Грозного с врагами народа я даже не заикаюсь. И насчет сплошной коллективизации при Михаиле Романове промолчу». Оспаривать деда Серафима (рассказ «Трое под яблоней») не станем. Во-первых, с персонажем связываться неприлично (а у Пьецуха если речи и не доверены персонажу, то повествование сказовое, то есть дистанцированное от автора). Во-вторых же... похоже, что вся изрядная ученость сочинителя, не устающего повторять свои заветные суждения (свежайший пример, лишенный, впрочем, всякой новизны, — «картина в разговорах» /«Заколдованная страна».. — «Знамя», 1992, № 2/), зиждется на детской доверчивости к университетскому учебнику. Эту доверчивость можно зашифровать («в результате сплетения множества экономических, географических, этнографических, исторических и прочих причин».

восходящих едва ли не ко времени принятия христианства»), можно подсветить игрою слога и прелестью сознательных анахронизмов, но останется она все же собой. Вольность речи не гарантирует вольной мысли, а по мне, так нет ничего скучнее, чем читать: «Россия в 1731 году была не готова к сколько-нибудь республиканским формам».

Проза Пьецуха — едва ли не идеальная модель домашней историософии, сформировавшейся в 70-е — ранние 80-е и обнародованной в иных условиях. Вчитываясь в сочинения, частью предшествующие Пьецуховой саге, частью синхронные ей, видишь две тенденции. С одной стороны, это представление об истории России как о чем-то неизменном и равном себе, то есть представление о тождестве истории и национального мифа. (Здесь важную роль играет смысловой комплекс коловращения, мены верха и низа, открытия родства в смертельных врагах — мотивы, филигранно разработанные русскими символистами от Мережковского до Волошиной.) С другой — апология приватного человека, не имеющего касательства к постыдному кошмару истории или сознательно его сторонящегося. Тенденции эти подразумевают и подпитывают друг друга, хотя не всегда такого рода «согласие» прорывается в явных формах.

Так, роман Василия Аксенова «Остров Крым» строится на преодолении начального авторского посыла. Остроумная выдумка, отменившая географическую норму, позволила Аксену изящно обосновать альтернативу советской истории: красные не смогли захватить свободный остров, и там возникло независимое государство со всеми буржуазными прелестями и пороками. Но логика российской мифа неумолима: тоталитарный Советский Союз обречен на захват райского уголка (хотя никому из московских начальников этого и не нужно); патриотическая одержимость крымчан заставляет их радостно ринуться в железные объятия коммунистических оккупантов. «Герой» (со всеми чертами, подобающими именно герою, одновременно творцу истории и «лишнему человеку») становится главным виновником печальных событий: именно неумолимость Андрея Лучникова, готового ради России пожертвовать всем на свете, становится катализатором неизбежной победы тоталитаризма. Альтернатива гибнет: красные взяли Крым всего на полстолетия позже — стоило из-за этого кроить географическую карту?

Если судьба России — дело решенное, то что значат любые революции, перевороты, реформы? Мена знаков, «оперетка», карнавал, и только. Недаром властитель России, низвергающий коммунизм, но сохраняющий тайную полицию, хоть и именуется царем Серафимом, но остается Сим Симычем К а р н а в а л о в ы м — шутком, которого мифологическая цикличность прямо-таки обязана вознести к вершинам власти. В данном случае можно оставить без внимания и блестящие, иногда очень точные наблюдения Владимира Войновича над природой тоталитаризма, и редкую грубость иных его решений, превращающую ряд сцен романа «Москва 2042» в злой и несправедливый пасквиль. Существенны для нашего разговора не достоинства и недостатки книги Войновича, но его приверженность мифу, отрицающая любые альтернативы: коммунистическое сегодня эпохи создания романа, Москва 2042 года, пережившая «августовскую революцию» рассерженных генералов КГБ, и Москва, в которую въехал на белом коне Сим Симыч, различаются оттенками, но не качественно. Чем ярче различие внешних примет, тем неизменнее суть: отсутствие свободы, подавление личности, тотальная ложь и иступленная надежда на спасителя, который перевернет существующий порядок вверх дном.

В «Заколдованной стране» Пьецух толкует о том, как хороши были по замыслу христианство и коммунизм, испорченные позднее симпатичными, но бестолковыми людishками. Работает сентенция почти двухвековой выдержки: «Законы святы, но исполнители — лихие супостаты». Вывернуть ее наизнанку легче легкого. Пьецух исчисляет грехи коммунизма и те мрачные события, которые он мыслит грехами христианства, для того, чтобы подтянуть черное к белому. По Войновичу, всякая идеология (а христианские ценности видятся ему идеологией) на руку властолюбивым мерзавцам и враждебна милому «бытовому» человеку, чертами которого награжден рассказчик «Москвы 2042» писатель Карцев. Выпивоха, бабник, любитель приключений, простак, то лезущий на рожон, то уступающий грубой силе, обаятельный в силу понятных и извинительных слабостей и приметного автобиографизма², Карцев противостоит любой идеологии, любой лжи, любому насилию. Перед нами интеллектуализированный двойник солдата Ивана Чонкина, поворачивающий ход будущей истории так же случайно и непринужденно, как повернул ход второй

² Речь идет не о реальном сходстве, а о писательской установке. Текст построен так, что читатель испытывает желание отождествить Карцева с автором, разумеется понимая специфику игрового приема.

мировой войны лопухий Ваня (он же князь Голицын) во второй части чонкинской эпопеи — романе «Претендент на престол».

Повернуть-то они историю повернули, но вышло все так, как и должно было выйти. В «Претенденте на престол» Войнович не пишет «другую историю», но выдвигает «другие основания» для всем известных событий. Отчасти берется на вооружение, отчасти пародируется типовой сюжетный ход авантюрно-исторического романа. Роль Вани Чонкина (оказавшегося в результате неразберихи, замешенной на всеобщем вранье, искателем российского трона) эквивалентна роли мушкетеров в английской и французской истории XVII века. Дабы спасти Голицына-Чонкина, танки Гудериана по приказу Гитлера повернули от обреченной Москвы, — Карла II возвели на престол Атос и д'Артаньян («Виконт де Бражелон», ч. 1)³. Войнович смеется не столько над малыми событиями, производящими великие результаты, сколько над идеологическим антуражем, вырастающим над серенькой, но человечески теплой обыденностью. Чонкин одновременно снится Сталину и Гитлеру. «Он снился ему огромного роста богатырем с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз — это общая часть «двойного сновиденья», далее варьирующегося: в одном сне «Чонкин громил всех его врагов, и сам Гитлер трусливо бежал на четвереньках, похожий на мелкую злобную собачонку с карикатуры Кукрыниксов»; в другом — князь Голицын «ехал на белом коне (типовой атрибут «царского» мифа, обыгранный и в «Москве 2042». — А. Н.) под белым знаменем... За князем двигалось несметное воинство длиннородых крестьян», выражающих свое ликование криком «хайль Гитлер!». Войнович иронически оркестровал (но отнюдь не оспорил!) тривиальную мысль: судьбу войны решил русский народ вопреки тиранам и идеологическим миражам, решил потому, что как бы и не решал — жил естественно, был верен человеческим началам и т. п. Хитросплетения сюжета откровенно пародийны — все было так, как было. И Чонкину в дальнейшем ничто хорошее не светит.

Примерно так же дело обстоит и в квазиутопии: ее события суть следствия книги, которую пишет побывавший в будущем Карцев, согласный на все, кроме отступления от «правды». Эту-то книгу мы и читаем: переплетенность текста и реальности гарантирует светлое будущее, в котором ох как мерзко придется нормальному человеку. Единственный выход — осознать «липовую» природу любой идеологии, полюбить простого и незамысловатого грешного человека, понять, что он-то и есть хозяин в своем доме и...

Завершая роман, Войнович все же выдвигает свой альтернативный проект истории. «Заглотчики» (коммунисты) должны заняться «исправлением не автора или его сочинений, а самой жизни», а роман «Москва 2042» издать «массовым тиражом как плод пустой и безобидной фантазии». Вторая часть пожеланий выполнена. Что же до первой, то здесь писатель невольно упирается в противоречие: не доверяя властям любого рода (в том числе и «властителям душ»), он все же ждет решения от «заглотчиков» (тонкая ирония не меняет дела). Полагаясь (и справедливо) на людей «чонкинского склада», Войнович не знает, как преодолеть их отчужденность от истории, отчужденность спасительную (потому ничего не могут поделать с Чонкиным Сталин и Гитлер) и, увы, губительную, ибо эта отчужденность и дает силу мерзавцам.

«Неучастие» — гордое слово эпохи позднего застоя! Неучастие в прямых мерзостях — неучастие в жизни страны. Явно или прикровенно «безвременью» противостояла «вневременность», в меру комфортное (это необязательно подразумевает хотя бы минимум комфорта материального) бытие человека, который ни во что не вмешивается. И легко становится человеком, который «ни во что не замешан».

Столкновению такого рода человека с историей, вдруг заявившей о себе среди, казалось бы, бесконечного сна, посвящена замечательная (и, на мой взгляд, недооцененная) повесть Евгения Попова «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину» («Волга», 1989, № 2), под которой стоит символическая дата 31 декабря 1982 года — время сразу после смерти Брежнева, в дни всенародного прощания с которым разворачивается изрядная (и важнейшая) часть этого повествования. «Блуждания Е. А. Попова и Д. А. Пригова по замершей в ожидании перемен Москве есть... разросшаяся метафора расслоения современной истории на государственную, то есть казенную, и частную, то есть домашнюю», — писал в послесловии к «Душе патриота...» Сергей Чупринин. Собственно, таким «блуждаем», робким, стыдливым, а подчас, напротив, нахрапистым стремлением прикоснуться к истории, осознать ее свою, держится вся повесть. Персонажу, соименному, но не тождествен-

³ Кстати, игры такого рода у Дюма приближаются вплотную к созданию альтернативной истории. В романе «Двадцать лет спустя» мушкетеры едва не спасли Карла I от казни, а в «Трех мушкетерах» — герцога Бекингемского от покушения. Простодушный романист XIX века не решался играть до конца.

ному автору (опять проблема сказа, маски, иронии и страха иронии) неуютно не только в сфере казенной лжи, но и в «очищенном» частном быту (может быть, потому так настойчиво прославляется его достоинства). Мнимостью оказывается не только «советчина», но и якобы защищенное пространство «дома».

Какая-то сила заставляет героя инвентаризировать прошлое (казалось бы, какое наслаждение — делеять воспоминания детства, но покалывают они, дразнят, теребят душу, намекают на что-то не слишком приятное). Какая-то сила заставляет гадать о будущем, о том, что надвинется после смерти того, кто был. «Литбрат склонялся к тому, что... Я тоже склонялся к тому же...» Отточие авторское. Чай с кизилловым вареньем, под который шел разговорчик, кажется, реален. Как реальные все прочие напитки, яства, улицы, автомобили, одежды и остальные предметы, упоминаемые в повести. А вот суждения героев уплывают дымком, уходят в много-точия. «Черная птица покружилась и пролетела. Пролетит и покружится еще. На экране телевизора. Потом. Тогда, когда... Худо осенью!» Все существительные хотят стать междометиями. А ведь именно тогда, когда вроде бы ничего не случилось, Евгений Анатольевич и Дмитрий Александрович «поклонись н е з а б ы т ь в с е э т о, как Герцен с Огаревым на Воробьевых горах». Что — «это»?

Блуждания по родословной, где Евгении регулярно сменяются Анатолиями, переходят в кружение по Москве, центром которой стал гроб. Впрочем, другой гроб всегда (по меркам персонажей) имеет место в центре столицы. Смерть царствует. Недаром глава, поворачивающая сюжет, называется «И ж и з н ь в м е ш а л а с ь, в е р н е е — с м е р т ь». Так уже было в поэме, которую многие вспомнили в ноябре 1982 года, вспомнили нужный эпизод, хотя поводом для припоминания была случайная деталь внешности, роднящая гоголевского прокурора с тем, кто был. «Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке... О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один Бог ведает».

Смерть того, кто был, таинственным образом напомнила героям об их душах, обусловила их почти сомнамбулические хождения по Москве, их жажду запомнить все и, наконец, главную мысль повести Попова — повести о невольном пробуждении, в которое нет сил поверить. Потому и прячутся прогнозы, потому и заваливается повествовательное пространство вещным ворохом описаний, а слог вязнет в оговорках, бликует подтекстами, пересмешничает — и вроде убеждает: ничего не случилось, вот и сюжета у нашей истории нет, новый, 1983 год справлять собираемся. Но есть ощущение с л у ч и в ш е г о с я, но проблема выбора мелькнула, но сам морок сновидений, прокрученный Поповым, рожден в ноябре 1982 года. Так, сны «Волшебной горы» не только были прерваны громом первой мировой войны, но и обнаружили себя вполне лишь под его раскаты.

Пробуждаясь от снов безвременья, человек входит в историю, то есть в зону непредсказуемости. Освобождение человека освобождает и историю; она перестает быть мифом, кошмаром, тяжелым сном, и человек сознает себя живым и способным удивляться, готовым к действию и ответственным за происходящее. Мысль эта намечена в романе «Прекрасность жизни» того же Евгения Попова. Роман составлен из рассказов разных лет и газетных вырезок за тот год, которым (с 1961 по 1985) датируется очередной рассказ. Ряд триптихов (финальное место отводится рассказу первой половины 80-х годов) убеждает в неизменности сущего, в том, что жизнь прекрасна отчасти вопреки газете, а особенно — на ее фоне. Раздел «Вместо эпилога» радикально меняет картину. К автору вновь приходит газета (февральская газета 1987 года), и он замирает над бормотанием передовицы, где выморочным языком, с экивоками и намеками, н о г о в о р и т с я о конце прекрасной эпохи; он ежится после лживого, вихляющегося, но ошеломляющего сообщения о том, что «академик Сахаров может активно включиться в академическую жизнь теперь на московском направлении деятельности Академии наук»; он взмахивает руками после заметки о контуженном А. С. Максименко, что вдруг обрел дар речи, утраченный в 1944 году. Перед молчащим не стояла проблема, что говорить. Теперь стоит.

Но возможность «сказать» еще не обеспечивает с о е г о слова. Не случайно почти все писатели, о которых говорится в этой статье, строят свои сочинения на сказе или стилизации, на постоянной игре «чужими» формами, на пародийном переосмыслении чужих языков. И если у Евгения Попова мы видим, как мучительно преодолевается обреченность на блуждание среди чужих «слов», то в иных случаях их любовная каталогизация становится тотальной и самодостаточной.

Характернейший пример — «Палисандрия» Саши Соколова, изданная в «Ардисе» все в том же памятном 1985 году. Виртуозная стилистика этого опуса, где образцами для подражания (объектами пародирования) стали и официальная хрони-

ка, и мемуаристика, и порнография, и советология, растущая из сплетен, и узнаваемые книги, популярные в нонконформистской среде (от «Верного Руслана» Г. Владимова до «Загадки смерти Сталина» А. Авторханова), предполагает сознательное неразличение «своего» и «чужого», «сакрального» и «профанного», «эстетически совершенного» и «графоманского». Все привычные оппозиции сняты. Нет живого и мертвого, доброго и злого, прекрасного и безобразного. Нет даже «мужского» и «женского»; сексуальный гигант (герой-творец сочинения, изданного в 2757 году, «внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Берия и внук виднейшего сибирского прелюбодя Григория Распутина» Палисандр Дальберг) в итоге оказывается андрогинном. Снятие всех возможных оппозиций — следствие умерщвления времени, с чего и начинается «Палисандрия»: дядя повествователя кончает жизнь самоубийством, повесившись на часах Спасской башни. «Забавно также, что и по роду служебной деятельности Лаврентий... связан был с атрибутами Хроноса. Ветеран келейной организации часовщиков, он стоял у ее истоков и был ее вдохновенный водитель... состоял Кардинальным хранителем настоящего времени...»

Большевики овладели временем и остановили его. Великолепное, обрюзгшее, роскошное, дряхлое безвременье отменяет причинно-следственные связи, обыденные критерии, возможность любых поступков. Все авантюры спланированы загодя, все конфликты условны. Гниющий Кремль и разлагающийся Новодевичий монастырь (гибрид кладбища и борделя; смерть и блуд в повествовании Саши Соколова неразрывны) дышат «вежеством» и доброжелательностью. «Прошлое» и «будущее» в равной мере подчинены ласкающей мертвости этого мира, погруженного в прихотливый и оттого особенно однообразный тяжелый сон.

Смерть в «Душе патриота...» напоминает о жизни. В «Палисандрии» смерти нет, а потому нет ни жизни, ни истории. Семь веков, отделяющие текст от времени его издания, ничего не изменили и изменить не могли. Изгнание Палисандра подразумевает его триумфальное возвращение; «большевизм» и «монархия» — всего лишь узоры на поверхности чего-то огромного, безмянного и неизменного. Страна мертвецов тождественна себе — пустота, бессмысленное разглядывание прихотливого орнамента, коллекционирование мертвых стилей и кладбищенских аксессуаров. Амбивалентность заглавного героя отражается в амбивалентности того мира, где он обретается (который он выдумал). Мир этот, по мысли автора, существовал и будет существовать всегда (разумеется, конструкция обратима — мир этот мыслится не существующим, как, впрочем, и любой другой). «Палисандрия» — производное от имени героя, название его эпохи и его страны, тождественных его книге, тождественной в свою очередь ее «автору».

Возвращение Палисандра в Эмск (на последней странице все же названный Москвой) — финал условный. Отменяя прошлое, герой тем самым его восстанавливает: «Безвременье кончилось, — говорило я, говоря. — Наступила пора свершений и подвигов. Разберем кирки и лопаты и маршем бодрой печали и горестного ликования отправимся хоронить своих мертвецов. Клянусь вам, мы разобьем для них кладбища лучше прежних!» Кольцеобразное движение «метельных кругней», завершающее повествование, означает вечное возвращение на круги своя. «Нулевой» истории приговорен «нулевой» герой среднего рода, то самое «оно», что некогда поразило жителей города Глупова и до сих пор озадачивает комментаторов.

У «оно» нет значения. Саша Соколов пишет не конец истории, но всегдашнее послеапокалиптическое состояние. «И вращая стрелки вселенских часов — часов на миллиардах небесных брильянтов в миллиарды карат — прихлынули в виде воспоминаний все остальные столетия».

Во мнимой истории мнима любая альтернатива. Постмодернистская приверженность смерти заставляет увидеть в жизни лишь сцепление случайностей, так или иначе эстетизируемых. Писатель (Саша Соколов здесь наиболее последовательный выразитель общей тенденции) полагает, будто он, тасуя культурные феномены, чередуя культурные языки, стилизуя все, что под руку попадет, возвышается над «отмененным» временем. На деле он подчиняется определенному типу сознания, распространяя на «все времена» официальную самооценку эпохи «развитого социализма». У Евгения Попова труп Брежнева в центре Москвы и повествования был знаком эпохи, у Саши Соколова труп этот (в «Палисандрии» есть сюжет о Брежневе — живом мертвце, любимый сюжет времен экономной экономики) становится олицетворением, а в конечном счете — заместителем отмененной истории.

Брежневская эпоха хотела выглядеть временем без событий. Официоз и анекдот в равной мере были подчинены поэтике гниения: потому так анекдотичен был официоз и так ласковы анекдоты о т о м, к т о б ы л (по Е. Попову), о Самом Главном (формулировка из романа Алексея Слаповского «Я — не я» («Волга», 1992, № 2—5-6), где удачно воссоздается картина пышного советского заката). «Дорогой Леонид Ильич» казался вечным («Только успеешь привыкнуть к животному, оно

умирает», — всхлипывал генсек из анекдота, узнав, что подаренная ему черепаха живет только пятьсот лет). Саша Соколов сместил акценты, признав в вечности «эпоху глубокого удовлетворения».

Апология эстетизированного безвременья у Саши Соколова подразумевает готовность воспринять в качестве «правды» любую идеологическую фальшь. Права реальности аннулированы, есть лишь набор знаков, каждый из которых по-своему занят. И по-своему отвратителен. Тошнота, овладевающая читателем «Палисандрии» по мере его движения по роскошному колумбарии этой книги, разрешается неожиданным приступом рвоты у повествователя: ремарка «автора вырвало» на последней странице романа предшествует уже цитированной коде — вращению вселенских часов. Этот спонтанный спазм не мог не обнаружиться в амбивалентной «Палисандрии». Обратной стороной абсолютного «приятия» мира блестящих и лживых символов, выстроенного идеологическим официозом, оказывается столь же абсолютное отрицание этого мира.

Незыблемость и тотальность идеологического пространства, его надвременная мощь под сомнение не ставятся. Напротив, даже природные явления (не говоря уж о «материальной культуре») начинают казаться наваждением, вызванным колдунскими-нелюдями из ЦК и ЧК. (Герой Солженицына недоумевал: «Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?»; раздражение из-за дурной погоды выльскивалось в «политическую» сентенцию: «Что хотят, то и творят», кстати, некоторые основания для такой реакции были.) От советского образа жизни физически худо было не только жителям СССР, но и многочисленным литературным героям. Фальсификация всего и вся вызвала физиологическую реакцию: тошноту, рвоту, аллергию. Отторгалась мертвая система — было не до оттенков. Поддельному «маскированному» советскому космосу противостоял «естественный» человек, который верит лишь в один вариант поведения, хоть как-то предохраняющий от ласковых объятий государства-упыря: послать всех на...

Герой такого типа, то сближающийся с автором, то дистанцированный от него, мелькает у самых разных писателей. Конфликт обычного, плотского и грешного, человека с миром, где за раскрашенными фасадами таится хищная и злая пустота, наиболее обстоятельно и всесторонне запечатлен Юзом Алешковским. В его книгах, как в камере, где герой «Кенгуру», «международный урка» Фан Фаныч готовится к показательному процессу, представлена «вся история редвижения в России, партийной борьбы и Советской власти в фотографиях и картинках»: «Радищев едет из Ленинграда в Сталинград», «Буденный целует саблю после казни царской фамилии», «Вот кто сделал пробонну в «Челюскине» и открыл каверны в Горьком!», «Ленинский огромный лоб», «Сталин поет в Горках «Сулико»», «Детство Плеханова и Стаханова», «Якобы голод в Поволжье и на Украине», «Мама Миши Ботвинникова на торжественном приеме у гинеколога», «У Крупской от коллективизации глаза полезли на лоб», «Кривонос и паровоз кулаков везут в колхоз», «Мир внимает Лемешеву и Козловскому».

Длинная цитата не покрывает всего множества картинок, окружавших Фан Фаныча не только в комфортабельной камере. В этом мире сплошной туфты и маскировки обретаются герои Алешковского. Гротескные выдумки (вроде предсказанного с помощью ЭВМ преступления, которое должен совершить и за которое будет осужден на «процессе будущего» Фан Фаныч) воспринимаются героями как норма и не слишком изумляют читателя, знающего, что такое манипуляции с общественным сознанием в тоталитарном государстве. Здесь все маскируется и демаскируется в любой момент. Здесь бывшее становится небывшим. Здесь все театрально и кинематографично: на процессе крутят художественный фильм о преступлении обвиняемого. Алешковский нагнетает анекдотичность до предела, но в его мире нет однородности, знакомой нам по прозе Пьецуха. Конвульсивно дергаются монстры и уроды — злодеи, лишенные и намека на демонизм, «урки»: Сталин, Гитлер и их шестерки. Нормальные люди живут иначе, стараясь не соприкасаться с ущербным царством лозунгов, гениальных изречений, знамен и лагерей. На то они и нормальные люди.

Властители же как раз вне нормы: их кровожадность — следствие их недочеловечности, душевного и телесного уродства. Герой «Кенгуру» (и здесь автор с ним вполне солидарен) «просек чудовищность и невыносимость тоски и злобы» Сталина:

«Представляешь? Всесилен этот заместитель самого человеческого изо всех прошедших по земле людей, горный орел номер два, и тут вдруг какая-то вонючая, сохнувшая правая нога, главное, не чья-нибудь, а своя, сволочь такая и предательница, говорит:

— Сталин — говно! Скоро сдохнешь и умрешь!»

Собственная плоть ненавидит «хозяина». За развернутым в сюжет присловьем о том, чего левая (правая) нога хочет, прячется заветная мысль Алешковского: бесчеловечному «идеологизированно» людоедов всегда противостоит «натура», ес-

тество, живое начало. История — реализация параноидального бреда политиков-нелюдей. Нормально же бытие вне истории, сближающее человека с животным миром: вереницу тостов за всех представителей фауны, которыми в «Кенгуру» перебивается рассказ, венчает тост: «За нас с тобой!..» Отсюда поэтизация физиологии, принимаемая недоверчивым читателем за грубый натурализм. Отсюда же основной сюжет — преступление героя.

Фан Фаныч обвиняется в том, «что он в ночь с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 года зверски изнасиловал и садистски убил в Московском зоопарке кенгуру породы колмогорско-королевской по кличке Джемма». Абсурдность датировки подчеркивает ее символичность: обе даты общеизвестны, ими открываются революционные (то есть людоедские) эпохи, это символы бесчеловечной истории, врывающейся в природное бытие не только Фан Фаныча, но и Джеммы. И если Фан Фаныч пошел на компромисс с историей (сделку с «органами», организуемыми «процесс века»), то Джемму не спрашивали. И бедная зверюга погибла. Вина в этом не только сталинский мир, но и Фан Фаныч. И он не соглашается забыть о своей вине, поверить «органам», утверждающим, что вся история с кенгуру то ли фильм, то ли плод большого воображения бывшего ээка.

При всей «физиологичности» герои Алешковского отнюдь не тождественны зверю. «Международный урка» не только ест, пьет, испражняется и удовлетворяется сексуально. Он понимает, сколь мерзка игра, участником которой он стал, он понимает, что насилия над всем живым, учиненные ублюдками-начальниками, имеют к нему самое прямое отношение. Ваня Чонкин у Войновича влипал в Историю, как влипают в «историю»⁴, играл роль, не зная, что он ее играет. Автору и читателям было ясно: Чонкин — жертва чудовищного века и уж никак за него не ответчик. С Фан Фанычем дело обстоит иначе: подавшись системе сознательно, он ощущает себя виновным в том, что мир жесток, лжив и враждебен жизни.

Покаяние Фан Фаныча пронизывает все повествование. Доверительный рассказ другу, идущий под резубон опорожняемых рюмок, — интеллигентский аналог исповеди. Поскольку собеседник Фан Фаныча именуется Колей, а на последней странице поминается его жена Влада Юрьевна, ясно, что исповедуется герой «Кенгуру» герою другой повести Алешковского — «Николай Николаевич», тоже строящейся как рассказ другу о кошмарах и превратностях жизни; фантасмагоричность обеих повестей, образующих диалог, как бы намекает: то, что пережили герои, решившие разрисовать свои судьбы великолепными узорами, куда страшнее их баек. Пережили же они, как и подавляющее большинство людей с умом и совестью, драму вынужденного соучастия в преступлениях XX века.

Эта мысль не только организует основной сюжет повести, но и напрямую выражается в новелле о встрече Фан Фаныча с Гитлером, результатом которой стала победа фашизма в Германии. Новелла начинается с того, что герой перелицовывает свой пиджак, а перелицованная вещь мстит за это Фан Фанычу. Заканчивается же проклятьем всякой перелицовке — всякой революции: «А вообще человечеству невдомек, что не тяпни я тогда из гитлеровского плаща лопатки с фанерой (что было косвенным следствием перелицовки пиджака. — А. Н.), и возможно, не стал бы фюрер поджигать рейхстаг. Не надо, Коля, ничего перелицовывать. И я не желаю идти с Кырлой Мырлой на страшном суде по одному делу за переделку мира... Ты бы видел, какими шнифтами он кнокнул, когда хватился лопатника, на партнеров по банде и сказал: «Хватит! Чаша терпения переполнена! Это — последняя капля!» — понял бы, что именно на моей совести кровь и загубленные жизни миллионов людей... Тут кое-кто утверждает, что во всем виноват Гитлер и еще больше Сталин. Какая же это все херня! Фан Фаныч во всем виноват. Один Фан Фаныч. И одному ему идти по делу... Господи, прости! Ничего не могу сказать в свое оправдание!..»

Мир мог бы быть иным. История лжива, кровава и бессмысленна не по природе своей, а потому, что такой позволил ей быть герой. Алешковский подразумевает альтернативу, увя, упущенную. Анекдотичность сюжета усиливает его скрытый смысл: покаяние и предчувствие Страшного суда даны вполне серьезно. Боль, рвущаяся сквозь дурашливые байки, по-иному освещает фальшь «исторических» картинок. Ирония утрачивает самодостаточность. Надежда на «животное» существование отпадает. Вариативность истории обнаруживает себя и требует ответа у тех, кто, загодя разочаровавшись во всем происходящем на земле, сказался виноватым в том, что все же произошло.

⁴ Заметим, что в диалогии о славном солдатишке важное место занимают полупародийные «руссоистские» мотивы, разрабатывается проблема «происхождения человека», подробно и с симпатией рисуется животное царство, куда более привлекательное, чем мир, поделенный между фашистами и коммунистами. Некоторые соображения на этот счет высказаны мной в статье «В поисках утраченной человечности» (см.: «Взгляд». М. 1991, вып. 3).

Эпизод, сходный с описанным в «Кенгуру», хотя и не столь гротескный, есть и в книге другого писателя. В «Пирах Валтасара», знаменитой главе романа «Сандро из Чегема», любимый герой Фазиля Искандера узнает в Сталине уловника, с которым встретился в детстве. Давний испуг мальчика, не сообщившего старшим о жутковатом незнакомце, имел солидные последствия. Позднее по взгляду дяди Сандро, рассказывавшего о своих встречах с тираном, «можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским путем».

Сандро струсил, отступил от неоспоримой нормы. Это случается с ним в романе не раз. При всем своем обаянии Сандро вовсе не чужд злой силе, что разрушила прекрасный патриархальный мир Чегема. Его двойственное отношение к давней встрече на нижнечегемской дороге — важное тому подтверждение. Видимо, не случайно в трех заключительных абзацах «Пиров Валтасара» Искандер избегает имени и оперирует только личным местоимением «он», незаметно переходя от суждений о Сандро к суждениям о Сталине.

«Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что Бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью». Это о Сталине. Не только «небрежное» обращение с личным местоимением, но и общая обрисовка Сандро в романе заставляют, хотя бы в какой-то мере, распространить все, что сказано в цитируемом фрагменте, на безусловно обаятельного героя. Уж слишком крепка его странная связь со Сталиным, который в романе Искандера тоже думает об альтернативной истории.

Старинная грузинская песня освобождает душу деспота. Сталин видит себя оставившим власть, вернувшимся в деревню, радующимся удачному виноградному сбору — таким же, как родственники Сандро, мудрым, достойным, счастливым хозяином. Слушая песню, Сталин становится человеком, а потому и понимает, как страшна власть, требующая крови. Сандро подчиняется страху время от времени. Сталин подчинен ему всегда: страх и одиночество глушат его человеческую душу. Естественный (альтернативный) путь истории оказался невозможным, потому что Сталин (и не только он) отказывается от своей человеческой сути, избирает зло.

Ни Искандер, ни Алешковский не рисуют того, чего не было. Но они твердо знают, что случившееся вовсе не непреложно, что все могло произойти иначе. Это знание неотделимо от любви и доверия к человеку. Люди оступают, но не ходят по кругу или по раз и навсегда определенной тропе. Пока человек многомерен, история чревата альтернативами. (Необязательно благими; та же таинственная сложность человека могла и может породить еще более страшную историю, чем известная нам.)

Отношение к возможным историческим альтернативам достаточно тесно связано с отношением к человеческой личности. Там, где герои оказываются лишь персонажами анекдотов (пусть слагающихся, как в «Палисандрии», в миф), нет места неожиданностям; там история свершается сама собой, а человек предстает удачливым или бездарным аранжировщиком неподвластной ему мелодии. Потому и не мог убраться декабристский переворот в «Роммате» Пьецуха.

Вспомним еще раз вторую часть «Роммата»: конвульсивность действий, жесткая логичность ближайших следствий, очевидность будущего (худшего, как полагает писатель, чем то, что осуществилось). Все, что Пьецух описывает более или менее детально, свершается в короткий промежуток на узкой петербургской сцене; когда же он переходит к близким следствиям, повествование становится абстрактным. Стоит сравнить опыт Пьецуха с другими попытками осмысления возможной победы декабристов. В недавнюю пору этот сюжет разрабатывали два незаурядных историка.

Хроника Якова Гордина «События и люди 14 декабря» была издана в том же 1985 году, когда Пьецух работал над «Ромматом», а страна вместе с Евгением Поповым чувала возможность перемен. Гордин обходится без фантастических картин — таков избранный им жанр, однако железная логика, с которой воспроизводятся давние политические хитросплетения, публицистическая энергия чеканного слога, да и прямые авторские заверения свидетельствуют: 14 декабря история «ошиблась». Многочисленные мелочи помешали достигнуть должного результата.

Ни ближайшие, ни дальнейшие следствия победы восставших не анализируются. Гордин уверен в гипотетическом будущем: стоило ступить на верный путь, и все бы пошло гладко. В отличие от Пьецуха Гордин очень внимателен к психологии: портреты его героев конкретны, убедительны и никак не одномерны. Другое дело, что именно человеческие слабости, непоследовательность, неумение договориться и понять другого становятся, по Гордину, причинами роковой неудачи. В той задаче, которую решает исследователь, уместны не живые люди, а алгебраические знаки. Люди оказались не только политиками. (Что декабристы были политиками,

и незаурядными, Гордин показал превосходно; в этом одна из неоспоримых заслуг его умной, жесткой и блестящей книги.) А потому не выполнили урока, предложенного историей.

Если Пьецух твердо знает, что декабристы должны были проиграть, то Гордин не менее твердо знает, что они должны были победить. Аналогично отношение этих писателей к попытке «верховников» ограничить самодержавие: Пьецух в «Роммате» походя замечает, что Россия в ту пору не созрела до конституции; Гордин в недавно опубликованной хронике «Меж рабством и свободой» («Дружба народов», 1992, № 10) настойчиво доказывает, что все шло к тому... Но сорвалось.

Показательно сходны концовки двух гординских повествований, продиктованные чувством живейшей досады и дышащие заботами дня сегодняшнего. В «Событиях и людях 14 декабря»: «Битый и ломанный российским политическим бытом Сперанский понимал, какая шутка не удалась и что это значит для России». В хронике «Меж рабством и свободой»: «Глядя на разорванные и брошенные на пол листы («кондиций», предложенных Анне Иоанновне. — А. Н.)... князь Дмитрий Михайлович (Голицын, лидер «верховников». — А. Н.) испытал чувство, которое позднее сформулировал в словах сколь горьких, столь и пророческих: «Пир был готов, но званые оказались недостойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого дела; так и быть, пострадать за отечество; мне уж и без того остается недолго жить; но те, кто заставляют меня плакать, будут плакать дольше моего». Мы проливаем предсказанные старым князем слезы и по сию пору». В 1992 году, к счастью, можно выражать свои убеждения отчетливее, чем семь лет назад.

Пьецух и Гордин разнятся во всем: в концепциях, оценках, повествовательных манерах. Сходны они в одном: в определенности суждений. Один знает, что история шла верно, другой — как она должна была идти. И здесь они расходятся с писателем-историком, чье имя уже не раз просилось на страницы этой статьи.

Н. Я. Эйдельман не только постоянно размышлял о непредсказуемости и внутренней конфликтности исторического процесса, постепенно приучая общество к идеям такого рода. Он еще и написал великолепный очерк одного исторического эпизода в сослагательном наклонении. Это глава из книги «Апостол Сергей» (1975) с характерным названием «Фантастический 1826-й» и еще более характерным эпиграфом: «Все будет хорошо... *Бестужев-Рюмин*». Голос исследователя звучит здесь почти в унисон с голосом декабриста, но именно «почти». Радуюсь победе свободолюбцев, Эйдельман постепенно фиксирует точки, в которых рождаются будущие конфликты: «Призраки новой Вандеи, нового террора, нового Бонапарта, старых героев Плутарха». Конкретно, хотя и очень лаконично, описывая гипотетическую реальность, он постоянно дает читателю понять, что тот имеет дело лишь с одной из возможных версий. Обилие персонажей, втянутых в грандиозную политическую игру, столкновения многих разнонаправленных волей усиливают ощущение непредсказуемости: всякий раз мы имеем дело с «кустом» будущих вариантов. Действия декабристов и их противников лишены эксцентричности — они ведут себя так же, как вели себя в жизни. Фантастическая картина строится на документальной основе: в главе обильно цитируются записки Горбачевского и показания членов Южного общества на следствии. Колоритные детали вроде эпизода, в котором Лунин «с безумной дерзостью увозит с варшавской гауптвахты Константина, сажает его на первый попавшийся корабль, идущий на Запад, а сам отправляется к своим, в Петербург», кажутся очевидными: Лунин и должен действовать подобным образом. Фантастическую историю, как и историю реальную, делают люди, а не персонажи кроваво-комической арлекинады. Их человеческие свойства необязательно вступают в конфликт с историей, они могут и не помешать ей двигаться по новому пути. Нет ни улыбки превосходства над незадачливыми героями, ни уязвленности их промахами. «Не было. Могло быть» — это отменяет и железное «должно было быть», и не менее железное «не могло быть потому, что не могло быть никогда».

Гипотетические варианты истории, представленные или намеченные писателем, всегда схожи с «реальной» историей, им запечатленной. «Эксперимент 14 декабря» у Пьецуха мало отличается от остальных эпизодов его судорожно-веселой эпопеи российского житья-бытья. Разрешение в ничто экстравагантного «крымского» сюжета, простодушная игра со случайностью в дилогии о Чонкине, обреченность на «повторение пройденного» в «новых костюмах» «Москвы 2042», опасливое предчувствие перемен и ошеломленность свободой в «Душе патриота» и «Прекрасности жизни», мифологизация безвременья в «Палисандрии», ответственность симпатичных героев «Кенгуру» и «Сандро из Чегема» за злоеущую искривленность судьбы человечества — закономерные результаты тех отношений с историей, что сложились у таких ярких и несхожих писателей, как Василий Аксенов, Владимир Войнович, Евгений Попов, Саша Соколов, Юз Алешковский, Фазиль Искандер. Обобщать страшновато, тем более что речь идет о незаурядных художниках, но все же

отношения этих писателей с историей крайне напряженны, она их — и список здесь неполон — пугает или настораживает.

Не оттого ли так слаба сюжетная энергия нашей новейшей прозы? Не оттого ли слог у наших лучших прозаиков превалирует над вымыслом? Не оттого ли тяготеют они либо к раздробленности анекдотов, либо к мифологическим вечным возвращениям? Не оттого ли о выдуманных персонажах пишут так, что судьба их не составляет загадки, а вымышленные ситуации разительно сходятся меж собой? Разумеется, вопросы эти можно ответить. (Я заостряю их вполне сознательно, ни в коей мере не желая вынести приговор нашей словесности.) Но можно и поискать ответа. Один из ответов, отнюдь не исчерпывающий, — почти всеобщее недоверие к истории, подразумевающее недооценку свободы и человеческой личности.

Работая над «Войной и миром», Толстой был убежден, что история не подчиняется воле «героя», будь то Наполеон или Пьер Безухов, решивший убить Наполеона. Однако его «фатализм» вовсе не предполагал «заданности» действий того или иного персонажа: князь Андрей не изменил своим порывом хода Аустерлицкого сражения, однако его выбор, его поступок значим и в контексте дальнейшей судьбы героя, и даже в контексте кампании 1805 года. Для того чтобы историческое событие свершилось, нужны р а з н ы е воли. Ход истории становится понятным при взгляде из будущего — современники его обнаруживают неуверенно, ощупью, ошибаясь. Толстой мечтал о прекращении истории, но не видел в свершившемся одну лишь мнимость. Такая тенденция, связанная с критикой культуры как таковой, в «Войне и мире» есть, но там она не становится доминирующей. Пока конфликт между мечтой о конце истории и вниманием к человеческой индивидуальности не был разрешен, мышление Толстого оставалось сюжетным. Не только в «Войне и мире», но и в поздних вещах («Хаджи-Мурат», «Посмертные записки старца Федора Кузмича») Толстой задавался «кутузовским» вопросом: к а к случилось то, что случилось, каким путем приходит человек к просветлению или поражению? Исследование «пути» (а стало быть, тех авантюр, на которые пускает человека его свободная душа) для Толстого по крайней мере не менее притягательно, чем утверждение этической нормы. Точнее, без одного не может быть другого. Толстой знал цену «энергии заблуждения».

Осознав бессмыслицу истории нормой, мы вынуждены пожертвовать вопросом о том, как происходит обнаружение хотя бы вот этого результата, какова цена человеческих заблуждений, а значит, и цена личности. Человек становится равным своей роли в том или ином эпизоде. Переходы от одного эпизода к другому заменяются «прыжками», сюжетная вязь, столь мощная в романах Диккенса, Бальзака, Достоевского, Гончарова, Толстого, обесценивается. Утрачивая доверие к истории и внимание к психологии, роман XX века нередко (но не всегда!) оказывается похожим на роман доромантический.

В «Герое нашего времени» Лермонтов, опробовав все жанровые возможности («кавказская повесть» «Бэла», «физиологический очерк» «Максим Максимыч», «фантастическая повесть» «Тамань», «светская психологическая повесть» «Княжна Мери», «философская повесть» «Фаталист»), был озабочен их «скреплением»; Печорин, столь разный в разных частях романа, должен был в итоге оказаться не чередой «личин», но л и ч н о с т ь ю. «Швы» в романе Лермонтова вполне приметны (об этом писал Эйхенбаум, а затем, резко упрощая ситуацию, Набоков), но приметна и установка на устранение «швов». Писатель XX века часто движется в обратном направлении, тщательно разрушая сюжет. В этой связи показательны, что писатели, всерьез относящиеся к истории и уверенные в существовании ее тайного смысла, серьезно относятся и к проблеме сюжетности (занимательности, беллетристичности). Наиболее показательный пример — «Доктор Живаго» (характерно восприятие этого романа как «старомодного», что, впрочем, предмет для особого разговора).

«Сюжетность» может быть потеснена на своей законной территории — в словесности, но не может быть выведена за пределы культуры. Слишком крепко связана она с духом исследования, свойственным человеку, с желанием найти смысл в череде картин, образов, фактов, документов, символов, знаков. Поиски смысла всегда предполагают перебор вариантов, их взвешивание, соотнесение.

Так объясняется поначалу ошарашивающий парадокс: историк, ценитель и неутомимый добытчик фактов, Эйдельман был гораздо свободней в своих суждениях об историческом процессе, чем не скованные «профессионально-научными» цепями прозаики. История, писавшаяся Эйдельманом, была непредсказуемой и невероятной, страшной она не была. Может быть, тому помогало трезвое понимание: мы знаем о прошлом мало, и извлеченные из небытия свидетельства могут кардинально

изменить привычную картину. Может быть, особую роль играла установка на биографизм, на изображение событий через личность. Может быть, главным было опущение своей жизни как неотъемлемого звена исторического процесса: в последних работах Эйдельмана это чувствуется особенно отчетливо. Скорее всего факторы эти были неотделимы друг от друга, как неотделима была мысль Эйдельмана о прошлом от его мысли о будущем.

В книжечке о путешествии в Италию Эйдельман описывает статуи, созданные в Афинах в V веке до нашей эры, затонувшие неведомо когда и поднятые со дна Ионического моря в 1972 году. Эйдельман размышляет об увиденных им «богатырях», нежданно шагнувших в наше время:

«Что-то чужое в их великолепии: даже кажется, что чем больше человеческой, мужской красоты в каждой фигуре, тем более неприятна эта красота.

Какая иллюзия, что мы их понимаем, чувствуем — древних предков!.. Нет! При всей огромной разнице эпох и обстоятельств, Леонардо да Винчи, Рембрандт — это не наши люди, а те — за две — три — четыре тысячи лет до нас — не наши. Только сейчас, на исходе XX века, мы, кажется, начинаем о том догадываться, и это, конечно, не случайно...»

Дальше мысль историка меняет направление, переходит от прошлого к будущему, к тому времени, когда потомки увидят в нас чужих людей, когда сменится полностью культурная парадигма и человечество заживет с новыми «материальными и духовными ценностями». Горько, но это еще не финал:

«...а затем, через тысячу лет или вдруг пораньше, наступит новое возрождение, когда археологи будут радостно сообщать об открытиях изумительных книг и картин XV—XXI столетий!

Может быть».

Замечательное эйдельмановское «может быть», полное доверия к истории и человеку, так похоже на его же «могло быть». Цитируемое сочинение называется «Оттуда». Автор имел в виду: из Италии («Мы едем от туда сюда, может быть, куда меньше открыв нового для себя в Италии, чем — в родной стране»). Время внесло в название дополнительный смысл, грустный, но очень эйдельмановский: книжечка вышла после неожиданной смерти автора.

Мне кажется, что уроки внутренней свободы и подлинной включенности в историю, которые дают лучшие страницы книг Эйдельмана, в недостаточной мере восприняты нашей словесностью. Глупо предлагать писателю равняться на кого бы то ни было: он решит по-своему и будет прав. Но странно было бы критику прятать свое недоумение и предпочтение: на мой взгляд, мало кто сделал столько для того, чтобы мы осознали вариативность как главное свойство истории, сколько сделал автор «Лунина», «Большого Жанно», «Грани веков»...

Эта статья посвящается светлой памяти Натана Яковлевича Эйдельмана.



**В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
НЕИЗВЕСТНУЮ ПЬЕСУ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
«НОЕВ КОВЧЕГ»**

Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментарии
Н. В. Корниенко.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1993 ГОДА!**

Литература и искусство

МАРС ИЗ БЕЗДНЫ

О л е г Е р м а к о в. Знак зверя. Роман. «Знамя», 1992, № 6, 7.

Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.

Н. Заболоцкий.

...небо ясно...

М. Лермонтов, «Валерик».

I

В романе Ермакова афганское небо не всегда ясно, хотя его южная синева схожа с той надкавказской синью, куда посреди сражения устремлял взор поручик Лермонтов. Небо не всегда ясно, но оно всегда в окоме повествователя, образуя верхний этаж земного действия. В своих давно уже всеми примеченных афганских рассказах Ермаков, касаясь небес, оставался лаконичен: «Ночи были безлунные и звездные». А в «Знаке зверя» нет, кажется, такой метафоры, такого уподобления и олицетворения, какие не извлек бы из воображения автор, неотрывно следящий за небесной динамикой, за торжественной и порой устрашающей небесной пиротехникой: «Желтая медуза» — солнце — «ползет и добирается до центра мира, замирает». «За горизонтом потянули небо на себя, и кровавый рубец исчез, а на востоке высклалась крупная яркая искра и не погасла... и скоро вся иссиня-черная твердь от южных до северных и от восточных до западных пределов оросилась звездами». «Над баней худой громоздкий Лебедь, распятый у Млечного Пути». «Земля еще повернулась, и над горизонтом выкрутился багровый космический огонь». «Желтая чешуя, облетающая с огненной выгнутой рыбы в небе...» — опять солнце; оно же «горело над хребтом, как лицо всадника, оседлавшего могучего зверя». «...в начале апреля все чаще вспыхивало солнце и среди грязных облаков сверкала голубизна, — и было ясно, что там, в вышине... среди плотных строительных лесов что-то возводят неведомые молчаливые зодчие».

«Какое странное, зовущее, томящее пространство — небо...» На ум просится сказанное поэтом — «как бы таинственное дело решалось там — на высоте». О поэзии вспомним и позже, а пока повторю, что этот вращающийся над головами «ограниченного контингента» вселенский планетарий куполом своим объемлет — на вышем уровне — то, что внизу скреплено железной причинно-

следственной цепью жестокого сюжета. «Опять это пространство: десять метров длина. И высота: тысячи и миллионы световых лет». В таком «хронотопе» и свершается завязка романа — повторяющееся от сотворения мира убийство друга и брата.

Однако торопливая подгонка главного персонажа к «архетипу Каина» стала бы перескоком через лестницу смыслов. «Знак зверя» — книга опыта, книга, не уклоняющаяся от своей первичной и элементарной миссии: честно поведать о пережитом, — и в том-то очевидная удача, что пронизывающие ее библейские и мифологические токи не деформируют этот опыт, не рушат несомненность свидетельства, а преобразуют его. Роман Ермакова не вчера вышел в свет, многие его уже прочитали — и нашли там, выписанное с внешней невозмутимостью и доскональной пронзительностью, то, что и ожидали найти: снесенные карателями кишлаки, минные ловушки, оторванные конечности с кроваво торчащими отрывками костей, головы, мстительно отрезанные у трупов советских солдат, и ответные расстрелы пленных «мятежников», нашли полууказанные — на войне как на войне — поток и разграбление, старослужащих, помыкающих новобранцами, отвратительную армейскую пишу, казарменный спертый дух, нечистые портянки, вшей, мутный самогон и неперемную анашу. И, с удовлетворением обнаружив на своем месте всю эту «правду о последней войне», простодушно удивились: зачем подвергать ее испытанию «искусственным» (читай: искусным) романным сюжетом, «зачем к описанию вполне реального Ада... добавлять еще и описание Ада придуманного?»¹ А между тем наиреальнейшая в сравнении с внешним мраком преисподняя область, подобно царству Божию, «внутри нас есть», — и это знание о в н у т р е н н е м адском жале Ермаков не надумал, не примыслил, а именно что

¹ Из рецензии Д. Лекуха на прозу Ермакова («Литературная газета», 23. 12. 92).

вынес из пребывания в аду внешнем, открыл для себя, честно расплатившись; усилил со-владать с таким знанием ему, видно, хватит на всю остальную писательскую жизнь, даже когда он захочет сменить тему. Знание это и строит сюжет книги, превращая до жути однообразную хроникеру военного бытия в восхождение к сути. «Знак зверя», как и все книги-вехи, книги-отметины злополучного XX века, решает дилемму соучастия и неучастия в общем зле; бессилён — ещё бы! — её разрешить, но напрягается в этом пункте до разрыва жил, что захватывает и покоряет не меньше, чем непосредственная правдивость.

Не знаю, что скажет «мировое культурное сообщество», учреждающее премии и титулы, что порешит «литературная общественность», конструирующая одни репутации и игнорирующая другие, но для меня роман Ермакова замыкает некалендарный XX век с тем же правом, с каким открывали его романы Ремарка и Хемингуэя о первой мировой и с каким обозначили его переломную средину военные романы Бёделя, лагерная повесть Солженицына. В каждую эпохальную заваруху конца второго тысячелетия от Р. X. художественный рок как бы внедрял своего посланника — того, кому дано все пережить в месте со всеми, но в силу особого дара не так, как всем; того, кто потом обязан будет свидетельствовать — но не как простой очевидец, а как т о л м а ч; того, кто выдвинут снизу рядовой массой, её икринка, её клетка, — и отмечен свыше инаковостью. Обрела, как мне видится, своего литературного посланца и последняя война века — афганская. Последняя — но, по существу, ещё не кончившаяся, расплывшаяся по южному евразийскому полупериметру от Балкан до Пянджа, словно буйные метастазы после удаления кабульской опухоли, и ставшая той самой третьей мировой войной, которой нас все время пугали и которой мы якобы избегли. Ермаков так и пишет эту войну — несмотря на локальный колорит и точную съёмку афганской фронтовой панорамы, как мировую, как обнаружение мировой порчи, извержение её из людских глубин на поверхность событий.

И дело тут даже не в том, что в первой же сцене — и далее пунктиром по тексту — ведь сегодняшние, присущие своему месту и времени, именуется всегдашними, вечными именами, образуют ряд универсалий: эфемерный военный городок назван «городом», разместившийся в нем полк — «жителями», инфекционная желтуха, в жару косящая солдат, — «болезнь», или, словно подпадая под архаическое табу, «рысоглазой»; что в ракурсе вечности предстают вполне реальные, но будто прикочевавшие из древнего рассказа о египетских казнях или о Дне гнева «твари... безногие, круглые, длинные, узкомордые, многоногие, мохнатые, с коричневыми клещевидными челюстями, с жалом на хвосте», равно как и обезумевшие под обстрелом свиньи из подсобного хозяйства заставляют вспомнить об их сородичах, некогда обуянных легионом бесов и сверзавшихся с крутизны. Главное здесь не в таких отчасти навеянных

древностью чужой земли, отчасти сознательно привлечённых аллюзиях, какие сегодня сами по себе не редкость (и у Ермакова можно отметить лишь отменную эстетическую грамотность в их дозировке). Главное — в полнейшей деидеологичности этой книги, в намеренном устранении из неё политически злободневных параметров. Так внешнеидеологичны были помянутые романы раннего Ремарка и раннего Хемингуэя — люди «потерянного поколения» отказывались выискивать прямых виновников бойни не только за линией фронта, но и у себя за спиной и тем более определять правую сторону; прощаясь с оружием стрелковым, они простились и со стреляющими словесами. Впрочем, у этих разочарованных пацифистов ещё теплилась одна иллюзия, они апеллировали к неиспорченному человеческому нутру, — в том, что написал Ермаков, нет привкуса гуманным руссоизма: серьёзная антропология зла, недоверчивость к чисто внешним якобы причинам, понуждающим убивать, делают его книгу не только антиидеологической, но и глубоко религиозной при отсутствии нарочитых религиозных мотивов и явных примет исповедания веры.

Говоря о свободном от идеологизма пространстве романа, я вовсе не берусь утверждать, будто в нём не отразилась поздняя советчина, наше с вами недалекое прошлое, и тем более хвалить писателя за это мнимое достижение. Ермаков, при всей его прикованности к метафизике бытия, писатель очень точный: по справедливому замечанию одного из его немногих рецензентов, А. Немзера, он «пишет конкретно». Более того, в его густом письме, требующем от читателя напряжения собственной житейской памяти, всякое лыко ложится в строку — и так, почти мимоходом, ему удаётся застолбить характерные признаки времени, социальную ориентацию, поколенческую принадлежность, точки максимального давления системы. Каждый легко вспомнит, кого изображают «портреты молодых мужчин преклонного возраста» в штабной комнате особого отдела, и легко поймет, почему на новогодней вечеринке добродушный майор жмет под столом ногу раздерзившегося насчет целей этой странной войны сапера: рядом сидит чуткий особист. Все проникнуто безнадежным старчеством молодящегося режима; и подпертая деловичной, инерционная армейская дисциплина при полном равнодушии к смыслу военного присутствия на чужой земле («Ведь и у них пчелы, коровы — те же деревни, только глиняные» — редкий проблеск); и не сравнимая со «светлым, как класс советской школы», свиначником ленинская комната, где на занятиях, не задевающих головы, далеко уносились мыслями; и прежде всего исчезновение общих задушевных символов, цементирующих разноликую массу.

Нет значимой для всех п е с н и, этой общей идейной крыши над остриженными головами, — мелкие заметы на сей счет эквивалентны в романе целой социологической штудии. Бодрую строевую заменяет «Миллион алых роз», успешно справляющийся с обязанностями песенного официоза эпохи

заката. Офицеры живо откликаются на «корнета Оболенского», одна из дам не к месту (не та война, сами жжем) просит спеть отпову любимую «Враги сожгли родную хату»; комсомольскому сознанию славного молоденького лейтенанта все еще дорога «Гренада»; афганцы из правительственных войск крутят диск со сладостными индийскими рудами, от которых тошнит русского дембеля. Ну а интеллигентные новобранцы, умненькие мальчишки — друзья Борис и Глеб, — образуют немногочисленный экипаж «Желтой субмарины», бредят «Битглазами» и цепляются за светлый образ Джона Леннона в одеянии горного пастуха: это их спасительная ниша, их эмблемы противостояния и самозащиты...

Но сама ермаковская манера рассказывать и показывать не позволяет подолгу сосредоточиваться на сиюминутной фиксации общественного расклада, на преходящих чертах исторической обстановки, на ближайших причинах совершающегося. Суть этой манеры можно выразить в словах, тоже заимствованных из Апокалипсиса и использованных уже при наименовании современной вещи: «Иди и смотри». Сначала нам предложат в з л я н у т ь, а потом уже, косвенным наведением, дадут разгадать смысл увиденного. И читать надо, не отводя глаз (чему помогает засасывающий гипноз ритма), иначе исполненный многовалентных спеллений текст превратится в хаотическую шараду. Это свойство распространяется не только на узловые моменты, но и на подробности. К примеру, сначала видим п о с в е ж е в ш и е за ночь подворотнички тех, кто стал «первыми» и «вторыми» в пирамиде советской солдатчины («дедами» и «фазанами»), и лишь несколько страниц спустя отгадываем загадку этой утренней свежести, узнав, к т о и к а к приводит деталь армейского туалета в требуемое состояние. Такой способ письма держит в напряжении без видимой авторской плетки и совершенно устраняет лобовую оценочность, быстрое публицистическое реагирование, понуждая молчаливо углубляться в показанное. Вот движется бронеколонна, «в с п а р ы в а я гусеницами пшеничные шубы», — и пока сознание расшифрует наглядную, но отстраненную метафору, обвинительный вскрик успеет застыть на губах и на ум попросятся мысли о подспудном, подосновном.

В одном из рассказов Ермакова, напечатанных прежде романа — «Марс и солдат» — дряхлеющее божество войны представляло в виде старика в спортивном шерстяном костюме, с «черными молодыми бровями», уютно устроившегося в кресле за томиком любимого Есенина. Это он, роняющий скупую слезу на стихотворные строчки, послал воевать — и погибать в далеком плену — солдата, похожего и на Бориса, и на Глеба, и вообще на всех «авторских» героев Ермакова. В сентиментальном и самодовольном «Марсе» легко угадывалась персона Леонида Ильича, пожирателя молодых жизней, ответчика за все. Такого рода умственный ход в «Знаке зверя» исключен.

Впрочем, в романе есть свой бог войны — или преданнейший из его слуг. Не генерал, не далекий маршал-генсек — здешний капитан разведроты Сергей Осадчий: «Неказистый, невидный собой (малорослая «краснорожая макака») — и демонически притягательный, шагнувший по ту сторону добра и зла, «марсолийский» (в вешем сне той, кем представлено вечно женственное начало, анима и психея мужских грез). Осадчий служит своему кровавицецу небесному двойнику совершенно бескорыстно и бездумно. Посреди всеобщей грабильки не берет трофеев; не берет и пленных — расстреливает их в порядке предначертанной, око за око, тризны по погибшим товарищам, а тела врагов подвергает чуть ли не ритуальному поруганию. Правда, предлагает обреченным «помолиться», это тоже входит в его кодекс чести, как и полное презрение к идеологической надстройке над своим военным призванием, к выволочкам от политработников. Он нелюдски жесток, вполне нищенским афоризмом «унижаем тот, кто унижаем» выдает свое одобрение самой лютой дедовщине — и, как ни странно, трогательно беззащитен. Не знаю, имеет ли этот третий (наряду с Глебом и убиенным, но закадрово присутствующим Борисом) привилегированный персонаж жизненное — или литературное (Печорин, Вулич, чеховские фон Корен и Соленый) — происхождение, скорее сплав того и другого, не знаю, как удалось писателю возбудить симпатию к такому по всем статьям чудовищу, но неизбежная его гибель вызывает шемящее чувство. Марсолийский изменил своей кровавой звезде ради Афридиты, влюбился, увлекся и — психология здесь важнее мифологии — на мгновение впервые задумался о том, что его враги те же люди и на их месте он вел бы себя точно так, как они. И, неуязвимый прежде, попал под пулю.

Яркий, суперманистый, подсвеченный багрянцем Осадчий не мотор войны, а шепка в ее потоке: «...уже никто не мог вырваться из этого потока и повернуть вспять». Он, вкупе с душой своей, — жертва профессии, жертва подручной армейской работы, которая застит ему все, и гибнет он как принесенный в жертву.

II

Остается — Глеб. По случайному и небрежному ротному прозвищу — Черепаха; по компенсирующему самоназванию — Корректировщик; утрата имени и безуспешные попытки его вернуть входят в тот синдром обезличенности, который настагает всех, кто принял знак зверя.

Глеб — бедный убийца. Он убил единственного в среде «товарищей по оружию» друга с традиционно братним именем Борис, убил, стреляя ночью на посту в невидимых перебежчиков, одним из которых его друг и оказался. Все остальные его фронтовые деяния: гибель кишлаков под корректируемым Глебовой рацией артобстрелом, пальба по таящимся где-то «духам» («Он стрелял; не зная, куда и в кого. Кула-то в кого-то. В того, кого нет»), — как бы вытекают из этого пер-

вичного убийства и, вольные или невольные, оправданные или нет, несут его печать. Сюжет на поверхности следует за сезонными сменами двухгодичной Глебовой службы, но в его подземелье напрягается и подрагивает пружина этой страшной завязки, чтобы раскручиваться и за пределами романа, в новой жизни Глеба, там, за пограничной рекой.

Но так ли виноват Черепаха и, собственно, в чем? Если взвесить обстоятельства происшествия, то в убийстве своего брата он виновен не больше, чем Эдип в убийстве отца, и, скажем, куда меньше, чем герой Камю — в убийстве, как на грех, подвернувшегося араба. Он, одуревший к тому ж «от солнца и недосыпания» (тут-то и вспомнился мне Посторонний в жарком Алжире), стрелял даже как бы и не в людей — в скрытых ночной тьмой существ, глянувших сперва огромными варанами. Но, как Эдип отвергает ссылку на стечение обстоятельств, берет на себя ответственность за отцеубийство и тем самым, по принятому толкованию трагедии Софокла, утверждает свое человеческое достоинство перед лицом Рока, так и этот незадачливый солдат подымлет бремя вины, а если и забывается, то, загнанная внутрь, она возвращается к нему, одурманенному анашой и преследуемому совестью, в сновидениях, превращающих место злосчастного события в топографию адских блужданий. В этом своем самосознании Глеб не только жертва братоубийственного потока, но и трагический герой, ищущий в нем личную ориентировку.

Однако вспомним еще раз: Ермаков «пишет конкретно». Античная трагическая алгебра безвинной вины еще ничего не говорит о другом, взятом из иной духовной традиции, глубоко интимном, начинающемся в трудно-уследимых сердечных извивах понятия греха, на какое намекает новозаветный эпиграф романа: «...и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью...» И если вначале, до всего случившегося, когда солдаты возводят под палящим солнцем очередное гарнизонное сооружение, Глебу кажется, что «никто не глянет с укориною на них и не смекает язык их, чтобы остановить их, потому что небеса давно пусты», то в конце он чувствует на себе Взгляд: «Врата. Все позади. И утром они полетят... за реку, в Союз, где никто ничего не знает. Но кто-то и там будет знать. Кто?... Но кто-то еще там был, и он знает. И будет знать за рекой».

Друг роковым образом убил друга, брат по законам людской вражды убил брата. Это — вообще. Но вот в чем дьявольская «конкретность»: конформист убил отказника. Тот, кто не мог не стать как все, убил того, кто не мог стать как все. Согласившийся соучаствовать убил того, кто не сумел принудить себя к соучастию.

Штрихами податливости едко испещрена вся история Глебовой службы. Поначалу двое мальчишек в лагере для призывников нашли друг друга в силу избирательного сродства — бегства от системы и отращения к ней. Ибо что такое как не отлично знакомая всем нам утопия эскапизма эти одинокие допризывные странствия Глеба по северным рекам и уральским чащам, сопровождаемые чтением

даоских мудрецов и поэтов? — «под сосной у воды возле красных углей, думая о море...». И очевидно, что его друг из того же теста, только упрямей и строптивей. А дальше судьбы этих «друзей в поколении» расходятся.

Борис — инакомыслящий, инакодействующий. «Рыжий эллин», Геракл в курятнике, он бежит из части не потому, что сломлен жестоким обращением и, конечно, не потому, что собрался перейти на сторону афганской оппозиции. Он, легко догадаться, отторгает чужую игру, чужую личину — отбрасывает их отчаянным рычком. А Глеб-Черепаха — это каждый, всякий, любой из нас, everypman, как говорят англичане. На первых порах и он бунтует против кастовых традиций солдатского «общества», но, будучи предан дружками и попав под кулаки старших, смиряется, затаивается. (Потом, после Приказа, когда уже не страшно, курнув косячок, он припомнит товарищам тогдашнюю их измену и позволит себе жест надменного презрения.) Сам удивлен: «...подчиняешься с такой легкостью, будто учился в школе лакеев». А между тем озлобление проникает под «костяную скорлупу» его черепа.

В романе есть ряд «массовок» — они сразу бросаются в глаза совершенством исполнения, ювелирной точностью в передаче коллективных реакций, хорового солдатского «мы». Утренняя побудка, драка в кинотеатре, курение анаши в бане, переполненный зал, насилующий взглядами заезжую акробатку, азартное разграбление торговой улицы в афганском городе, написанное с гоголевской подковыркой. И в каждой из этих сцен, иногда трагичных, часто постыдных, Черепаха пытается найти свое отдельное место, но — безуспешно. Такой же, как все. Даже хуже: не такой, но «примкнувший». Тоже грабит, хоть и по-своему: тащит не женские туфли и японский магнитофон, а мешок изюму, восточный книжал и священную книгу на недоступном языке. Потом устыжается при виде молчаливых туземных свидетелей позора, все раздает и выбрасывает. Но — после того, как до тошноты обьелся и обкурился похищенным добром. И так — во всем.

Пядь за пядью поглощается существо Черепахи навязанной коллективностью, такой, когда избиваемый похож на сообщника избивающего; к вынужденным обстоятельствам прилаживаются его мысли, чувства: «...ничего страшного, терпеть можно... Что делать, если ты один».

«Этот, которого застрелили, — корчил из себя умника» — такова офицерская эпитафия Борису. Глеб отучается быть умником, отличительный атрибут его прежней жизни — к н и г а — здесь словно бежит от него, дразня и не даваясь в руки: ему ни разу не удастся заполучить ее, даже когда обстоятельства службы, казалось бы, это позволяют. Приходят минуты, когда, мысленно оглядывая себя, Черепаха умеет умилиться собой и принятой на себя ролью: «Он идет пружинисто по замерзшей земле, он легконог и мускулист... Шапка неказиста, но тепла, в коротком сизом меху утопает маленькая красная звездочка. На плечах полевые зеленые погоны, в петлицах скрещенные пушки... Он солдат, артилле-

рист». И умеет почти убедить себя, что медаль получил за участие в операции, а не за тот ночной выстрел на посту: «...все дело во мне, в моем восприятии: как я это воспринимаю... Я оказался неплохим солдатом, и меня наградили». И в гротескной предфинальной сцене потеряет эту медаль, цену Борисовой жизни, ретируясь от разъяренного хряка, но тут же кинется искать ее в кустах — не возвращаться же без награды в Союз.

А вот каков он после первого боя, на одном бронетранспортере с пленными: «Мы дни и ночи дрались с ними на горячих склонах и оказались сильнее. Мы победили. Мы победители... хрупкие рядом с этими рукастыми мужиками — но победители... отягченные трофеями и смертями своих товарищей. Товарищи победителей мертвы, увезены с оторванными руками, разбитыми головами в госпиталь, а их убийцы — вот они, сидят рядом с победителями, и у одного из них невыносимо гордое лицо, хотя он отлично знает, что победители могут с ним сделать все, что угодно. Мы можем... все, все, все... Мы вправе казнить убийц своих товарищей. Спихнуть под танк. Или просто всадить очередь в голову... все, что угодно... Но... но... мы не тронем... ладно, пускай дышат, пускай смотрят...» Понятные чувства, без них не повоюешь — наука ненависти, как писали в ту войну. Зеленый мальчишка, собрав остатки идеализма, все еще великодушничает (пускай дышат) там, где Осадчий всадит-таки очередь в голову, но логика у того и другого одна. Понятные чувства, и никому, кто не был рядом, не дано ни извинять, ни осуждать их. Да вот только тот, кто, х о т ь у б е й, так чувствовать не мог бы, действительно убит — дружеской пулей.

Ну а если распутывать узел до конца, медленно и неуклонно, тогда роковая случайность обернется внутренней неизбежностью — и станет ясно, что именно Глебова пуля должна была настичь первую же беззащитную жертву, что вылетела эта очередь не только из ствола автомата, а из самого сердца, откуда и выходят, жутко материализуясь, наши злейшие помышления. Перед тем как все совершилось, Черепяха дает волю злорадному чувству: опасно укушен змеей особо беспощадный к новичкам старослужащий, — и мысленно з мее завидует: «Хорошо всегда иметь под языком несколько этих росинок. И чтобы знали все, что они есть под твоим языком. Хорошо быть эфой с шуршащими серебрястыми чешуйками на боках, или змеей с гремучим хвостом, или коброй с капюшоном». И он смотрит «со странным чувством» на затылок другого ненавистного «деда», сидящего неподалеку в каптерке, смотрит, «ощущая тяжесть автомата за спиной — увесистое жало, набитое свинцовыми росинками». Тут-то возникают перебежчики. Заряд ненависти, предназначенный обидчику, в которого стрелять н е л ь з я, летит в голову того, в кого стрелять можно и даже в е л е н о, в голову, как это по дьявольской иронии и бывает, друга и брата: «Дуло с силой вышло алый жучий яд».

Теперь становится яснее, что же имеет в виду автор под апокалиптическим «знаком

зверя». Это не красная звездочка, вдавленная в солдатскую шапку, как можно бы подумать, сообразуясь с конъюнктурой. Это даже не след от оружия на руках, привыкших к взаимоубийству людей. Это согласие вступить в круговую поруку ненависти, стать звеном в цепи обиды и мщения, все равно — по свою или по чужую сторону фронта. Это внутренняя отравка — потом ее «выщипывают» дула автоматов, гранатометов. И кто посмеет сказать «нет», будучи втянут в круг, по которому циркулирует яд? Глеб, перебирая прошлое, ищет роковую развилку: надо было сказать «нет», когда его определяли в одну часть с Борисом, — и ничего бы не стряслось. Но разве это настоящее «нет», разве тогда оно должно было прозвучать? А когда же? Мысль Ермакова глубока, тяжка, неподъемна, с неизбежностью не довершена...

И все-таки как не любить его, Глеба-Черепяху-Корректировщика, не сбывшего ведь свою вину с рук, как не радоваться, что выжил он, вернулся. Ведь именно с ним отождествляет себя не только автор, но и читатель, прекрасно понимая, что такова и его человеческая история, пусть прожитая в другом мире, в тисках других условий. Он ближе всех прочих лиц, населяющих многолюдный роман: и безымянного хирурга, чей плоский рационализм побеждает похотью, а бездумный материализм посрамлен суверенным страхом смерти; и деревенщины майора, плотоядно радующегося «свинкам»; и свинопаса Коли, про которого так и не узнать, взялся ли он за презираемое не солдатское дело из трусости, из покорства или, как хотелось бы думать ищущему моральной опоры Глебу, из отвращения к убийственным трудам войны.

Чувствуется, что та разлитая по тексту, несмотря на все адовы ужасы и унижающие тяготы, поэзия жизни, которая присутствует и в героизированной панораме непокорной страны, и в пестроте восточных городов, и в величии гор, в чье нутро, заставляя вспомнить лермонтовский «Спор», вгрызаются бульдозеры и снаряды, и в воспоминаниях о милом севере, и в шестивой каравана кочевников-пуштунов, возникающих и исчезающих, словно мираж в пустыне, свободных от войны и государственности (нет у них родины, нет и изгнания), и в многозначительных знамениях небесного свода, солнечной колесницы, звездного воинства, и в «слабой прерывистой странной музыке весенних живых вышних сфер» — журавлиных кликах, обезоруживающих солдатские души, — что эта таинственная лирическая волна равно принадлежит миру автора и протагониста. И сколько бы ни взнуздывал себя герой, становясь в общую упряжку, он, как легко догадаться, разделяет с автором дружелюбное, без тени ксенофобии, внимание к чуждому быту и обычаям, к не нашему укладу и вере, являемое с этих страниц в лучших правилах Пушкина, Лермонтова и Толстого, в духе уже подзабытой «всемирной отзывчивости».

...А чем же все это кончилось, в чем суть загадочного финала, когда отслуживший срок герой как бы раздваивается, в одной своей ипостаси улетаая бравым дембелем «за реку»

на серебристом «ТУ», а в другой — втискиваясь оглоушенным новобранцем в вертолет, который доставит его в «мраморно-брезентовый город», чтобы он снова и снова выходил там в ночной наряд и целился в друга? Критики увидели здесь безнадежный миф вечно возвращающегося на круги своя — обреченность на бессмысленное повторение бессмысленного кровопролития. Оставалось пожурить Ермакова за пессимизм.

Но разве от века не гоним человек своей совестью на то место, где совершил преступление? Тут не мифическое круговращенье, а духовная реальность неискупленной вины.

*

ПРОЩАНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

З у ф а р Г а р е е в. Мультипроза. Повести. М. Объединение «Всесоюзный молодежный книжный центр». 1992. 224 стр.

Программным произведением раннего, скажем так, Зуфара Гареева считается повесть «Парк» — разработка популярнейшей в современной литературе и кино (Феллини) темы карнавала. Перед нами отнюдь не калька со средневропейского, а вполне оригинальное произведение, в котором «карнавал» переводится как «массовое гуляние трудящихся». Место действия — парк культуры и отдыха во всем его великолепии: с доской почета, прудом для семейного катания на лодках, скульптурой «Девушка с веслом», с заведением «Пиво—воды» и кустиками для всего последующего, с Зеленым театром — «сокровищницей областной культуры» и т. д. Общий вид парка: «Колонны трудящихся, наполняя солнечное пространство красками и звуками, растекались по местам активного отдыха... весело входили в двери буфетов... к прилавкам с пирожками с повидлом и с банками минтая... ломились к газетным киоскам», «перели трубы, крутились карусель». Среди персонажей повести выделяются самоотверженный борец за светлое будущее тов. Кромешный и гармоническая личность тов. Петров. Вот последний, совершив прилюдно подвиг (с помощью «цепкого сука» остановив летящий на толпу вагон), — приступает к проведению культурного досуга: «Эх, спорт! Товарищ Петров скинул штаны, быстренько отвалил 500 метров, прыгнул в высоту, обрадовав голубые небеса вольностью полета, метнул гранату, съел 500 штук русских народных блинов в соревновании «Кто больше?», влез на столб, слез со столба с холодильником в руках и под крики «ура!» получил значок...» В стилистике повествования — ироническое воспроизведение пафосной многозначительности официального лозунга и одновременно «философичности» платоновской фразы: уборщица «не ведро несла на помойку, а саму себя она несла туда, в отходы жизни — впрочем, утло и крепко еще держась широкими, матерными ступнями за землю, по которой шла в данный момент жизни». Перед нами, можно сказать, классический «соцарт» конца 80-х.

Все мы, страна, общество, не заслужили другого финала. Когда-то у послевоенных кающихся немцев был в ходу термин «непреодоленное прошлое», а мы, гоним назад непреодоленное прошлое, а вперед — жизнь и надежда. Нужно ли объяснять смысл этой расколотости живого, не погибшего еще существа — грехом? Так будет, «пока знак зверя не сотру с их лиц», говорит Лип, липовый Спас в туманном видении сберегшей душу женщины. Тогда зайдет кровавая звезда Марса.

И. РОДНЯНСКАЯ.

Это литература, с которой критики сегодня уже начинают прощаться. «Писатели «новой волны»... в итоге оказались неинтересны», — заметил Марк Липовецкий в своей умной, во многом точной (но отнюдь не бесспорной) статье «А за праздник — спасибо!» («Литературная газета», № 46, 1992). В литературе «неинтересно» означает — мертво. Беда «новых», считает критик, в том, что о создании собственного стиля они позаботились, а вот о философском обеспечении этого стиля — нет. В результате вся их — Пьецуха, Толстой, Евг. Попова и других, в том числе и Гареева, — литература осталась на уровне приема. Игры, позволяющей завести диалог с культурой. Но не более — диалог этот оказался односторонним: «новые» с культурой говорят, а культура с ними — нет, культура их не заметила, не стали они ее частью. Короче, литература «новой волны» как-то уж очень быстро начала стариться, превращаться просто в бумагу.

Книга Гареева, составленная из трех повестей («Парк», «Аллергия Александра Петровича», «Мультипроза»), на которых, собственно, и держалась в литературных кругах репутация Гареева как одного из интереснейших новых писателей, — книга эта, получается, вышла в тот самый момент, когда ажиотаж вокруг «другой прозы» стихает, когда прошло радостное (или недоумное) возбуждение, с которым читатель встречал появление «новых». Опоздала? Не повезло Гарееву? Не думаю. Скорее наоборот — книга вышла вовремя. Читателю, уже освоившемуся с языком новой литературы, легче будет понять, кто перед ним — писатель или только член некоей ярко пыхнувшей литературной команды. Новизна материала и литературного приема уже не будет заслонять содержание.

...Разговор об этом содержании начнем с главного, со стиля. Ибо для писателя выбор стиля означает, как известно, выбор формы взаимоотношений с действительностью. (Стиля без «философского обеспечения» вообще не бывает. Стиль — это и есть философия. Разумеется, если это стиль, а не его имитация.) Гареев выбрал постплатоновский, если

так можно выразиться, язык, сопрягающий в одной фразе понятия вечные с временными, с легким жаргоном эпохи и сопряжением этим выявляющий внутреннее содержание, подлинный масштаб рожденных повседневностью слов и понятий. Функция этого стилистического приема за последние десятилетия изменилась существенно. С какой-то жутковатой естественностью, почти органичностью вошли принципы построения платоновской фразы в мышление и строй официозной коммунистической фразеологии (разумеется, в опощленном, огрубленном виде, и тем не менее...). И потому, может быть, платоновская манера изъясняться у его поздних литературных наследников стала прежде всего средством пародии, пародии не только на официоз, но и на тот исторический оптимизм, тот пафос коренной переделки жизни, который, собственно, и выражал этот стиль в «Родине электричества». А отсюда уже совсем близко и к социально-правственной сатире, пусть на уровне высоколобных потребителей «соцарта». То есть куплолению платоновского слова, к перенесению его из сферы художественной в область сугубо прикладного публицистического письма.

Гареев, работающий в этой стилевой манере, остается художником. В его языке слово, впитавшее в себя исторический и культурный контекст, сохраняет способность прочно удерживать еще и свое первоначальное наполнение, свою изначальную окраску. Скажем, в уже процитированной фразе про уборщицу словосочетание «м а т е р ы е ступни» содержит не только иронию, но и ошутимую горечь — у героини Гареева вполне р е а л ь н а я земля под ногами, и слово «жизнь» в этой фразе обозначает вполне реальный ж и з н ь, а не некий условный совковый образ. Так же как и множество других слов-понятий, участвующих в описываемом Гареевым нелепом праздничном шествии, рождены жизнью, а не маскаралом.

Вот обэриутская по гротескности и алогизму сценка: образцово-показательное катание на лодке семейства Кокошниковых, в процессе которого супруга Кокошникова, «женщина Анна», от «любовного общения с природой» наполняется каким-то томительным девичьим чувством к мужу; мальчишки-сыновья лупшуют друг друга, оглашая округу криками; а глава семейства, взяв в руки весло, бьет им по голове самого голосистого, Васятку, так, что тот вываливается из лодки и тонет. «Не спасай его, Анна! — наказывает жене супруг строго и торжественно. — Пусть он станет добычей рыб», «На природе... необходимо дружить с дисциплиной и порядком!..» И праздник продолжается, музыка играет, карусели вертятся, тащат в фургон головкой вперед утопленника Ваську, поет песню любви женщина Анна, «высоко вскидывая перед мужем Кокошниковым голову и стыдливо дрея». Кошмарная абсурдность сценки как раз в этом больно цепляющем сознание «женщина Анна», потому что в словоупотреблении Гареева «женщина Анна» действительно ж е н щ и н а в исконном значении.

В повести нет единого сюжета. Множество портретных зарисовок, сцен и эпизодов соединяются в целое не на сюжетном, а на стилистическом уровне. Повествование организуется, как ни странно прозвучит это в подобном контексте, сильное лирическое чувство, с которым автор наблюдает за смешным, абсурдным, страшным и одновременно жалким, по-своему трогательным и трагичным «карнавалом».

Сквозной сюжет появляется в повести «Аллергия Александра Петровича»: герой, уволенный по сокращению штатов, из уютного, защищенного мирка кабинетов, где «чаечкофеечек», «мармеладик-сервилладик» и сладкая послебеденная дрема в рабочем кресле, попадает на улицу, попадает в обыденную жизнь города, заставляющую героя испуганно вздрагивать. В изображении противоестественного уклада городской «уличной» жизни автор пользуется гротескными, вызывающе натуралистическими образами. Его герой видит сквозь стены столовых «подсобные помещения, в которых по влажному кафелю ходили грубые люди... голоса их смешивались... со стуками топора о кости, о кровавую животную мякоть... в котлах кипело... ядовитое вариво — густое, жирное, — и никто уже не знал, сколько они кипят: час, три часа, сутки. Возможно, кости уже превратились в мыло, в это вариво добавили того, что сегодня принесено с посудомойки, собрано со столов. Многооборотное вариво это разливалось по тарелкам, попадало в организм, всасывалось в него и съедало много жизненных соков; и усталый, изможденный организм человека становился еще дряхлее, жить организму становилось все опаснее, все безнадежнее...».

«Кабинетная» и «уличная» жизнь — это, в сущности, один мир, с единым языком и масштабом ценностей. Миру этому противопоставлено в повести здоровое бытие природы — жизнь растений, воды, неба, детей, бродячей собаки, с которой подружился Александр Петрович. Герой инстинктивно ищет утраченную окружающей его «цивилизацией» норму. И находит ее, скажем, на своей заброшенной даче, где целые дни он проводит лежа на земле, позабыв человеческую речь и «слушая восхождение холодных подземных вод по стеблям трав к солнцу, к свету. Лежал и слышал волосами приливы неба, которое никак не называлось, ни небо Лаптевых, ни Баренцево небо, а просто небо...». Устройство его на работу все откладывается и откладывается, герой не слишком усердствует в возобновлении своей карьеры — все дальше и дальше относит его от прежней жизни, и завершается повесть метафорической смертью героя, окончательно умершего для города.

Гареев ищет и находит понятие нормы в природном, естественном порядке вещей. Грозный многорукий, меднолицый Бог, выявляющийся в первом абзаце его повести, легко может быть заменен любым другим воплощением рока. Образ этот понадобился Гарееву только для того, чтобы обозначить

малость масштаба человеческого мирка, замкнутость этого мирка на самом себе, обозначить наличие других начал жизни.

В «Аллергии Александра Петровича», несмотря на ее андерграундность, эпатажность в описаниях физиологических отравлений города, чувствуется та же лирическая струя, та же скорбь по шаблудившемуся человеку, и, соответственно, некая традиционная для русской литературы проповедническая нота.

Вообще интересно наблюдать, как в новейшей литературе, бравирующей своей нетрадиционностью, возрождаются литературные традиции. Вот, казалось бы, уж совсем крутой андерграунд — повесть «Мультипроза», рассчитанная на шокирующее воздействие: причудливый хоровод стариков-пенсионеров, бичей, ментов, жэковских активистов, толкущихся в бесконечных очередях, с остервенением вырывающих друг у друга свою долю «социальной справедливости» и в борьбе этой проламывающих друг другу головы, поедающих внутренности друг друга... Но в качестве первой же литературной аналогии повесть эта заставляет вспомнить почтеннейшего Михаила Евграфовича с его зачином к «Истории одного города». Общность здесь — в культуре обращения с традицией фольклорного сказа. «Штабеля ж вы мои, штабелялистые: все из досок состоите вы тяжелялистых! — вскрикнул в Красноярском крае старый опытный бич Голубеев... в то же мгновение толстая доска свалилась сверху, разможила череп ему на три части. С обидой Голубеев собрал осколки и пополз под штабель, прилег там» — так весело, песенно заводит Гареев повествование «Мультипрозы». По жанру это скоморошина, где используется, кажется, все из русского фольклора: и былина, и плач, и песня, и сказка, и небывальщина... Соответственно жанру возникает и образ мира, как бы отпечатавшийся в подкорке советского обывателя. Мира, где реальный пейзаж всегда состоял «из какого-то облезлого кусточка, в гуще которого лежала дохлая кошка... из отгрызка дерева, бетонной плиты, полувросшей в крапиву: под плитой... какая-то старуха, караулившая очередь». А в качестве символа абсолютной жизненной состоятельности и благополучия в сердцах героев повести живет образ личного туалета, в котором «унитаз весь сырковой массой припушен, что по пятьдесят одной копейке, да творожком весь выложен. А с потолка сосиски свисают, да яичками по 90 копеек приправлены. А в унитазе — господи! Не вода течет, а молоко булькает: да не простое, а топленое да цельное, и жиру в нем — шесть процентов, вот!».

Для своей скоморошины автор выбрал абсолютно современную, рожденную техническим прогрессом XX века, но глубинно очень точно соответствующую фольклорному способу мышления форму — форму мультипликации. Для современного человека совершенно естественны вот эти откровенно нарисованные фигурки, плоские, мельтеша-

щие на экране, толкающие друг друга, способные умирать и тут же воскресать, меняться руками, ногами, головами, способные мгновенно собираться в бесконечные очереди и тут же рассыпаться. И чудеса в этом эстетическом пространстве не кажутся чудесами, и всякая небывальщина здесь абсолютно уместна и даже — мотивирована. Старушки Гареева, образ жизни которых — очередь, в любой очереди они на месте, даже в роддом: «На каптерке вывесили список, потянулись к роддому и вскоре все стали рождать. Каждая старуха выходила из роддома со сверточком. В них были маленькие старушечки, как две капли воды похожие на роженец. Они быстренько, тут же на глазах, выросли, сбросили пеленки, и каждая, прихватив по авоське — а то и по две, — встала рядом с хозяйкой». Мир этот нелеп, почти кошмарен, но при этом и как-то соразмерен изнутри, цикличен, гармоничен даже. Что делать, если эстетика помоек и очередей, которая кажется нам дикой, для кого-то и жизнь, и страсть, а значит, и музыка. (Из сказанного, конечно, не следует, что автор сам находится внутри этого мира.)

При том, как по-разному написаны все три повести, составившие книгу, их роднит попытка создать обобщенный образ, попытка сформулировать стержневые понятия и категории той действительности, которую осваивает писатель. Серьезность задач, поставленных молодым писателем в его первых вещах, и высокий уровень художественного их разрешения обещают, будем надеяться, значительные творческие перспективы для Гареева.

Говоря о старении «новой литературы», Липовецкий уловил существенное — завершение некоего этапа. Но это не значит, что появившиеся сегодня повести Гареева — анахронизм, повести эти не потеряли силы своего воздействия. А вот ощущение завершенности определенной фазы уже в творчестве самого Гареева действительно появляется. Двигаться в том же направлении значило бы для него повторяться: Как и куда ему идти дальше, судить не нам. Это дело автора. Мы можем только строить предположения, знакомясь с его последними, выполненными как бы в строгой реалистической манере рассказами, такими; например, как «Каникулы» и «Когда кричат чужие птицы». Неожиданная сила, почти неудовимая, но хорошо ощутимая особость вполне традиционных внешне рассказов — это, на мой взгляд, подсвет изнутри той работы, которую Гареев уже проделал в ранних повестях. Видимо, будущее Гареева-прозаика здесь, в такой внешне реалистической и гротескной в подтексте прозе. Думаю, что в полной мере оценить масштабы и важность сделанного «ранним» Гареевым нас еще заставят его последующие вещи.

Сергей КОСТЫРКО.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

БЫЛ ЛИ ФАЛЬСИФИКАТОРОМ В. И. АНУЧИН?

Статья Л. В. Азадовской «История одной фальсификации» увидела свет на страницах «Нового мира» более четверти века назад¹. В ней автор утверждал, что письма Горького, дотоле считавшиеся подлинными, на самом деле сочинены неким В. И. Анучиным.

Может быть, не стоило возвращаться к этой теме и спорить с Лидией Владимировной спустя четверть века (хотя восстановить историческую истину, думается, никогда не поздно), если бы ее точка зрения не так давно не была поддержана Е. А. Тенишевой, автором статьи о сибирском литераторе, помещенной в первом томе авторитетного биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917» (М. 1989, стр. 95—96). Каковы же аргументы Л. В. Азадовской? Основной — дата первого письма В. И. Анучина Горькому². Лидия Владимировна считает, что оно написано 23 мая 1911 года (следовательно, все письма с более ранними датами — подделка³). Действительно, так можно прочесть авторскую дату. Но в конце письма стоит адрес Спб. Канонерская, 21, кв. 19. А справочник «Весь Петербург на 1911 год» свидетельствует: в 1911 году Василий Иванович проживал в доме № 21 по Английскому проспекту⁴.

Еще исследователи, готовившие тридцатитомное собрание сочинений Горького, на папке, в которой хранится рассматриваемое письмо, зачеркнули год 1911 и поставили 1901. В пользу такой передатировки имеются серьезные основания. Так, в 1898 году происходит личное знакомство В. И. Анучина со стоящим близко к Горькому В. А. Поссе⁵. Затем, 23 февраля 1900 года, Василий Иванович пишет в «Знание», предлагая свои услуги в качестве рецензента на выпускаемые издательством книги⁶, и получает положительный ответ⁷. И, наконец, он решает познакомиться с Горьким⁸ и стать автором знамиевских сборников⁹.

Как видим, описка, а они не так уж редко случаются, ввела в заблуждение Л. В. Азадовскую.

В подлинности писем Горького В. И. Анучину убеждает история их опубликования. Она такова.

«Литературное наследство» задумало выпустить том, посвященный Горькому. 7 февраля 1935 года Г. А. Смольянинов, редактор издания, запрашивает В. И. Анучина о имеющихся у него материалах, не забывая подчеркнуть: «Ни одна строка <...> не будет нами опубликована без предварительного согласования <...> с самим Алексеем Максимовичем»¹⁰. В конце месяца (25-го числа) следует просьба прислать копии

¹ См.: «Новый мир», 1965, № 3.

² Архив Горького (АГ), КГ—П 5—4—1.

³ Письма Горького В. И. Анучину, о которых здесь идет речь (23 письма, крайние даты: 4 ноября 1903 г. — 14 июня 1914 г.), впервые были опубликованы в «Трудах Самаркандского государственного педагогического института» (Самарканд. 1941. Т. 2. Вып. 3).

⁴ Этот же адрес указан в письмах К. И. Чуковского В. И. Анучину (ЦГАЛИ, ф. 14, оп. 1, д. 34).

⁵ См. письмо В. И. Анучина Г. Н. Потанину от 16 декабря 1898 г. (ЦГАЛИ, ф. 381, оп. 1, д. 2а, л. 12).

⁶ АГ, папка «Знание» 1—45—1.

⁷ Это видно из второго письма В. И. Анучина в «Знание» (лето 1900 г.). АГ, папка «Знание» 1—45—2.

⁸ См. письмо В. И. Анучина Г. Н. Потанину от 21 марта 1901 г. (ЦГАЛИ, ф. 381, оп. 1, д. 2а, л. 18).

⁹ В первом письме В. И. Анучина Горькому, написанном, как я считаю, 23 мая 1901 г., говорится: «Извините, но я решил послать Вам мою книжку (Анучин В. И. Сибирские легенды. СПб. 1901. — Е. Н.). Может быть, Вам как-нибудь случится ее прочесть. Суть, конечно, не в этом. Я задумал послать для сборника «Знания» рассказ — так вот предварительно шлю визитную карточку».

¹⁰ ЦГА Узбекистана, ф. Р—1726, оп. 1, д. 70, л. 22. В записке П. П. Крючкову (июнь 1935 г.) Г. А. Смольянинов также подчеркивает: «Материалы нашего горьковского сборника, разумеется, будут согласованы с Алексеем Максимовичем» (ЦГАЛИ, ф. 140, оп. 4, д. 4, л. 1 об.).

писем Горького¹¹. 7 апреля подборка из 23 номеров уже лежит на столе редакции¹². Готовит публикацию Е. Э. Лейтнеккер, который за консультацией обращается к писателю¹³.

В Самарканде же, где с 1928 года жил сибирский литератор, разворачиваются драматические события. Сотрудниками НКВД отбираются подлинники писем Горького. 24 мая 1935 года В. И. Анучин писал Г. А. Смольянинову: «Препровождаю Вам два, случайно уцелевших, письма Алексея Максимовича, — они были на столе у жены для выписок (это № 16 и 22). Передайте их в Литературный музей»¹⁴.

Том «Литературного наследства», посвященный Горькому, по ряду причин не вышел в свет. 18 июня 1936 года писатель умирает.

А к В. И. Анучину продолжают поступать предложения опубликовать его переписку с Горьким. Василия Ивановича (хоть и не робкого десятка — сибиряк) все же одолевают сомнения. Его письмо в редакцию журнала «Красная новь» больно читать: «Мне совершенно понятно Ваше желание опубликовать письма Алексея Максимовича *полностью*: они дают столько ярких и глубоких штрихов к портрету Ал. Макс. <...> Больше того, — я понимаю, что держать эти письма под спудом обидно и, пожалуй, нехорошо, но я все-таки остаюсь при намерении опубликовать их только после моей смерти, — причины тому, может быть, и Вы признаете основательными. Из-за писем (Ленина и Горького) я несколько раз тяжело пострадал от троцкистов. <...> В 1922 г. меня вызвали в ЧК (в Томске) и потребовали выдачи писем Ленина, Горького и Дзержинского¹⁵. Я отказался выдать (письма были надежно спрятаны). С тех пор много раз в Томске и в Казани обыски, аресты (правда, кратковременные), угроза административной высылки, — и всякий раз с требованием выдачи писем¹⁶. Если б не заступничество Дзержинского¹⁷, Красикова (Гос. Прок.) и М. И. Калинина — я бы гнил в ссылке. В последний раз история, и исключительно тяжелая, разверглась здесь, в Самарканде. <...> Переделка, в которую я попал, была на этот раз настолько крута, что мне пришлось выдать ложную расписку в том, что я никогда никаких писем от Горького, Ленина и Дзержинского не получал. Спасло меня только вмешательство В. Д. Бонч-Бруевича <...> Вот я и опасаюсь, что троцкисты (а они далеко еще не все выкорчеваны) найдут способ доставить мне неприятности, если письма будут опубликованы. Конечно, сослаться на страх — дело недостойное, <...> но я стар и болен (порок сердца и язва желудка). <...> Между прочим, меня посетила даже специальная комиссия: представитель парт. контроля из Ташкента и двое от местного Горкома (в том числе т. Кичанов — ныне нар. ком. просвещения в Ташкенте). Я читал ту рукопись, которая находится у Вас, а они проверяли по подлинникам писем А. М. Трепали меня бесконечно»¹⁸.

К осени 1939 года В. И. Анучин свои сомнения преодолевает — дает добро на полную публикацию в «Литературном современнике». Научную подготовку издания осуществляет И. А. Груздев¹⁹. Но вето накладывает И. К. Луппол, в то время директор Института мировой литературы²⁰.

Письма Горького В. И. Анучину увидели свет лишь в 1941 году в «Сибирских огнях» (№ 1) стараниями С. Е. Кожевникова и параллельно в «Трудах Самаркандского пединститута» (т. 2, вып. 3). Василий Иванович сперва соглашался лишь на сибирское

¹¹ ЦГА Узбекистана, ф. Р-1726, оп. 1, д. 70, л. 29.

¹² Там же, л. 51. Вместе с копиями был прислан автограф одного письма (№ 10), с которого В. Д. Бонч-Бруевичем была сделана фотокопия (она недавно была обнаружена М. А. Семашкиной в собрании негативов Литературного музея). Автограф был возвращен В. И. Анучину и вскоре утрачен.

¹³ Сохранилось письмо 1935 г. Е. Э. Лейтнеккера Горькому (АГ, КГ—П 44—12—7). Сам В. И. Анучин в марте 1935 г. пытался возобновить переписку с Горьким, но письмо не пропустил П. П. Крючков (АГ, КГ—П 5—4—19).

¹⁴ ЦГАЛИ, ф. 14, оп. 1, д. 8, л. 3.

¹⁵ В. И. Анучин так писал в «Кратком жизнеописании» о своем пребывании в томской ЧК: «Условия были чрезвычайно тяжелые <...> Меня вызывали к следователю только для того, чтобы ложно сообщить, что моя жена «уже вышла замуж». Или под вечер ко мне являлся кто-нибудь из Чека и сообщал, что согласно приговора, утвержденного Москвой, я сегодня в ночь буду расстрелян. <...> Меня несколько раз били. Мне рукоятью нагана вышибли шесть зубов. В декабре при сорокаградусном морозе вынули на всю ночь рамы из окна камеры, утром полумертвого отнесли в больницу (я затем 2,5 года ходил на костылях)» (ЦГАЛИ, ф. 14, оп. 2, д. 1, л. 5).

¹⁶ 16 писем Ленина (1903—1913) были отобраны у В. И. Анучина сотрудниками ГПУ в Казани в 1924 г. (ЦГАЛИ, ф. 14, оп. 2, д. 2, л. 1).

¹⁷ Среди бумаг наркома внутренних дел сохранилась записка (РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 2, д. 171, л. 16), свидетельствующая о том, что в январе 1925 г. направляемому в Архангельскую губернию В. И. Анучину при проезде через Москву удалось встретиться с Ф. Э. Дзержинским и с его помощью добиться возвращения в Казань.

¹⁸ ЦГА Узбекистана, ф. Р-1726, оп. 1, д. 70, л. 67—68.

¹⁹ АГ, ФГ 1—9 (1—3).

²⁰ См. письмо В. И. Анучина И. А. Груздеву от 13 февраля 1940 г. (АГ, ФГ 1—9—2).

издание, но его «вызвали в Обком партии и сказали, что Институту нельзя отказать»²¹.

Как видим, письма Горького В. И. Анучину перед публикацией прошли двойную научную экспертизу. Первый раз (еще при жизни Алексея Максимовича!) ее провела редакция «Литературного наследства», второй раз — И. А. Груздев. И ни разу никто не усомнился в их подлинности.

Е. Н. НИКИТИН.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В журнале «Новый мир» (1992, № 3, в рубрике «Публикации и сообщения») была публикация «Д. Д. Шостакович о русской народной песне и хоре имени Пятницкого», с предисловием музыковеда Л. Лебединского. В ней идет речь о выступлении Д. Д. Шостаковича на I съезде Союза композиторов РСФСР (4 февраля 1960 г.) и его дальнейшей полемике с композитором В. Хватовым.

В предисловии Л. Лебединского есть следующие слова: «Дмитрий Дмитриевич, одобрив этот вариант, не решился, однако, его отправить, не без оснований полагая, что он станет известен могущественному аппаратному «музыковеду» — старшему инструктору отдела культуры ЦК партии Б. Ярустовскому, враждебно настроенному к Шостаковичу...»

Мой муж Б. Ярустовский много писал о произведениях Д. Д. Шостаковича, но никогда враждебно настроен к нему не был — это первое. Второе — в период, о котором пишет Л. Лебединский (февраль 1960 г.), Б. Ярустовский работал в Институте истории искусств АН СССР (копия трудовой книжки прилагается) и никакого отношения к полемике Д. Д. Шостаковича и В. Хватова не имел.

С уважением
вдова Б. Ярустовского
Линда Эдуардовна Ярустовская.

²¹ Письмо В. И. Анучина С. Е. Кожевникову от 24 января 1941 г. («Сибирские огни», 1963, № 10).



В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК А. АНДРЕЕВОЙ
«ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ»

*Не забудьте вовремя продлить
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!*

КОРОТКО О КНИГАХ

*

И. Х. ПИРСОН. Вальтер Скотт. **Перевод с английского и комментарии В. Скороденко.** М. «Деловой центр». 1992. 286 стр.

Ни для кого не секрет, что классиков нынче принято слегка гримировать для выхода в свет, где бродят и бэзовские и иные «призраки рынка». Возьмем книгу Х. Пирсона о Вальтере Скотте. «Деловой центр» выпускает ее в серии «Загадки и тайны судьбы». Ага, загадки, тайны! Яркая наклейка — и товар пошел...

Так-то оно так, но забавно, что эта талантливо написанная биография в хорошем переводе Владимира Скороденко прекрасно продавалась еще в 1978 году под совсем другой «наклейкой» (серия «Жизнь замечательных людей») и уже без всякой там серии столь же успешно прошла в издательстве «Книга» в 1983-м. Вот эту «тайну» устойчивой кассовости книги и использовал «Деловой центр», переиздав ее без каких-либо изменений в тексте, зато в явно ухудшенном виде — на плохой бумаге, без предисловия В. Скороденко, без хронологической таблицы и библиографии, которые были в жезеловском издании. Но за куда более высокую цену.

А ведь элементарные этические соображения подсказывают: раз уж издаем «загадки и тайны судьбы», так не мешало бы и поговорить о них особо. Вполне можно бы обратить внимание читателя на соответствующие места книги Х. Пирсона, где английский биограф говорит об удивительной способности великого писателя вживаться в миры прошлых культур, его колоссальной работоспособности, разносторонности его дарований. Следовало бы особо выделить две работы В. Скотта — «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана» (1827) и «Письма о демонологии и колдовстве» (1830), в которых романист детально и вдумчиво пишет об извечной «тяге человека к сверхъестественному», обусловленной «закономерностями самой природы человеческой», коей свойственно любопытство ко всему необычному. Наконец, следовало бы поговорить о том, что Скотт постоянно вводил в свои баллады, поэмы и романы элементы фантастики, подчеркивая при этом, что последняя интересует его не столько сама по себе, сколько как основа «фантастической» или «романтической» психологии

средневекового человека, мыслившего мифологически.

Но ничего этого в книге, изданной «Деловым центром», нет. Не лучше ли было бы просто объявить о перепечатке серии «ЖЗЛ», пусть и в ухудшенном виде? Все равно ее раскупят и без всяких «загадочных» наклеек.

II. ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ АНГЛИЧАНКИ... Элизабет Гаскелл, Вирджиния Вулф, Мюриел Спарк, Фэй Уэлдон. **Перевод с английского.** М. «Прогресс». 1992. 506 стр.

Еще одна книга с «загадкой» в заглавии. Привлекателен сам замысел ее — это удачная подборка отрывков из работ талантливых английских писательниц о других талантливых английских писательницах, составленная известной исследовательницей Е. Ю. Гениевой. Это настоящий подарок для женщин-интеллектуалок. Тем более, что сделана книга добротнo, профессионально, со вкусом. Е. Ю. Гениева со знанием дела пишет вступительную статью о «женской, феминистской литературе» в Англии, в которой дает взвешенные оценки как авторам переведенных эссе (правда, забыв почему-то об Э. Гаскелл), так и портретируемым в них писательницам — Шарлотте и Эмили Бронте, Мери Шелли, Джейн Остин. Конечно, составителям подобного рода сборников легко делать упреки в субъективности отбора материала: почему, например, не рассказано о знаменитой Агате Кристи, в жизни которой действительно были загадочные случаи? почему нет ничего об Энн Редклиф, создательнице «готических» романов, полных тайн, или о Наоми Митчисон, выбранной в вожди-колдуны одного африканского племени? Но подобные претензии предъявлять нет смысла, ибо нельзя объявлять необъятное. А эпитет «загадочные» в заглавии книги вполне оправдан, ибо здесь у него не столько завлекательный и сенсационный оттенок, сколько общепhilosophский — в том смысле, в каком коллега Шарлотты Бронте по ремеслу У. Теккерей сказал: «Человек есть драма — драма Чудес и Страстей, Тайн и Подлости... Каждая Грудь есть Палатка на Ярмарке Тщеславия». Не составляют исключения в этом плане и английские писательницы, чьи портреты нам даны, и писательницы — авторы этих портретов. Достаточно загадочна в своем экстрава-

гантном поведении талантливая Мюриел Спарк, создавшая немало интересных романов и ушедшая в католический монастырь. Загадочна и тихая, замкнутая в себе, рано скончавшаяся Эмили Бронте, автор знаменитого «Грозового перевала». И вполне логично, что душу одной «чуждачки», Эмили, глубоко раскрывает «чуждачка» современная — Мюриел. Мы с определенной долей вероятности можем догадываться, что Спарк и Э. Бронте, автор и ее «модель», — две родственные души, хотя, конечно, их отделяет друг от друга многое. Скрупулезно, но и тактично М. Спарк проследживает мучительные внутренние борения по-своему гениальной и несчастной Эмили Бронте, душа которой все более склонялась к демонизму и мистицизму, к вере в себя как в «сверхчеловека»... Не менее пронизательна М. Спарк и в своих размышлениях о Мери Шелли. Жаль только, что слишком мало она пишет о том, как создавала Мери своего «Франкенштейна», а ведь это был ее звездный час, высший и по-своему таинственный взлет ее духа. Не будем говорить о всех материалах сборника, отметим лишь эссе Вирджинии Вулф «Своя комната», стоящее несколько особняком. Это не рассказ о какой-то конкретной писательнице, а скорее феминистский манифест автора, гневный вызов мужскому шовинизму и прославление писателей-андрогинов, то есть глубоко чувствующих как мужскую, так и женскую душу. К таковым Вулф относит Шекспира, Стерна, Китса, Колриджа, Шелли, увы, оказывается для нее «бесполом», Пруст «слишком женственным».

К сожалению, вынужден отметить существенный недостаток издания «Загадочных англичанок...» — отсутствие комментариев. Следовало кое-что разъяснить. Так, в талантливо написанных «Письмах к Алисе» Фэй Уэлдон, посвященных Джейн Остен, встречаем неожиданно пассаж о Н. Г. Чернышевском. Фэй Уэлдон восхищается его романом «Что делать?» как «международным бестселлером» и «радующей душу» феминисток утопией. Пусть так, но далее следует совершенно фантастическая биография великого русского демократа: он, оказывается, «потерял голову», увлекшись «дочерью Бакунина» (!), его (Чернышевского. — В. В.) «сверкающие глаза наводили на всех страх» (!), из царской тюрьмы «он бежал», обратив «всех (!) тюремщиков в свою веру», и т. п. Почему не прокомментировать эту красивую легенду, в которой Николай Гаврилович переигран то ли с С. Нечаевым, то ли еще с кем-то? Тем более что чуть ниже Фэй Уэлдон (или наш корректор) утверждает: «В 1798 году Наполеон захватил Европу» (!). И эта сенсация для историков никак не прокомментирована.

III. ОТКРОВЕНИЕ АРТУРА КОНАН-ДОЙЛЯ: ПОТУСТОРОННИЙ МИР СУЩЕСТВУЕТ! М. МНТП «Альтаир+». 1992. 94 стр.

АРТУР КОНАН-ДОЙЛ. ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ. Перстень Тота. Сборник рассказов. Составитель и редактор переводов И. Васильева. М. Совместное советско-германское предприятие «Квадрат». 1992. 372 стр.

Если такие книги, как «Вальтер Скотт» Х. Пирсона или «Эти загадочные англичанки...», лишь слегка подкрашены в «коммерческие» тона, то не скажешь этого же о книжке из серии «Библиотека непредубежденного читателя (БНЧ)», броско названной «Откровением Артура Конан-Дойля».

Здесь все рассчитано на сенсацию, на читателя не столько «непредубежденного», сколько легковверного. Но об этом чуть ниже. Задача, которую поставил себе составитель брошюры Е. А. Шмелев, вполне правомерна — ознакомить нас с Конан-Дойлом — спиритом. Этот писатель, подобно своим землякам Дефо и Скотту и вслед за своим предшественником Э. По, хотел совершить невозможное — логически осмыслить феномен сверхъестественного. Это видно по художественному творчеству Дойла, по его рассказам, в которых трепет перед необъяснимо страшным и ужасным («Перстень Тота», «Джон Баррингтон Каулз») соседствует с насмешкой над чудесами («Игра с огнем», «Лакированная шкатулка», «Опыт профессора Баумгартена»). Духовидческий опыт автора шерлокианы сконцентрирован в последнем его большом произведении, двухтомной «Истории спиритизма» (1927), где автор ведет отсчет движения спиритов от Э. Сведенборга, описывает случаи ясновидения, левитации, общения с духами, ссылается на свидетельства Роберта Оуэна, романистов А. Троллопа и Э. Бульвера-Литтона (а книги последнего интересовали и Блаватскую), на личный опыт общения с душами родных и близких ему людей, погибших во время первой мировой войны. Опираясь на ранних отцов церкви: Августина, Иринея, Тертуллиана и других, — Конан-Дойл пытается создать особую «психическую религию», некий вариант «обновленного христианства», в котором главную роль будет играть общение живых с душами ушедших от нас людей, а земная жизнь Христа будет «служить скорее примером для нас, чем реальным искуплением наших грехов».

Но Е. А. Шмелев, видимо, из-за недостатка места не знакомит своего непредубежденного читателя с этой аргументацией Конан-Дойла, а предлагает нам его выступление в 1916 году на заседании Лондонского общества для психических

исследований, где Конан-Дойл говорит, что «дальнейшие доказательства стали излишни» и людям остается лишь прикнудить к «великому религиозному возрождению», начатому спиритами. От себя же составитель добавляет: «Степень разумности и спокойности явлений (!) на спиритических сеансах зависит главным образом от самих участников сеанса», от «известной культурности в этом деле» (!). И вообще, «верим или не верим в спиритические явления — это безразлично, но... мы должны пока принимать природу их за то, чем они себя сами называют... Это и есть позиция непредубежденного человека». Не знаешь, чему больше удивляться в этой «загадочной» декларации — то ли корявости и безграмотности языка, то ли изворотливости позиции составителя: можешь и не верить спиритам, но все-таки принимай их самоаттестации, то есть фактически верь им.

Конечно, каждый волен верить или не верить в загадки общения с душами покойников. Но меня привлекла в книге «Откровение Артура Конан-Дойля...» другая загадка: почему в ней не указаны переводчики рассказов и статей писателя? Уже по заглавию — «Конан-Дойль» вместо более правильного «Конан-Дойл» — видно, что составитель (он же издатель) предпочел взять старые, дореволюционные переводы, за которые не надо платить. Пусть так, но Е. А. Шмелев умудрился отыскать среди этих старых самые плохие! Они, очевидно, взяты из разбросанных по различным журналам типа «Нивы» публикациям, где фамилии переводчиков иногда вообще не указывались, а переводы выполнялись зачастую просто халтурно. Недаром тексты в нынешнем «Откровении...» не выдерживают сравнения не только с современными переводами, но даже и со старыми, помещенными в сойкинском полном собрании сочинений писателя (СПб. 1909—1911. 22 тт.). Так, в сойкинском переводе рассказа «Странное привидение» («Игра с огнем»), выполненном Решетниковым, персонаж именуется Маркхэм, что близко к оригиналу, а в сборнике Шмелева фигурирует Маркгам — транскрипция времен Белинского, которому был по душе роман Скотта «Иваное» (вместо «Айвенго»). Вообще «Откровение...» переполнено откровенными ляпами восьмидесятилетней давности (видимо, рассчитанными на «непредубежденного» читателя): Хидерабад и Пешауер вместо Хайдарабад и Пешавар, «водка» вместо «брэнди», Лейчестер вместо Лестер и пр. Обескураживают такие, например, перлы: «... я был поражен чарующей и дикой природой сценариума» (!). О каком «сценариуме» речь? Да просто дореволюционный переводчик-аноним английский слово *scenepu* взял в первом его

значении, сценарий, не сообразив, что в данном контексте оно означает пейзаж. Жаль, что Е. А. Шмелев не имел возможности заглянуть в сборник рассказов Конан-Дойла «Перстень Тота», где Ю. Жукова правильно передала соответствующую фразу так: «... я был поражен странной таинственностью пейзажа». Вообще эта последняя книга дает куда более серьезное представление о знаменитом авторе, о том месте, какое занимали в его творчестве всевозможные таинственные явления, связанные с мистикой, оккультизмом, парапсихологией, колдовством, ясновидением и т. п.

Вторжение рынка в книжное дело принесло много перемен — и благих и отвратительных. Исчез партийно-пропагандистский китч, зато расплодилось халтура масскульта. Замолкли изготовители хрестоматийного лака для классиков, зато резко сократилось издание самих классиков. Их теперь желательно — из-за чисто коммерческих соображений — подавать «позавлекательнее». С одной, как говорят, стороны, это и неплохо: если раньше мы вольно или невольно подгоняли великих писателей под некий «марксистский» имидж, то теперь имеем возможность откровенно говорить об их слабостях, комплексах, даже подвергать сомнению сам статус их классичности и т. п. С другой же — есть в этой смене духовных ориентиров и нечто пугающее: каждый может судить вкривь и вкось о ком угодно, пренебрегая заповедью Горация «отойдите, непосвященные!». А призраки рынка могут исказить облик любого писателя, даже если его создания принадлежат к неразменному фонду культуры.

В. Вахрушев.

ДЖ. ЛЕННОН, П. МАККАРТНИ, ДЖ. ХАРРИСОН, Р. СТАРР. Стихи и песни (Песни «Битлз»). Сост. В. Скороденко. На англ. яз., с приложением на русск. яз. М. «Радуга». 1992. 365 стр.

Хотя поводом к этой заметке стал наконец-то изданный у нас сборник песенных текстов Группы № 1 (значащихся в выходных данных «стихов» мы, как и следовало ожидать, не обнаруживаем), никакой «литературоведческий анализ» и вообще никакая попытка разъятия гармонического творчества «Битлз» на составные в нашу задачу не входят. Сюжетика песен и, стало быть, эволюция взглядов участников (в первую очередь Леннона как признанного «идеолога» группы) очерчены, пусть и вегло, в предисловии В. Скороденко, а более продвинутых любителей отсылаем к высококвалифицированным комментариям А. Полторацкого. Чтобы отбыть рецензентскую повинность и перейти к более свободным темам, отметим, что, как водится, не

обошлось без ошибок вроде проскочившего в предисловии «*The Two of Us*» или отсутствия апострофа в «*The Beatles Songbook*» на обложке и титуле (мелочи не для издательства «Радуга»). Досадно также, что текстография неполная — так, среди текстов альбома «*Help!*» почему-то не досчитываемся «*I Need You*». На месте составителя я решительно пожертвовал бы для одной из лучших харрисоновских песен, ну, например, первым же переводом безбоязненной В. Лунина: «Семнадцать лет было ей./ Среди прочих фей/ Гляделась эта девочка звездой...» (строки, по справедливости украсившие бы альбом мечтательной малаховской пятиклассницы, но «*born in Liverpool*» эта «*girl*» глядится-таки несколько иначе: «*Well, she was just seventeen, / You know what I mean, / And the way she looked was way beyond compare...*»). Песенный текст на бумаге всегда выглядит полураздетым, но «намакияжить» и принарядить его со всем пригородным шиком?.. Увы, слишком многие переводы в сборнике вызывают огорчительные аналогии с нестройной гитарой в подъезде. Да и старательная их эквиритмичность не вполне понятна. Кто-то собирается это п е т ь?.. Честный параллельный подстрочник был бы уместнее и полезнее.

Уж чем «Битлз» почти не грешат — может быть, за исключением некоторых самых ранних опытов, периода «чужих песен», — так это дурновкусием. Наивностью — сколько угодно, клишированностью оборотов и образов — вплоть до альбома «*Revolver*», но не пошлой эстрадностью, не «попсовостью». Загадка! Конечно, талант, с позволения сказать, порода, чувствующийся даже в самых незатейливых песенках типа «*Love Me Do*», но поскольку явление «Битлз» в высшей степени (я бы сказал, классически) социокультурное, возникает мысль о некой «субстанции», заполняющей пространство этого феномена и организующей музыкантов и их многомиллионную мировую аудиторию в единое целое. Д у х в р е м е н и — вот что приходит на ум; Бог ведь, не лучшего ли времени в нашем, как заметил Бродский, полувоенном веке?..

Само словосочетание может казаться раздражающе недоказуемым, слишком «бесплотным». На то и дух. Но объяснить беспрецедентный глобальный феномен «Битлз», предположим, назревавшим и наконец назревшим бумом в индустрии грамзаписи — примерно то же, что вывести появление великого писателя из распространения шариковых ручек. По-

этому позвольте следующую сумбурно-эссеистическую «коду» в стиле песни «*A Day in the Life*».

Феномен «Битлз» стал возможен, «просиял над целым мирозданием» и, оставив по себе электронно воспроизводимые сполохи и эхо, исчез за горизонтом в о т в е д е н н ы е ему краткие сроки. Отведенные не чем иным, как самой историей. Если признать за печальную истину маниакально-депрессивный характер нашего столетия, то от силы четверть века после второй мировой войны — период недолгой ремиссии, что-то хотя бы отчасти похожее на прояснение коллективного сознания. При всех оговорках — это время созидания. При всех исключениях — мир отстраивается заново, живет в атмосфере продуктивного творчества и остренно-свежего переживания простых и фундаментальных — вечных — ценностей. Это похоже на выздоровление от контузии, и часто новое — воспоминание «хорошо вышибленного» старого. Какое еще время называть счастливым как не это — подпитываемое уверенностью в том, что здравый смысл торжествует над безумием и хаосом, завтра будет хоть чуточку лучше, чем сегодня, а уж о вч е р а что и говорить?.. Это время, когда надежда не низводится до иллюзии, а в возрождающемся из пепла Фениксе мы способны увидеть не пустую эмблему омоложения, но прорыв к и с т и н е. Малая витаминность-калорийность этих лет не возмещается ли с лихвой температурой душевного тепла? И кажется: все дети зачаты в любви, все нескладные подростки любимы самой жизнью и за один весенний день в ничем не примечательной точке земли, на какой-нибудь Пенни-Лэй в Ливерпуле, можно получить представление о всей красоте этого мира. Не в том ли и разгадка «Битлз», что каким-то счастливым (для нас) образом они конденсировали в себе светлую энергию жизни? Делая поправку на то, что все это пишется из с о в с е м д р у г о г о времени, на то, что «Битлз» — это наша юность, а с расстояния ее нельзя не идеализировать, зная, что считанные годы, от силы два-три десятилетия, этого безмятежного существования (да и не для всех и не везде) на глазах одного поколения взорвутся на вечных бытийственных конфликтах, я все-таки думаю, что «Битлз» спели для нас и с т и н н у ю музыку жизни.

Очень может быть, что это и есть реальная задача искусства. Достойная, во всяком случае.

В. Потапов.

В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);
АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ. Спички (маленький роман);
о. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Письмо духовному сыну о евразийстве;
ЭММА ГЕРШТЕЙН. Тогда, в тридцатые... (главы из воспоминаний);
ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ;
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Заколдованный створ (роман);
ДАУР ЗАНТАРИЯ. Судьба Чу-Якуба (перевод с абхазского автора);
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Эссе о литературе (из наследия);
ИГОРЬ КЛЯМКИН. Общество и реформа;
АНТОН КОЗЛОВ. Государство и коррупция;
ЕВГЕНИЙ ЛАПУТИН. Приручение арлекинов (роман);
АЛЛА ЛАТЫНИНА. На льдинах лавр не расцветет (о богатстве и бедности в русской литературе);
В. НЕПОМНЯЩИЙ. О Пушкине и русской культуре;
ЕВГЕНИЙ НОСОВ. Темная вода (рассказ);
ИВАН ОГАНОВ. Песнь виноградаря осенью (фрагменты эпоса);
НИКОЛАЙ ОДОЕВ (Н. Г. НИКИШИН). Рассказы (из литературного наследия);
ВИКТОР ПЕЛЕВИН. Желтая стрела (повесть);
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки;
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. «Увлекая в дальнюю Америку...» (пьесы и другие неизвестные материалы);
К. П. ПОБЕДНОСЦЕВ. Из частной переписки;
ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН. Заметки из зала Конституционного суда;
С. М. СОЛОВЬЕВ. Детство (воспоминания);
Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ. Переписка с М. К. Морозовой;
БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Гаяне и Маргарита (рассказы);
С. И. ФУДЕЛЬ. Письма из ссылки;
ДОРА ШТУРМАН. У края бездны (корниловский мятеж глазами историка и современников);

а также новые произведения Л. БЕЖИНА, А. БИТОВА, Г. ВЛАДИМОВА, А. ВОЛОСА, Р. ГАЛЫЦЕВОЙ, З. ГАРЕЕВА, Н. ИЛЬИНОЙ, А. КИМА, Н. КОРЖАВИНА, А. КРИВОНОСОВА, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, И. ЛИСНЯНСКОЙ, В. МАКАНИНА, Ю. МАЛЕЦКОГО, Г. МЕДВЕДЕВА, Е. ПОПОВА, В. ПЬЕЦУХА, М. РОЩИНА, И. ТАРАСЕВИЧА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1993 ГОДА!**

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

*

BEN HELLMAN. Barn-och Ungomsboken: Sovjet-Ryssland. Stockholm. Rabén och Sjögren. 1991. — **БЕН ХЕЛЬМАН. Литература для детей и юношества в Советской России.** Стокгольм. «Рабен ок Шёгрен». 1991. 334 стр.

Книга шведского исследователя, преподавателя русской литературы университета в Хельсинки Бена Хельмана охватывает период 1917—1986 гг. Первая часть дает обзор развития детской литературы по десятилетиям. В первой главе «Все цвета радуги» (1918—1928) автор рисует подробную картину детской литературы тех лет (издательство «Радуга», журналы «Новый Робинзон», «Еж» и «Чиж», с одной стороны, «Мурзилка» и «Пионер» — с другой). Выделена роль М. Горького в подготовке проекта «новой литературы для детей», отмечено возникновение новых жанров: научной фантастики, научно-популярных книг и др. Вторая глава (1929—1940) — триумф идеологии в детской литературе: выходят книги об индустриализации и коллективизации, биографии революционеров, канонизируется «детский герой» Павлик Морозов. Третья глава (1941—1953) посвящена в основном военной теме: отмечается проникновение образов идеальных положительных героев в детскую литературу (Л. Воронкова, М. Прилежаева, В. Осеева, С. Михалков). «Оттепель в детской литературе» (1954—1968) выдвинула иные имена (издательство «Детский мир»: Б. Заходер, В. Берестов, Э. Мошковская, Г. Сапгир и другие); появилась юмористическая проза В. Драгунского и В. Голявкина, научная фантастика А. и Б. Стругацких, повести А. Рыбакова, А. Алексина... «Заморозки» конца 60-х гг. не нанесли детской литературе такого сильного ущерба, как «взрослой». Однако в «годы застоя (1969—1985)» произведения новых талантливых писателей (Э. Успенский, С. Козлов) печатались редко, в основном шли переиздания. Шестая глава посвящена эпохе «перестройки». Признаками нового подхода к детской литературе служит либеральное отношение к религии (публикация библейских историй для детей), возрождающийся интерес к дореволюционному наследию, при этом отмечается, что «перестройка» не выдвинула новых интересных, ярких имен. Вторая часть книги содержит двенадцать портретов советских детских писателей, от Корнея Чуковского до Юрия Ковалева.

OKTOBERLEGENDERNAS LAND. NY RYSK DIKT FRÅN CHOLIN TILL KUTIK. Stockholm. Bonniers. 1991. — **СТРАНА ОКТЯБРЬСКИХ МИФОВ. НОВАЯ РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ОТ ХОЛИНА ДО КУТИКА.** Состав, вступительная статья, комментарии Х. Бьеркегрена и Л.-Э. Блумквиста. Стокгольм. «Бонниерс». 1991. 188 стр.

Антология «Страна Октябрьских мифов» — второй сборник русской поэзии на шведском языке, подготовленный известными переводчиками и исследователями русской литературы Хансом Бьеркегреном и Ларс-Эриком Блумквистом. Подготовленный ими сборник «Русская поэзия от Державина до Бродского» (первое издание которого вышло в том же издательстве «Бонниерс» в 1989 г.) только что переиздан pocket-book. Для антологии переводной поэзии невиданный успех! В обоих сборниках тщательно и обдуманно отобраны авторы и произведения, а некоторые переводы заслуживают включения в сокровищницу лучших переводов мировой поэзии. «Страна Октябрьских мифов» знакомит читателя с поэзией Б. Ахмадулиной, О. Чухонцева, Г. Айги, Вс. Некрасова, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Т. Кибирова, В. Кривулина, А. Еременко, Н. Жданова, А. Цветкова и других.

BRIGITTA BOUCH, CARINA NYSTRÖM, ANNA ROTKIRCH, MARIA SERRANO. Postfeminism. Helsinki. Förlaget Draken. 1991. — **БРИГИТТА БОУХТ, КАРИНА НЮСТРЕМ, АННА РОТКИРХ, МАРИЯ СЕРРАНО Постфеминизм.** Хельсинки. «Дракен». 1991. 189 стр.

Книга финских авторов «Постфеминизм» на шведском языке представляет собрание писем четырех женщин, так или иначе участвующих в феминистском движении, при этом Бригитта Боухт и Карина Нюстрем принадлежат старшему поколению (гг. рождения — 40-е), а Анна Роткирх и Мария Серрано — молодому (гг. рождения — 60-е). Переписка интересна не только разницей взглядов двух поколений на обсуждаемую тему, но и «географическим разнообразием»: авторы писем находятся в разных точках Европы — на севере (Финляндия), на юге (Испания), на востоке (Россия) — и делятся впечатлениями и размышлениями о положении женщин в этих странах и их самооощении. Впечатления финских феминисток о России представляют для русского читателя и исследователя несомненный интерес.

S U M M A R Y

The issue opens with the text of the speech made by Alexander Solzhenitsyn at the awarding of the literary prize of American National Arts Club (New York, January 1993).

The poetry section contains poems by Olga Grechko and two longer ones by Andrey Sergeev. The second, and last, part of Vladimir Sharov's novel «Before and At the Time Of» (begun in issue 3) is published.

The «Literary Heritage» section presents materials in connection with creative biography of Andrey Platonov during 1927—1932, under the common title «Nothing but Direct Hit On the Head Will Kill Me» (publication by M. A. Platonova, commentary by N. V. Kornienko).

The «Writer's Diary» section offers an essay «While the Rowlocks Creak» by the well-known literary critic and culturologist Marietta Chudakova, pondering over man's responsibility for his social biography.

The cycle of publications titled «The Russia That We Create» is continued with articles by Sergey Alexeyev, Anatoly Ivashchenko and Elizaveta Chen, dealing with Russian peasantry and recent reforms in Russia.

Peasantry is also the theme of another publication: letters sent by peasants to the «Pravda» newspaper in 1928—1930 (publication by T. M. Vakhitova and V. A. Prokofiev).

Elena Rzhvskaya's «Goebbels Portrait Against the Background of a Diary» (begun in № 2,3) is completed.

Philosophical essays on religions subject and diaries of Y. S. Druskin, writer and thinker, are published (publication by L. S. Druskina).

Literary critic Andrey Nemzer in his article «The Way It Could Have Been» writes about historical alternatives as reflected in literature.

In «Book Reviews» section Irina Rodnyanskaya reviews «The Sign of a Beast», a novel about Afgan war by Oleg Ermakov, and Sergey Kostyrko writes about a new collection of Zufar Gareyev's prose.

In the «Briefly About Books» section Vladimir Potapov reviews Russian translation of the Beatles' songs and Vladimir Vakhrushev — a new edition of Walter Scott's biography and some other books.

In the section «Foreign Books About Russia» books on the Russian theme published recently abroad are briefly annotated.

Ч и т а й т е в с л е д у ю щ е м н о м е р е :

А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА

К истокам «Тихого Дона»

Текстологическое исследование проблемы авторства романа

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор А. О. Петров

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.01.93. Подписано к печати 11.03.93. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в ТОО «Новое литературное обозрение». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-издл.

Тираж 74 250 экз. Зак. 1300. Цена 47 р. (по подписке): розничная цена договорная.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Уважаемые читатели!

МП «Редакция журнала „Новый мир”»
преобразуется в Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Редакция журнала
„Новый мир»» и публикует список своих
предполагаемых учредителей:

Редакция журнала «Новый мир» —
главный редактор С. Залыгин,

А/О «Банк Санкт-Петербург» —
президент Ю. Львов,

А/О «Гарант» —
председатель совета директоров И. Баскин,

А/О «Биотехнология» —
генеральный директор совета Р. Васильев,

А/О финансовая корпорация «Арман» —
генеральный директор В. Яснопольский.

Физическое лицо
Е. Жуковская.